ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX+I

МАРГАРЕТ ЭТВУД

Слепой убийца



Слепой убийца
Маргарет Этвуд

Аннотация
Маргарет Этвуд. Слепой убийца
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Аннотация

Вот уже более четверти века выдающаяся канадская писательница Маргарет Этвуд (р. 1939) создает работы поразительной оригинальности и глубины, неоднократно отмеченные престижными литературными наградами. «Слепой убийца», в 2000 году получивший Букеровскую премию, — в действительности несколько романов, вложенных друг в друга. Этвуд проводит читателя через весь XX век, и только в конце мы начинаем понимать: история, которую рассказывает нам автор, — не совсем то, что случилось на самом деле. А если точнее — все было намного страшнее…

Маргарет Этвуд
Слепой убийца

Представьте: вот монарх Ага Мохаммед-хан приказывает убить или ослепить жителей города Кермана — всех без исключения. Воины рьяно берутся за дело. Выстраивают горожан, взрослым рубят головы, детям выбивают глаза… Затем вереница ослепленных детей покидает город. Одни скитаются по округе и, заблудившись в пустыне, умирают от жажды. Другие добираются до поселений… и поют песни об истреблении жителей Кермана.

Рышард Капущинский

В безбрежном море я плыл, не видя земли. Танит был жесток, молитвы мои услышаны. О ты, утонувший в любви, не забудь обо мне.

Надпись на карфагенской погребальной урне

Слово есть пламя за темным стеклом.

Шейла Уотсон

I

Мост

Через десять дней после окончания войны моя сестра Лора на автомобиле съехала с моста. Мост ремонтировали, и Лора свернула прямо на оградительный шит. Машина пролетела футов сто, по пути ломая едва оперившиеся зеленью верхушки деревьев, вспыхнула и скатилась в мелкий ручей на дне оврага. Её засыпало обломками снесенного парапета. От Лоры осталась лишь груда обугленного хлама.

О несчастном случае мне сообщил полицейский: это был мой автомобиль, что полиция довольно быстро установила. Полицейский говорил почтительно: несомненно, знал, кто есть Ричард. Вероятно, колёса попали в трамвайные рельсы, или тормоза подвели, объяснил полицейский, и прибавил, что считает своим долгом сказать: два свидетеля катастрофы — юрист на пенсии и банковский кассир, оба заслуживающие доверия люди, — клянутся, что видели все от начала до конца. По их словам, Лора нарочно резко вывернула руль и нырнула с моста невозмутимо,

точно шагнула с тротуара. Свидетели разглядели её руки на руле: Лора была в белых перчатках.

Не в тормозах дело, думала я. У неё были причины. Как водится, не те, что у других. В этом смысле она была абсолютно беспощадна.

— Полагаю, вам нужно, чтобы её опознали, — сказала я. — Постараюсь приехать побыстрее. — Мой спокойный голос звучал как бы издали. На самом деле, я с трудом произносила слова: губы онемели, лицо свело от боли. Как после дантиста. Я была в ярости — из-за того, что Лора натворила, и ещё из-за полицейского, намекавшего, что Лора и впрямь это натворила. Горячий ветер трепал мне голову, волосы взлетали и вихрились, расплываясь в нём, будто чернила в воде.

— Боюсь, будет расследование, миссис Гриффен, — сказал полицейский.

— Понимаю, — отозвалась я. — Но это несчастный случай. Моя сестра вообще неважно водила машину.

Я представляла себе нежный овал Лориного лица, аккуратно собранные на затылке волосы, простое платье с круглым воротничком, тусклое какое-то — тёмно-синее, стальное или болотное, как больничный коридор. Тюремные цвета: вряд ли Лора выбирала сама — её в них словно заперли.

Серьезная полуулыбка, удивлённо приподнятые брови, — словно восхищается пейзажем.

Белые перчатки — жест Понтия Пилата. Смыла меня с пальцев. Смыла всех нас.

О чем она думала, когда автомобиль оторвался от моста и серебристой стрекозой сверкнул в лучах полуденного солнца, на бездыханный миг застыв перед падением? Об Алексе, о Ричарде, о вероломстве или о нашем отце и его крахе? А может, о Боге и своей роковой трёхсторонней сделке? Или о стопке дешёвых школьных тетрадей, которые накануне утром спрятала в ящике с моими чулками, зная, что только я смогу их обнаружить?

Когда полицейский ушёл, я поднялась наверх переодеться. В морг нужны перчатки и шляпка с вуалью. Не показывать глаз. Могут явиться репортеры. Нужно вызвать такси. И предупредить Ричарда: он, конечно, захочет подготовить заявление о том, как мы скорбим. Я пошла в гардеробную: понадобится чёрное и носовой платок.

Я выдвинула ящик, увидела тетради. Развязала стянутую крест-накрест бечёвку. Заметила, что стучу зубами и трясусь от холода. Видимо, шок, решила я.

А потом я вспомнила Рини из нашего детства.

Это она лечила наши порезы и царапины, перевязывала ранки. Мама отдыхала или где-то творила добрые дела, но Рини всегда была рядом. Поднимала нас и усаживала прямо на белый эмалированный кухонный стол, рядом с тестом для пирога, которое месила, или цыплёнком, которого разделывала, или рыбой, которую потрошила, а чтоб мы не болтали, давала по кусочку коричневого сахара.

Скажи, где болит, спрашивала она. *Ну-ка перестань выть. Успокойся и покажи, где болит.*

Но некоторые не могут показать, где болит. Не могут успокоиться. Даже перестать выть не могут.

«Торонто Стар», 26 мая 1945 года

ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ В СВЯЗИ С АВТОКАТАСТРОФОЙ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СТАР»

В ходе расследования установлено, что автокатастрофа, произошедшая на прошлой неделе на авеню Сен-Клер, была трагической случайностью. Мисс Лора Чейз, 25 лет, ехала по эстакаде на запад, и её автомобиль неожиданно занесло; он снес оградительные ремонтные щиты,

рухнул в овраг и загорелся. Мисс Чейз погибла сразу же. Её сестра, миссис Ричард Э. Гриффен, жена известного предпринимателя, сообщила, что мисс Чейз страдала от сильных головных болей, которые сказывались на зрении. Миссис Гриффен категорически опровергла возможность пребывания мисс Чейз в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что сестра вообще не употребляла алкоголя.

Полиция предполагает, что колесо угодило в трамвайную колею, и это послужило дополнительной причиной аварии. В связи с этим возник вопрос: достаточно ли городские власти заботятся о безопасности горожан? Однако после заключения эксперта, главного инженера муниципалитета Гордона Перкинса, этот вопрос был снят.

После несчастного случая вновь озвучиваются претензии к состоянию трамвайных путей на данном участке дороги. Мистер Херб Т. Джолифф, представляющий местных налогоплательщиков, в интервью «Стар» заявил, что это не первый несчастный случай, вызванный

пренебрежением к трамвайным путям. Городским властям следует над этим задуматься.

Лора Чейз. *Слепой убийца.*
Нью-Йорк, Рейнголд, Джейнес & Моро, 1947.
Пролог: Многолетние растения для сада камней

У неё только одна его фотография. В оберточной бумаге, сверху написано *вырезки.* Она спрятала сверток в книгу «Многолетние растения для сада камней», куда никто никогда не заглядывает.

Она бережёт фотографию: кроме этого снимка, у неё мало что осталось. Черно-белое фото, снятое громоздким довоенным аппаратом со вспышкой: объектив на гармошке, добротный кожаный футляр с ремешками и сложными застежками напоминает намордник. Фотография запечатлела их на пикнике — её и этого мужчину. На оборотной стороне так и написано карандашом: *пикник,* ни её имени, ни его — просто *пикник.* Имена ей и так известны — зачем писать?

Они сидят под деревом — под яблоней, что ли; она тогда не обратила внимания. На ней белая блузка, рукава засучены по локоть, широкая юбка подоткнута под колени. Должно быть, дул ветерок — блузка на ней раздувается, а может,

и не раздувается; может, липнет; может, было жарко. Да, жарко. Держа руку над фотографией, она и теперь чувствует от неё жар — так раскалившийся днём камень и ночью хранит тепло.

На мужчине светлая шляпа, надвинута на лоб, лицо в тени. Он загорелый — темнее, чем она. Она улыбается вполоборота к нему — так она никому с тех пор не улыбалась. На фото она очень молода, слишком — хотя в то время не считала себя слишком молодой. Мужчина тоже улыбается — белизна зубов, точно вспышка чиркнувшей спички, — но поднял руку, словно в шутку защищается или желает укрыться от объектива того, кто стоит рядом, снимая этот кадр, а может, желая защититься от тех, кто в будущем станет глазеть на фото, изучая его черты через это квадратное освещённое оконце из глянцевой бумаги. Будто защищается от неё. Или защищает её. В защитно вытянутой руке догорает сигарета.

Оставшись одна, она достает конверт и осторожно вытаскивает фотографию из кипы газетных вырезок. Кладет на стол и пристально всматривается, словно глядит в колодец или пруд, ища за своим отражением то, что уронила или потеряла, — чего уже не достать; недоступное, но различимое, оно драгоценным камнем мерцает

на песке. Она разглядывает каждую деталь. Его пальцы, обесцвеченные то ли вспышкой, то ли солнечным светом; складки одежды; листву и крохотные шарики на ветках — так яблоки или нет? На переднем плане — жухлая трава. Тогда было сухо, и трава пожелтела.

У края фотографии — сначала и не заметишь — ещё рука, срезанная до предела, отхваченная по запястье — лежит на лужайке будто сама по себе. Выброшенная.

На ярком небе размытые облачка — словно пятна от мороженого. Потемневшие от табака пальцы. Вдали сверкает вода. Теперь утонуло всё.

Утонуло, но сияет.

II

Слепой убийца: Яйцо вкрутую

Так что ты хочешь, спрашивает он. Смокинги и страсти или кораблекрушения у пустынных берегов? Выбирай: джунгли, тропические острова, горы. Или другое измерение — тут я дока.

Другое измерение? Правда?

Не смейся, место не хуже иных. Там все, что хочешь, случается. Космические корабли, обтягивающие скафандры, лучевое оружие, марсиане с телами гигантских осьминогов и всё такое прочее.

Сам выбирай, говорит она. Ты же профи. Как насчет пустыни? Давно туда хочу. С оазисом, конечно. Финиковые пальмы не помешают. Она отламывает от сэндвича корку. Корки она не любит.

В пустыне не разгуляешься. Ничего интересного, придется добавить гробниц. И ещё обнаженных женщин, что мертвы уже три тысячи лет, женщин с гибкими, пышными телами, рубиновыми устами, лазурным кружевом растрепанных волос и глазами точно полные змей глубокие

колодцы. Но не думаю, что удастся всучить это всё тебе. Ужастики — не твой стиль.

Как знать. Может, мне и понравится.

Сомневаюсь. Это для толпы. Правда, такое любят изображать на обложках — эти дамы обвивают парня, и отогнать их можно только ружейным прикладом.

А можно другое измерение, а ещё гробницы и покойницы?

Трудновато, но я постараюсь. Можно ещё закинуть жертвенных дев, в прозрачных одеждах, с металлическими нагрудниками и серебряными цепочками на лодыжках. И стаю голодных волков в придачу.

Ты, я вижу, не перед чем не остановишься.

А ты предпочитаешь смокинги? Океанские лайнеры, белоснежное белье, целование ручек и лицемерный треп?

Нет. Ладно. Поступай, как знаешь.

Сигарету?

Она качает головой: нет, не хочу. Он чиркает спичкой по ногтю и закуривает.

Обожжёшься, говорит она.

До сих пор не обжигался.

Она смотрит на засученный рукав его рубашки — белой или бледно-голубой, переводит взгляд на

запястье, на загорелую руку. Он светится — будто отражает солнце. Почему никто не смотрит? Он слишком бросается в глаза, чтобы находиться здесь, под открытым небом. Люди вокруг сидят на траве или полулежат, — одеты в светлое, у них тоже пикник. Все очень пристойно. Но ей кажется, будто они одни, будто яблоня — шатер, а не дерево. Будто вокруг них провели мелом круг. И они внутри невидимы.

Измерение, значит. С гробницами, девами и волками. Только в рассрочку. Согласна?

В рассрочку?

Не всё сразу. Как мебель.

Она смеётся.

Нет, серьёзно. Не скупердяйничай. Это ж не на один день. Придется встречаться снова.

Она колеблется. Потом соглашается. Ладно. Если удастся. Если у меня получится.

Вот и хорошо, говорит он. А теперь я буду думать. Он старается говорить непринужденно. Настойчивость может её отпугнуть.

На планете — как её там? Нет, не на Сатурне — слишком близко. На планете Цикрон, что в другом измерении, простирается каменистая равнина. К северу — лиловый океан. К западу — горная цепь; говорят, после захода солнца там

бродят неумершие алчные обитательницы тамошних полуразрушенных гробниц. Вот видишь, с гробницами я поторопился.

Ценю, говорит она.

Всегда верен слову, К югу — раскаленные пески, а к востоку — глубокие долины, что когда-то, возможно, были руслами рек.

Наверное, каналы, как на Марсе?

Да, каналы и что угодно. Множество следов древних, когда-то высокоразвитых цивилизаций, но теперь здесь бродят лишь примитивные кочевники. Посреди равнины каменная насыпь. Земля вокруг сухая, лишь колючий кустарник кое-где. Не совсем пустыня, но похоже. А сэндвич с сыром ещё есть?

Она роется в бумажном пакете. Сэндвича нет, говорит она, есть яйцо вкрутую. Она никогда не была так счастлива. Все опять ново, все только случится.

То, что доктор прописал, говорит он. С собой стихов диван, в бутылке лимонад и яйцо вкрутую. Он катает яйцо в ладонях, разбивает, чистит. Она не спускает глаз с его рта, челюсти, зубов.

Денек среди развалин. Городского парка, говорит она. Вот соль.

Спасибо. Все-то ты помнишь.

На бесплодную равнину никто не претендовал, продолжает он. Точнее, на неё имели виды пять разных племен, но ни у одного не хватало сил обставить остальных. Все они время от времени натыкались на каменную насыпь: пасли в округе *фалков* — голубых, похожих на овец существ злобного нрава, — или провозили мимо всякие ерундовые товары на вьючных животных вроде трёхглазых верблюдов.

Каждое племя называло насыпь по-своему: Логово Летучих Змей, Груда Камней, Жилище Вопящих Матерей, Врата Забвения и Хранилище Обглоданных Костей. Все племена рассказывали об этой насыпи почти одно и то же. Под камнями покоится король, говорили они, безымянный король. Там же погребены развалины великолепного города, которым этот король правил. Враги разрушили город, а короля схватили и в знак триумфа повесили на финиковой пальме. Когда взошла луна, его сняли с дерева и похоронили, а насыпью обозначили место. Остальных жителей города тоже убили. Всех до единого — мужчин, женщин, детей, младенцев, даже скот. Зарезали, изрубили на куски. Ничего живого не осталось.

Ужас.

Куда лопатой не ткнешь, вскроется какой-

нибудь ужас. Нашему ремеслу полезно, мы процветаем на костях — какие же без них истории. Есть ещё лимонад?

Нет, отвечает она. Всё выпили. Продолжай.

Победители стёрли из памяти даже былое название города. Вот почему, говорят рассказчики, теперь это место носит имя своей погибели. И груда камней — знак сознательного поминовения и сознательного забвения. У них там любят парадоксы. Каждое из пяти племен настаивает, что именно из него вышли победоносные захватчики. Каждое с удовольствием вспоминает о кровавой резне. И верит, что все произошло с благословения их богов как справедливое возмездие за греховную жизнь горожан. Зло очищается кровью, говорят они. В тот день кровь лилась рекой — должно быть, потом там стало очень чисто.

Каждый пастух или торговец, оказавшись рядом с насыпью, кладет туда ещё один камень. Это старый обычай — так делают, чтобы почтить память мертвых, дорогих усопших, но поскольку никто не знает, кто на самом деле покоится под насыпью, камни здесь оставляют на всякий случай. Оправдываются, говорят, что трагедия произошла по велению их бога, и значит, оставляя камни, они чтят его волю.

По одной версии, город все-таки не разрушили. Благодаря магии, известной только королю, город и его жители спаслись — вместо них зарезали и сожгли призраков. А город стал совсем крошечным и перенёсся в пещеру под камнями. Ничего не изменилось — те же дворцы, и цветущие сады, и люди — они ростом с муравьев, но живут прежней жизнью: носят костюмчики, устраивают банкетики, рассказывают друг другу историйки, распевают песенки.

Король понимает, что произошло, и мучается кошмарами, но остальные ничего не знают. Не знают, что стали крошечными. Не знают, что считаются мёртвыми. Даже не знают, что спаслись. Скала над головами — будто небо; сквозь щелку меж камнями сочится свет, и они думают, что это солнце.

Яблоня шелестит. Она смотрит на небо, затем на часы. Я замёрзла, говорит она. И я опаздываю. Ты не мог бы уничтожить улики? Она собирает яичную скорлупу, комкает обёрточную бумагу.

Ты ведь не торопишься? Здесь не холодно.

От воды тянет, говорит она. Наверное, ветер переменился. Она наклоняется, встаёт.

Не уходи пока, говорит он слишком поспешно.

Уже пора. Меня будут искать. Если опоздаю,

захотят узнать, где я была.

Она оправляет юбку, обхватывает себя руками, поворачивается, а яблоня смотрит ей вслед зелёными яблочками.

«Глоуб энд Мейл», 4 июня 1947 года

ГРИФФЕН ОБНАРУЖЕН НА ЯХТЕ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ГЛОУБ ЭНД МЕЙЛ»

После необъяснимого отсутствия в течение нескольких дней тело промышленника Ричарда Э. Гриффена, 47 лет, который считался наиболее вероятным кандидатом от прогрессивных консерваторов в торонтском райдинге святого Давида, было обнаружено неподалёку от летней резиденции Авалон в Порт-Тикондероге, где мистер Гриффен отдыхал. Его тело нашли на яхте «Наяда», пришвартованной к частной пристани на реке Жог. Смерть вызвана кровоизлиянием в мозг. Полиция сообщает, что следов насилия не обнаружено.

Мистер Гриффен многого добился как глава коммерческой империи, объединившей предприятия лёгкой промышленности, производство текстиля и

одежды, и заслужил благодарность за свой вклад в снабжение союзных войск обмундированием и оружием во время войны. Он был частым гостем на ключевых совещаниях в Пагуоше — в доме промышленника Сайруса Итона[1], а также центральной фигурой в Имперском и Гранитном клубах. Мистер Гриффен прекрасно играл в гольф и был завсегдатаем Канадского королевского яхт-клуба. Премьер-министр по телефону из своей частной резиденции Кингсмир сказал: «Мистер Гриффен был одним из самых компетентных наших сограждан. Мы глубоко скорбим о его смерти».

Мистер Гриффен приходился деверем покойной Лоре Чейз, чей первый и единственный роман был посмертно опубликован весной нынешнего года. У мистера Гриффена осталась сестра, миссис Уинифред (Гриффен) Прайор,

[1] Примечания: 1

Спустя десять лет после описываемых событий, в 1957 году состоялась первая из серии Пагуошских конференций; в ней приняли участие всемирно известные ученые и общественные деятели, выступавшие за мир, разоружение и международную безопасность. Конференция была организована при активной поддержке канадского уроженца Сайруса Итона (1883–1979), американского промышленника и общественного деятеля.

известная общественная деятельница; жена, миссис Айрис (Чейз) Гриффен, и десятилетняя дочь Эйми. Заупокойная служба состоится в среду, в церкви св. апостола Симона в Торонто.

Слепой убийца: Скамейка в парке

А почему на Цикроне люди жили? Ну, такие же, как мы. Это же другое измерение, там же, наверное, говорящие ящерицы какие-нибудь живут?

Только в дешёвых журналах. Это выдумки. На самом деле все обстояло вот как: цикрониты колонизировали Землю, научившись перемещаться из одного измерения в другое, но это произошло спустя несколько тысячелетий после той эпохи, о которой идет речь. У нас они объявились восемь тысяч лет назад. Привезли семена, и мы теперь едим яблоки и апельсины, не говоря уж о бананах. Посмотри на банан — он же явно с другой планеты. Они и животных прихватили — лошадей, собак, овец и прочую живность. Это цикрониты Атлантиду построили. Но они были слишком умны — это их и сгубило. А мы произошли от горстки уцелевших.

Вот оно что, говорит она. Это всё объясняет. Как удачно.

Сойдет на крайний случай. Что до прочих особенностей Цикрона, то на нём семь морей, пять лун и три солнца — разных цветов и яркости.

Каких цветов? Шоколадное, ванильное, клубничное?

Ты надо мной смеёшься.

Прости. Она наклоняется к нему. Я тебя слушаю. Видишь?

Он продолжает: до своей гибели город — будем звать его прежним именем, Сакел-Норн, что приблизительно переводится как Жемчужина Судьбы, — считался чудом света. Даже люди, утверждавшие, что именно их предки его уничтожили, с наслаждением описывали его красоту. Природные ключи били из резных фонтанов в крытых дворах и садах многочисленных дворцов. Город утопал в цветах, воздух звенел от пения птиц. Вокруг простирались роскошные луга, где паслись стада тучных *гнарров;* фруктовые сады и могучие леса, ещё не вырубленные торгашами и не сожжённые злобными недругами. На месте пересохших оврагов ещё текли реки; каналы орошали поля вокруг города; а земля была такая плодородная, что колосья были целых три дюйма диаметром.

Аристократов в Сакел-Норне звали снилфарда-

ми. Они были искусными резчиками по металлу и изобретателями хитроумной механики, секреты которой тщательно охраняли. К тому времени они уже успели изобрести часы, арбалет и ручной насос, но до двигателя внутреннего сгорания пока не доросли и в качестве транспортного средства использовали скот.

Мужчины-снилфарды носили тканные платиновые маски, что воспроизводили мимику, но скрывали истинные эмоции. Женщины закрывали лицо шелковистыми покрывалами, что выделывались из коконов бабочки *чэз.* Прятать лицо, не будучи снилфардом, запрещалось под страхом смерти: непроницаемость и увертки оставались исключительным правом знати. Снилфарды роскошно одевались, знали толк в музыке и сами играли на разных инструментах, демонстрируя вкус и мастерство. Они предавались дворцовым интригам, устраивали пышные празднества и изысканно наставляли друг другу рога. Иногда их романы приводили к дуэлям, но чаще мужья притворялись, что ничего не знают.

Мелкие фермеры, батраки и рабы звались йгниродами. Они носили потрепанные серые туники: одно голое плечо у мужчин, одна грудь — у женщин (которые, само собой, были лёгкой

добычей для мужчин-снилфардов). Йгнироды возмущались своей участью, но скрывали это, притворяясь недалёкими. Изредка они поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. Самыми бесправными были рабы: при желании их можно было продать, купить или убить. Закон запрещал им читать, но у рабов имелся секретный шифр, и они царапали послания камнями в грязи. Снилфарды на рабах пахали.

Если снилфард разорялся, его переводили в йгнироды. Он мог избежать такой участи, продав жену или детей и выплатив долг. Гораздо реже йгнирод добивался положения снилфарда: наверх идти труднее, чем вниз; даже если ему удавалось собрать необходимую сумму и найти невесту из снилфардов для себя или сына, требовалось ещё кое-кого подкупить, и порой проходило немало времени, прежде чем бывшего йгнирода принимали в высшее общество.

В тебе просыпается большевик, говорит она. Я знала, что это рано или поздно случится.

Совсем наоборот. Эта культура — из древней Месопотамии. Законы Хаммурапи[2], законы

[2] Примечания: 2

Законы Хаммурапи (ок. 1760 года до н. э.) — свод законов Вавилонии, памятник древневосточного рабовладельческого права. Был найден при раскопках Сузы в 1901–1902 гг., хранится в Лувре.

хеттов и так далее. Отчасти, во всяком случае. К примеру, насчет покрывал и продажи жен. Могу назвать главу и стих.

Главу и стих не сегодня, пожалуйста, говорит она. У меня нет сил. Я слишком размякла. Скисаю.

Стоит август. Жара немыслимая. Влага обволакивает их невидимым туманом. Четыре часа, свет — словно топленое масло. Они сидят на скамейке в парке, не слишком близко друг к другу; над ними сникший клен, под ногами потрескавшаяся земля, вокруг увядшая трава. Воробьи долбят сухую хлебную корку, валяется скомканная бумага. Не лучшее место на свете. Из питьевого фонтанчика сочится вода; подле него о чем-то шепчутся трое грязных ребятишек — девочка в пляжном костюме и два мальчика в шортах.

На ней лимонное платье; руки с нежным золотистым пушком обнажены по локоть. Она сняла лёгкие перчатки, нервно их комкает. Его не смущает эта нервозность — приятно думать, что он уже чего-то ей стоит. На ней соломенная шляпка, с круглыми, как у школьницы, полями; волосы убраны назад — выбилась влажная прядь. Принято отрезать пряди волос, хранить, носить в медальонах; мужчины держат их у сердца. За-

чем? Раньше он не понимал.

А где ты сейчас должна быть? — спрашивает он.

В магазине. Видишь — сумка. Я купила чулки, хорошие, из тончайшего шелка. Будто ничего и не носишь. Она слегка улыбается. У меня всего пятнадцать минут.

Она уронила перчатку — та лежит у её ног. Он не сводит с перчатки глаз. Если она не поднимет, забудет, он завладеет перчаткой. Оставшись один, будет вдыхать её запах.

Когда я тебя увижу? — спрашивает он. Порыв раскалённого ветра шевелит листья, сквозь них пробивается свет; пыльца вокруг — золотистым облаком. Вообще-то просто пыль.

Ты сейчас видишь, говорит она.

Перестань, говорит он. Скажи когда. Кожа в вырезе платья поблескивает капельками пота.

Еще не знаю, отвечает она. И смотрит через плечо, оглядывает парк.

Никого здесь нет, говорит он. Никаких твоих знакомых.

Кто знает, когда кто-нибудь появится, возражает она. Кто знает, с кем я знакома.

Тебе нужно завести собаку, говорит он.

Она смеется. Собаку? Зачем?

Тогда у тебя будет повод. Ты могла бы её выгуливать. Её и меня.

Собака будет к тебе ревновать, замечает она. А ты будешь думать, что я больше люблю собаку.

Но ты ведь не будешь любить её больше, говорит он. Правда?

Она широко раскрывает глаза. Это ещё почему?

Собаки не говорят, отвечает он.

«Торонто Стар», 25 августа 1975 года

ПЛЕМЯННИЦА
ЗНАМЕНИТОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ПОГИБЛА
ПРИ ПАДЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СТАР»

Эйми Гриффен, 38 лет, дочь известного промышленника, покойного Ричарда Э. Гриффена и племянница выдающейся писательницы Лоры Чейз, в среду обнаружена мёртвой в своей квартире на Черч-Сент. В результате падения она сломала шею и была мертва уже по меньшей мере сутки. Соседей, Джоса и Беатрис Келли, оповестила дочь мисс Гриффен Сабрина, которая часто приходила к супругам Келли поесть, когда матери по-

долгу не было дома.

По слухам, мисс Гриффен уже давно боролась со своим пристрастием к алкоголю и наркотикам и неоднократно лечилась в клинике. На время расследования её дочь передали на попечение миссис Уинифред Прайор, её двоюродной бабушке. Ни миссис Прайор, ни мать Эйми, миссис Айрис Гриффен из Порт-Тикондероги, произошедшее никак не прокомментировали.

Этот несчастный случай в очередной раз подтверждает небрежность работы наших социальных служб и показывает, как важно совершенствовать законодательство, чтобы уберечь детей, принадлежащих к группам риска.

Слепой убийца: Ковры

В трубке жужжит и потрескивает. Раскаты грома или подслушивают? Но он звонит из автомата, его не выследят.

Ты где? спрашивает она. Сюда нельзя звонить.

Ему не слышно, как она дышит, не слышно её дыхания. Ему хочется, чтобы она приложила трубку к горлу, но он не будет просить, пока не будет. Я недалеко. В двух кварталах. Могу прийти

в парк — в маленький, где солнечные часы.

Ох, я не думаю…

Просто улизни. Скажи, что хочешь подышать воздухом. Он ждёт.

Попытаюсь.

У входа в парк два четырёхгранных каменных столба — наверху обрезаны наискось. На вид египетские. Никаких, впрочем, триумфальных надписей, никаких барельефов со скованными коленопреклонёнными врагами. Только: «Не болтаться без дела» и «Держать собак на поводке».

Иди сюда, говорит он. Подальше от света.

Я ненадолго.

Знаю. Иди сюда. Он берёт её за руку и ведёт за собой; она дрожит, точно провода на ветру.

Сюда, говорит он. Здесь нас никто не увидит. Ни одна старушка с пуделем.

И ни один полицейский с дубинкой, прибавляет она со смешком. Сквозь листву пробивается свет фонаря, и белки её глаз мерцают. Не надо было приходить, говорит она. Слишком рискованно.

Каменная скамья забилась в кусты. Он накидывает ей на плечи пиджак. Старый твид, старый табак, отдает паленым. И чуточку солью. Его кожа соприкасалась с этой тканью, а теперь и её тоже.

Вот так, сейчас согреешься. А теперь нарушим предписание. Станем тут болтаться.

А как насчет собак на поводке?

И это нарушим. Он не обнимает её, хотя знает, что она этого хочет. Она ждет этого прикосновения, ощущая его заранее, как птицы — надвигающуюся тень. Он закуривает. Предлагает ей; на этот раз она соглашается. Краткая вспышка меж ладонями. Красные кончики пальцев.

Она думает: будь пламя посильнее, видны были бы кости. Как рентген. Мы — как лёгкая дымка, окрашенная водичка. Вода поступает, как ей нравится. Всегда течет вниз. Дым заполняет ей горло.

А теперь я расскажу про детей, говорит он.

Про детей? Каких ещё детей?

Очередной взнос. Про Цикрон и Сакел-Норн.

Ах, да.

В рассказе будут дети.

О детях речи не шло.

Дети рабов. Без них не обойтись. Иначе истории не выйдет.

Не уверена, что мне хочется про детей.

Ты всегда можешь меня остановить. Тебя никто не заставляет. Вы свободны, как говорят полицейские, если повезет. Он старается говорить

спокойно. Она не отодвигается.

Он рассказывает: ныне Сакел-Норн — груда камней, но прежде был процветающим центром торговли. Он стоял на перепутье трёх дорог — с востока, запада и юга. С севера широкий канал соединял город с морем — там находился хорошо укрепленный порт. Теперь не осталось и следа от жилищ и крепостных стен: когда город пал, враги и просто кто попало растащили обтесанные каменные глыбы по домам — на загоны для скота, на желоба для воды и на топорные укрепления; а ветер и волны похоронили остатки под песком.

Канал и порт построили рабы, что неудивительно: благодаря их труду, Сакел-Норн обрел великолепие и мощь. Но ещё город славился искусством ремесленников, особенно ткачей. Секрет их красок тщательно охранялся: ткани мерцали жидким медом, лиловой виноградной мякотью или мерцающей на солнце бычьей кровью. Изящные покрывала — будто паутина, а ковры так изысканны и мягки, что, казалось, ступаешь по воздуху — по воздуху, что словно цветущий луг с ручейком.

Очень поэтично, говорит она. Я поражена.

Считай, что это универмаг, говорит он. Если вдуматься, всего лишь предметы роскоши. Не так

уж и поэтично.

Ковры ткали рабы — и всегда дети: лишь детские пальчики подходят для такой тонкой работы. Однако от непрерывного напряжения глаз дети к восьми-девяти годам слепли; их слепота определяла цену ковров. Торговцы похвалялись: *этот ковёр ослепил десять детей. Тот — пятнадцать. А вон тот — двадцать.* Чем больше, тем дороже ковёр, и потому торговцы всегда преувеличивали. А покупатели насмешливо фыркали, слушая эту похвальбу. *Да не больше семи, не больше двенадцати, не больше шестнадцати,* говорили они, щупая ковры. *Этот грубый, как кухонная тряпка. Этот не лучше одеяла нищенки. Его ткал не иначе как гнарр.*

Когда дети слепли, их продавали в бордели — и девочек, и мальчиков. Услуги этих слепых ценились очень высоко: по слухам, их ласки были столь изощренны и искусны, что от прикосновения маленьких пальчиков на коже словно распускались цветы и струилась вода.

Еще дети ловко вскрывали замки. Некоторые слепые сбегали и овладевали наукой наемных убийц: перерезали глотки в темноте; их услуги пользовались большим спросом. У них был исключительно тонкий слух, они неслышно дви-

гались и умели пролезть куда угодно; различали, спит человек крепко или ненадолго забылся тревожным сном. Убивали они легко — словно мотылек задел крылышком шею. Считалось, что у них нет жалости. Их смертельно боялись.

Дети, когда были ещё зрячими и ткали бесконечные ковры, частенько перешёптывались о будущем. У них была поговорка: только слепые свободны.

Как это грустно, шепчет она. Зачем ты рассказываешь такую печальную историю?

Тьма всё плотнее окутывает их. Его руки наконец её обнимают. Не спеши, говорит он себе. Никаких резких движений. Он слушает свое дыхание.

Я рассказываю истории, которые мне лучше удаются. И которым ты поверишь. Ты ведь не проглотишь сентиментальную чепуху?

Да, не проглочу.

Кроме того, не такая уж она и грустная, эта история. Кое-кто сбегал.

И становился убийцей.

А у них был выбор? Они не могли продавать ковры или владеть борделями. У них не было денег. Приходилось соглашаться на черную работу. Такая уж судьба.

Не надо, говорит она. Я же не виновата.

Я тоже. Скажем так: мы расплачиваемся за грехи отцов.

Это неоправданно жестоко, холодно говорит она.

А когда жестокость оправдана? И насколько? Почитай газеты. Не я создал мир. Как бы то ни было, я за убийц. Если перед тобой выбор: умереть с голоду или перерезать глотку, — что ты предпочтешь? А может, трахаться за деньги? Этот промысел вечен.

Он зашел слишком далеко. Она отодвигается. Ну всё, говорит она. Пора возвращаться. Листва порывисто шелестит. Она вытягивает руку: на ладонь падают капли. Гром теперь ближе. Она снимает пиджак. Он не поцеловал её и не будет, не сегодня. Как отсрочка казни.

Постой у окна, говорит он. В спальне. И не выключай свет. Просто встань у окна.

Она пугается. Зачем? С чего вдруг?

Мне так хочется. Хочу быть уверен, что с тобой все в порядке, прибавляет он, хотя дело вовсе не в этом.

Хорошо, постараюсь, обещает она. Только минутку. А где ты будешь?

Под деревом. Под каштаном. Ты меня не уви-

дишь, но я там буду.

Он знает, где мое окно, думает она. Знает, какое внизу дерево. Должно быть, уже бродил там. Следил за ней. Она слегка вздрагивает.

Дождь, говорит она. Скоро польёт. Промокнешь.

Сейчас не холодно, отвечает он. Я буду ждать.

«Глоуб энд Мейл», 19 февраля 1998 года

Прайор, Уинифред Гриффен. Скончалась в возрасте 92 лет после продолжительной болезни в собственном доме в Роуздейле. В лице миссис Прайор, известной благотворительницы, Торонто потерял одного из самых верных и последовательных филантропов. Сестра покойного промышленника Ричарда Гриффена и золовка известной писательницы Лоры Чейз, миссис Прайор работала в попечительском совете Торонтского симфонического оркестра в годы его становления, а позднее — в общественных комитетах при Художественной галерее в Онтарио и Канадском обществе по борьбе с раком. Она была активным членом Гранитного клуба, клуба «Геликон», а также Молодежной

лиги и Фестиваля драмы доминиона. У неё осталась внучатая племянница, Сабрина Гриффен, которая в настоящее время путешествует по Индии.

Заупокойная служба состоится в четверг утром в церкви св. апостола Симона; затем погребальная процессия проследует на кладбище Маунт-Плезант. Желающие могут вместо цветов внести пожертвования на больницу принцессы Маргарет.

Слепой убийца: Сердце, нарисованное губной помадой

Сколько у нас времени? — спрашивает он.

Уйма, отвечает она. Часа два-три. Все куда-то ушли.

Куда?

Понятия не имею. Делают деньги. Покупают вещи. Что-то важное. Чем они там обычно занимаются. Она заправляет локон за ухо и садится прямее. Она словно девушка по вызову, свистнули — прибежала. Дешевка. Чья это машина? — спрашивает она.

Одного друга. Видишь, я важный человек. У меня есть друг с машиной.

Ты надо мной смеешься, говорит она. Он не отвечает. Она стягивает перчатку. А если нас увидят?

Увидят только машину. А эта — развалюха, машина для бедных. Тебя не увидят, даже глядя тебе в лицо: такую женщину немыслимо застукать в такой машине.

Иногда я тебе не очень-то нравлюсь.

В последнее время я только о тебе и думаю. Но нравиться — это другое. Это требует времени. У меня нет времени на то, чтобы ты мне нравилась. Не могу на этом сосредоточиться.

Не туда. Смотри на указатель.

Указатели — для остальных, говорит он. Сюда — прямо сюда.

Тропа больше похожа на канаву. Скомканные салфетки, обертки от жвачек, рыбьи пузыри использованных презервативов. Бутылки и булыжники; высохшая грязь — вся в трещинах и рытвинах. На ней неподходящая обувь, не те каблуки. Он поддерживает её, берет за руку. Она отстраняется.

Здесь же всё как на ладони. Нас могут увидеть.

Кто? Мы под мостом.

Полиция. Не надо. Не сейчас.

Полицейские не шныряют среди бела дня.

Только ночью, с фонариками — ищут нечестивых извращенцев.

Тогда бродяги, говорит она. Или маньяки.

Иди сюда. Сюда. В тень.

Тут не растет ядовитый сумах?

Нет. Клянусь. И нет ни бродяг, ни маньяков, кроме меня. Откуда ты знаешь про сумах? Ты что, здесь уже был? Да не волнуйся ты так, говорит он. Ложись. Не надо. Ты порвешь одежду. Подожди секунду. Она слышит свой голос. Но это не её голос: слишком прерывистый.

В сердце, нарисованном губной помадой на цементе, их инициалы. Они соединены буквой Л, что означает «любовь». Только они, посвященные, будут знать, чьи это инициалы: они здесь были, занимались этим. Декларация любви — и никаких подробностей. С внешней стороны сердца ещё четыре буквы — как четыре направления компаса:

Т Р

А Х

Слово разорвано, будто вывернуто наизнанку: безжалостная топография секса.

Его губы отдают табаком, на её губах вкус соли;

пахнет смятой травой и кошками — запах богом забытого уголка. Сырость и буйная растительность, земля на коленках, грязная и жирная; длинноногие одуванчики тянутся к свету.

Ниже журчит ручеек. Над ними зеленые ветви и тонкие вьющиеся стебли с алыми цветочками; вздымаются опоры моста, железные балки; слышен шум колес наверху; осколки голубого неба. Она спиной чувствует жесткую землю.

Он гладит её лоб, проводит пальцем по щеке. Не стоит мне поклоняться, говорит он. У меня не единственный член в мире. Когда-нибудь поймешь.

Не в этом дело, говорит она. И я тебе не поклоняюсь. Он уже выталкивает её в будущее.

Так или иначе, у тебя это будет ещё, и не раз, стрит мне сойти с твоей орбиты.

О чем ты? Какая орбита?

Я о том, что есть жизнь после жизни, говорит он. После нашей жизни.

Поговорим о чем-нибудь другом.

Хорошо, соглашается он. Ложись обратно. Положи сюда голову. И он приоткрывает влажную рубашку. Одной рукой обнимает, другой роется в кармане, ища сигареты, затем чиркает спичкой по ногтю. Её ухо — в ямке у него на плече.

Так на чем я остановился? — спрашивает он.

Ткачи. Слепые дети.

Да. Помню.

Он начинает:

В основе богатства Сакел-Норна лежал рабский труд, особенно труд детей, ткавших знаменитые ковры. Но говорить об этом считалось не к добру. Снилфарды утверждали, что. богатством они обязаны не рабскому труду, а добродетельному и праведному образу жизни — другими словами, жертвам, что угодны богам.

Богов у них было много. Лишние боги никогда не помешают, они оправдывают почти все, и боги Сакел-Норна — не исключение. Все они были кровожадны и любили получать в жертву животных, но больше всего ценили человеческую кровь. При основании города, так давно, что те события стали легендой, девять набожных отцов принесли в жертву собственных дочерей — похоронили под девятью вратами города, дабы отвести от него беду.

На каждую из четырёх сторон света выходили двое ворот: одни — для входа, другие — для выхода: если вышел из ворот, куда вошел, скоро умрешь. Девятые ворота — мраморная плита, что лежала на вершине холма в центре горо-

да, — открывались, не шевелясь, балансируя между жизнью и смертью, между плотью и духом. Через эту дверь приходили и уходили боги. Им не требовались лишние двери: в отличие от смертных, они могли пребывать одновременно по обе стороны. Проповедники Сакел-Норна любили вопрошать: *Что есть истинное дыхание человека — вдох или выдох?* Такова была природа их богов.

Девятые врата были и алтарем, где проливалась жертвенная кровь. Мальчиков приносили в жертву Богу Трех Солнц — богу дня, яркого света, дворцов, празднеств, очагов, войн, вина, входов и слов; а девочек — Богине Пяти Лун, покровительнице ночи, туманов, сумрака, голода, пещер, родов, выходов и молчания. Мальчиков оглушали дубинкой прямо на алтаре, а затем бросали в пасть бога, что вела в бушующее пламя. Девочкам перерезали горло, и кровь вытекала постепенно, возвращая силу пяти убывающим лунам, чтобы те не поблекли и не исчезли навсегда.

В память о девяти девушках, похороненных у городских ворот, ежегодно ещё девять приносились в жертву. Их называли «девами Богини» и осыпали цветами, за них молились, воскуряли фимиам, надеясь, что они заступятся за горо-

жан перед Богиней. Последние три месяца года звались «безликими»; тогда на полях ничего не родилось, и народ верил, что Богиня голодает. В это время огнем и мечом правил Бог Солнца, и матери, чтобы защитить сыновей, одевали их в женскую одежду.

По закону самые благородные семейства снилфардов должны были принести в жертву Богине хотя бы одну дочь. Считалось, что Богиня будет оскорблена, если ей предложат в жертву девушку с физическим недостатком или порченую, и потому со временем снилфарды стали калечить дочерей, чтобы те избежали ранней смерти — отрубали пальцы или ухо. Потом увечье стало скорее символическим — вроде продолговатой голубой татуировки вдоль ключиц. Для женщины, не принадлежавшей к касте снилфардов, иметь такую татуировку считалось преступлением, но жадные до наживы владельцы борделей рисовали эти знаки чернилами на теле девиц, что умели изобразить надменность. Это нравилось клиентам — приятно думать, будто насилуешь высокородную снилфардскую принцессу.

Тогда же у снилфардов появился обычай брать в семью подкидышей — обычно детей рабыни и её хозяина, и на жертвенном алтаре подменять ими

законных дочерей. Обман, но аристократические семьи имели большой вес, и власти закрывали глаза на подмену.

Потом благородные семейства совсем обленились, сочтя обременительным растить чужих детей: они сразу отдавали девочек в Храм Богини, щедро оплачивая их содержание. Так как девочки носили имена знатных родов, они были достойны принести себя в жертву. Так заводят лошадей для скачек. Эта практика искажала изначальный благородный обычай — но к тому времени в Сакел-Норне продавалось всё.

Будущие жертвы держались в храме взаперти, их прекрасно кормили, дабы они были здоровыми и крепкими, и тщательно готовили к великому дню, чтобы девушки выполнили свой долг с блеском и не струсили. Существовало мнение, что идеальная жертва — словно танец: величавый и лирический, гармоничный и изящный. Ведь они не животные, которых грубо закалывают; девушки должны отдать жизнь добровольно. Многие из них верили своим наставникам, думали, что благоденствие всего королевства зависит от их самоотверженности. Они проводили долгие часы в молитве, добиваясь нужного настроения; их учили ходить с потупленным взором, улыбаться

с оттенком мягкой грусти и петь песни о Богине — об отсутствии и молчании, о неслучившейся любви и невыраженном сожалении, и о бессловесности — песни о невозможности петь.

Время шло. Мало кто принимал богов всерьёз, а чрезмерно набожных или старательных считали чокнутыми. Горожане отправляли древние ритуалы по привычке — не они были главным занятием.

Несмотря на изоляцию, некоторые девушки понимали, что их убивают из лицемерного почитания устаревшей идеи. Кое-кто при виде ножа пытался спастись. Другие истошно вопили, когда их, ухватив за волосы, бросали на алтарь, а кто-то проклинал самого короля, который на церемониях выступал Верховным жрецом. Одна девушка его даже укусила. Эта периодическая паника и ярость приводила горожан в негодование: подобное сопротивление сулило городу страшные беды. Или могло сулить, если верить, что Богиня существует. В любом случае эти вспышки портили торжество: все хотели насладиться жертвоприношением — даже йгнироды, даже рабы, которые по такому случаю получали выходной и в стельку напивались.

Поэтому за три месяца до ритуала девушкам

стали отрезать языки. Жрецы называли это улучшением природы, а не увечьем: немота — что может быть естественнее для служанок Богини Безмолвия?

И теперь каждую девушку, безъязыкую, разбухшую от слов, что рвались изнутри, закутанную в покрывала и убранную цветами, вели в процессии под торжественную музыку вверх по винтовой лестнице к девятым вратам города. Сегодня они казались бы избалованными невестами из светского общества.

Она приподнимается. А вот это необязательно, говорит она. Ты целишься в меня. Тебе просто нравится сама идея убийства бедных девушек в подвенечных уборах. Могу поклясться, что они блондинки.

Не в тебя, говорит он. Не вполне. В любом случае далеко не все я придумал сам, в истории есть примеры. Хетты….

Да, конечно, но ты эту историю смакуешь. Ты мстительный… нет, ты ревнуешь, хотя непонятно почему. Мне дела нет до хеттов, истории и всего прочего — это лишь оправдание.

Нет, подожди. Ты не возражала против жертвенных дев — сама включила их в меню. Я только выполняю заказ. К чему ты придираешься? К

одежде? Слишком много тюля?

Не будем ссориться, говорит она. Она чувствует, что вот-вот расплачется, и сжимает кулаки.

Я не хотел тебя расстраивать. Успокойся.

Она отталкивает его руку. Да, не хотел. Тебе просто нравится знать, что ты можешь.

Я думал, тебя это развлекает. Слушать, что я тут разыгрываю. Как я жонглирую эпитетами. Фиглярничаю перед тобой.

Она одергивает юбку и поправляет блузку. Как меня могут развлечь мертвые девушки в подвенечных уборах? Да ещё с отрезанными языками? Думаешь, я бесчувственная?

Я все переделаю. Все поменяю. Перепишу для тебя историю. Идет?

Не выйдет, говорит она. Сказанного не воротишь. Нельзя выкинуть полсюжета. Я ухожу. Она уже стоит на коленях, сейчас поднимется.

Еще уйма времени. Приляг. Он хватает её за руку.

Нет. Пусти. Посмотри, где солнце. Они вот-вот вернутся. У меня будут проблемы, хотя для тебя это не проблема, это не считается. Тебе наплевать. Тебе только бы побыстрее, побыстрее…

Ну, договаривай.

Сам знаешь, устало говорит она.

Это не так. Прости меня. Я животное. Меня занесло. Но ведь это всего лишь выдумка.

Она опускает голову на колени. Помолчав минуту, спрашивает: что я буду делать? Потом, когда тебя рядом не будет?

Ты справишься, говорит он. Переживешь. Дайка я тебя отряхну.

Это не отойдет; не стряхивается.

Давай тебя застегнем, говорит он. Не грусти.

Бюллетень школы им. полковника Генри Паркмена и Ассоциации выпускников, Порт-Тикондерога, май 1998 года

УЧРЕЖДЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЛОРЫ ЧЕЙЗ

МАЙРА СТЕРДЖЕСС, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

По завещанию покойной миссис Уинифред Гриффен Прайор из Торонто, в школе им. полковника Генри Паркмена учреждена новая важная премия. Знаменитого брата миссис Прайор, Ричарда Э. Гриффена, здесь тоже помнят: он часто отдыхал и рыбачил в Порт-Тикондероге. Фонд премии — мемориальной премии Лоры Чейз за достижения в области ли-

тературного творчества — составляет 200 долларов. Каждый год её будут вручать студенту выпускного курса за лучший рассказ. Лауреата изберет жюри в составе трёх членов Ассоциации, обладающих хорошим литературным вкусом и высокими моральными качествами. Наш директор, мистер Эф Эванс, заявляет: «Мы благодарны миссис Прайор за то, что она за множеством добрых дел не забыла и о нас».

Первая премия, названная в честь известной писательницы Лоры Чейз, местной уроженки, будет вручена на выпускной церемонии в июне нынешнего года. Сестра писательницы, миссис Айрис Гриффен, в девичестве Чейз (чье семейство в прошлом много сделало для нашего города), любезно согласилась лично вручить премию счастливому победителю. Осталось всего несколько недель, так что пусть ваши ребята пришпорят фантазию и возьмутся за дело.

Силами Ассоциации выпускников после церемонии в спортивном зале будет организовано чаепитие. Билеты можно

приобрести у Майры Стерджесс в «Пряничном домике». Собранные деньги пойдут на покупку новых футбольных форм, которые так нужны школе. Выпечка приветствуется, при наличии орехов, пожалуйста, указывайте содержание.

III

Церемония

Сегодня утром я проснулась в ужасе. Сначала не могла понять, почему, потом вспомнила. Сегодня вручают премию.

Солнце уже было высоко, в комнате — слишком жарко. Свет проникал сквозь тюлевые занавески, пылинки плавали в нём, точно тина в пруду. Голова тяжелая — прямо куль с мукой. В ночной рубашке, взмокшая от страха, отброшенного, словно ветки на ходу, я заставила себя вылезти из смятой постели; затем через силу совершила ежедневные утренние обряды — церемониал, что делает нас нормальными с виду и приятными окружающим. Надо пригладить волосы, при виде ночных призраков вставшие дыбом, смыть пристальный недоверчивый взгляд. Почистить зубы. Бог знает, что за кости я глодаю во сне.

Затем я ступила под душ, держась за поручень, который навязала мне Майра. Я изо всех сил старалась не уронить мыло: боюсь поскользнуться. Но делать нечего: тело должно быть облито из шланга: нужно смыть с кожи запах ночного

мрака. Подозреваю, что от меня исходит запах, которого я сама больше не чувствую, — вонь дряхлой плоти и мутной старческой мочи.

Полотенце, лосьон, пудра, дезодорант, напоминающий плесень — и я в каком-то смысле себя отреставрировала. Но меня не покидало ощущение невесомости или, скорее, такое чувство, будто я сейчас шагну в пропасть. Всякий раз я ступаю с опаской, словно пол вот-вот провалится. Меня держит лишь натяжение поверхности.

Одежда помогла. Без строительных лесов я не в лучшей форме. (А что с моей настоящей одеждой? Эти синие балахоны и ортопедическая обувь, верно, чужие. Но нет — мои; и что хуже, мне подходят.)

Теперь лестница. Я безумно боюсь с неё свалиться — сломать шею и распластаться внизу, выставив нижнее белье, постепенно растекаясь мерзкой лужицей, пока кто-нибудь не вспомнит обо мне и не придет. Очень неуклюжая смерть. Я с превеликой осторожностью, вцепившись в перила, шаг за шагом спустилась, а затем легко, словно кошачьими усиками, левой рукой касаясь стены, прошла по коридору в кухню. (Я ещё по большей части могу видеть. Могу передвигаться. *Благодарите и за малые деяния,* говорила Рини.

Зачем благодарить? спрашивала Лора. *Почему они такие малые?)*

Завтракать не хотелось. Я выпила стакан воды, а потом лишь беспокойно ерзала. В половине десятого за мной приехал Уолтер.

— Не жарко вам? — спросил он по обыкновению. Зимой он спрашивает: *не холодно? А* весной и осенью: *не сыро* или *не сухо?*

— Как дела, Уолтер? — как обычно, поинтересовалась я.

— Да пока вроде ничего плохого, — ответил он, как всегда.

— Лучшего и ожидать нельзя, — сказала я.

Он улыбнулся своей обычной улыбкой — в лице прорезалась щель — точно сухая глина треснула, — распахнул дверцу автомобиля и водрузил меня на переднее сиденье.

— Сегодня большой день, а? — сказал он. — Пристегнитесь, а то меня арестуют.

*Пристегнитес*ь он произнес так, словно шутил: он достаточно стар, чтобы вспоминать прежние вольные деньки. Он был из тех юношей, что разъезжают, выставив локоть в окно, а другую руку кладут девушке на колено. Самое поразительное, что этой девушкой была Майра.

Он осторожно отъехал от тротуара, и мы двину-

лись дальше в молчании. Он крупный мужчина, Уолтер, квадратный, как постамент, а шея — словно ещё одно плечо; от него пахнет старыми кожаными ботинками и бензином — не самый неприятный запах. Судя по его потертой рубашке и бейсболке, на церемонию он не собирается. Уолтер не читает книг, и потому нам вместе удобно; в его представлении, Лора — всего лишь моя сестра, и её смерть — ужасная несправедливость, вот и все.

Мне нужно было выйти замуж за такого мужчину, как Уолтер. Золотые руки.

Нет: совсем не стоило выходить замуж. Избежала бы многих неприятностей.

Уолтер затормозил перед школой. Послевоенная школа, уж пятьдесят лет прошло, но она по-прежнему кажется мне новостройкой: никак не привыкну к её унылому, бесцветному виду ящика для бутылок. Молодежь с родителями по тротуару и лужайке шли к парадному подъезду. Все одеты по-летнему ярко. Майра в белом платье, покрытом огромными красными розами, уже нас поджидала, кричала нам с крыльца. Женщинам с таким задом не стоит носить платья с крупными цветами. Стоит помянуть и корсеты — не то чтобы я о них скучала. Майра сделала прическу;

тугие седые, точно запеченные кудряшки — похоже на парик английского адвоката.

— Ты опоздал, — упрекнула она Уолтера.

— Совсем нет, — возразил тот. — Просто все остальные пришли слишком рано. Зачем ей зря тут торчать? — Они завели привычку говорить обо мне в третьем лице, словно я ребенок или домашнее животное.

Уолтер передал мою руку Майре, и мы взошли с ней по ступенькам крыльца, тесно прижавшись друг к другу, словно бегуны в паре. Я знала, что у Майры под пальцами: хрупкая лучевая кость, покрытая дряблой кашицей и жилами. Нужно было захватить трость, но я не представляла, как втащить её на сцену. Кто-нибудь обязательно споткнется.

Майра отвела меня за кулисы и спросила, не хочу ли я в туалет, — хорошо, что вспомнила, — а потом усадила меня в гардеробной.

— Посиди пока здесь, — сказала она. И, тряся ягодицами, заторопилась прочь — проверить, все ли в порядке.

Маленькие круглые лампочки, как в театре, окружали зеркало в гардеробной; их свет льстил, только не мне: я казалась больной — в лице ни кровинки, будто в вымоченном мясе. Волнуюсь

или и впрямь заболеваю? По правде говоря, чувствовала я себя не лучшим образом.

Отыскав гребень, я небрежно воткнула его в волосы на макушке. Майра все грозится отвести меня к «своей девушке» в заведение, которое она до сих пор величает Салоном Красоты (официально оно именуется «Парик-порт» — причем с уточнением «для лиц обоего пола»), но я сопротивляюсь. По крайней мере, волосы у меня, можно считать, свои — пусть и торчат, словно я только слезла с электрического стула. Сквозь них просвечивает череп — серо-розовый, точно мышиные лапки. Сильный ветер просто сдует мне волосы, будто пух с одуванчика; останется крошечный пятнистый початок лысой головы.

Майра оставила мне свое фирменное пирожное, испеченное для праздничного чаепития, — кусок бурой замазки, политой шоколадной слякотью, — и пластиковую фляжку с этим её кисловатым кофе. Я не могла ни есть, ни пить, но ведь создал же господь туалеты. Для достоверности я оставила на столе коричневые крошки.

Тут в гардеробную влетела Майра, сгребла меня в охапку и потащила за собой; и вот уже директор пожимает мне руку и бубнит, как мило с моей стороны прийти на церемонию; потом то же

самое проделывают его заместитель; президент Ассоциации выпускников; руководитель английского отделения — женщина в брючном костюме; представитель молодежной торговой палаты; и наконец член парламента от нашего райдинга, не желающий упустить шанс заработать очки. В последний раз я видела столько безукоризненных зубов в те времена, когда Ричард занимался политикой.

Майра подвела меня к стулу и шепнула: «Я буду тут, за кулисами». Школьный оркестр разразился писком и бемолями, и мы затянули: «О, Канада!» Никак не запомню слова — они постоянно меняются. Теперь кое-что поется на французском — немыслимая прежде вещь. Потом мы сели, выразив нашу коллективную гордость словами, которые не умели произносить.

Школьный священник прочитал молитву, проинформировав Господа, сколько сложных и неординарных решений приходится принимать современной молодежи. Господь, должно быть, не раз уже об этом слыхал и скучал не меньше нашего. Потом заговорили другие: конец двадцатого века, выбрасываем старое, привносим новое, граждане будущего, вам — из слабеющих рук и тому подобное. Я позволила себе отвлечься;

я понимала: от меня требуется одно — не опозориться. Как пред аналоем, или на каком-нибудь бесконечном обеде с Ричардом, где я обычно не раскрывала рта. Если спрашивали, что бывало не часто, говорила, что увлекаюсь садоводством. В лучшем случае, полуправда, но достаточно нудная, чтобы сойти за правду.

Настал черед вручения дипломов. Выпускники шли один за другим, серьёзные и сияющие, такие разные, но все красивые, как могут быть красивы только молодые люди. Даже самые уродливые красивы, даже угрюмые, толстые, даже прыщавые. Они и не понимают, как они красивы. И все-таки эти молодые раздражают. У них, как правило, ужасная осанка, а судя по песням, они только ноют и предаются пороку; *улыбайся и терпи* кануло в прошлое вместе с фокстротом. Не понимают они своего счастья.

Меня они едва замечали. Я для них — чудное существо, но, по-моему, такова общая участь: те, кто моложе, непременно записывают стариков в чудики. Если, конечно, обходится без крови.

Война, эпидемия, убийство, любые тяжкие испытания или насилие — это они уважают. Если кровь — значит, мы не шутили.

Затем пошли призы: информатика, физика,

бу-бу-бу, бизнес, английская литература и ещё что-то — я не уловила. Но вот представитель Ассоциации прочистил горло и начал благочестивый треп о Уинифред Гриффен Прайор, святой среди смертных. Сколько *лжи*, когда замешаны деньги! Не сомневаюсь, старая сука воображала всю картину, вставляя свое скаредное распоряжение в завещание. Она понимала, что потребуется мое присутствие; ей хотелось, чтобы я корчилась под любопытными взорами горожан, пока ей возносят хвалу за щедрость. *Сделай это в память обо мне.* Мне ужасно не хотелось ей потакать, но я не могла увильнуть, не показавшись трусихой, или виноватой, или равнодушной. Или хуже: все позабывшей.

Дошла очередь и до Лоры. Политик решил воздать ей должное сам: следовало проявить такт. Он говорил о Лориных местных корнях, о её смелости и «верности избранной цели» — какова бы эта цель ни была. И ничего о Лориной смерти, по общему мнению — несмотря на вердикт следователя — от самоубийства отличной не больше, чем «черт» от ругани. И ни слова о книге, которую большинство предпочли бы забыть. Но она не забыта — не здесь: и спустя пятьдесят лет от неё попахивает серой, на ней лежит табу. Я бы сказа-

ла, непостижимо: по части эротики устарела; что до сквернословия, то на любом углу услышишь словечки покрепче; секс благопристойнее танца с веером — почти эксцентричен, будто пояс с подвязками.

Раньше, конечно, все было иначе. Люди помнят не саму книгу, но ажиотаж вокруг неё: священники в церквях обличали её непристойность, — и не только в наших краях; библиотеку вынудили убрать её с полок; единственный в городе книжный магазин отказался её продавать. Люди ездили в Стратфорд, в Лондон или даже в Торонто, покупали книгу тайком — как презервативы. Вернувшись домой, задергивали шторы и читали — с неодобрением, с наслаждением, с жадностью и ликованием — даже те, кто никогда прежде не раскрыл ни одного романа. Ничто так не повышает грамотность, как щепотка грязи.

(Бесспорно, высказывались и добрые чувства. *Я не дочитала книгу — недостаточно сюжетна. Но бедняжка была так молода. Поживи она ещё, может, следующая книга удалась бы ей больше.* Это, наверное, лучшее, что можно сказать.)

Что они хотели от книги? Разврата, грязи, подтверждения худших подозрений. Но, быть может, некоторые вопреки себе жаждали обольщения.

Быть может, искали в ней страсти; рылись, точно в таинственной посылке — в подарочной коробке, на дне которой в шуршащую бумагу спряталось нечто, о чем они всегда мечтали, но никак не могли ухватить.

Но ещё всем хотелось разглядеть прототипы. То есть, помимо Лоры: её реальность сомнению не подвергалась. Хотелось реальных тел, что совпали бы с телами нарисованными. Хотелось подлинной страсти. И больше всего хотелось знать, *кто мужчина?* Кто был в постели с молодой женщиной — с красивой мертвой молодой женщиной, в постели с Лорой? Некоторые думали, что они-то знают. Ходили разные слухи. Для тех, кто мог сложить два и два, результат был очевиден. *Притворялась невинным младенцем. Тихоней прикидывалась. Видите — внешность обманчива.*

Но Лора уже была неуязвима. Достать могли только меня. Пошли анонимные письма. Почему я опубликовала такую грязь? Да ещё в Нью-Йорке — в этом Содоме. Какая мерзость! Как мне не стыдно? Я опозорила свою — такую уважаемую — семью, а заодно и весь город. У Лоры всегда было плохо с головкой, все это подозревали, а книга доказала. Мне следовало беречь память о Лоре.

Сжечь рукопись. Я смотрела на кляксы голов в зале — стариковских голов, — и словно вдыхала ядовитые испарения былой злобы, былой зависти, былого осуждения, что курились над ними, будто над остывающим болотом.

Что касается книги, то о ней не упоминали, задвинули её в угол, точно родственника, которого стыдятся. Такая тоненькая книжка, такая беспомощная. Незваная гостья на этом странном пиршестве, она тщетно била крылышками вдоль сцены, будто слабенький мотылек.

Я грезила, и тут меня схватили за руку, приподняли и сунули чек в конверте с золотым ободком. Объявили победителя. Фамилию я не расслышала.

Она шла ко мне, стуча каблучками. Высокая — молодые девушки теперь все высокие; должно быть, дело в питании. В черном платье — среди летних расцветок оно смотрелось мрачновато; в ткани поблескивали серебристые нити или бисер — словом, что-то сверкало. Длинные темные волосы. Овальное лицо, на губах светло-вишневая помада; слегка нахмурена, сосредоточена, напряжена. Кожа чуть желтоватая или смугловатая — может, индианка, или арабка, или китаянка? Теперь такое возможно даже в Порт-Тикондероге:

все перемешалось.

У меня екнуло сердце: острая тоска судорогой пронзила тело. Может, моя внучка — может, Сабрина сейчас такая, подумала я. Похожа или нет, остается лишь гадать. Я могу не узнать её при встрече — её прятали от меня слишком долго, её и теперь прячут. Что поделаешь?

— Миссис Гриффен, — прошипел политик.

Я качнулась, но удержалась на ногах. И что мне теперь говорить?

— Моя сестра Лора была бы рада, — задыхаясь проговорила я в микрофон. Голос пронзительный; я была на грани обморока. — Ей нравилось помогать людям. — Тут я не солгала. Я поклялась говорить одну только правду. — Она очень любила читать, любила книги. — Тоже, в общем, правда. — И пожелала бы вам на будущее всего самого лучшего. — И это правда.

Мне удалось передать конверт; девушке пришлось наклониться. Я шепнула ей на ухо или намеревалась шепнуть: *Да хранит тебя Господь! Береги себя!* Каждому, кто хочет путаться со словами, пригодится такое благословение и предостережение. Интересно, произнесла я это на самом деле или рыбой открыла и закрыла рот?

Девушка улыбнулась; на лице и в волосах

вспыхнули и заискрились бриллиантики. Обман зрения — меня подвели глаза и слишком яркий свет на сцене. Надо было надеть темные очки. Я заморгала. И тут девушка повела себя неожиданно: потянулась ко мне и поцеловала в щеку. В прикосновении её губ я почувствовала собственную кожу: мягкую, как тонкая лайка, морщинистую, рыхлую, древнюю.

Она шепнула что-то в ответ, но я не расслышала. Может, обычные слова благодарности, а может, — возможно ли? — что-то другое на незнакомом языке?

Она отвернулась. От неё шел такой яркий свет, что мне пришлось закрыть глаза. Я ничего не слышала и не видела. Надвигалась темнота. Аплодисменты взорвались в ушах биением невидимых крыл. Я пошатнулась и чуть не упала.

Кто-то из официальных лиц с хорошей реакцией схватил меня за руку и усадил на стул. Вернул в безвестность. В длинную Лорину тень. Подальше от греха.

Но старая рана открылась, и хлещет невидимая кровь. Скоро я опустею.

Серебряная шкатулка

Рыжие тюльпаны лезут из земли, помятые и потрепанные, как солдаты отвоевавшей армии. Я приветствую их с облегчением, точно людей, что машут платками из разбомбленного дома; и все же придется им пробиваться самостоятельно — от меня помощи мало. Иногда я ковыряюсь в зарослях за домом, убираю высохшие стебли и опавшие листья, не более того. Колени сгибаются с трудом — в земле копаться больше не могу.

Вчера я отправилась к врачу — посоветоваться насчет приступов дурноты. Его заключение: у меня, что называется, *сердце,* — будто у здоровых людей его нет. Похоже, я все-таки не буду жить вечно, просто уменьшаясь, серея и пылясь, словно Сивилла в бутылке[3]. Прошептав давным-давно: хочу умереть, я только теперь осознала, что мое желание сбудется — и довольно скоро. Неважно, что я передумала.

Я закуталась в шаль и села под навесом на задней веранде за деревянный щербатый стол,

---

[3] Примечания: 3

По легенде, древнегреческая прорицательница Сивилла испросила у Аполлона вечную жизнь, но не испросила вечной молодости, а потому старела, уменьшалась, пряталась в бутылке и молила Аполлона о смерти.

который Уолтер по моей просьбе принес из гаража. В гараже обычный хлам, оставшийся от прежних хозяев: коллекция тюбиков с засохшей краской, груда рубероида, полбанки ржавых гвоздей, моток проволоки. Воробьиные мумии, мышиные гнезда из клочков матраса. Уолтер вымыл стол «Явексом», но мышами все равно пахнет.

На столе — чашка с чаем, четвертинки яблока и пачка бумаги в синюю линейку — как на старых мужских пижамах. Еще я купила новую шариковую ручку, недорогую, из черной пластмассы. Хорошо помню свою первую авторучку — такую гладкую, такие синие кляксы на пальцах. Бакелитовая, с серебряным ободком. 1929 год. Мне исполнилось тринадцать. Лора взяла ручку без спросу — как и все остальное, — и с лёгкостью сломала. Я её, конечно, простила.

Как всегда. А что делать: нас было только двое. Ждем избавления на острове посреди колючек; а остальные люди — на материке.

Для кого я все это пишу? Для себя? Не думаю. Не могу представить, как потом стану перечитывать, потом для меня вообще проблематично. Для незнакомца из будущего, после моей смерти? И этого не хочу — или не надеюсь.

Может быть, ни для кого. Для кого пишут дети, выводя на снегу свои имена?

Я уже не такая ловкая, как раньше. Пальцы одеревенели, ручка дрожит и выводит каракули — я теперь дольше пишу. И все же я упорствую, скрючившись над столом, точно штопаю при луне.

В зеркале я вижу старую женщину — нет, не старую, никому теперь не дозволяется быть старой. Скажем, пожилую. Иногда я вижу пожилую женщину, похожую, наверное, на мою бабушку, которую я никогда не знала, или на мать, доживи она до моего возраста. Но порой я вижу лицо юной девушки, на которое когда-то тратила уйму времени, подчас впадая в отчаяние, — оно прячется под моим нынешним лицом, что кажется — особенно ближе к вечеру, под косыми солнечными лучами, — непрочным и прозрачным: стянула бы его, словно чулок.

Доктор говорит, мне нужно гулять — каждый день; говорит, для сердца. Я бы не стала. Не сама ходьба смущает меня, а выход на улицу. Чувствую себя экспонатом. Может, я это придумываю — взгляды, перешептывания? Может, да, а может, и нет. В конце концов, я местная достопримечательность, вроде пустыря с кирпичными обломками, где раньше стояло некое важное здание.

Какое искушение — никуда не выходить; превратиться в отшельницу, на которую соседские дети будут взирать с издевкой и толикой ужаса; пусть кустарники и сорняки растут, где им вздумается, а двери ржавеют; стану лежать в постели в чем-то вроде ночнушки — пусть волосы отрастают, опутывая подушку, ногти превращаются в когти, а свечной воск капает на ковёр. Но я давным-давно сделала выбор между классикой и романтикой. Предпочитаю не сгибаться и сдерживаться — гробницей при свете дня.

Наверное, не стоило сюда возвращаться. Но тогда я просто не знала, куда деваться. Как говорила Рини, *уж лучше знакомый дьявол.*

Сегодня я попробовала. Я вышла из дома, прогулялась. Отправилась на кладбище: нужна цель — иначе глупо выходить. Надела широкополую соломенную шляпу, чтобы солнце не било в глаза, темные очки, взяла трость, чтобы нащупывать бордюр. И ещё пластиковую сумку.

Я пошла по Эри-стрит — мимо химчистки, фотомастерской и других лавок, уцелевших после оттока клиентуры в универмаги на окраине. Миновала кафе «У Бетти», которое опять перешло в другие руки: рано или поздно хозяевам надоедает возиться, или они умирают, или переезжают во

Флориду. При кафе есть внутренний дворик, где туристы могут сидеть на солнышке, поджариваясь до румяной корочки; дворик позади кафе — потрескавшаяся цементная площадка, там раньше стояли мусорные баки. В кафе торгуют пельменями и капуччино, смело их рекламируя, словно горожане издавна знают, что это такое. Теперь, правда, уже знают — вкусили хотя бы для того, чтобы иметь право фыркать. *Не нравится мне этот пух на кофе. Похоже на крем для бритья. Глотаешь — и рот словно мылом набит.*

Раньше здесь кормили пирогами с курятиной, но их давно не пекут. Теперь продают гамбургеры, однако Майра не советует их есть. Говорит, эти замороженные котлеты — из мясной пыли. А мясную пыль, говорит, соскребают с пола, когда электропилой распиливают мороженые коровьи туши. Майра в парикмахерской читает много журналов.

Вход на кладбище через кованые железные ворота, на арке — замысловатый витой узор, а сверху надпись: *Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной*[4]. Да, казалось бы, вдвоем безопаснее. Но *Ты* — пер-

---

[4] Примечания: 4
Псалтирь 22:4.

сонаж ненадежный. Все мои знакомые *Ты* вечно подводили. Они удирают из города, предают или мрут, как мухи, — и куда тебе деваться?

Да прямо сюда.

Фамильный памятник семейства Чейзов трудно не заметить: он выше всех. На массивном каменном кубе с завитками по углам — два белых мраморных викторианских ангела — сентиментальные, но для памятника неплохи. Один стоит, скорбно склонив голову, рука нежно легла второму на плечо. Тот преклонил колена и, прислонившись к бедру соседа, устремил взор вперед, прижимая к груди охапку лилий. Фигуры — сама благопристойность, их очертания теряются в складках мягко ниспадающего непроницаемого минерала, но все-таки видно, что это женщины. Над ними хорошо потрудились кислотные дожди: когда-то внимательные глаза помутнели, расплылись и пористы, точно у ангелов катаракта. Хотя, может, это я теряю зрение.

Мы с Лорой часто сюда приходили. Сначала нас приводила Рини, считавшая, что посещение семейных могил детям полезно, а потом мы ходили и сами: благочестивый, а значит, подходящий предлог уйти из дома. Маленькая Лора говорила, что ангелы — это мы, я и она. Я возражала: анге-

лов поставили при бабушке, когда нас ещё и на свете не было. Но Лора никогда не обращала внимания на подобные доводы. Её больше занимали формы — то, чем были вещи в себе, а не то, чем они не были. Она жаждала сущностей.

С годами я завела привычку приходить сюда не реже двух раз в год — хотя бы прибраться. Один раз приезжала на машине, но больше не ездила: слишком плохо вижу. Сейчас, с трудом наклонившись, я собрала засохшие цветы от неизвестных Лориных поклонников и засунула букеты в пластиковую сумку. Теперь подношений меньше, но по-прежнему немало. Сегодня некоторые были довольно свежими. Иногда я нахожу здесь благовония и свечи, будто кто-то вызывал Лорин дух.

Собрав цветы, я обошла памятник, читая имена усопших Чейзов, выгравированные по сторонам куба. *Бенджамин Чейз и его возлюбленная жена Аделия; Норвал Чейз и его возлюбленная жена Лилиана; Эдгар и Персивал — они никогда не состарятся, как мы, кто остался стариться.*

И Лора тоже, где бы она ни была. Её сущность.

Мясной прах.

На прошлой неделе в городской газете вместе с заметкой о премии напечатали фотографию Лоры — обычную фотографию, ту, что на супероб-

ложке, — единственную, что появилась в печати, поскольку только её я и отдала. Студийный снимок: торс повернут от фотографа, а голова к нему — подчеркнуть грациозность шеи. *Немного сюда, теперь поднимите глаза, смотрите на меня, вот так, а теперь улыбочка.* У неё длинные белокурые волосы, как и у меня тогда, — светлые, почти белые, будто смыта вся рыжина — железо, медь, все тяжелые металлы. Прямой нос, лицо сердечком, большие, ясные, простодушные глаза, брови дугой, растерянно вздернутые у переносицы. Намек на упрямство в линии подбородка, но если не знать — не заметишь. Почти никакой косметики, и лицо обнажено. Глядя на губы, понимаешь, что видишь плоть.

Хорошенькая, даже красивая, трогательно нетронутая. Как на рекламе мыла — только натуральные ингредиенты. Пустое лицо; отрешенно, наигранно непроницаемое, как у всех тогдашних воспитанных девочек. Чистая страница, что не хочет писать, но ждет, чтобы писали на ней.

Только из-за книги её до сих пор помнят.

Лора вернулась в маленькой серебряной шкатулке, вроде портсигара. Представляю, что говорили в городе; кажется, так и слышу: *Это, конечно, уже не она, просто пепел. Невероятно,*

что Чейзы согласились на кремацию — они раньше такого не делали, и в лучшие дни до такого бы не унизились; впрочем, так легче, можно было закончить начатое: она ведь все равно обгорела. И все же, думаю, они захотят положить её с семьей. Под этим большим надгробием с двумя ангелами. Ни у кого больше нет сразу двух ангелов, но ведь у Чейзов тогда денег куры не клевали. Любили пофорсить, пустить пыль в глаза, быть главнее всех. Больших шишек изображали… Разумеется, развеяли где-нибудь здесь.

Все это произносится как бы голосом Рини. Она переводила нам город — мне и Лоре. На кого ещё мы могли опереться?

За памятником есть свободное местечко. Вроде забронированного билета — на неопределенный срок — так Ричард в свое время бронировал билеты в Театр королевы Александры. Это для меня, здесь я уйду в землю.

А бедняжка Эйми в Торонто, на кладбище Маунт-Плезант, рядом с Гриффенами — Ричардом, Уинифред, под безвкусным монументом из полированного гранита. Уинифред об этом позаботилась — заявила права на Ричарда и Эйми сразу же, поторопившись заказать гробы. Кто платит гробовщикам, тот и заказывает му-

зыку. Будь её воля, она бы меня и на похороны не пустила.

Но Лора ушла первой, когда Уинифред ещё не отработала свою тактику похищения трупов. Лора поедет домой, сказала я, — так и вышло. Прах я рассыпала по земле, а серебряную шкатулку сохранила. Хорошо, что не закопала: какой-нибудь поклонник обязательно бы стянул. Эти люди ничем не брезгуют. Год назад я наткнулась на одного: вооружившись совком и банкой для варенья, он сгребал с могилы грязь.

Интересно, где закончит свой путь Сабрина? Она последняя из нас. Думаю, она ещё жива — иначе я бы знала. Еще неизвестно, с кем рядом она предпочтет лежать, на каком кладбище. Может, выберет место подальше от всех. Я бы её не упрекнула.

Первый раз она сбежала из дома в тринадцать лет. Уинифред, вне себя от гнева, позвонила мне, обвинив в подстрекательстве и помощи беглянке, — спасибо, не сказала «похищение». Она хотела знать, у меня ли Сабрина.

— Не думаю, что обязана перед тобой отчитываться, — сказала я, чтобы её помучить. Это справедливо: обычно правом мучить распоряжалась она. Все мои открытки, письма и подарки

Сабрине на дни рождения Уинифред отсылала обратно. На свертках коренастым почерком тирана значилось *вернуть отправителю.* — В конце концов, я её бабушка. Она может приехать ко мне в любое время. Здесь ей всегда рады.

— Вряд ли нужно напоминать, что я её законная опекунша.

— Раз вряд ли нужно, зачем напоминаешь?

Но Сабрина не приезжала ко мне. Никогда. Нетрудно догадаться, почему. Бог знает, что ей обо мне Говорили. Ничего хорошего.

Пуговичная фабрика

Летний зной пришел всерьёз и надолго, затопив город каким-то супом-пюре. Раньше была бы малярийная погода; холерная. Деревья надо мною — точно поникшие зонтики, бумага под пальцами влажна, а слова расползаются помадой на увядших губах.

В такую жару мне гулять нельзя: начинается сердцебиение. Я это отметила со злорадством. Не следует подвергать сердце таким испытаниям — особенно теперь, когда я знаю о его плачевном состоянии, однако я извращенно наслаждаюсь, словно я — уличный громила, а сердце — маленький плачущий ребенок, чью слабость я

презираю.

По вечерам слышится гром — далекий стук и спотыкание, словно Бог на попойке. Я встаю пописать, возвращаюсь и верчусь на влажном белье, прислушиваясь к монотонному урчанию вентилятора. Майра говорит, мне нужен кондиционер, но я не хочу. Да и позволить себе не могу. «А платить за него кто будет?» — спрашиваю я Майру. Она, должно быть, считает, что у меня во лбу бриллиант, как у сказочной жабы.

Цель моей сегодняшней прогулки — Пуговичная фабрика, я собираюсь выпить там утренний кофе. Доктор предупреждал насчет кофе, но ему всего пятьдесят лет, и он бегает трусцой в шортах, выставив напоказ волосатые ноги. Он не знает всего — для него это, наверное, новость. Что-то меня все равно убьет — не кофе, так что-нибудь другое.

Эри-стрит изнемогала от туристов, преимущественно среднего возраста: они суют нос в сувенирные лавки, копаются в книжных магазинах — пока заняться нечем, а после ланча им ехать на летний театральный фестиваль неподалеку, где они проведут несколько приятных часов, созерцая предательства, садизм, адюльтеры и убийства. Некоторые двигались туда же,

куда и я, к Пуговичной фабрике — за мещанскими раритетами на память о кратком отдыхе от двадцатого века. Такие вещи Рини звала пылесосами. И самих туристов тоже так называла.

В этой пестрой компании я дошла до того места, где Эри-стрит превращается в Милл-стрит и дальше идет вдоль реки Лувето. В Порт-Тикондероге две реки — Жог и Лувето — названия остались от французской фактории в месте их слияния, не то чтобы мы тут увлекались французским — мы зовем эти реки Джог и Лавтоу. Быстрое течение Лувето стало приманкой для первых мельниц, а затем электростанций. Жог, напротив, река спокойная и глубокая, пригодная для судоходства ещё на тридцать миль выше озера Эри. По ней в город доставляли известняк: отступившие внутренние моря оставили огромные залежи, с которых и началась городская промышленность. (Пермский период? Юрский? Когда-то я знала.) Большинство городских домов построены из известняка — мой в том числе.

На окраинах остались заброшенные каменоломни — глубокие квадратные или прямоугольные отверстия в камне, словно из него вырезали здания целиком. Иногда я представляю себе, как город поднимается из глубин доисторического

океана, распускаясь актинией или пальцами надутой резиновой печатки, раскрываясь толчками, как цветы на бурой зернистой пленке, что показывали в кинотеатрах — когда же это было? — ещё до игровых фильмов. Любители окаменелостей рыщут по окраинам в поисках вымерших рыб, древних папоротников, коралловых завитков; если подростки хотят покуролесить, они тоже отправляются туда. Разводят костры, пьянствуют, курят наркотики и щупают друг друга, словно сами это выдумали, а по пути в город разбивают родительские машины.

Мой собственный сад за домом примыкает к Ущелью Лувето, где река сужается и рушится вниз. Обрыв достаточно крут, чтобы вызывать туман и некоторый трепет. Летом сюда на выходные приезжают туристы — бродят по тропе над обрывом или стоят на самом краю, щелкая фотоаппаратами. Из сада я вижу, как проплывают за забором их мирные, раздражающие белоснежные панамы. Обрыв оседает, место опасное, но городские власти не желают тратить деньги на ограждение — здесь считают, что если ты дурак и делаешь глупости, то получай, что заслужил. Бумажные стаканчики из кондитерской крутятся в водоворотах; иногда там оказывается труп — и не

понять, случайно упал человек, прыгнул, или его столкнули — если, конечно, не осталось записки.

Пуговичная фабрика расположена на восточном берегу Лувето, в четверти мили вверх от Ущелья. Несколько десятилетий фабрика стояла беспризорная — окна разбиты, крыша течет, — приютом крыс и алкашей; некий комитет энергичных горожан спас её от полного разрушения, отдав под модные лавки. Вновь разбили цветочные клумбы, песком отчистили стены, уничтожили следы времени и вандализма, но и сейчас нижние окна в темных разводах копоти после пожара, что случился более шестидесяти лет назад.

Здание построено из красно-бурого кирпича, в нём большие окна из множества мелких стекол, — раньше на фабриках так экономили на освещении. Довольно красивое для фабрики: лепные фестоны с розами, заостренные окна, мансардная крыша из зеленого и красного шифера. Рядом крошечная парковка. Добро пожаловать на Пуговичную фабрику, гласит вывеска — старомодная, точно цирковая; и немного мельче: ночная парковка запрещена. А ещё ниже яростным черным фломастером нацарапано: *Ты не гребаный Господь Бог, и земля — не твое гребаное*

шоссе. Подлинный местный штрих.

Центральный вход расширили, построили пандус для колясок, старые тяжелые двери заменили новыми из зеркального стекла с указателями: Вход; Выход; Тяни; Толкай — четверка командиров двадцатого столетия. Внутри играет музыка, сельские скрипочки: раз-два-три — бодрый душераздирающий вальс. Над центральным залом — стеклянный потолок, пол выложен «под булыжник», недавно покрашенные зеленые скамейки и несколько кадок с сердитыми кустиками. Вокруг магазины — якобы парк.

Голые кирпичные стены украшены увеличенными старыми фотографиями из городского архива. Первая — цитата из газеты — монреальской, не нашей, — и дата, 1899 год:

Не стоит воображать себе мрачные адские фабрики Старой Англии. Фабрики Порт-Тикондероги стоят посреди изобилия зелени и веселых цветов; эти фабрики умиротворяет журчание ручейков; они чисты и проветрены; рабочие веселы и деятельны. Если стоять на закате солнца на элегантном новом Юбилейном мосту, что чугунной кружевной радугой изогнулся над каскадами реки Лувето, кажется, будто видишь волшебную страну, — это мигают, отражаясь в сверкающих

водах, огни пуговичной фабрики Чейзов.

В этой статье далеко не все ложь. Пусть недолго, но фабрика действительно процветала, собираясь процветать и дальше.

Затем фотография моего деда в сюртуке и цилиндре, с седыми бакенбардами; с кучкой других лощеных сановников он ожидает появления герцога Йоркского — тот в 1901 году путешествовал по Канаде. Вот мой отец с венком на открытии Военного Мемориала — высокий серьёзный мужчина с усами и повязкой на глазу; зернистая, если смотреть близко. Я отступаю, чтобы рассмотреть отца получше, стараясь заглянуть в здоровый глаз, но он на меня не смотрит — смотрит вдаль, за горизонт; спина прямая, плечи откинуты, будто перед ним расстрельная команда. Стойкий, можно сказать.

Фотография самой фабрики — 1911 года, гласит подпись. Лязгающие рычаги станков — точно лапки кузнечика, стальные винты, зубчатые колеса, поршни, что ходят взад-вперед и штампуют пуговицы; работницы склонились над длинными столами, что-то руками делают. У станков — мужчины в наглазниках и жилетах, рукава закатаны; за столами — женщины с высокими гладкими прическами и в фартуках. Считают

пуговицы и раскладывают их по коробкам или же пришивают к картонкам с нашей фамилией — по шесть, восемь или двенадцать пуговиц на картонку.

Ближе к концу зала — бар «Настоящая Энчилада», с живой музыкой по субботам и пивом, как уверяют, с местных пивоварен. Деревянные столешницы — прямо на бочках, и ностальгические отдельные сосновые кабинки вдоль одной стены. В меню, выставленном в витрине, — внутрь я никогда не заходила — блюда, которые кажутся мне экзотическими: пирожки с плавленым сыром, картофельные шкурки, начо. Пропитанное жиром сырье для не самой почтенной молодежи — так говорит Майра. У неё удобный наблюдательный пункт по соседству, и если в «Настоящей Энчиладе» что-нибудь происходит, Майра всегда в курсе. По её словам, туда ходят сутенер и наркодилер — оба среди бела дня. Она мне их показала, возбужденно при этом шепча. Сутенер в костюме-тройке напоминал брокера. У торговца наркотиками были седые усы; он носил джинсы, точно профсоюзный деятель прошлых лет.

Лавка Майры — «Пряничный домик, сувениры и товары для коллекционеров». Он пахнет сладко и пряно — бывают такие коричные спреи; в

лавке продается уйма вещей: джем в баночках с крышками из набивного ситца; подушки в виде сердечек с сухими травами внутри, пахнущие сеном; неуклюжие резные короба, изготовленные «традиционными мастерами»; стеганые одеяла, якобы сшитые меннонитами; щетки для чистки туалетов с ручками в виде ухмыляющихся уток. Так Майра представляет себе представление горожан о сельской жизни, жизни их предков из захолустья — кусочек истории, что можно увезти домой. Прошлое, насколько я помню, никогда не было таким очаровательным и, конечно, таким чистым, но подлинную вещь из прошлого не продашь: большинство людей предпочитают прошлое без запаха.

Майра любит дарить мне сувениры из своей сокровищницы. То есть заваливает меня вещами, которые не покупают. У меня уже есть перекошенный плетеный венок, неполный набор деревянных салфеточных колец с ананасиками; толстенная свеча, пахнущая чем-то вроде керосина. На день рождения она подарила мне кухонные рукавицы в виде клешней омара. Не сомневаюсь, что дарила от всей души.

А может, старается меня смягчить: Майра — баптистка, хочет, чтобы я нашла Иисуса или

наоборот, он — меня, пока ещё не поздно. Для Майриной семьи это нетипично: её мать Рини богом никогда не увлекалась. Было взаимное уважение; попав в беду, естественно, к нему обращаешься — как обращаются к адвокатам; но, как и с адвокатами, должна случиться очень большая беда. Иначе нет смысла его впутывать. А уж на кухне он Рини точно не был нужен, у неё и так хватало забот.

После некоторых колебаний, я купила печенье в «Песочном Гноме» — овсяное и шоколадное, и ещё кофе в пенопластовом стаканчике, и села на скамейку, прихлебывая кофе и облизывая пальцы, отдыхая и слушая печально-гнусавую мелодию.

Пуговичную фабрику в начале 1870-х построил мой дедушка Бенджамин. Тогда всем стали нужны пуговицы — для одежды и всего прочего: население континента росло с огромной скоростью; пуговицы можно было производить и продавать дешево; в этом-то, по словам Рини, и был шанс моего деда — и тот своего шанса не упустил, пошевелив мозгами, что даровал ему Господь.

Его предки приехали сюда из Пенсильвании в 1820-е годы из-за дешевой земли и возможности

строить: город выгорел во время войны 1812 года — многое предстояло возводить заново. Эти люди — немцы, сектанты, что скрестились с пуританами седьмого колена, — трудолюбивый, но пылкий коктейль, породивший, помимо обычных добродетельных люмпен-фермеров, трёх разъездных священников, двух неумелых спекулянтов земельными участками и мелкого растратчика, — были искателями счастья с мечтательной жилкой и взором, вечно устремленным за горизонт. У деда это проявлялось в склонности к риску, хотя рисковал он лишь собой.

Его отец владел скромной мукомольной мельницей, одной из первых в Порт-Тикондероге, — ещё в те дни, когда мельницы работали на воде. Когда он умер от апоплексического удара — тогда это так называлось, — деду было двадцать шесть. Он унаследовал мельницу, одолжил денег и закупил в Штатах станки для пуговичного производства. Первые пуговицы делались из дерева и кости, а самые модные — из коровьего рога. Кости и рога приобретались за гроши на окрестных скотобойнях; что же касается дерева, то оно валялось повсюду, и люди его жгли, только чтобы от него избавиться. С дешевым сырьем, дешевой рабочей силой и расширяющимся рынком — как

можно не преуспеть?

Мне в детстве нравились другие пуговицы, не те, что выпускались на дедовской фабрике, — крошечные перламутровые, или нежные янтарные, или из белой кожи — для дамских перчаток. Дедовские пуговицы были вроде галош среди остальной обуви, невозмутимые и практичные, для пальто, шинелей или рабочей одежды, какие-то основательные и даже грубые. Они хорошо смотрелись на длинном нижнем белье, где застежка сзади, или на ширинках. Эти пуговицы скрывали нечто висячее, ранимое, постыдное, неизбежное — необходимое, но презираемое.

Трудно представить, какие чары обнаружатся у внучек человека, выпускающего такие пуговицы — разве что деньги. Впрочем, деньги или слух о них всегда как-то слепят, и мы с Лорой выросли с некой аурой. Никому в Порт-Тикондероге наши пуговицы не казались смешными или презренными. К пуговицам здесь относились серьёзно; неудивительно: от них зависела работа слишком многих.

С годами дед купил ещё несколько мельниц и тоже переоборудовал их в фабрики. На одной фабрике, трикотажной, шили нижние рубашки и комбинации; на другой — носки; на третьей

делали мелкую керамику, вроде пепельниц. Условиями на фабриках дед гордился; он прислушивался к жалобам, когда у кого-нибудь хватало смелости пожаловаться, и сокрушался, узнавая о несчастных случаях. Он постоянно совершенствовал механику, — можно сказать, все совершенствовал. Дед первым из городских фабричных владельцев провел на фабрику электричество. Еще он считал, что Цветочные клумбы поднимают рабочим настроение, — обычно высаживали циннии и львиный зев: они дешевые, яркие и долго цветут. Дед уверял, что женщины у него на фабрике в безопасности, как в собственных гостиных. (Он считал, у них есть гостиные. Он считал, что в этих гостиных безопасно. Ему нравилось обо всех думать хорошо.) На работе он не терпел пьянства, сквернословия и распущенности.

Во всяком случае так говорится в книге «История предприятий Чейза», которую дед в 1903 году заказал и сам издал в зеленом кожаном переплете; на обложке, помимо названия, была золотом оттиснута его собственная честная подпись. Он дарил экземпляры этой бесполезной хроники деловым партнерам — они, должно быть, изумлялись, хотя, может, и нет. Видимо, таков был

обычай, иначе бабушка Аделия никакой бы книги не допустила.

Я сидела на скамейке и грызла печенье. Огромное — с коровью лепешку, безвкусное, рассыпчатое и сальное, как теперь пекут, и конца ему не было видно. Не лучшее занятие в такую жару. У меня слегка кружилась голова — наверное, от кофе.

Я поставила чашку рядом, и тут со скамейки на землю свалилась трость. Я наклонилась за ней, но никак не могла ухватить. В результате потеряла равновесие и опрокинула кофе. Я почувствовала его через юбку — еле теплый. Когда встану, будет коричневое пятно, словно у меня недержание. Так люди подумают.

Интересно, почему в таких случаях кажется, что все только на тебя и пялятся? Обычно никто не смотрит. Кроме Майры. Должно быть, видела, как я вошла; должно быть, глаз не спускала. Выбежала из своей лавки.

— Ты белая, как мел! Да на тебе лица нет! — сказала она. — Надо тут вытереть! Господи боже, ты что, всю дорогу шла пешком? Обратно сама не пойдешь. Я позвоню Уолтеру — он тебя отвезет.

— Сама справлюсь, — ответила я. — Со мной все хорошо. — Но дала ей сделать, как она сказала.

Авалон

Опять кости заныли — как всегда в сырую погоду. Ноют, будто история, — все давно закончилось, но по-прежнему отдается болью. Когда болит сильно, я не могу уснуть. Каждую ночь жажду сна, борюсь за него, но он лишь колышется передо мною темным занавесом. Есть, конечно, снотворное, но доктор не советует.

Прошлой ночью, после, кажется, долгих часов влажного верчения в постели, я встала и босиком проползла вниз, нащупывая путь в слабом свете уличного фонаря, проникавшем в окно над лестницей. Благополучно спустившись, я потащилась на кухню и стала шарить в расплывчатом блеске холодильника. Ничего оттуда есть не хотелось: замызганные травинки сельдерея, заплесневелая горбушка хлеба, подпорченный лимон. Сырный обрезок в сальной бумаге — твердый и полупрозрачный, как ногти на ногах. У меня теперь привычки отшельницы: ем что попало и от случая к случаю. Закуски украдкой, угощенья и пикники украдкой. Я решила, что сойдет арахисовое масло, и запустила в банку палец — зачем пачкать ложку?

Когда я стояла в кухне с банкой в руке и паль-

цем во рту, мне показалось, будто сейчас сюда кто-то войдет — другая женщина, невидимая, настоящая хозяйка, — и спросит, какого черта я делаю у неё на кухне. Не первый раз, даже когда я делаю вполне законные бытовые вещи — чищу банан или полощу рот — возникает ощущение, будто я что-то нарушаю.

По ночам ещё сильнее чувство, будто это чужой дом. Придерживаясь за стены, я бродила по коридору, столовой, гостиной. Мои вещи проплывали мимо в своих озерцах мрака, отделенные от меня, не признающие меня хозяйкой. Я же взирала на них глазами взломщика, решая, что стоит красть, а что лучше оставить. Грабители забрали бы очевидное — бабушкин серебряный чайник, фарфор с ручной росписью. Уцелевшие ложки с монограммой. Телевизор. Ничего из этого я не хочу.

После моей смерти кому-то придется все разбирать. Не сомневаюсь, что Майра справится: она считает, что унаследовала меня от Рини и с восторгом сыграет роль семейного доверенного слуги. Я ей не завидую: любая жизнь — кучка мусора, а после смерти — особенно. Причем на удивление маленькая кучка. Убираясь за покойным, понимаешь, как мало зеленых мусорных пакетов в свое время займешь сам.

Щипцы для орехов в виде крокодила, одинокая перламутровая запонка, черепаховый гребень с недостающими зубьями. Сломанная серебряная зажигалка, чашка без блюдца, столовый прибор без графинчика. Распавшийся костяк *дома,* тряпье, реликвии. Выброшенные на берег обломки кораблекрушения.

Сегодня Майра убедила меня купить электрический вентилятор — такой, на высокой ножке, гораздо лучше моей прежней дребезжащей крохи. Тот, который Майра имела в виду, дешево продавался в новом универмаге по ту сторону Жога. Майра меня отвезет: все равно она туда собиралась, её совсем не затруднит. Её способность изобретать предлоги меня удручает.

Нам пришлось проехать мимо Авалона — того, что раньше было Авалоном: теперь он выглядит удручающе. Валгалла[5] — вот что это теперь такое. Какому безмозглому бюрократу пришло в голову, что Валгалла — подходящее название для дома престарелых? Насколько я помню, Валгалла — место, где оказываешься после, а не перед смертью. Но, быть может, это он и имел в виду.

---

[5] Примечания: 5

Чертог убитых; в скандинавской мифологии царство павших в бою воинов.

Дом расположен превосходно — на восточном берегу Лувето, где она сливается с Жогом; здесь романтический вид на Ущелье, да к тому же безопасный причал для катеров. Дом велик, но кажется переполненным, его потеснили хлипкие бунгало, выросшие здесь после войны. На веранде сидят три пожилые женщины; та, что в инвалидном кресле, воровато курит — словно непослушный юнец в туалете. В один прекрасный день они спалят дом, как пить дать.

Я не была в Авалоне с тех пор, как он превратился в дом престарелых; теперь в нём наверняка пахнет детской присыпкой, прокисшей мочой и вчерашней вареной картошкой. Лучше помнить его прежним — пусть и в мое время, когда уже вползало увядание: прохладные широкие коридоры, гладкие просторы кухни, ваза севрского фарфора с сухими лепестками, что стояла в парадном вестибюле на круглом столике из вишневого дерева. Наверху, в Лориной комнате, на каминной полке выбоина — это Лора уронила подставку для дров; очень на Лору похоже. Я одна теперь это знаю. Глядя на Лору — полупрозрачная кожа, гибкость, длинная шея балерины — все думали, она грациозна.

Авалон не типичный известняковый дом. Тот,

кто его строил, хотел чего-то необыкновенного, и потому дом сложен из округлых булыжников, скрепленных цементом. Издали Авалон кажется бородавчатым, точно кожа динозавра или колодец желаний на картинках. Мавзолей стремлений — так я его теперь называю.

Дом не особо элегантен, но в свое время считался довольно внушительным — особняк делового человека: извилистая подъездная аллея, приземистая готическая башня, большая полукруглая веранда, глядящая на обе реки; на рубеже веков на веранде в послеполуденный безжизненный зной дамам в шляпах с цветами подавали чай. Во время приемов в саду там располагались струнные квартеты, а бабушка с друзьями давали любительские спектакли — на закате, при свете факелов. Мы с Лорой под верандой прятались. Она теперь прогнулась, её нужно покрасить.

Когда-то был ещё бельведер, обнесенный забором огород, несколько цветочных клумб, пруд с золотыми рыбками и стеклянная оранжерея (теперь разрушенная), где росли папоротники и фуксии, редкие хилые лимоны и кислые апельсины. В доме имелась бильярдная, гостиная, маленькая столовая при кухне и библиотека с мраморной Медузой над камином — Медузой

девятнадцатого века: непроницаемый взгляд прекрасных глаз и змеи, что мучительными мыслями извиваясь выползали из головы. Камин был французский; заказывали что-то другое, какого-то Диониса с виноградными лозами, но вместо него прислали Медузу. Франция слишком далеко, чтобы отсылать посылку обратно, и Медузу оставили.

Еще в доме была просторная сумрачная столовая: обои Уильяма Морриса[6] с рисунком «Клубничный вор», люстра, увитая бронзовыми кувшинками, и три английских витража с Тристаном и Изольдой (преподнесен любовный напиток в рубиновой чаше; влюбленные, Тристан на одном колене, Изольда тоскует по нему, каскад золотистых волос — их трудно изобразить на стекле: выходит какая-то оплывшая метелка; Изольда одна, унылая, в пурпурных одеждах, рядом арфа).

Планировка и убранство осуществлялись под надзором бабушки Аделии. Она умерла до моего рождения; насколько я слышала, она — железная рука в бархатной перчатке, и воля у неё — тверже

---

[6] Примечания: 6

Уильям Моррис (1834–1896) — английский художник. В 1861 г. организовал художественно-промышленную компанию по производству декоративной мебели, тканей, обоев и т. д.

костепилки. А ещё она была Культурным человеком, что давало ей определенное моральное преимущество. Не то что сейчас; люди тогда думали, что Культура делает вас лучше. Верили, что она может возвысить; ну, то есть женщины в это верили. Они ещё не видели Гитлера в опере.

Девичья фамилия Аделии была Монфор. Девушка из хорошей семьи, — по крайней мере, по стандартам Канады: второе поколение англичан из Монреаля, породнившихся с французскими гугенотами. Когда-то Монфоры преуспевали — заработали на железных дорогах, — но из-за рискованных спекуляций и собственной инерции уже катились по наклонной. Поэтому, когда время стало поджимать, а подходящий муж все не объявлялся, Аделия вышла замуж за деньги — грубые деньги, пуговичные. Предполагалось, что она их рафинирует — как масло.

(Она не выходила замуж — её выдали, объясняла Рини, раскатывая тесто для имбирного печенья. Обо всем договорились родные. Обычная практика в таких семьях, и кто решится утверждать, что это лучше или хуже собственного выбора? Аделия Монфор выполнила свой долг, и ей ещё повезло: она засиделась в девках — ей, должно быть, стукнуло двадцать три, а в те

времена это было уже чересчур.)

У меня есть фотография деда и бабушки, сделанная вскоре после свадьбы, — в серебряной рамке с цветами вьюнка. Они сфотографировались на фоне бархатного занавеса с бахромой и двух папоротников на подставках. Бабушка Аделия сидит откинувшись в кресле: красивая женщина с тяжелыми веками, на ней пышное платье, в глубоком кружевном вырезе — длинная двойная нитка жемчуга, руки вялы, точно выпотрошенные куры. Дедушка Бенджамин сидит за ней в официальном костюме, солидный, но смущенный, будто его нарядили специально для этого случая. Оба словно затянуты в корсеты.

В подходящем возрасте, лет в тринадцать-четырнадцать, я фантазировала про Аделию. Глядя ночью в окно, на лужайки и посеребренные луной клумбы, я словно видела, как она в белом кружевном платье задумчиво бредет по саду. Я придумала ей томную, пресыщенную, слегка насмешливую улыбку. А потом и любовника. Они встречались у оранжереи, давно заброшенной: мой отец не интересовался теплицами с апельсинными деревьями. Но в воображении я оранжерею возродила и насадила цветами. Орхидеями или камелиями… (Про камелии я

читала, но никогда их не видела.) Бабушка с любовником исчезали в оранжерее — и делали что? Я не знала.

На самом деле у Аделии не было шансов завести любовника. Слишком мал городок, слишком провинциальны нравы, а Аделии было что терять. Она была не дура. Кроме того, не имела собственных денег.

Как хозяйка и домоправительница Аделия полностью устраивала Бенджамина Чейза. Она гордилась своим вкусом, и дедушка на неё полагался — помимо прочего, из-за её вкуса он и женился. Ему стукнуло сорок; он усердно трудился, чтобы сколотить состояние, и теперь хотел вкусить плодов богатства: молодая жена следила за его гардеробом и насмехалась над его манерами. Он по-своему тоже хотел Культуры — хотя бы конкретных её свидетельств. Хотел настоящий фарфор.

И получил его, а в придачу — обеды из двенадцати блюд: в начале трапезы — сельдерей и соленые орешки, под конец — шоколадные конфеты. Консоме, тефтели, жюльен, жаркое, сыр, фрукты, тепличный виноград в многоэтажной хрустальной вазе. Теперь мне кажется — еда, как в вагоне-ресторане. Или на океанском лайнере.

В Порт-Тикондерогу приезжали премьер-министры — в городе тогда жили несколько известных промышленников, чью поддержку очень ценили политические партии — и эти премьер-министры останавливались в Авалоне. В библиотеке в позолоченных рамках висели фотографии дедушки Бенджамина с тремя сменившими друг друга премьер-министрами — сэром Джоном Спэрроу Томпсоном, сэром Маккензи Бауэллом, сэром Чарлзом Таппером[7]. Видимо, им пришлись по душе здешние обеды.

Аделии следовало эти обеды придумать и заказать, а потом скрывать, как она сама их поглощает. По обычаю, при гостях она лишь ковырялась в еде: жевать и глотать — такая плотская вульгарность. Думаю, после обеда ей в комнату приносили полный поднос. И она ела прямо руками.

Строительство дома закончилось в 1889 году, тогда же Аделия нарекла его Авалоном. Название взяла из Теннисона:

Остров Авалон,

---

[7] Примечания: 7

Сэр Джон Спэрроу Томпсон занимал пост премьер-министра Канады в 1892–1894 гг., сэр Маккензи Бауэлл — в 1894–1896 гг., сэр Чарлз Таппер — в 1896 г.

Где не бывает ни дождя, ни снега,

Ни воющего ветра. Он лежит

Весь в зелени, счастливый и прекрасный,

В густых садах и рощах утопая…[8]

Эти строки напечатали на рождественских открытках Аделии слева внутри. (По английским стандартам, Теннисон уже устарел: набирал популярность Оскар Уайлд — среди молодежи, по крайней мере; но ведь в Порт-Тикондероге все несколько устарело.)

Люди — горожане — над стихами, должно быть, посмеивались: даже те, что со светскими претензиями, называли бабушку Её Светлость или Герцогиня, однако, не получив приглашения, были безутешны. Об открытке они, наверное, говорили: *Да, с дождём и снегом ей не повезло. Может, поговорит об этом с Богом.* А на фабриках, наверное, так: *Ты видал в округе густые сады, кроме как у неё под юбкой?* Я их манеру знаю — не думаю, что она сильно изменилась.

---

[8] Примечания: 8

Альфред Теннисон (1809–1892) — знаменитый английский поэт-викторианец. Приведенные строки — цитата из его цикла поэм о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола «Королевские идиллии» (1859–1885). Пер. В. Лунина.

Аделия, конечно, морочила голову, но, по-моему, не только в этом дело. В Авалон король Артур отправился умирать. Судя по выбранному названию, Аделия чувствовала себя в безысходном изгнании: усилием воли она могла вызвать к жизни фальшивое факсимиле острова блаженства, но реальность была иной. Аделия хотела стать хозяйкой салона, жить среди художников, поэтов, композиторов, ученых и всех прочих, как её троюродные братья в Англии, к которым она ездила, когда в семье ещё водились деньги. Восхитительная жизнь с просторными лужайками.

Но в Порт-Тикондероге таких людей днём с огнем не найти, а путешествовать Бенджамин отказывался. Нельзя оставлять без присмотра фабрики, говорил он. Скорее всего, просто не хотел, чтобы насмехались над пуговицами, чтобы перед ним лежали столовые приборы неведомого назначения и чтобы Аделии стало за него стыдно.

Аделия не решалась отправиться без него — ни в Европу, ни ещё куда-нибудь. Слишком велико искушение не возвращаться домой. Сдутым дирижаблем плыть, постепенно растрачивая деньги, лёгкой добычей для негодяев и прохвостов, исчезая в топи неприличных тем для разговора. С

таким декольте она могла оказаться влюбчивой.

Помимо прочего, Аделия увлекалась скульптурой. По бокам оранжереи стояли два каменных сфинкса (мы с Лорой часто сидели на них верхом); из-за каменной скамьи на нас с вожделением взирал резвящийся фавн с торчащими ушами и огромной виноградной гроздью на причинном месте, точно фирменным знаком; а возле пруда сидела нимфа — скромная девушка с юными грудками, туго скрученные мраморные волосы падают на плечо, а ножкой она пробует воду. Мы там ели яблоки, наблюдая, как золотая рыбка пощипывает ей пальчики.

(Эти скульптуры считались «подлинниками», только подлинниками чего? И как они попали к Аделии? Подозреваю, не обошлось без мошенничества: сомнительный европейский посредник купил их за бесценок, подделал происхождение, за большие деньги сплавил их за океан, а разницу прикарманил, справедливо решив, что богатая американка — думаю, так он её называл, — ничего не поймет.)

Семейное надгробие с двумя ангелами тоже замыслила Аделия. Она хотела, чтобы дедушка перенес туда прах своих предков, чтобы получилась как бы династия, но у дедушки так и не

дошли руки. И получилось, что первой там похоронили её.

Вздохнул ли дедушка Бенджамин с облегчением, когда Аделия умерла? Должно быть, он устал от сознания, что не отвечает её строгим требованиям, хотя сомнений нет: он восхищался ею, почти благоговел. К примеру, не позволил ничего менять в Авалоне: не перевесили ни одной картины, ничего из мебели не переставили. Возможно, дом он считал настоящим памятником ей.

И потому нас с Лорой воспитывала она. Мы выросли в её доме — в её представлении о себе, иными словами. И в её представлении о том, какими нам следует стать. Её на свете уже не было, и спорить было не с кем.

Мой отец был старшим из трёх сыновей. Все получили имена в соответствии с понятиями бабушки о благородных именах: Норвал, Эдгар и Персивал. Артуровские веяния с примесью Вагнера.

Полагаю, братьям стоило радоваться, что они не стали Ульриком, Зигмундом или Утером. Дедушка Бенджамин души не чаял в сыновьях и мечтал, что те изучат пуговичный бизнес, но у Аделии имелись более возвышенные цели. Она определила сыновей в Тринити-колледж в Порт-

Хоуп, где их не испортит Бенджамин со своими станками. От денег мужа была польза, это она ценила, но предпочитала закрывать глаза на их источник.

Сыновья приезжали домой на летние каникулы. В частной школе, а затем в университете они научились добродушно презирать отца, не умевшего читать по латыни — даже так плохо, как они. Они говорили о людях, которых он не знал, пели песни, которых он никогда не слышал, рассказывали анекдоты, которых он не понимал. В лунные ночи они плавали на его яхте «Наяда» — очередной тоскливый готицизм Аделии. Они играли на мандолине (Эдгар) и банджо (Персивал), украдкой пили пиво и путали снасти, а отцу приходилось распутывать. Сыновья разъезжали по округе на одном из двух новых отцовских автомобилей, хотя местные дороги по полгода никуда не годились: сначала снег, потом слякоть, потом пыль — особо не поездишь. Ходили слухи о каких-то прошмандовках, с которыми путались два младших брата, и о каких-то деньгах, — что ж, вполне пристойно откупиться от этих леди, чтобы они привели себя в порядок, никто ведь не хотел, чтобы вокруг ползало множество незаконнорожденых Чейзиков; но девушки были

не из нашего города, поэтому братьев никто не осуждал, скорее, наоборот — мужчины, по крайней мере. Люди посмеивались над ними, но не слишком: их считали вполне серьёзными и притом свойскими. Эдгара и Персивала звали Эдди и Перси, а вот моего отца, более робкого и важного, всегда называли Норвал. Все они были красивыми юношами, немного повесами, как и полагается в юности. А вообще, что значит «повеса»?

— Они были негодники, — сказала мне Рини, — но не негодяи.

— А какая разница? — спросила я.

— Надеюсь, ты никогда не узнаешь, — вздохнула она.

Аделия умерла в 1913 году от рака — неупоминаемого, и потому, скорее всего, гинекологического. В последний месяц её болезни кухарке в помощь пригласили мать Рини, а вместе с ней и саму Рини — ей тогда было тринадцать, и все это произвело на неё тягостное впечатление. «Такие сильные боли, что приходилось каждые четыре часа колоть морфий, тут медсестры сидели круглосуточно.

Но она не хотела лежать в постели, крепилась. Все время на ногах, прекрасно одета, как раньше,

хотя понятно было, что она уже не в воем уме. Я видела, как она бродит по саду в чем-то бледном и в большой шляпе с вуалью. Отлично держалась, а мужеству её могли позавидовать многие мужчины, вот она какая была. В конце её стали привязывать к кровати — для её же пользы. Ваш дедушка был убит, из него просто все соки это высосало». Потом, когда я стала менее чувствительна, Рини внесла в свой рассказ сдавленные крики, стоны и предсмертные обеты; чего она добивалась, осталось для меня загадкой. Может, хотела, чтобы и я проявляла такую же стойкость — то же презрение к боли, то же терпение, или она просто наслаждалась душераздирающими подробностями? Без сомнения, и то, и другое.

Когда Аделия умерла, три мальчика уже выросли. Тосковали они по матери, оплакивали её? Конечно. Разве можно было не испытывать благодарность за её бесконечную заботу? Однако она держала их на коротком поводке — крепко, как только умела. Когда мать зарыли в землю, они, должно быть, почувствовали себя свободнее.

Все трое не хотели заниматься пуговичным бизнесом: они унаследовали от матери презрение к нему, не унаследовав, правда, материнского реализма. Что деньги не растут на деревьях, они

знали, и притом имели ряд соображений насчет того, где же деньги в таком случае растут. Норвал — мой отец — решил, что лучше всего изучить юриспруденцию и со временем заняться политикой: у него были планы по переустройству страны. Двое других хотели путешествовать: как только Перси закончил колледж, они собрались в Южную Америку на поиски золота. Их манила открытая дорога.

А кто же тогда возглавит фабрики Чейзов? Выходит, не будет никаких «Чейза и Сыновей»? И зачем тогда трудился не покладая рук Бенджамин? К тому времени он убедил себя, что делал это из каких-то иных, высших соображений, помимо своих стремлений, своих желаний. Он породил наследие и хотел передавать его дальше, от поколения к поколению.

Думаю, в речах отца за обедом, за бокалом портвейна, не единожды звучали нотки упрека. Но юноши упорствовали. Если молодые люди не хотят посвятить жизнь изготовлению пуговиц, их не заставишь. Они не собирались огорчать отца — во всяком случае, намеренно, — но взваливать на плечи тяжелую изматывающую ношу мирского им тоже не хотелось.

Приданое

Новый вентилятор уже куплен. Детали прислали в большой картонной коробке, и Уолтер его собрал. Приволок набор инструментов и все прикрутил куда надо. А закончив работу, сказал:

— Теперь она в порядке.

Старые лодки для Уолтера — женского рода, как и сломанные автомобильные моторы, перегоревшие лампы и радиоприемники — самые разные вещи, которые искусный мужчина с инструментами починит, и они заработают как новые. Почему меня это так обнадеживает? Может, в детском, доверчивом закоулке сознания я уверена, что Уолтер, вытащив клещи и гаечный ключ, может починить и меня.

Большой вентилятор установили в спальне. Старый же я снесла вниз, на веранду, и он теперь дует мне в шею. Ощущение приятное, только нервирует: будто на плечо мягко легла холодная воздушная рука. Так я и сижу за деревянным столом, проветриваюсь и скриплю пером. Нет, неправильно: перья больше не скрипят. Слова гладко и почти беззвучно текут по странице — трудно только выгонять их по руке, выдавливать из пальцев.

Уже почти сумерки. Ни ветерка, журчанье порогов, что омывает сад, — как долгий вздох. Голубые цветы растворились во мгле, красные почернели, а белые сверкают, фосфоресцируют. Тюльпаны сбросили лепестки, и торчат только голые пестики — черные, похожие на хоботки, эротичные. Пионам почти конец: стоят неряшливые и поникшие, будто мокрые носовые платки; зато распустились лилии и флоксы. Жасмин осыпался, и трава под ним покрыта белым конфетти.

В июле 1914 года моя мать вышла замуж за моего отца. Учитывая обстоятельства, мне казалось, этому требуются пояснения.

Больше всего я рассчитывала на Рини. В том возрасте, когда начинаешь интересоваться подобными вещами, — десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет — я частенько сидела на кухне и взламывала Рини, точно замок.

Ей не было семнадцати, когда она насовсем пришла работать в Авалон из домика на южном берегу Жога, где жили фабричные. Она шотландка и ирландка, говорила Рини, — не католичка, конечно, добавляла она, подразумевая, что таковыми были её бабки. Вначале Рини была моей няней, но после множества приходов и уходов

слуг она стала для нас всем на свете. Сколько ей было лет? *Не твоего ума дело. Достаточно стара, и лучше вас понимаю, что к чему. Хватит об этом.* Когда мы слишком приставали с расспросами о её жизни, Рини замыкалась. *Я себе самой дорога,* говорила она. Какой скромностью это казалось мне тогда. Какой скупостью — сейчас.

Но она знала наши семейные байки — по крайней мере некоторые. Её рассказы зависели от моего возраста, а также от степени её расстройства. Но я все же собрала немало фрагментов и смогла воссоздать прошлое; должно быть, результат похож на реальность не больше, чем мозаичный портрет на оригинал. Впрочем, реализм меня не привлекал: я жаждала ярких картин с четкими контурами, лишенных двусмысленности, — этого хотят все дети в историях о родителях. Почтовых открыток.

Отец сделал матери предложение (говорила Рини) на катке. Выше порогов на реке была бухточка, старая мельничная запруда, — течение там было слабее. В холодные зимы вода замерзала достаточно прочно, чтобы кататься на коньках. Здесь молодежь из церковных школ устраивала свои сборища, которые назывались не сборищами, а прогулками.

Мать была методисткой, а отец — англиканцем; то есть социально она была ниже его, — в то время с такими вещами считались. (Будь Аделия жива, она не допустила бы этого брака, решила я позже. Для неё мать стояла слишком низко на социальной лестнице и, кроме того, была слишком скромна, слишком серьёзна, слишком провинциальна. Аделия отослала бы отца в Монреаль или свела бы со светской девицей. Получше одетой.)

Мать была молода, всего восемнадцать, но, говорила Рини, не глупа и не легкомысленна. Она работала учительницей: в то время можно было учить, если тебе ещё нет двадцати. Ей не *надо* было работать: её отец был главным юристом предприятий Чейза, и жили они в достатке. Но, как и её мать, умершая, когда дочери было девять, моя мать всерьёз относилась к религии. Она верила, что нужно помогать тем, кому меньше повезло в жизни. Она взялась учить бедняков — вроде миссионерства такого, восхищенно говорила Рини. (Рини часто восхищалась теми поступками матери, которые самой Рини казались глупостью. А бедных, среди которых выросла, она считала лентяями. Их можно учить до посинения, говорила она, только это обычно как в стену лбом биться. *Но твоя мать, благослови*

Господь её душу, никогда этого не понимала.)

Есть снимок матери в педагогическом училище в Лондоне, провинция Онтарио. На фотографии ещё две девушки; все три стоят на крыльце училища и смеются, сплетя руки. По бокам снежные сугробы, с крыши свисают сосульки. На маме котиковая шубка, из-под шапочки выбиваются пряди прекрасных волос. Должно быть, она тогда уже носила пенсне, сменившееся совиными очками, которые я помню: мать рано стала близорукой, но на фотографии пенсне нет. Одна ножка в обшитом мехом ботинке выставлена вперед, лодыжка кокетливо повернута. У неё смелое, даже отважное выражение лица, как у мальчишки-пирата.

Окончив училище, она уехала преподавать далеко на северо-запад, в глушь, где в местной школе был всего один класс. Она пережила настоящий шок — страшная нищета, невежество и вши. Детей зашивали в нижнее белье осенью, а весной распарывали — это самая отвратительная деталь, что я помню. *Конечно,* говорила Рини, *такой леди, как твоя мать, там было не место.*

Но мать чувствовала, что делает нечто полезное, *помогает* — пусть лишь нескольким несчастным детям, или надеялась, что это так; а

потом наступили рождественские каникулы, и она приехала домой. Все обратили внимание на её бледность и худобу и сочли, что ей не хватает румянца. Вот так она оказалась на катке, на льду замерзшей бухточки, в обществе моего отца. И он, опустившись на одно колено, сначала зашнуровал ей ботинки.

Они были знакомы и раньше — через отцов. Бывало, чинно встречались. Оба играли в последнем садовом спектакле Аделии: он Фердинанда, а она Миранду в выпотрошенной версии «Бури», где осталось минимум секса и Калибана. Рини рассказывала, что мама была в желто-розовом платье и с венком из роз, и она так сладостно произносила слова — прямо ангел. *И как хорош тот новый мир, где есть такие люди*[9]. И этот плывущий взгляд её сияющих чистых близоруких глаз. Понятно, как все началось.

Отец легко мог найти невесту с деньгами, но, судя по всему, хотел верную подругу, на которую можно положиться. Несмотря на веселый нрав — оказывается, он когда-то обладал веселым нравом, — отец был серьёзным юношей, говорила Рини, подразумевая что иначе мать бы ему отка-

---

[9] Примечания: 9
Пер. М. Донского.

зала. Они оба, каждый по-своему, были искренни, хотели чего-то добиться, изменить мир к лучшему. Какие заманчивые, какие опасные мысли!

Они объехали каток несколько раз, и отец предложил маме выйти за него замуж. Думаю, он это сделал довольно неуклюже, но в то время неуклюжесть мужчины считалась признаком искренности. Их плечи и бедра соприкасались, но друг на друга они не взглянули: катились бок о бок, правые руки скрещены впереди, левые — за спиной. (В чем тогда была мама? Рини и это знала. Синий вязаный шарф, шотландский берет и вязаные перчатки в тон. Мама сама их связала. Темно-зеленое зимнее полупальто. В рукаве носовой платок — она его никогда не забывала, в отличие от некоторых знакомых Рини.)

Что сделала моя мать в этот ответственный момент? Не поднимая глаз, она рассматривала лед. Она не ответила сразу. Это означало: да.

Вокруг заснеженные камни и белые сосульки — все белым-бело. Под ногами лед, тоже припорошенный белым, а под ним речная вода, водовороты и подводные течения, темная вода, но незримая. Так представляла я те времена — до нашего с Лорой рождения — чистыми, невинными, с виду надежными, но под ногами все же

— тонкий лед. Подспудно потихоньку бурлило невысказанное.

Потом кольцо, объявления в газетах, а когда мама вернулась, выполнив свой долг и закончив учебный год, — официальные чаепития. Они были роскошны: сэндвичи со спаржей, сэндвичи с водяным крессом, три вида пирожных — светлые, темные, фруктовые; серебряные чайные сервизы, розы на столе — белые или розовые, ну, может, бледно-желтые — только не красные. Красные розы для помолвок не годятся. Почему? *Вырастешь — узнаешь,* сказала Рини.

Потом приданое. Рини с удовольствием перечисляла вещи: ночные рубашки, пеньюары, какое на них было кружево, наволочки с монограммами, простыни и нижние юбки. Она вспоминала буфеты, комоды, бельевые шкафы, какие вещи туда аккуратно складывались. И ни слова о телах, что со временем облачатся в эти ткани: в представлении Рини, свадьбы — прежде всего вопрос одежды. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

Потом надо было ещё составить список гостей, написать приглашения, выбрать цветы и так далее — до самой свадьбы.

А потом, после свадьбы, началась война. Лю-

бовь, замужество, затем катастрофа. По версии Рини, это было неизбежно.

Война началась в августе 1914 года, вскоре после свадьбы моих родителей. Все три брата тут же добровольно поступили на военную службу — без вопросов. Невероятно, если вдуматься — без вопросов. Есть фотография великолепной троицы в военных формах: что-то наивное в насупленных бровях, усы еле пробиваются, беззаботные улыбки и решительные взгляды — изображают солдат, которыми пока не стали. Отец — самый высокий. Эта фотография всегда стояла у него на письменном столе.

Они вступили в Королевский Канадский полк, куда из Порт-Тикондероги шли все. Почти сразу же их отправили на Бермуды для усиления размещенного там британского полка, и первый год войны они маршировали на парадах и играли в крикет. Но, судя по письмам, рвались в бой.

Дедушка Бенджамин жадно читал эти письма. Время шло, ни одна из сторон победу не одерживала, и он все больше нервничал и сомневался. Все шло не так, как надо. По иронии судьбы, бизнес его процветал. Дедушка недавно ввел целлулоид и резину — для пуговиц то есть; политические контакты, появившиеся благодаря

Аделии, позволяли дедушкиным фабрикам получать военные заказы во множестве. Дедушка оставался честен, как всегда, и никогда не поставлял заведомо негодный товар — в этом смысле он не наживался на войне. Но нельзя сказать, что совсем не нажился.

Война для пуговичного производства полезна. На войне теряется куча пуговиц, и их нужно возмещать — целыми коробками, целыми грузовиками. Пуговицы разбивались на мелкие кусочки, их затаптывали в землю, они плавились в огне. То же самое с нижним бельем. С финансовой точки зрения война — сверхъестественный костер, алхимический пожар, и дым его стремительно обращается в деньги. Во всяком случае, для моего деда. Но это не радовало ему душу и не поддерживало в нём чувство правоты, как оно случилось бы, будь он помоложе и посамодовольнее. Он хотел, чтобы сыновья вернулись. Хотя пока ничего опасного не происходило: сыновья оставались на Бермудах и маршировали на солнышке.

Сразу после медового месяца (проведенного в Фингер-Лейкс, штат Нью-Йорк) мои родители, ещё не обзаведшись собственным домом, поселились в Авалоне, и мама осталась там вести

дедово хозяйство. Прислуги было мало: те, кто поздоровее, работали на фабрике или ушли в армию; кроме того, хозяева Авалона понимали что должны показывать пример, сократив расходы. Мать настаивала на простой пище: тушеная говядина по средам, запеченные бобы в воскресный ужин, что вполне устраивало деда. К деликатесам Аделии он так и не привык.

В августе 1915 года Королевский Канадский полк вернули назад в Галифакс, чтобы подготовить к отправке во Францию. Полк находился в порту около недели — запасались продовольствием, вербовали новобранцев и меняли тропическую военную форму на теплое обмундирование. Личному составу выдали винтовки Росса, которые позже увязли в грязи, оставив солдат беспомощными.

Мама на поезде поехала в Галифакс провожать отца. Поезд был набит военными, все спальные места заняты, и она всю дорогу сидела. В проходах торчали ноги, узлы, плевательницы, кто-то кашлял, кто-то храпел — явно пьяным храпом. Мама глядела на юные лица вокруг, и война становилась чем-то реальным — не идеей, а физическим присутствием. Её молодого мужа могли убить. Его тело могло исчезнуть, разорванное на

куски, принесенное в жертву, которая — теперь это стало ясно — неизбежна. С этим осознанием пришли отчаяние и сжимающий сердце ужас, но одновременно — я в этом уверена — и суровая гордость.

Не знаю, где мои родители жили в Галифаксе и как долго. В респектабельном отеле или в дешевой гостинице, а может, и в ночлежке — жилье тогда было нарасхват. Несколько дней, одну ночь или всего пару часов? Что произошло между ними, что они говорили? Думаю, ничего необычного, но все-таки что? Уже не узнать. Затем пароход — «Каледония» — отчалил с полком на борту, и мама вместе с другими женами стояла на пристани и со слезами на глазах махала вслед. Хотя, может, и без слез: она сочла бы это слабостью.

Где-то во Франции, Не могу описать, что здесь происходит, писал отец, *и потому не буду пытаться. Мы можем только верить, что в результате этой войны все станет лучше, и цивилизация будет спасена. Человеческие потери* (здесь слово вымарано) *бесчисленны. Раньше я и не догадывался, на что способны люди. То, что приходится выносить, выше* (слово вымарано). *Я каждый день вспоминаю вас всех, и особенно*

тебя, моя дорогая Лилиана.

Мать развила в Авалоне бурную деятельность. Она верила в общественное служение и считала, что следует засучить рукава и помочь армии. Так был организован «Кружок поддержки» — он собирал деньги, устраивая благотворительные базары. На вырученные средства покупались табак и конфеты для солдат. На время базаров распахивались двери Авалона, отчего (по словам Рини) страдал паркет. Помимо базаров, члены кружка каждый вторник вязали в гостиной вещи для бойцов; начинающие — салфетки, уже поднаторевшие вязальщицы — шарфы, а самые опытные — шлемы и перчатки. Вскоре к ним прибавились ещё добровольцы, которые работали по четвергам, — женщины постарше и попроще, жившие на юге от Жога, они могли вязать даже во сне. Они вязали детскую одежду для армян — говорили, что они голодают, — и для некой организации под названием «Зарубежные эмигранты». После двух часов вязания в гостиной подавали скромный чай, а Тристан и Изольда утомленно взирали сверху.

Когда в городе стали появляться искалеченные солдаты — на улицах и в госпиталях ближайших городов (в Порт-Тикондероге своей больницы ещё

не было), мать их навещала. Она выбирала самые тяжелые случаи — мужчин, которые (так говорила Рини) вряд ли победили бы в конкурсе красоты; после этих посещений мать возвращалась домой потрясенная и обессиленная, а иногда даже плакала на кухне за чашкой какао, приготовленного Рини. Мать не щадила себя, рассказывала Рини. Гробила свое здоровье. Выбивалась из сил, и это при том, что была в положении.

Как добродетельно было тогда выбиваться из сил, не щадить себя, гробить здоровье! Никто не рождается таким самоотверженным: это достигается жесткой самодисциплиной, подавлением природных инстинктов. Сейчас секрет этого, видимо, утерян. А может, я и не пыталась, пострадав от того, как это сказалось на матери.

Что до Лоры, то и она самоотверженной не была. Совсем нет. Она была тонкокожей, а это совсем другое.

Я родилась в начале июня 1916 года. Вскоре после этого при артиллерийском обстреле

под Ипром погиб Перси, а в июле на Сомме[10] убили Эдди. Во всяком случае, решили, что он мертв: там, где его в последний раз видели, зияла огромная воронка. Мать тяжело перенесла эти известия, но ещё тяжелее было деду. В августе у него случился инсульт, и дед с трудом говорил и все забывал.

Мать неофициально взяла управление фабриками в свои руки. Стала связующим звеном между дедушкой (утверждалось, что он выздоравливает) и всеми остальными, ежедневно встречалась с его секретарем и фабричными мастерами. Одна мать понимала, что говорит дед, или, по крайней мере, уверяла, что понимает, и потому стала его переводчицей; только ей позволялось держать его руку, и она помогала ему ставить подпись; кто знает, не поступала ли она порой по собственному разумению?

Не то чтобы вовсе обходилось без проблем. Когда началась война, одну шестую фабричных составляли женщины. К концу войны их стало две трети. Мужчины — старые, полуинвалиды и

---

[10] Примечания: 10

Операция на реке Сомма (1 июля — 18 ноября 1916 г.) стала одной из крупнейших операций за всю Первую мировую войну. В результате неё войскам Антанты удалось овладеть некоторыми важными позициями, однако за четыре с половиной месяца решительного успеха не добилась ни одна из сторон.

другие, почему-либо не годившиеся для армии. Их возмущало женское господство, они ворчали или непристойно шутили; женщины, в свою очередь, считали мужчин слабаками и лодырями и презрения своего не скрывали. Естественный порядок вещей (каким представляла его моя мать) нарушился. Но рабочим платили хорошее жалованье, деньги текли, так что в целом мать справлялась.

Я представляю, как дедушка сидит вечером в библиотеке за письменным столом красного дерева, сидит в своем зеленом кожаном кресле с медными гвоздиками. Его пальцы сплетены — здоровая рука с недвижимой. Он вслушивается. Дверь приоткрыта, за ней тень. Он говорит: «войдите» — хочет сказать, — но никто не входит и не отвечает.

Появляется бесцеремонная сиделка. Спрашивает, что это с ним — почему он сидит тут один в темноте. Он слышит звуки, но это не слова — скорее, воронье карканье; не отвечает. Сестра берет его под руку, легко поднимает с кресла, волочет в спальню. Её белые юбки хрустят. Он слышит, как сухой ветер гуляет в заросших сорняками полях. Слышит, как шепчет снег.

Понимал ли он, что сыновья погибли? Ждал

ли их домой живыми и невредимыми? А осуществись его желание, быть может, конец его оказался бы ещё печальнее? Возможно — так часто бывает, — но подобные мысли не приносят утешения.

Граммофон

Вчера вечером я по привычке смотрела метеоканал. В мире повсюду наводнения: вздымаются бурые воды, проплывают раздувшиеся коровы, те, кто уцелел, сгрудились на крышах. Тысячи не уцелели. Причиной всему глобальное потепление: говорят, пора перестать жечь все подряд. Бензин, газ, целые леса. Но люди не остановятся. Их, как водится, подстегивают жадность и голод.

Так о чем это я? Возвращаюсь на страницу назад: война ещё свирепствует. *Свирепствует* — так раньше говорили про войну; да и теперь, насколько мне известно, говорят. Но вот на этой, пока ещё чистой, странице я положу конец войне — сама, одной лишь черной шариковой ручкой. Всего-то нужно написать: *1918 год. 11 ноября. Перемирие.*

Ну вот. Все кончено. Пушки молчат. Оставшиеся в живых смотрят в небо, их лица грязны, одежда

промокла; они выползают из окопов и вонючих нор. Обе стороны чувствуют, что проиграли. Повсюду — здесь и за океаном, в городах и деревнях, разом начинают звонить церковные колокола. (Я помню этот колокольный звон — одно из моих первых воспоминаний. Странное впечатление — воздух полон звуков и одновременно какой-то пустой. Рини вывела меня на улицу послушать. По её лицу текли слезы. *Слава Богу,* сказала она. День был прохладный, опавшие листья подернулись инеем, пруд затянуло ледяной корочкой. Я разбила её палкой. А мама где была?)

Отца ранило при Сомме, но он вылечился и получил звание второго лейтенанта[11] Потом его ранило ещё раз при Вими-Риже[12], теперь легко, и его произвели в капитаны. В лесу Бурлон отец получил третье ранение, очень серьёзное. Когда война кончилась, он как раз долечивался в Англии.

Он пропустил торжества по случаю возвращения войск в Галифакс, парады победы и все прочее, но зато в Порт-Тикондероге его ждал

---

[11] Примечания: 11

Низшее офицерское звание.

[12] Примечания: 12

В результате сражения 9 — 14 апреля 1917 г. канадские войска заняли Вими-Риж.

особый прием. Поезд остановился. Разразились аплодисменты. Множество рук потянулось, чтобы помочь отцу сойти, но тут же застыли. Появился отец. Один глаз выбит, одна нога волочится. Его изможденное лицо фанатика покрывали морщины.

Расставания убийственны, но встречи бесспорно хуже. Живой человек не способен соперничать с яркой тенью, отброшенной его отсутствием. Время и расстояние сглаживают шероховатости; но вот любимый возвращается, и при безжалостном свете дня видны все прыщики и поры, все морщины и волоски.

Итак, мать и отец. Разве могли они искупить свою вину за такие перемены? За то, что не оказались теми, кого ожидали увидеть? Как тут обойтись без недовольства? Недовольства молчаливого и несправедливого, потому что винить некого — никого в отдельности. У войны нет лица. Разве можно винить ураган?

И вот они стоят на платформе. Играет городской оркестр — главным образом, духовые. На отце военная форма; ордена — точно дыры от пуль, и сквозь них тускло поблескивает его настоящее металлическое тело. По бокам — его невидимые братья, два потерянных мальчика — он знает, что

потерял их. Мать надела свое лучшее платье с поясом и лацканами и шляпку с жесткой лентой. Она робко улыбается. Никто не понимает, что делать. Фотовспышка выхватывает их из толпы: у обоих такой вид, точно пойманы с поличным. У отца на правом глазу — черная повязка. Левый глаз мрачно сверкает. Еще не видно, что под повязкой — паутина рубцов, брошенная глазом-пауком.

«Наследник Чейза вернулся героем», трубят газеты. Это уже из другой оперы: теперь мой отец — наследник: у него нет ни отца, ни братьев. В его руках — все королевство. На ощупь оно — как тина.

Плакала ли мать? Возможно. Они, должно быть, неловко расцеловались, будто на благотворительной лотерее, где он купил пустой билет. Он помнил другую, не эту деловую, измученную, похожую на старую деву женщину с пенсне на серебряной цепочке. Они стали чужими, а может, — наверное, подумали они, — были чужими всегда. Как безжалостен дневной свет. Как они состарились. Ничего не осталось от юноши, что однажды, почтительно преклонив колено, опустился на лед, чтобы зашнуровать ей ботинки, или от девушки, мило принявшей эту услугу.

И ещё кое-что подобно мечу легло меж ними. Разумеется, у него были другие женщины — из тех, что ошиваются возле солдат, пользуясь случаем. Скажем, шлюхи — не станем употреблять слово, которое никогда не произнесла бы моя мать. Лишь только отец её обнял, она, должно быть, сразу поняла: его робость, его благоговение исчезли. Думаю, он сопротивлялся искушению на Бермудах и в Англии, — вплоть до гибели Эдди и Перси и своего ранения. А потом вцепился в жизнь и хватал все, до чего мог дотянуться. Учитывая обстоятельства, как могла она не понять?

И она поняла, или, по крайней мере, поняла, что должна понять. Поняла и никогда об этом не заговаривала, только молилась о силе, чтобы простить — и простила. Но отцу нелегко жилось с этим прощением. Завтрак в ореоле прощения: кофе с прощением, овсянка с прощением, прощение поверх тоста с маслом. Он оказался беспомощен: как отвергать то, что вслух не произносится? Мать ревновала к медсестре, точнее, к медсестрам, что ухаживали за отцом в разных госпиталях. Ей хотелось, чтобы своим излечением он был обязан только ей — её заботе, её безграничной преданности. Вот она, обратная сторона самоотверженности — тирания.

Однако мой отец вовсе не был здоров. Вообще-то он был настоящей развалиной, о чем говорили ночные крики, кошмары, внезапные приступы ярости, бокал или ваза, брошенные в стену (в жену — никогда). Он сломался, ему требовалась починка, и тут мать могла быть полезна. Могла дать ему покой, ухаживать за ним, баловать, ставить перед ним цветы за завтраком и готовить его любимые блюда. Он хотя бы не подхватил дурной болезни.

Случилось нечто похуже: отец стал атеистом. Бог воздушным шаром лопнул над окопами, остались только неопрятные клочки лицемерия. Религия обернулась просто палкой, чтобы погонять солдат, думать иначе — пускать ханжеские слюни. Кому нужна отвага Эдди и Перси, их мужество, их ужасная смерть? Что изменилось? Они погибли из-за ошибок бездарных преступных стариков, которые с тем же успехом могли перерезать всем глотки и выбросить за борт «Каледонии». От разговоров о битве за Бога и Цивилизацию отца тошнило.

Мать пришла в ужас. Неужели он думает, что Эдди и Перси погибли без всякой высшей цели? И все эти несчастные люди тоже ни за что умерли? Что касается Бога, то кто ещё поддерживал их

в страдании и горе? Мать умоляла отца хотя бы держать свой атеизм при себе. Потом ей было очень стыдно — будто мнение соседей значило для неё больше, чем отношения живой отцовской души и Бога.

Но отец её просьбу учел. Понимал, что это необходимо. Во всяком случае, говорил подобные вещи только напившись. До войны он спиртным не увлекался; не имел такой привычки. А теперь пил и мерил шагами комнату, приволакивая больную ногу. Вскоре его начинала бить дрожь. Мать пыталась его утешить, но он не хотел утешения. Он поднимался в башню Авалона — якобы покурить. На самом деле искал повода побыть одному. Там наверху он говорил сам с собой, кидался на стены и в итоге напивался до бесчувствия. Он избавлял мать от подобного зрелища, поскольку считал себя джентльменом — или цеплялся за обрывки этой маски. Он не хотел, чтобы мать пугалась. И, думаю, сам страдал от того, что её забота так его раздражает.

Легкий шаг, тяжелый шаг, лёгкий шаг, тяжелый шаг — точно зверь с капканом на лапе. Стоны, сдавленные крики. Бьется стекло. Эти звуки будили меня среди ночи: моя комната была прямо под башней.

Затем шаги спускались; тишина, затем черный контур, что маячил сквозь закрытую дверь. Я не видела отца, но чувствовала — неуклюжее одноглазое чудовище, такое печальное. Я привыкла к этим звукам: от отца я не ждала ничего дурного, но все равно держалась с ним робко.

Я не хочу сказать, что такое происходило каждый вечер. Кроме того, эти попойки, — или, скорее, припадки, — становились все короче, а промежутки между ними все длиннее. Их приближение предсказывали плотно сжатые губы матери. Она, словно радар, ощущала волны отцовской нарастающей ярости.

Значит ли это, что он не любил мать? Вовсе нет. Он любил её и был по-своему к ней привязан. Но она была для него недосягаема — как и он для неё. Будто они выпили роковое зелье, навеки их разлучившее, хотя жили в одном доме, ели за одним столом и спали в одной постели.

Каково это — изо дня в день желать и тосковать о том, кто находится рядом? Я никогда не узнаю.

Через несколько месяцев у отца начались позорные загулы. Правда, не у нас в городе — поначалу то есть. Он уезжал на поезде в Торонто — якобы по делам, — а там беспробудно пьянствовал и пьянствовал и котовал, как говорили в

то время, «котовал».

Слухи дошли до нас на удивление быстро — как всегда, когда дело пахнет скандалом. Как ни странно, отца и мать после этого зауважали ещё больше. Кто посмел бы осуждать отца — после всего? А у матери, несмотря ни на что, с губ не сорвалось ни слова жалобы. Как и следовало ожидать.

(Откуда я знаю? Я и не знаю — то есть в обычном смысле слова. Но в домах вроде нашего молчание разговорчивее слов — плотно сжатые губы, поворот головы, быстрый взгляд искоса. Словно под тяжким грузом согбенные плечи. Неудивительно, что мы с Лорой подслушивали под дверями.)

У отца было множество тростей с разными набалдашниками — слоновая кость, серебро, черное дерево. Он взял за правило изящно одеваться. Он никогда не планировал увязнуть в семейном бизнесе, но теперь, приняв дела, вознамерился работать усердно. Фабрики можно было продать, но тогда как назло не нашлось покупателей, или же отец слишком много запросил. Кроме того, он чувствовал себя в долгу — если не перед покойным отцом, то перед братьями. Он изменил название фирмы на «Чейз и Сыновья», хотя в живых остался только один сын. Ему хотелось иметь

собственных сыновей — желательно двух, чтобы возместить утрату. Он хотел продолжаться.

Мужчины на фабриках поначалу перед ним преклонялись. И не только в орденах дело. Едва закончилась война, женщины отошли — точнее, их потеснили — на второй план, а их места заняли вернувшиеся с фронта мужчины — кто ещё мог работать. Но рабочих мест стало меньше: военные заказы кончились. Предприятия по всей стране закрывались, а рабочих увольняли. Только не на фабриках отца. Он все нанимал и нанимал. Он брал на работу ветеранов. Говорил, что неблагодарность государства постыдна и что пришла пора власть имущим вернуть долги. Но на это мало кто из них шел. Закрывали глаза, а отец, чей глаз был по-настоящему закрыт, не отворачивался, что снискало ему в кругах промышленников репутацию предателя и чуть ли не дурака.

На вид я была папина дочка. Я больше походила на него; я унаследовала его хмурый вид, его непробиваемый скептицизм. (Как и ордена. Он их мне завещал.) Когда я бунтовала, Рини говорила, что у меня скверный характер, и она знает, в кого. Лора, напротив, была маминой дочкой. Она была по-своему набожна, у неё был высокий

чистый лоб.

Но внешность обманчива. Я никогда не смогла бы направить автомобиль в пропасть. Отец мог бы. Мать — нет.

Осень 1919 года. Мы втроем — отец, мать и я — делаем над собой усилие. Ноябрь, время позднее. Мы сидим в маленькой столовой Авалона. В камине пылает огонь — похолодало. Мама поправляется от недавней таинственной болезни — говорят, что-то с нервами. Она чинит одежду. Это необязательно: она может кого-нибудь нанять, но ей хочется: мама *любит*, чтобы руки были заняты. Она пришивает на мое платье оторванную пуговицу. Про меня говорят, что одежда на мне горит. На круглом столе перед мамой стоит индейская корзинка с рукоделием; внутри ножницы, нитки, деревянное яйцо для штопки; ещё перед мамой лежат и смотрят новые очки с круглыми стеклами. Для такой работы они маме не нужны.

На маме небесно-голубое платье с широким белым воротником и белыми манжетами с каймой из пике. Мама рано поседела, но ей и в голову не приходит красить волосы — для неё это все равно, что, к примеру, отрубить руку; у неё лицо молодой женщины в ореоле седин. Прямой про-

бор, и волосы текут крупными тугими волнами, мать укладывает их в сложный перекрученный узел. (Перед смертью, через пять лет, она уже коротко стриглась — модно, но не так красиво.) Глаза опущены, щеки округлились, как и животик; нежная полуулыбка. Электрическая лампа под желто-розовым абажуром мягко освещает мамино лицо.

Напротив, на диванчике сидит отец. Откинулся на подушки, но беспокоен. Рука — на колене дурной ноги, нога подергивается. *(Нормальная нога, дурная нога* — вот интересно. Что плохого сделала дурная нога, почему её так зовут? Её что, наказали?)

Я сижу возле отца, хотя не слишком близко. Его рука лежит позади меня, на спинке диванчика, но меня не касается. У меня в руках азбука, я декламирую по ней, притворяясь, будто умею читать. Но читать я не умею. Просто помню очертания букв и подписи к картинкам. На столике стоит граммофон, из него огромным металлическим цветком растет труба. Мой голос похож на тот, что иногда оттуда звучит: тих, тонок и далек; выключается одним пальцем:

А — Арбуз,

Хорош на вкус.
Открывай рот
И беги в огород.

Я поднимаю глаза на отца: слушает ли? Порой с ним говоришь, а он не слышит. Он ловит мой взгляд и слабо улыбается.

Б — Баран,
Рогат и упрям.
Ходит по рву,
Щиплет траву.

Отец снова отворачивается и смотрит на улицу. (Может, воображает, что сам стоит за окном и смотрит на нас? Сирота, изгой — ночной скиталец? Ведь он вроде за эту идиллию у камина и сражался, за уютную сценку с рекламы «пшеничной соломки»: округлившаяся, розовощекая жена, такая нежная и добрая; послушное, любящее дитя. За эту серость, за эту скуку. Может, теперь он тосковал по войне, несмотря на весь её смрад и бессмысленную бойню? По инстинктивной жизни без вопросов?)

О — огонь,
Его не тронь!

Горит вольно,
Кусает больно.

На рисунке в книге изображен объятый огнем скачущий человек — огонь лижет ему ноги и плечи, на голове выросли маленькие огненные рожки. Он смотрит через плечо, улыбаясь озорно и обольстительно; он без одежды. Огонь ему не страшен. Ему вообще ничего не страшно. За это я его люблю. Я пририсовала карандашами ещё несколько огненных языков.

Мама проталкивает иголку сквозь пуговицу, отрезает нитку. С нарастающим волнением я читаю об изысканных М и Н, ехидной Щ, твердой Р и полной угрожающего свиста С. Отец смотрит в огонь; в пламени ему мерещатся поля, леса, дома и города, люди, его братья, что растворяются в дыму; нога дергается сама по себе, как у бегущей во сне собаки. Это его дом, его осажденный замок, а он — оборотень. За окном понемногу сереет холодный лимонный закат. Вот-вот родится Лора, но я этого пока не знаю.

Хлебный день

Дождей маловато, говорят фермеры. Цикады обжигающим звоном прошивают воздух; по

улицам вихрится пыль; кузнечики стрекочут в траве у обочины. Листья клена повисли мятыми перчатками; моя тень на тротуаре треснула.

Я выхожу рано, пока не печет солнце. Врач меня подбадривает: говорит, я продвигаюсь. Куда, спрашивается? Мое сердце — товарищ в бесконечном форсированном марше, мы в одной связке — невольные заговорщики в интриге или маневре, над которой не имеем власти. Куда мы идем? К следующему дню. Я способна уразуметь: та же цель, что заставляет меня жить, со временем меня убьет. В этом она схожа с любовью — по крайней мере, с определенной любовью.

Сегодня опять ходила на кладбище. Кто-то оставил на Лориной могиле букет оранжевых и алых цинний — эти пылающие краски совсем не успокаивают. К моему приходу цветы уже подвяли, хотя по-прежнему остро пахли. Подозреваю, их украл с клумбы перед Пуговичной фабрикой какой-нибудь скряга или малость психованный. Впрочем, и Лора бы так поступила. У неё было крайне смутное представление о собственности.

По пути домой я зашла в кондитерскую: на улице становилось жарко, и мне захотелось в тень. Заведение далеко не новое и вообще-то весьма убогое, несмотря на щегольскую современность

— светло-желтый кафель, привинченные к полу пластиковые столы со стульями. Интерьер напоминает какое-то учреждение: детский сад для бедняков или центр для умственно отсталых. Кидаться или пырять особо нечем — даже приборы пластмассовые. Пахнет фритюром, сосновым моющим средством, да ещё остывшим кофе.

Я купила чай со льдом и старомодное глазированное пирожное, пенопластом заскрипевшее на зубах. Я съела половину — больше в себя протолкнуть не удалось — и зашаркала по скользкому полу в женский туалет. Пока я шла, в голове сложилась карта самых удобных туалетов Порт-Тикондероги — что крайне важно, если приспичит; сейчас я предпочитаю этот, в кондитерской. Не то чтобы в нём всегда есть туалетная бумага или он чище остальных — в нём есть надписи. Они есть и в других туалетах, но в большинстве их быстро закрашивают, а в кондитерской надписи видны долго. И можно прочитать не только первоначальный текст, но и комментарии к нему.

Самая лучшая переписка на этот раз обнаружилась в средней кабинке. Первое предложение написали карандашом, глубоко расцарапавшим краску, — округлым почерком, как на римских надгробиях: *Не ешь то, что не готов убить.*

Ниже — зеленым фломастером: *Не убивай то, что не готов съесть.*

Еще ниже — шариковой ручкой: *Не убивай.*

И фиолетовым фломастером: *Не ешь.*

А подо всем этим — последняя на сегодня фраза размашистыми черными буквами: *К черту вегетарианцев! «Все боги плотоядны» — Лора Чейз.*

Выходит, Лора жива.

Чтобы попасть в этот мир, Лоре потребовалось много времени, рассказывала Рини. *Будто она не могла решить, стоит ли игра свеч. Она была очень слабенькой, и мы её чуть не потеряли — наверное, она тогда ещё не надумала. Но в конце концов склонилась к тому, что попробовать стоит, и тогда вцепилась в жизнь и стала поправляться.*

Рини верила, что люди сами решают, когда умереть и стоит ли рождаться. В том возрасте, когда дети начинают спорить, я стала говорить: *А вот я не просила, чтобы меня рожали,* словно то был решающий аргумент, на что Рини возражала: *Конечно, просила. Как и все.* Стоит почувствовать дыхание жизни — и ты на крючке, считала она.

После рождения Лоры мама стала больше уставать. Она вернулась на землю; утратила выносливость. Воля её ослабла, и мама с трудом

дотягивала до конца дня. Надо больше отдыхать, советовал доктор. Она совсем плоха, сказала Рини миссис Хиллкоут, которая пришла помочь со стиркой. Точно маму похитили эльфы, заменив её вот этой — чужой, старой, седой и унылой женщиной. Мне тогда было всего четыре года, и перемена в матери меня напугала: хотелось, чтобы она обняла меня и успокоила, но у неё уже не осталось на это сил. (Почему я говорю *уже!* В её представлении роль матери всегда сводилась к поучениям, а не к нежности. В глубине души она осталась школьной учительницей.) Я скоро поняла, что если буду вести себя тихо, не требовать внимания и, главное, приносить пользу — особенно с малышкой Лорой: сидеть с ней, качать колыбельку, баюкать (Лора с трудом засыпала и быстро просыпалась), — мне разрешат находиться в одной комнате с мамой. А иначе тут же выставят. И я на это согласилась: на молчание, на услужливость.

А следовало визжать. Закатывать истерики. Как говорит Рини, смазывают только скрипящее колесо.

(На ночном столике матери — фотография в серебряной рамке: я в темном платье с белым кружевным воротником — неуклюже и свирепо

стискиваю вязаное белое одеяльце; осуждающе уставилась в объектив или на того, кто фотографирует. Лоры на снимке почти не видно. Только детская пушистая макушка и крошечная ручка, вцепившаяся в мой большой палец. Сержусь ли я, что меня заставили держать маленькую сестру, или, напротив, её защищаю? Держу и не хочу отпускать?)

Лора была беспокойным ребенком, хотя скорее встревоженным, чем капризным. И совсем крошкой тоже беспокоилась. Она переживала из-за дверок шкафа, из-за ящиков комода. Словно все время прислушивалась к чему-то далекому или спрятанному этажом ниже — и оно воздушным поездом беззвучно приближалось. У неё случались непостижимые трагедии: она заливалась слезами при виде мертвой вороны, попавшей под машину кошки или набежавшей на небо тучки. С другой стороны, Лора необыкновенно стоически переносила физическую боль и обычно не плакала, когда обжигала рот или резалась. Враждебность — враждебность Вселенной — вот от чего она страдала.

Особенно остро она реагировала на искалеченных ветеранов — на тех, кто праздно шатался по улице, продавал карандаши или попрошай-

ничал, не в силах заняться чем-то путным. Один свирепый красномордый безногий мужик, что разъезжал на плоской тележке, отталкиваясь от тротуара руками, всегда доводил её до слез. Наверное, потому что глаза у него были яростные.

Как большинство маленьких детей, Лора верила, что слова значат то, что значат, но у неё это доходило до абсурда. Ей нельзя было сказать: *да провались ты,* или *пойди утопись*, потому что последствия могли быть очень серьёзными. *Ну что ты ещё Лоре сказала? Совсем ничему* не учишься? бранилась Рини. Но даже она порой попадалась. Как-то она велела Лоре прикусить язычок, и после та несколько дней не могла жевать.

Сейчас я перейду к маминой смерти. Если скажу, что это событие перевернуло нашу жизнь, получится банально, но так и было, и потому я напишу здесь:

Это событие перевернуло нашу жизнь.

Случилось это во вторник. В день, когда пекли хлеб. Весь наш хлеб, которого хватало на целую неделю, выпекался на кухне в Авалоне. В Порт-Тикондероге уже завелась небольшая булочная, но Рини говорила, что готовый хлеб — для лентяев, а булочник добавляет в него мел, чтобы сберечь

муку, и больше дрожжей: хлеб становится рыхлее, и кажется, что его больше, чем на самом деле. В общем, Рини пекла хлеб сама.

Кухня Авалона не была темной — не закопченная викторианская нора тридцатилетней давности. Напротив, она сияла белизной — белые стены, белый эмалированный стол, белая плита, черно-белая плитка на полу; на новых больших окнах бледно-желтые шторы. (Кухню перестроили после войны — один из робких искупительных отцовских подарков маме.) Рини считала кухню последним писком моды и, наслушавшись от мамы о зловещих микробах и их убежищах, содержала кухню в безукоризненной чистоте.

В хлебные дни Рини давала нам с Лорой кусочки теста для хлебных человечков — мы им вставляли изюмины вместо глаз и пуговиц. Потом она пекла их с остальным хлебом. Я своего съедала, а Лора — нет. Как-то Рини обнаружила целую шеренгу у Лоры в ящике: твердые, как камень, и завернутые в носовые платки, похожие на крошечных мумий с хлебными личиками. Рини сказала, что они приманка для мышей, и надо их немедленно выбросить, но Лора настояла на массовом захоронении в огороде, под кустом ревеня. Потребовала, чтобы прочитали

молитвы. А иначе она никогда больше не станет есть обед. Торговаться она умела — если до этого снисходила.

Рини выкопала яму. У садовника был выходной, и Рини взяла его лопату; к ней никто не имел права прикасаться, но то был особый случай.

— Господи, помоги её мужу, — сказала Рини, когда Лора аккуратно разложила в ямке своих человечков. — Упряма как осел.

— А я не выйду замуж, — возразила Лора. — Буду жить одна в гараже.

— И я тоже не выйду, — поторопилась я не отстать.

— Сомневаюсь, — сказала Рини. — Тебе нравится славненькая, мягонькая постелька. А в гараже придется спать на цементе, и ты перемажешься смазкой и машинным маслом.

— Тогда я буду жить в оранжерее, — заявила я.

— Там больше не топят, — сказала Рини. — Зимой ты там насмерть замерзнешь.

— Я буду спать в автомобиле, — уточнила Лора.

В тот ужасный вторник мы завтракали на кухне с Рини. Ели овсяную кашу и тосты с джемом. Иногда мы завтракали с мамой, но в тот день она слишком устала. Мама всегда была строже,

заставляла сидеть прямо и съедать корки. «Не забывайте о голодающих армянах», — говорила она.

Наверное, армяне тогда уже не голодали. Война давно закончилась, наладилась мирная жизнь. Но их беда девизом закрепилась в мамином сознании. Девизом, призывом, молитвой, заклинанием. Корки от тостов съедались в память об этих армянах — кто бы они ни были. Не доедать их — святотатство. Мы с Лорой чувствовали силу заклинания — оно всегда на нас действовало.

В тот день мама не съела корки. Я это точно помню. Лора к ней пристала: *Мама, а как же корки, как же голодающие армяне?* — и в конце концов маме пришлось признаться, что она плохо себя чувствует. От этих слов меня словно током ударило, потому что я поняла. Я с самого начала поняла.

Рини говорила, что Бог делает людей, как она — хлеб, поэтому у матерей, когда они ждут детишек, растут животики: поднимается тесто. По словам Рини, её ямочки — отпечатки большого пальца Бога. У неё три ямочки, а у других нет совсем. Бог делает всех разными, чтоб не соскучиться. Казалось, что это нечестно, но в конце концов все должно было стать по-честному.

Лоре тогда было шесть, мне девять. Я уже знала, что детей делают не из теста, — это сказочка для таких малышей, как Лора. Однако подробностей никто не объяснял.

Последнее время мама сидела днём в бельведере и вязала. Крошечный свитерок, вроде тех, что прежде вязала для «Зарубежных эмигрантов». А этот тоже для эмигрантов, спросила я. *Возможно,* ответила она с улыбкой. Через некоторое время мама задремывала, веки тяжело опускались, круглые очки соскальзывали. Она говорила, что у неё есть глаза на затылке, и она всегда знает, когда мы плохо себя ведем. Мне казалось, они плоские, блестящие и бесцветные, будто очки.

Непохоже на маму так много спать днём. Была и масса других непохожих на неё вещей. Лора не замечала — но замечала я. Я пыталась понять, что происходит, сопоставляя то, что говорили, и то, что удавалось подслушать. Мне говорили: «Маме нужно отдохнуть, позаботься о Лоре, пусть она маму не дергает». А подслушала я вот что (Рини с миссис Хиллкоут): «Доктору это не нравится. Что будет — бабушка надвое сказала. Из неё, конечно, слова не вытянешь, но она плоха. Вот есть же мужики, которые никак обойтись не могут». Так я поняла, что маме грозит опасность; что-то

связанное со здоровьем и с отцом, хотя я не могла понять, в чем именно опасность заключалась.

Да, Лора ничего не замечала, но тянулась к матери больше обычного. Когда мама отдыхала, Лора сидела по-турецки в тени под бельведером, а когда мама писала письма — позади стула. Если мама была на кухне, Лора залезала под стол. Затаскивала туда диванную подушку и бывшую мою азбуку. У Лоры было много бывших моих вещей.

Лора тогда умела читать — по крайней мере, азбуку. Её любимой буквой была Л, потому что с неё начиналось Лорино имя. *Л — это Лора.* А у меня никогда не было любимой буквы, *А — это Айрис,* — потому что с А начинается весь алфавит.

Л — это Лилия,
Белая красавица.
Вечером прячется,
Утром раскрывается.

На картинке — два ребенка в старомодных соломенных шляпках, рядом лилия, а на ней сидит фея — нагая, с прозрачными блестящими крылышками. Встреть я такое существо, говорила Рини, обязательно погналась бы с мухобойкой. Она говорила это мне в шутку, а Лоре не говорила:

та могла поверить и расстроиться.

Лора была *другая. Другая* означает *странная,* это я понимала, но все равно изводила Рини:

— Что такое *другая?*

— Не такая, как все, — отвечала Рини.

Но, быть может, Лора не так уж отличалась от всех прочих.

Может, она была как все — лишь выставляла напоказ то странное и перекошенное, что большинство людей скрывает, и потому их пугала. А она и впрямь пугала или, если не пугала, то как-то настораживала; и с годами, разумеется, все больше.

Тогда, во вторник утром, Рини и мама делали хлеб. Нет, не так: хлебом занималась Рини, а мама пила чай. Рини сказала матери, что не удивится, если к вечеру начнется гроза: очень уж тяжело дышать — может, маме стоит выйти наружу и посидеть в тени или прилечь. Но мама ответила, что терпеть не может бездельничать. Она тогда чувствует себя бесполезной; ей хочется остаться с Рини.

Рини-то что: мать могла хоть по воде разгуливать, да и все равно не Рини указывать хозяйке. И вот мама сидела и пила чай, а Рини стояла у стола и месила тесто — мяла его, сворачивала,

вертела и снова мяла. Руки в муке, точно в белых перчатках. На груди тоже мука. Домашнее платье вспотело под мышками, и желтые маргаритки на ткани потемнели. Рини уже вылепила несколько караваев, поставила их в сковородки и накрыла чистыми влажными полотенцами. Пахло сырыми грибами.

В кухне было жарко — плите требовалось много угля, и на улице тоже было жарко. В открытое окно в комнату волнами катился зной. Муку для теста брали из бочонка в кладовой. Нам нельзя залезать в бочонок: мука попадет в рот и нос и задушит. Рини знала одного малыша, его братья и сестры вверх ногами затолкали в бочку с мукой, и он чуть не задохнулся.

Мы с Лорой сидели под кухонным столом. Я читала детскую книжку с картинками «Великие люди в истории». Наполеон изгнан на остров Святой Елены; он стоит на краю утеса, заложив руку за отворот кителя. Мне казалось, у него болит живот. Лора ерзала. Она выползла из-под стола попить.

— Хочешь теста, слепишь человечка? — спросила Рини.

— Нет, — отказалась Лора.

— *Спасибо,* нет, — поправила мама.

Лора вновь забралась под стол. Мы видели две пары ног: мамины тонкие ступни и широкие, в прочных туфлях ступни Рини; мамины худые икры и пухлые, в розово-коричневых чулках икры Рини. Мы слышали, как перекатывается по столу тесто. И вдруг чашка вдребезги, мама лежит на полу, а Рини подле неё на коленях.

— Батюшки святы, — говорит она. — Айрис, беги за папой.

Я помчалась в библиотеку. Телефон звонил, но отца не было. Я стала взбираться по лестнице на башню — вообще-то запретное место. Дверь была не заперта, в комнате пусто, только стул и пепельницы. В гостиной отца тоже не было, и в маленькой столовой, и в гараже. Он, наверное, на фабрике, подумала я, но не знала туда дороги и, кроме того, это далеко. Я не знала, где ещё его искать.

Я вернулась на кухню и заползла под стол, где обняв коленки сидела Лора. Она не плакала. На полу было что-то похожее на кровь, на следы крови — темно-красные пятна на белой плитке. Я тронула, лизнула палец — точно кровь. Я вытерла её тряпкой.

— Не смотри, — сказала я Лоре.

Вскоре по черной лестнице спустилась Рини;

стала крутить телефонный диск и звонить доктору, но того не было, где-то шлялся, как обычно. Потом она позвонила на фабрику и позвала отца. Его не могли найти.

— Отыщите его, — потребовала она. — Скажите, что дело серьезное. — И снова заторопилась наверх. Она совсем позабыла про тесто; оно слишком поднялось, затем осело и уже никуда не годилось.

— Нельзя ей было сидеть в душной кухне, — сказала Рини миссис Хиллкоут, — да ещё в такую погоду, когда вокруг ходит гроза, но она никогда о себе не думает и никого не слушает.

— Она очень мучалась? — спросила миссис Хиллкоут с жалостью и любопытством.

— Бывает и похуже, — ответила Рини. — И на том спасибо. Он выскользнул, словно котенок, но крови было, надо сказать, просто море. Придется сжечь матрас — его уже не спасти.

— О господи. Ну, она ещё сможет завести другого, — сказала миссис Хиллкоут. — Наверное, так уж суждено. С этим что-то было не в порядке.

— Она не сможет, судя по тому, что я слышала, — возразила Рини. — Доктор говорит, лучше остановиться: ещё один её убьет. Её и этот чуть не убил.

— Некоторым женщинам лучше не выходить замуж, — сказала миссис Хиллкоут. — Они для этого не подходят. Нужно быть сильной. Моя мать родила десятерых и глазом не моргнула. Правда, не все выжили.

— А у моей было одиннадцать, — похвасталась Рини. — И это свело её в могилу.

Я подобное уже слышала и понимала, что это вступление к спору о том, у чьей матери жизнь была труднее; потом они переключались на стирку. Я взяла Лору за руку, и мы на цыпочках поднялись по черной лестнице. Нам было тревожно и в то же время любопытно: мы хотели знать, что случилось с мамой, и ещё увидеть котенка. Он лежал в коридоре у дверей маминой комнаты в эмалированном тазике рядом с кипой окровавленных простыней. Но это был не котенок. Серый, вроде старой вареной картошки, с непомерно большой головой и весь скрюченный. Глазки зажмурены, будто ему мешал свет.

— Это что? — прошептала Лора. — Это не котенок. — Она села рядом на корточки, вглядываясь в него.

— Пойдем вниз, — сказала я. Доктор ещё был у матери, мы слышали его шаги. Я не хотела, чтобы нас застукали, потому что понимала: на

это существо нам смотреть нельзя. Особенно Лоре: зрелище ничем не лучше раздавленных животных. Значит, как всегда, будет визг, и мне влетит.

— Это ребенок, — сказала Лора. — Просто недоделанный. — Она была на удивление спокойна. — Бедняжка. Не захотел родиться.

Ближе к вечеру Рини повела нас к маме. Та лежала в постели, головой на двух подушках, тонкие руки поверх одеяла, седеющие волосы казались прозрачными. На левой руке поблескивало обручальное кольцо, пальцы вцепились в простыню. Губы плотно сжаты, будто она о чем-то размышляет; с таким выражением лица мама составляла список покупок. Глаза закрыты. Сейчас, с опущенными веками, они казались больше, чем когда открыты. Очки лежали на ночном столике рядом с кувшином воды, два круглых глаза сверкали пустотой.

— Она уснула, — шепнула Рини. — Не трогайте её.

Мама приоткрыла глаза. Губы её дрогнули, пальцы ближней к нам руки разжались.

— Можете её обнять, — сказала Рини. — Только осторожно. Я сделала, как мне сказали. А Лора горячо прильнула к матери всем телом, сунув

голову ей под руку. В комнате стоял крахмальный голубой запах лаванды от простыней, мыльный мамин аромат, горячий запах ржавчины и кисло-сладкий дух мокрых, но тлеющих листьев.

Мама умерла через пять дней. От лихорадки и ещё от слабости; силы к ней не вернулись, сказала Рини. Все это время доктор приходил и уходил, а в спальне сменяли друг друга накрахмаленные хрупкие сиделки. Рини бегала вверх-вниз по лестнице с тазиками, полотенцами, чашками с бульоном. Отец беспокойно сновал между фабрикой и домом, появляясь за обеденным столом вконец измученным попрошайкой. Где он был в тот день, когда его не могли найти? Никто не говорил.

Лора, сжавшись в комочек, сидела в коридоре наверху. Меня просили поиграть с ней, чтобы она чего не натворила, но она не хотела играть. Сидела, обхватив коленки руками и уткнувшись в них подбородком, а на лице — задумчивое и таинственное выражение, будто она сосет леденец. Леденцы нам запрещались. Но когда я заставила показать, что у неё во рту, там оказался лишь круглый белый камешек.

Последнюю неделю мне разрешали видеть маму каждое утро, но только несколько минут.

Говорить с ней было нельзя, потому что (сказала Рини) мама была не в себе. То есть маме казалось, что она где-то в другом месте. С каждым днём она все больше худела. Скулы заметно выступали, от неё пахло молоком и ещё чем-то сырым и тухлым — похоже на бумагу, в которую заворачивают мясо.

Во время этих визитов я все время дулась. Я видела, как она больна, и за это обижалась. Мне казалось, мама меня как-то предает — уклоняется от своего долга, отрекается от нас. Мне не приходило в голову, что она может умереть. Раньше я этого боялась, но сейчас была в таком ужасе, что просто выбросила это из головы.

В то последнее утро — я ещё не знала, что оно последнее, — мама была почти как раньше. Слабее обычного, но более собрана, сосредоточена. Взглянула на меня так, будто видит.

— Как здесь светло, — прошептала она. — Задерни, пожалуйста, шторы.

Я сделала, как она просила, а потом вернулась к постели и стояла, комкая платок, — Рини дала мне его на случай, если я разревусь. Мама взяла меня за руку; её ладонь была сухой и горячей, а пальцы — как мягкая проволока.

— Будь умницей, — проговорила она. — На-

деюсь, ты будешь Лоре хорошей сестрой. Ты стараешься, я знаю.

Я кивнула. Я не знала, что сказать. Я себя чувствовала жертвой несправедливости: почему всегда именно я должна быть хорошей сестрой Лоре, а не наоборот? Ну конечно, мама любит Лору больше, чем меня.

Может, и нет; может, она любила нас одинаково. А может, у неё не осталось больше сил любить кого бы то ни было, и она поднялась выше, в ледяные слои стратосферы, за пределы теплого магнитного поля любви. Но такого я вообразить не могла. Её любовь казалась безусловной — прочной и осязаемой, словно пирог. Неясно только, кому достанется кусок побольше.

(Что они за конструкции, наши матери? Пугала, восковые куколки, в которых мы втыкаем булавки, наброски чертежей. Мы им отказываем в праве на собственную жизнь, подгоняем их под себя — под свои потребности, свои желания, свои недостатки. Я была матерью — я теперь знаю.)

Мамин небесный взор замер на моем лице. Какого усилия, должно быть, ей стоило не закрывать глаза! Наверное, я виделась ей словно издали — дрожащим розовым пятнышком. Как, вероятно, трудно было ей сосредоточиться! Но я не

оценила её стоицизма — если то был стоицизм.

Я хотела сказать, что она ошибается насчет меня, насчет моих намерений. Я не всегда бываю хорошей сестрой — совсем наоборот. Иногда я называю Лору надоедой и прошу не мешать; только на прошлой неделе, увидев, что она лижет конверт — мой специальный конверт для открыток, — я сказала, что клей делается из вареных лошадей, отчего Лора захлюпала носом, и её вырвало. А иногда я прячусь от неё в кустах сирени за оранжереей и там заткнув уши читаю, а она бродит вокруг и тщетно меня зовет. Так что мне её часто удается надуть.

Но мне не хватило слов все это выразить, не согласиться с тем, как мама все видит. Я ещё не знала, что так все и останется, и она уйдет, считая меня хорошей девочкой, и её мнение ярлыком пристанет ко мне, и у меня не будет шанса швырнуть этот ярлык ей в лицо (как обычно бывает между матерью и дочкой, как случилось бы, если б она жила, а я взрослела).

Черные ленты

Сегодня закат пылает долго, и медленно гаснет. На востоке нависшее небо прорезала молния, потом внезапный удар грома — будто оглуши-

тельно хлопнула дверь. В доме жара, как в печке, несмотря на новый вентилятор. Я вынесла наружу лампу; иногда в сумерках я вижу лучше.

Я не писала всю неделю. Душа не лежала. Зачем писать о грустном? Но вот, оказывается, опять начала. Возобновила свои каракули, они длинной черной нитью вьются по странице — путаные, но разборчивые. Может, все же хочу оставить подпись? А ведь так старалась этого избегать — *следа Айрис,* даже усеченного: инициалов мелом на тротуаре, пиратского *X на* карте берега, где зарыты сокровища.

Почему нам так хочется себя увековечить? Даже при жизни. Подтвердить свое существование — точно собаки, что метят пожарный кран. Мы выставляем напоказ фотографии в рамках, дипломы, столовое серебро; вышиваем монограммы на белье, вырезаем на деревьях имена, выцарапываем их в туалетах на стене. И все по одной причине. На что мы надеемся? На аплодисменты, зависть, уважение? Или просто на внимание — хоть какое-нибудь?

Мы хотим по крайней мере свидетеля. Мысль о том, что когда-нибудь наш голос перегоревшим радиоприемником замолкнет навсегда, невыносима.

Назавтра после маминых похорон нас с Лорой отослали в сад. Так распорядилась Рини; она сказала, что её ногам нужно дать отдых, потому что она с них за день сбилась.

— Я уже на пределе, — сказала она. Веки у неё покраснели, и я догадывалась, что она плачет потихоньку, чтобы не расстраивать других, и, отослав нас, заплачет снова.

— Мы будем тихо, — пообещала я. Мне не хотелось выходить из дома: слишком яркий свет, он слепил, а у меня опухли и покраснели глаза, но Рини сказала, что надо погулять — свежий воздух пойдет на пользу. Нам не сказали, чтобы мы пошли на улицу поиграть: это неуважение к маминой смерти. Просто велели пойти на улицу.

В Авалоне по случаю похорон состоялся прием. Он не назывался поминками — поминки справляют на том берегу Жога, шумные, вульгарные, со спиртным. Нет, у нас был прием. На похоронах было битком — пришли фабричные, их жены, дети и, конечно, городские шишки — банкиры, священники, адвокаты, врачи, но на прием позвали не всех, хотя пришло все равно больше, чем ожидалось. Рини сказала миссис Хиллкоут, которую наняли помочь, что Иисус, может, и накормил тысячи несколькими хлебами и рыбой,

но капитан Чейз не Иисус и толпу накормить не в состоянии, хотя, по своему обыкновению, не знает, когда остановиться, и она лишь надеется, что никого не задавят до смерти.

Приглашенные набились в дом, почтительно-скорбные, но сгорали от любопытства. Рини пересчитала ложки до и после приема и сказала, что хватило бы и второсортных приборов: некоторые люди уносят на память все, что не прибито; знай она, как они едят, положила бы вместо ложек лопаты.

И все же кое-что из еды осталось — ветчина, немного печенья, остатки разных пирогов, и мы с Лорой украдкой пробирались в кладовую. Рини об этом знала, но у неё не хватало сил нас остановить — сказать: «Аппетит пропадет», или «Хватит грызть в моей кладовой, а то в мышек превратитесь», или «Еще немного — и вы лопнете» — или ещё каким-нибудь предостережением или наставлением, которые я про себя находила утешительными.

На этот раз нам позволили набить животы до отказа. Я объелась печеньем и ветчиной и проглотила целый кусок кекса. В черных платьях было ужасно жарко. Рини заплела нам волосу в тугие косички, каждую затянув двумя бантами,

так что мы обе носили на головах четверку строгих черных бабочек.

На улице я зажмурилась от солнца. Меня раздражали яркая зелень, желтые и красные цветы, их самоуверенность, их мерцание, будто они имели право. Хотелось оборвать их и выкинуть. Я была одинока, ворчлива и раздута. Сахар ударил мне в голову.

Лора хотела залезть на сфинксов у оранжереи, но я не разрешила. Тогда она предложила пойти к каменной нимфе и посмотреть на золотую рыбку. В этом я не видела ничего плохого. Лора вприпрыжку выбежала на лужайку впереди меня. Эта беспечность возмущала — словно Лору ничто в мире не заботило; она и на похоронах была такая. Будто горе остальных её удивляло. И ещё больше меня злило, что люди из-за этого жалели её больше, чем меня.

— Бедняжка, — говорили они. — Она ещё слишком мала, она не понимает.

— Мама у Бога, — говорила Лора. Да, это официальная версия, смысл всех возносимых молитв, но Лора искренне в это верила, не сомневаясь, как остальные, а безмятежно и прямодушно, отчего мне хотелось её встряхнуть.

Мы сидели на парапете пруда; зеленые листья

лилий на солнце казались резиновыми. Лору пришлось подсаживать. Прислонясь к каменной нимфе, она болтала ногами, брызгала руками по воде и напевала.

— Не пой, — сказала я. — Мама умерла.

— Не умерла, — твердо произнесла Лора. — Не совсем умерла. Она на небе с маленьким ребеночком.

Я столкнула её с парапета. Не в пруд — мне хватило ума. На траву. Парапет был невысокий, земля мягкая — Лора вряд ли сильно ушиблась. Она упала навзничь, перекатилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно не веря, что я могла такое сделать. Рот раскрылся в совершенно круглый розовый бутон, точно у ребенка из книжки с картинками, задувающего свечи в день рождения. А потом она заплакала.

(Должна признаться, я почувствовала удовлетворение. Мне хотелось, чтобы она тоже страдала — как я. Надоело, что ей все сходит с рук, потому что она маленькая.)

Лора поднялась и побежала по аллее к кухне, вопя, будто её режут. Я помчалась за ней: лучше быть рядом, когда она прибежит ко взрослым и будет на меня жаловаться. Лора бежала неуклюже: нелепо расставив руки, ноги разъезжались,

бантики бились о спину, черная юбка тряслась. Один раз Лора упала, теперь уже по-настоящему — разодрала руку. Я почувствовала облегчение: эта кровь смоет мой проступок.

Газировка

Примерно через месяц после маминой смерти — не помню точно — отец сказал, что возьмет меня в город. Он никогда раньше не обращал на меня особого внимания — на Лору, впрочем, тоже; предоставлял нас матери, а потом — Рини, и меня его предложение поразило.

Лору он не взял. Даже не предложил.

О предстоящей экскурсии отец объявил за завтраком. Он теперь настаивал, чтобы мы с Лорой завтракали с ним, а не на кухне с Рини, как раньше. Мы сидели на одном конце длинного стола, он — на другом. Он редко с нами говорил — обычно утыкался в газету, а мы слишком трепетали, чтобы заговаривать первыми. (Конечно, мы его боготворили. Его либо боготворишь, либо ненавидишь. Умеренных эмоций он не вызывал.)

Расцвеченные витражами солнечные лучи окрашивали отца, словно тушью. Как сейчас вижу кобальтовую синь его щеки, клюквенные пальцы. Мы с Лорой распоряжались этими крас-

ками по-своему. Передвигали тарелки с овсянкой — чуть влево, чуть вправо, и тусклая серая каша становилась зеленой, синей, красной или фиолетовой: волшебная еда, то заколдованная, то отравленная, смотря какие причуды у меня или настроение у Лоры. И ещё мы за едой корчили рожи — но тихо, тихо. Так, чтобы не заметил отец — в этом была задача. Надо же нам было как-то развлекаться.

В тот необычный день отец рано пришел с работы, и мы пешком отправились в город. Не очень далеко; тогда ещё не бывало больших расстояний. Отец предпочитал ходить, а не ездить. Думаю, из-за больной ноги: хотел показать, что ему все нипочем. Ему нравилось шагать по городу, и он шагал, несмотря на хромоту. А я трусила рядом, стараясь приспособиться к его неровной походке.

— Пойдем к Бетти, — сказал отец. — Куплю тебе газировки.

Ничего подобного прежде не случалось. Кафе «У Бетти» — для горожан, а не для нас с Лорой, говорила Рини. Не годится опускаться ниже своего уровня. А газировка — губительная роскошь, и от неё гниют зубы. Мне предложили одним махом нарушить два запрета, и я чуть не запаниковала.

На главной улице Порт-Тикондероги располагались пять церквей и четыре банка — все каменные и приземистые. Чтобы разобраться, что есть что, иногда приходилось читать вывески; впрочем, у банков не было шпилей. Кафе располагалось рядом с одним из банков. В витрине, под бело-зеленым полосатым навесом, висело изображение пирога с курятиной, напоминавшего детский чепчик из сдобного теста с оборками. Внутри закусочной горел тусклый желтоватый свет, пахло ванилью, кофе и плавленым сыром. Жестяной потолок, свисают вентиляторы: лопасти — как пропеллеры самолетов. За нарядными белыми столиками сидели несколько женщин в шляпках; отец кивнул, они ответили.

Вдоль стены располагались кабинки из темного дерева. Отец сел в одну из них, я — напротив него. Он спросил, какую воду я буду пить, но я не привыкла находиться с ним вдвоем на людях и робела. Кроме того, я не знала, какая бывает газировка. Отец заказал мне клубничной, а себе кофе.

На официантке черное платье и белый чепчик, брови выщипаны в тонкие дуги, а красные губы сияют, точно джем. Моего отца она звала капитан Чейз, а он её — Агнес. Поэтому, а ещё увидев, как

отец положил локти на стол, я поняла, что он, наверное, бывал здесь не раз.

Агнес спросила, не его ли эта маленькая девочка, да какая миленькая; на меня взглянула неодобрительно. Кофе отцу принесла почти тут же, чуть покачиваясь на высоких каблуках, и, поставив чашку, быстро коснулась его руки. (Я заметила этот жест, хотя смысла его не понимала.) Затем она принесла мне газировку в стакане, похожем на перевернутый колпак, с двумя соломинками. Вода ударила в нос, из глаз потекли слезы.

Отец кинул в кофе кусок сахара, помешал и положил ложечку на блюдце. Я следила за ним поверх стакана. Он вдруг стал казаться иным — словно я впервые его вижу, — слабее, менее солидным, но каким-то более обстоятельным. Я редко видела его так близко. Зачесанные назад и коротко стриженные по бокам волосы на висках редели; здоровый глаз — ровного синего цвета, точно копирка. В изуродованном, но ещё привлекательном лице — то же отсутствующее выражение, что бывало у отца за завтраком — будто он прислушивается к песне или далекому взрыву. Усы серее, чем я думала, и ещё мне тогда впервые показалось странным, что у мужчин на

лице есть щетина, а у женщин нет. Даже будничная отцовская одежда в тусклом желтом свете выглядела таинственно, будто она чужая, а он просто взял её поносить. Она была ему велика — вот в чем дело. Он исхудал. И притом стал выше.

Отец улыбнулся и спросил, нравится ли мне газировка. А потом замолчал и задумался. Вынул сигарету из серебряного портсигара, который всегда носил с собой, закурил и выдохнул дым.

— Если что-нибудь случится, — произнес он наконец, — обещай, что позаботишься о Лоре.

Я торжественно кивнула. Что значит *что-нибудь!* Что может случиться? Я боялась плохих известий, хотя ничего конкретного не сказала бы. Может, он уедет — уедет за границу? Рассказы о войне не пропали даром. Но отец ничего не прибавил.

— Ну что, по рукам? — спросил он. Мы через стол обменялись рукопожатием; его ладонь была твердой и сухой, словно ручка кожаного чемодана. Синий глаз оценивающе смотрел на меня; отец как бы прикидывал, насколько мне можно доверять. Я вздернула подбородок, выпрямила плечи. Мне отчаянно хотелось заслужить его доверие.

— Что можно купить на пять центов? — вдруг

спросил он. Вопрос застал меня врасплох, я лишилась дара речи: откуда мне знать? Нам с Лорой не давали карманных денег: Рини говорила, сначала надо узнать им цену.

Отец вытащил из внутреннего кармана темного пиджака блокнот в переплете из свиной кожи и вырвал лист бумаги. А потом заговорил о пуговицах. Никогда не рано, сказал он, разобраться в простых принципах экономики, их нужно знать, чтобы действовать правильно, когда я вырасту.

— Представь, что сначала у тебя две пуговицы, — сказал отец. Расходы, продолжал он, это стоимость производства пуговиц, доходы зависят от того, за сколько ты их продашь, а чистая прибыль — это разница между этой суммой и расходами за данное время. Часть чистой прибыли ты оставишь на свои нужды, а на остальные деньги изготовишь четыре пуговицы, а когда их продашь, сможешь сделать уже восемь. Серебряным карандашиком он начертил схемку: две пуговицы, потом четыре, потом восемь. Пуговицы пугающе множились на странице, в соседней колонке так же быстро росли деньги. Как лущить горох: горох — в одну миску, шелуху — в другую. Отец спросил, понятно ли мне.

Я пристально в него вглядывалась. Он что,

всерьёз? Я не раз слышала, как он называл пуговичную фабрику ловушкой, зыбучим песком, проклятьем, альбатросом — но так бывало, когда он напивался. Сейчас же отец был трезв. Он словно извинялся, а не объяснял. Хотел от меня ещё чего-то помимо ответа. Казалось, хотел, чтобы я его простила, признала, что за ним нет вины. Но что он мне сделал? Я понятия не имела.

Я смутилась, ощущая собственное бессилие, не понимая, просит он или приказывает: это было выше моего разумения. То был первый, но отнюдь не последний случай, когда мужчина ждал от меня больше, чем я могла дать.

— Да, — сказала я.

За неделю до смерти, в одно ужасное утро — других тогда не было — мама сказала странную вещь, хотя тогда она мне странной не показалась.

— В глубине души папа тебя любит, — сказала она.

Мама не имела привычки говорить с нами о чувствах, особенно о любви — своей или ещё чьей, кроме божественной. Но родители должны любить своих детей, и потому я, должно быть, восприняла её слова как заверение: несмотря на видимость, мой отец такой же, как остальные отцы — или какими они должны быть.

Теперь я думаю, что все не так просто. Быть может, то было предостережение. Или бремя. Пусть *в глубине души* любовь, но сверху навалена груда всего остального, и ещё неизвестно что откроется, если копнуть поглубже. Вряд ли простой дар, чистое сверкающее золото. Скорее, нечто древнее и, возможно, губительное, вроде железного амулета, что ржавеет среди старых костей. Такая любовь — своего рода талисман, только тяжелый; и если таскать его с собой, он на железной цепи будет оттягивать шею.

IV

Слепой убийца: Кафе

Дождь мелкий, но беспрестанно моросит с полудня. Дымка окутывает деревья, стелется по мостовым. Женщина проходит мимо витрины с намалеванной кофейной чашкой, белой с зеленой каймой и с тремя завитками пара — словно кто-то тремя пальцами цеплялся за мокрое стекло. На двери вывеска, позолоченные буквы облупились: КАФЕ.

Открыв дверь, она ступает внутрь, отряхивая зонтик. Кремовый, как и поплиновый плащ. Она откидывает капюшон.

Он в последней кабинке, возле вращающейся двери на кухню, — как и сказал. Стены пожелтели от дыма, массивные кабинки выкрашены в тусклый бурый цвет, в каждой — куриная лапа металлического крюка для одежды. В кабинках сидят мужчины, одни мужчины в мешковатых пиджаках, похожих на потертые одеяла, без галстуков, неопрятно стриженные; сидят, широко расставив ноги в ботинках и прочно упираясь в половицы. Руки — точно обрубки: умеют спасать

или забивать до смерти — и выглядят при этом одинаково. Тупые инструменты, и глаза им под стать. В зале вонь, пахнет гнилыми досками, разлитым уксусом, мокрыми шерстяными брюками, старым мясом, душем раз в неделю, а ещё скупостью, обманом и обидой. Она понимает: важно притвориться, что запаха на замечаешь.

Он поднимает руку; мужчины недоверчиво и презрительно смотрят, как она торопится к нему, стуча по дереву каблучками. Она садится напротив него и с облегчением улыбается: он здесь. Он все ещё здесь.

Черт возьми, говорит он, ещё бы норку надела.

Что я сделала? Что не так?

Плащ.

Просто плащ. Обыкновенный дождевик, мямлит она. Что в нём такого?

Боже, говорит он, взгляни на себя. И посмотри по сторонам. Он слишком чистый.

На тебя не угодишь. Никогда у меня не получается.

Получается. Ты знаешь, когда получается. Но ты ничего не продумываешь.

Ты не предупредил. Я никогда раньше здесь не была — вообще в таком месте не была. И вряд ли мне удастся выбежать из дома в наряде уборщи-

цы — об этом ты подумал?

Взяла бы хоть шарф, что ли. Волосы прикрыть.

При чем тут волосы, в отчаянии спрашивает она. А ещё что? Что с волосами не так?

Слишком светлые. Бросаются в глаза. Блондинки — как белые мыши, встречаются только в клетках. На воле долго не живут. Слишком заметны.

Ты не слишком добр.

Ненавижу доброту, говорит он. Ненавижу людей, которые гордятся, что добрые. Сопливые грошовые благодетели, цедят доброту по капле. Презираю.

Я добрая, пытается улыбнуться она. Во всяком случае, к тебе я добра.

Если бы я считал, что это все — одна тепленькая жиденькая доброта, меня бы тут давно не было. Полночным экспрессом слинял бы из этого ада. Милостыня мне не подходит, и укромных подачек не надо.

Он какой-то дикий. Почему, недоумевает она. Они не виделись неделю. Или дождь виноват.

Может, это не доброта, говорит она. Может, эгоизм. Может, я черствая эгоистка.

Это уже лучше, отвечает он. Лучше будь жадной. Он гасит сигарету, тянется за другой, но

передумывает. Он по-прежнему курит фабричные, для него — большая роскошь. Наверное, ограничивает себя. Есть ли у него деньги, думает она, но спросить не может.

Не сиди напротив — так слишком далеко.

Знаю, отвечает она. Но больше негде. Всюду мокро.

Я найду для нас место. Укроемся от снега.

Снега нет.

Но он пойдет, говорит он. Скоро подует северный ветер.

И повалит снег. А как же разбойники, бедняжки? Наконец-то он усмехается, хотя больше похоже на гримасу. Где ты спишь? — спрашивает она.

Не важно. Лучше не знать. Если к тебе придут и станут задавать вопросы, не придется врать.

Не так уж плохо я вру, говорит она, пытаясь улыбнуться.

Любителя, может, и проведешь. Но профессионалы выведут тебя на чистую воду. Расколят в два счета.

Тебя все ищут? Не бросили?

Пока нет. Так мне сказали.

Ужасно, говорит она. Как ужасно. И все же нам повезло, правда?

Почему повезло? Он снова мрачен.

По крайней мере, мы сидим здесь, у нас есть…

Возле них останавливается официант. Рукава рубашки закатаны, огромный фартук давно не стиран и мят, пряди волос уложены на черепе сальной тесьмой. Пальцы рук — как пальцы ног.

Кофе?

Да, пожалуйста, просит она. Черный. Без сахара.

Она ждет, пока он отойдет. Не опасно?

Кофе? Хочешь знать, нет ли в нём микробов? Вряд ли — его кипятят часами. Он насмехается, но она предпочитает не замечать.

Я имею в виду, не опасно ли здесь находиться.

Он — друг моего друга. Но я поглядываю на дверь: если что, выберусь через черный ход. В переулок.

Ты ведь этого не делал, правда? спрашивает она.

Я уже говорил. Хотя мог бы: я же там был. Но это не важно, я их вполне устраиваю. Они мечтают пригвоздить меня к стене. Меня и мои вредные идеи.

Тебе нужно уехать, безнадежно говорит она. Ей в голову приходят слова *сжимать в объятьях* — как они устарели. Но именно этого она хочет

— сжать его в объятиях.

Не сейчас, говорит он. Пока нельзя. Нельзя ездить на поездах. Пересекать границы. Мне говорили, там следят больше всего.

Я волнуюсь за тебя. Мне это снится. Все время волнуюсь.

Не волнуйся, дорогая, отвечает он. А то похудеешь, и твои прелестные сиськи и задик сойдут на нет. И кому ты будешь нужна?

Она подносит руку к щеке, словно её ударили. Я не хочу, чтобы ты так говорил.

Я знаю, отвечает он. Девушки в таких плащах обычно этого не хотят.

«*Порт-Тикондерога Геральд энд Бэннер», 16 марта 1933 года*

ЧЕЙЗ
ВЫСТУПАЕТ ЗА АКЦИЮ ПОДДЕРЖКИ
ЭЛВУД
Р. МЮРРЕЙ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Как и ожидалось, движимый заботой о состоянии общества, капитан Норвал Чейз, президент компании «Чейз индастриз лимитед», объявил вчера, что его компания передает три вагона фабричных товаров «второго сорта» в счет помощи

районам, больше других пострадавшим от Депрессии. Среди пожертвованных вещей — детские одеяла, детские свитера и удобное мужское и женское нижнее белье.

Капитан Чейз заявил редактору «Геральд энд Бэннер», что во время национального кризиса все должны, как во время войны, энергично взяться за дело, особенно в провинции Онтарио, которой повезло больше остальных. Конкуренты, в частности, мистер Ричард Гриффен из торонтской компании «Королевский классический трикотаж», обвинили капитана Чейза в наводнении рынка дешевыми товарами для привлечения покупателей и, соответственно, лишении рабочих жалованья. На это капитан Чейз заявил, что раздает эти вещи бесплатно, поскольку нуждающиеся не могут их купить, и потому дорогу никому не перебегает.

Он прибавил, что все районы страны переживают спад, и «Чейз индастриз» тоже предстоит приспосабливать производство к упавшему спросу. По его

словам, он сделает все возможное, чтобы фабрики работали по-прежнему, но не исключено, что ему придется увольнять рабочих или сокращать их рабочие часы и жалованье.

Мы можем лишь приветствовать старания капитана Чейза, человека, который держит слово, в отличие от тех, кому милее тактика штрейкбрехерства и локаутов в таких промышленных центрах, как Виннипег и Монреаль. Подобные усилия помогают Порт-Тикондероге оставаться законопослушным городом, где не бывает профсоюзных бунтов, жестокого насилия и спровоцированного коммунистами кровопролития, что затопили другие города, где уничтожается собственность, страдают и гибнут люди.

Слепой убийца: Шинилевое покрывало

И здесь ты живешь? спрашивает она. И крутит перчатки в руках, будто они промокли, и она их выжимает.

Временно обитаю, отвечает он. Это другое.

Дом стоит в ряду других таких же домов из красного кирпича, потемневших от грязи, узких и

высоких, с островерхими крышами. Перед домом пыльный газон, жухлый бурьян вдоль дорожки. Валяется рваный бумажный пакет.

Четыре ступеньки на крыльцо. В окне первого этажа колышутся кружевные занавески.

В двери она оборачивается. Не волнуйся, говорит он, никто не смотрит. Все равно здесь живет мой друг. А я сегодня прилетел — завтра улетел.

У тебя много друзей, говорит она.

Отнюдь, возражает он. Если гнили нет, много не нужно.

В вестибюле — латунные крюки для одежды, на полу линолеум в желто-коричневую клетку, на матовом стекле внутренней двери узор из цапель или журавлей. Длинноногие птицы среди камышей и лилий изгибают грациозные змеевидные шеи, — остались со времен газового света. Дверь открыта вторым ключом, они входят в сумрачную прихожую; там он щелкает выключателем. Наверху — конструкция из трёх стеклянных розовых бутонов, из трёх лампочек двух нет.

Не смотри с таким ужасом, дорогая, говорит он. Ничего к тебе не пристанет. Только ничего не трогай.

Да нет, может пристать, усмехается она. Тебя-то мне придется трогать. Ты пристанешь.

Он закрывает стеклянную дверь. Слева ещё одна, покрытая темным лаком; женщине кажется, что изнутри прильнуло любопытное ухо, лёгкий скрип — словно кто-то переминается с ноги на ногу. Какая-нибудь злобная старая карга — у кого ещё могут быть кружевные занавески? Наверх ведет длинная разбитая лестница: гвоздями прибит ковёр, редкозубые перила. Обои притворяются шпалерами — переплетенные лозы и розочки — когда-то розовые, а теперь цвета чая с молоком. Он осторожно обнимает её, легко касается губами её шеи, горла, но в губы не целует. Её бьет дрожь.

Я легко смываюсь, шепчет он. Придешь домой — просто прими душ.

Не говори так, отвечает она тоже шепотом. Ты смеешься. Никогда не веришь, что я серьёзно.

Достаточно серьёзно, говорит он. Она обнимает его за талию, и они поднимаются по лестнице — чуть неуклюже, чуть тяжеловато: их тянут вниз тела. На полпути — круглое цветное окно: лиловые виноградные гроздья на небесной сини, умопомрачительно красные цветы — свет отбрасывает цветные блики на лица. На площадке второго этажа он вновь её целует, теперь жестче; юбка скользит вверх по её шелковистым ногам до конца чулок, его пальцы нащупывают резиновые

пуговки, он прижимает её к стене. Она всегда носит пояс; снимать его — как свежевать тюленя.

Шляпка падает, её руки обхватывают его шею, голова откидывается, тело выгибается, словно кто-то тянет её за волосы. А волосы, освободившись от заколок, падают на плечи; он гладит эту светлую длинную волну, она будто пламя, мерцающий огонек перевернутой белой свечи. Но пламя не горит вниз.

Комната на третьем этаже — наверное, раньше в ней жила прислуга. Они входят, и он тут же закрывает дверь на цепочку. Комната маленькая, тесная и сумрачная; единственное окно чуть приоткрыто; жалюзи почти совсем опущены, тюль закреплен по бокам. Полуденное солнце бьется в жалюзи, окрашивает их золотом. Пахнет гнилью и ещё мылом: в углу — маленькая треугольная раковина, над ней пятнистое зеркало; под раковину втиснута пишущая машинка в черном жестком футляре. В оловянном стаканчике — его зубная щетка, не новая. Слишком личное. Она отводит глаза. Темный лакированный письменный стол прожжен сигаретами и покрыт кругляшами от мокрых стаканов; но в основном комнату занимает кровать — латунная, старомодная, стародевическая кровать, вся белая,

кроме набалдашников. Наверняка, скрипит. Эта мысль вгоняет в краску.

Она понимает, что он пытался привести постель в порядок — сменил простыни или хотя бы наволочку, расправил желто-зеленое шинилевое покрывало. Лучше бы он этого не делал: её сердце сжимается от жалости, будто голодный крестьянин предложил ей последний кусок хлеба. А жалости она сейчас чувствовать не хочет. Не хочет видеть, что он уязвим. Это лишь ей позволено. Она кладет сумочку и перчатки на стол. Ей вдруг кажется, будто она пришла в гости. Получается абсурд.

Прости, дворецкого нет. Хочешь выпить? Есть дешевое виски.

Да, если можно, говорит она. Бутылка стоит в верхнем ящике стола. Он достает бутылку, два стакана, наливает. Скажи когда.

Когда, спасибо.

Льда нет, но есть вода.

Сойдет, отвечает она. Прислонясь к столу, залпом выпивает виски, закашливается, улыбается ему.

Все, как ты любишь, — быстро, сильно и на подъеме, говорит он. Садится на кровать со стаканом в руке. За любовь к этому. Он поднимает

стакан. Без улыбки.

Ты сегодня необычайно груб.

Самозащита, говорит он.

Ты знаешь, что я люблю не *это.* Я люблю тебя. И понимаю разницу.

До какой-то степени. Или думаешь, что понимаешь. Спасаешь лицо.

Скажи, почему я сейчас не ухожу?

Он усмехается. Иди ко мне.

Он не говорит, что любит её, хотя знает, что она этого ждет. Быть может, это его обезоружит, как признание вины.

Сначала сниму чулки. Они рвутся от одного твоего взгляда.

Как и ты, отвечает он. Оставь их. Иди же сюда.

Солнце сдвинулось; слева под жалюзи остался лишь светлый клин. За окнами громыхает и позвякивает трамвай. Трамваи, наверное, постоянно тут ходят. Откуда же тишина? Тишина и его дыхание, их дыхание, мучительно затаенное, чтобы не шуметь. Точнее, не слишком шуметь. Почему наслаждение звучит, точно боль? Будто кого-то ранили. Он рукой зажимает ей рот.

В комнате стемнело, но она видит лучше. На полу горбится покрывало; смятая простыня тканной лозой обвивает их тела; одинокая лампочка

без абажура; кремовые обои с лиловыми фиалками, крошечными и глупыми, — бежевые пятна там, где протекла крыша. Цепочка на двери — совсем хрупкая. Толкнуть плечом, дать хороший пинок. Что ей тогда делать? Она ощущает, как истончаются, леденеют стены. Они двое — рыбы в аквариуме.

Он закуривает две сигареты, одну дает ей. Они затягиваются.

Свободной рукой он гладит её тело, вбирает его пальцами. Думает, сколько ещё у неё времени, но не спрашивает. Берет её за запястье. У неё золотые часики. Он закрывает циферблат.

Ну, говорит он. Сказку на. ночь?

Да, пожалуйста, просит она.

На чем мы остановились?

Ты отрезал языки бедным девушкам в подвенечных вуалях.

Ах, да. Ты ещё протестовала. Если тебе не по душе эта история, могу рассказать другую, но не обещаю, что она окажется цивилизованнее. Может, современнее. Вместо нескольких мертвых цикронок — акры вонючей грязи и сотни тысяч…

Оставь прежнюю, быстро говорит она. Ты же её хотел рассказать.

Она тушит сигарету в коричневой стеклянной пепельнице и устраивается, прижавшись ухом к его груди. Ей нравится слушать его голос отсюда — будто слова рождаются не в горле, а в теле — гулом, глухим рокотом, зовом из-под земли. Точно кровь, что пульсирует у неё в сердце: слово, слово, слово.

«Мейл энд Эмпайр», 5 декабря 1934 года

АПЛОДИСМЕНТЫ БЕННЕТТУ
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ «МЕЙЛ ЭНД ЭМПАЙР»

Выступая вчера вечером перед членами Имперского клуба, мистер Ричард Гриффен, финансист из Торонто и президент «Королевского классического трикотажа», сдержанно похвалил премьер-министра Беннетта[13] и резко отозвался о его оппонентах.

Упомянув воскресный шумный митинг в Мапл-Лиф-Гарденс в Торонто, в ходе которого 15 000 коммунистов устроили истерическую встречу своему вождю

[13] Примечания: 13

Ричард Бедфорд Беннетт (1870–1947) — 11-й канадский премьер-министр (1930–1935).

Тиму Баку[14], осужденному за участие в заговоре мятежников, но условно освобожденному в субботу из Кингстонского исправительного дома в Портсмауте, мистер Гриффен выразил беспокойство по поводу правительственных «уступок» в связи с петицией, подписанной 200 000 «обманутых кровоточащих сердец». Политика «безжалостного стального каблука»[15], проводимая мистером Беннеттом, верна, подчеркнул мистер Гриффен, ибо тюремное заключение — единственный способ борьбы с подрывной деятельностью тех, кто плетет заговоры с целью сбросить законное правительство и конфисковать частную собственность.

Что касается десятков тысяч иммигрантов, высланных из страны согласно

---

[14] Примечания: 14

Тим Бак (1891–1973) — деятель коммунистического и рабочего движения Канады, в 1921–1929 гг. — секретарь Лиги профсоюзного единства Канады, в 1921 г. выступил одним из основателей Коммунистической партии Канады.

[15] Примечания: 15

Раздел 98 Уголовного кодекса Канады был принят в 1919 г. после Виннипегской общей забастовки. Он обеспечивал возможность подвергать тюремному заключению тех, кто подозревался в участии в незаконных ассоциациях, определенных в статье крайне смутно. Использовался для борьбы с инакомыслием.

разделу 98[16], в том числе депортированных в Германию и Италию, где они сразу попадут в лагерь для интернированных, то они пропагандировали деспотические режимы и теперь почувствуют их прелесть на собственной шкуре, заявил мистер Гриффен.

Перейдя к экономическим проблемам, он сказал: хотя уровень безработицы попрежнему высок, что вызывает недовольство населения и на руку коммунистам и их сторонникам, наблюдаются утешительные симптомы. Мистер Гриффен выразил уверенность, что к весне Депрессия закончится. Пока же единственно правильное решение — придерживаться прежнего курса и дать системе возможность излечиться самостоятельно. Следует сопротивляться любой тенденции к мягкому социализму мистера Рузвельта, поскольку он лишь ослабит больную

[16] Примечания: 16

В 1935 году премьер-министр Беннетт, первоначально придерживавшийся этой точки зрения, попытался ввести в Канаде реформы, аналогичные рузвельтовскому «Новому курсу», однако не преуспел, и в октябре 1935 г. его консервативная партия проиграла выборы, поскольку общество за пять лет пребывания Беннетта на посту насытилось его бездеятельностью.

экономику. Участь безработных достойна сожаления, однако многие из них предпочитают бездеятельность, а против агитаторов и забастовщиков следует принимать самые жесткие меры.

Речь мистера Гриффена была встречена горячими аплодисментами.

Слепой убийца: Посланец

Так вот. Скажем, темно. Все три солнца сели. Взошла парочка лун. В предгорьях бродят волки. Избранная девушка ждет своей очереди стать жертвой. В последний раз ей подали самые изысканные угощения, её надушили и умастили благовониями; в её честь пели гимны, возносили молитвы. И вот она возлежит на красно-золотом парчовом ложе, запертая в сокровеннейшем покое Храма, где пахнет цветочными лепестками, фимиамом и душистыми специями, что обычно сыплют в гробы. Её постель называется Ложем Одной Ночи, ибо ни одна девушка не проводила на нём две ночи подряд. А девушки, у которых ещё не отрезали языки, называли его Ложем Беззвучных Слез.

В полночь к ней придет Владыка Подземного Мира — по слухам, в ржавых доспехах. В Подзем-

ном Мире раздирают и уничтожают: все души должны пройти его на пути в Страну Богов; особо грешные останутся в Подземном Мире навечно. Каждую храмовую деву в ночь накануне жертвоприношения посещал Владыка, ибо иначе душа её никогда не успокоится, и вместо Страны Богов она отправится в дикую стаю прекрасных нагих покойниц с лазурными волосами, пышными телами, рубиновыми устами и глазами, точно полные змей глубокие колодцы, — к тем, что бродят среди древних разрушенных гробниц в пустынных горах Запада. Видишь, я их не забыл.

Ценю твою заботу.

Для тебя все, что угодно. Если что-нибудь захочешь, дай знать. Ну ладно. Как и другие народы, древние и нынешние цикрониты боялись девственниц, особенно мертвых. Обманутые женщины, умершие незамужними, обречены искать после смерти то, чего не получили при жизни. Днем они спят в руинах, а по ночам охотятся на неосторожных путешественников, особенно на молодых людей, что имеют глупость отправиться в те места. Женщины набрасываются на них и высасывают из несчастных жизненную силу, превращая в послушных зомби, что удовлетворяют все чудовищные желания голых покойниц.

Бедняги юноши, говорит она. А спастись от этих злобных тварей можно?

Их можно убить копьем или забить камнями. Но их великое множество — все равно, что сражаться с осьминогом: не успеешь оглянуться, а они уже тебя всего облепили. Кроме того, они гипнотизируют — мигом отключают волю. С этого и начинают. Одну видишь, и все — стоишь как вкопанный.

Могу себе представить. Еще виски?

Думаю, я переживу. Спасибо. Так вот, девушка — как бы ты её назвала?

Не знаю. Тебе выбирать. Ты знаешь местность.

Я подумаю. Значит, лежит она вся во власти предчувствий на Ложе Одной Ночи. И не знает, что хуже, — перерезанная глотка или ближайшие несколько часов. В Храме все знают, что к девушкам приходит не Владыка Подземного Мира, а переодетый придворный. Как и все остальное в Сакел-Норне, эта привилегия продается, и, говорят, платят за неё огромные суммы — тайком, естественно. Деньги идут Верховной Жрице, корыстной, как и все, и неравнодушной к сапфирам. Она оправдывается, клянясь тратить деньги на благотворительность, и действительно порою выполняет обещание, если, конечно, не

забывает. Девушки едва ли могут жаловаться на эту часть пытки, поскольку у них нет языков и письменных принадлежностей, да к тому же назавтра все они умирают. *Монетки с небес,* говорит Верховная Жрица, пересчитывая наличные.

Тем временем издалека к городу движется огромная орда грубых косматых варваров, что вознамерились захватить знаменитый Сакел-Норн, разграбить его и сжечь дотла. Они уже так расправились с несколькими городами на далеком Западе. Никто — то есть никто из цивилизованных народов — не может объяснить причину их побед. Плохо одетые, плохо вооруженные, варвары не умеют читать и не имеют хитроумных железных штуковин.

И более того, у них нет короля — только вождь. У него нет имени — он отказался от имени, став вождем, — только титул. Слугой Радости именуется он. Еще сторонники зовут его Мечом Всемогущего, Правым Кулаком Непобедимого, Чистильщиком Пороков, Защитником Добродетели и Справедливости. Никто не знает настоящей родины варваров, но говорят, что они пришли с северо-запада, где рождаются злые ветра. Враги называли их Народом Опустошения, но сами они величали себя Народом Радости.

Нынешний вождь имеет знаки благосклонности богов: родился в сорочке, ранен в ступню, а на лбу — звездообразная отметина. Он впадает в транс и общается с иным миром, если не знает, что делать дальше. Он пошел войной на Сакел-Норн, ибо такова воля богов — её передал посланец.

Посланец явился в виде пламени со множеством глаз и огненными крыльями. Эти посланцы говорят мудреными притчами и принимают различные облики: горящих *фалков,* говорящих камней, шагающих цветов или птицеголовых людей. Или же выглядят, как все. Странствующие в одиночку или вдвоем, люди, слывущие ворами или чародеями, чужеземцы, что говорят на нескольких языках, и нищие на обочине чаще всего оказываются посланцами, считает Народ Опустошения; поэтому с ними надо обращаться особо осмотрительно — по крайней мере, пока не обнаружится их истинная сущность.

Если они божьи эмиссары, лучше всего поскорей их накормить, дать вина и по необходимости женщину, а потом внимательно выслушать послание и отпустить с миром. Самозванцев же следует забить камнями и забрать все их имущество. Не сомневайся, все странники, чародеи, чужаки и

нищие, которых заносило в земли Народа Опустошения, заранее придумывали невразумительные притчи — *туманные слова* или *запутанный шелк*, вот как эти притчи назывались; достаточно загадочные, чтобы пригодиться в самых разных случаях, по обстоятельствам. Путешествовать по стране Народа Радости, не зная ни одной загадки или рифмованной головоломки, означало обречь себя на верную смерть.

По словам пламени с глазами, Сакел-Норн необходимо разрушить из-за его роскоши, поклонения ложным богам и особенно — из-за отвратительного обычая приносить в жертву детей. Именно из-за него всех жителей города, в том числе рабов, детей и жертвенных дев, следовало зарубить мечами. Убивать тех, чья будущая смерть и вызвала резню, может, и несправедливо, однако Народу Радости важны не вина или невиновность, но испорченность или неиспорченность, а по их мнению, в испорченном городе все испорчены одинаково.

Дикая орда движется вперед, поднимая облако пыли; оно флагом плывет над ордою. Она ещё далеко, и часовые не видят её со стен Сакел-Норна. А те, кто мог предупредить горожан, — пастухи, пасущие стада вдали от города, проезжие тор-

говцы и так далее — пойманы и безжалостно изрублены на куски — за исключением тех, кто может оказаться божьим посланцем.

Слуга Радости едет впереди — его сердце чисто, брови насуплены, глаза горят. На плечах грубый кожаный плащ, на голове знак служения — красный конусообразный колпак. За ним его воины — в чем мать родила. Впереди бежит скот; падальщики рыщут позади, а наравне с воинами мчатся волки.

Тем временем среди ничего не подозревающих горожан зреет заговор против короля. Устраивают его, как обычно, несколько самых доверенных придворных. Они наняли искуснейшего слепого убийцу, юношу, что когда-то ткал ковры, потом служил в борделе, а после побега успел прославиться как самый ловкий и безжалостный наемный убийца. Икс его звали.

Почему Икс?

Людей, вроде него, всегда так зовут. Зачем им настоящие имена? Имена могут выдать. Кроме того, «икс» — рентгеновские лучи; если ты Икс, можешь пройти сквозь прочные стены или видеть, что таится под женской одеждой.

Но Икс слепой.

Тем лучше. Он видит сокрытое женской одеж-

дой — оно пред внутренним мелькает взором; вот счастье одиноких дум.

Бедный Вордсворт[17]! Не богохульствуй! — восхищается она.

Не могу! Богохульствую с детства.

Икс должен проникнуть в Храм Пяти Лун, найти дверь в покои, где заперта завтрашняя жертвенная дева, и перерезать горло стражнику. Затем убить девушку, спрятать тело под легендарным Ложем Одной Ночи и надеть свадебный наряд девы. Но сделать это нужно после визита придворного, что притворяется Владыкой Подземного Мира, — а этот придворный как раз и есть глава дворцового заговора, — он придет, получит то, за что заплатил, и уйдет. Придворный отдал большие деньги и не хочет их терять. Ему не нужна мертвая девушка, пусть ещё теплая. Ему нужно, чтобы сердце билось.

Но случился сбой. Перепутали время, и теперь дело обстоит;; так, что первым в покои войдет слепой убийца.

Как ужасно, говорит она. У тебя извращенное воображение.

---

[17] Примечания: 17

Уильям Вордсворт (1770–1850) — английский поэт, прозаик и драматург. Цитата из стихотворения «Нарциссы» (1804).

Он проводит пальцем по её голой руке. Хочешь слушать дальше? Обычно я это делаю за деньги. А ты все получаешь бесплатно, так что будь благодарна. Ты ведь не знаешь, что дальше будет. Я просто закручиваю сюжет.

По-моему, он и так крепко закручен.

Крепко закрученные сюжеты — мой конек. Хочешь послаще — обращайся в другое место.

Ладно. Продолжай.

Переодевшись в одежду мертвой девушки, слепой убийца должен дождаться утра, позволить служителям подвести себя к алтарю и там в момент жертвоприношения заколоть короля. Будто бы сама Богиня его сразила. Это послужит сигналом для тщательно подготовленного переворота.

Кое-кто из подкупленной черни инсценирует бунт. После этого события пойдут веками освященным чередом. Храмовых жриц возьмут под стражу — якобы для их безопасности, но на самом деле, чтобы заставить их поддержать претензии заговорщиков на духовную власть. Преданных королю знатных горожан убьют на месте, их сыновей тоже, чтобы потом не мстили за отцов. Дочерей выдадут замуж за победителей, которые таким образом законно обретут богатства побежденных; а жен, изнеженных и, несомненно,

развратных, отдадут на потеху толпе. Когда великие падают с пьедесталов, приятно вытирать о них ноги.

Слепой убийца в суматохе ускользнет, а потом вернется позже за второй половиной щедрого гонорара. Но заговорщики намерены тут же его зарезать — не годится, если заговор провалится, а его поймают, — он может заговорить. Его труп надежно спрячут: все знают, что слепые убийцы работают только по найму, и со временем может встать вопрос, кто же его нанял? Одно дело — устроить убийство короля, и совсем другое — быть пойманным.

Девушка, чье имя нам до сих пор неизвестно, лежит на парчовом ложе, ожидая фальшивого Владыку Подземного Мира и безмолвно прощаясь с жизнью. Слепой убийца крадется по коридору в сером одеянии храмовой служанки. Он у дверей. Страж — женщина: мужчина не может прислуживать в храме. Из-под серой вуали убийца шепчет, что принес послание от Верховной Жрицы, предназначенное только для её ушей. Женщина наклоняется — один удар кинжала, молния милосердных богов. Невидящие руки мгновенно нащупывают ключи.

Ключ поворачивается в замке. Девушка слы-

шит. И садится на ложе.

Он замолкает. Прислушивается к чему-то на улице.

Она приподнимается, опираясь на локоть. Что с тобой? — спрашивает она. Просто кто-то машину закрыл.

Окажи мне услугу, просит он. Будь хорошей девочкой, надень рубашечку и посмотри в окно.

А если меня увидят? — говорит она. День все-таки.

Ничего. Тебя не узнают. Просто увидят женщину в комбинации — обычное зрелище в этих местах. Подумают, что ты…

Женщина лёгкого поведения? — спрашивает она беспечно. Ты тоже так думаешь?

Нет, девушка, потерявшая девственность. Это не одно и то же.

Очень любезно с твоей стороны.

Иногда я худший свой враг.

Если бы не ты, я потеряла бы гораздо больше. Она подходит к окну, поднимает жалюзи. На ней зябко-зеленая комбинация — как прибрежный лед, битый лед.

Он её не удержит, не сможет удерживать долго. Она растает, уплывет, она выскользнет из рук.

Ну, что там? — спрашивает он.

Ничего особенного.

Возвращайся в постель.

Но она глядит в зеркало над раковиной, видит себя. Нагое лицо, растрепанные волосы. Смотрит на золотые часики. Господи, какой ужас, говорит она. Надо бежать.

«Мейл энд Эмпайр», 15 декабря, 1934 года

АРМИЯ ПОДАВЛЯЕТ СТАЧЕЧНЫЕ БЕСПОРЯДКИ

ПОРТ-ТИКОНДЕРОГА, ОНТАРИО

Новые акты насилия отмечены вчера в Порт-Тикондероге; это продолжение недельных беспорядков, связанных с закрытием фабрик «Чейз и Сыновья», забастовкой и локаутом. Полиции не удалось справиться с превосходящими её силами забастовщиков, власти потребовали выслать подкрепление, и премьер-министр распорядился, чтобы в интересах безопасности населения в Порт-Тикондерогу был отправлен Королевский Канадский полк, который прибыл туда в два часа пополудни. По имеющимся данным, сейчас ситуация в городе стабилизировалась.

До прибытия полка митинг забастовщи-

ков вышел из-под контроля. На главной улице в магазинах были разбиты витрины и разграблены товары. Владельцы магазинов, пытавшиеся защищать свою собственность, в настоящее время находятся в больнице, где лечатся от ушибов. По слухам, один полицейский, получив сотрясение мозга от удара кирпичом по голове, находится в очень тяжелом состоянии. Расследуются причины пожара, вспыхнувшего на Первой фабрике рано утром и потушенного городскими пожарными; подозревают поджог. Ночного сторожа, мистера Эла Дэвидсона вытащили из огня уже мертвым: он скончался от удара по голове и отравления дымом. Виновные этого преступления активно разыскиваются, уже имеются подозреваемые.

Редактор городской газеты мистер Элвуд Р. Мюррей заявил, что беспорядки — результат спаивания участников митинга агитаторами со стороны. По его словам, местные рабочие — законопослушные граждане, и мятеж могла вызвать только провокация.

Нам не удалось получить комментарии у президента «Чейз и Сыновья» мистера Норвала Чейза.

Слепой убийца: Кони ночи

На этой неделе — другой дом, другая комната. Хотя бы есть место между дверью и кроватью. Мексиканские занавески в желтую, синюю и красную полоску; кровать с изголовьем из птичьего глаза[18] малиновое колючее шерстяное одеяло — сейчас валяется на полу. На стене испанская афиша боя быков. Кожаное темно-бордовое кресло; письменный стол из мореного дуба; стаканчик с аккуратно заточенными карандашами; подставка для трубок. Густой запах табака.

Книжная полка: Оден[19], Веблен[20], Шпен-

---

[18] Примечания: 18

Ценный сорт кленовой древесины.

[19] Примечания: 19

Уистан Хью Оден (1907–1973) — известный англо-американский поэт, придерживался вполне левых взглядов

[20] Примечания: 20

Торстейн Веблен (1857–1929) — американский экономист и социолог, автор противоречивой экономической теории, сочетавшей критику капитализма с утопизмом (в ряде работ предлагал передать руководство хозяйством и обществом производственно-технической интеллигенции — впрочем, в конце жизни от этой теории отказался).

глер[21], Стейнбек[22], Дос Пассос[23]. На видном месте «Тропик Рака» — должно быть, контрабандный. «Саламбо»[24], «Странный беглец»[25], «Сумерки идолов»[26], «Прощай, оружие»[27]. Барбюс[28], Монтерлан[29]. *«Hammurabis Gezetz: Juristische Erlauterung».* Интеллектуал этот новый друг, думает она. И денег побольше. Значит, не так надежен. На вешалке три шляпы разных фасонов и кашемировый халат из шотландки.

Ты что-нибудь из этого читал? — спрашивает она, когда они заходят в комнату, и он запирает дверь. Она снимает шляпку и перчатки.

Кое-что, отвечает он, не уточняя. Повернись. Он вынимает листик из её волос.

Смотри, уже падают.

Она мысленно спрашивает себя, в курсе ли

---

[21] Примечания: 21

Освальд Шпенглер (1880–1936) — немецкий философ-идеалист, представитель философии жизни. Ключевая работа — «Закат Европы».

[22] Примечания: 22

Джон Эрнст Стейнбек (1902–1968) — американский писатель, в 1930-е гг. много писал о социальных проблемах.

[23] Примечания: 23

ДжонДосПассос(1896–1970) — американский писатель, до войны в Испании примыкал к левым кругам.

[24] Примечания: 24

Роман классика французской литературы Гюстава Флобера (1821–1880) о древнем Карфагене в эпоху 1-й Пунической войны, впервые опубликован в 1862 г.

[25] Примечания: 25

Роман канадского писателя и журналиста Морли Каллагана (1903–1990), впервые опубликован в 1928 г.

[26] Примечания: 26

Работа знаменитого немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900), впервые опубликована в 1888 г.

[27] Примечания: 27

Роман знаменитого американского писателя Эрнеста Хэмингуэя (1899–1961); впервые опубликован в 1929 г.

[28] Примечания: 28

Анри Барбюс (1873–1935) — французский писатель и общественный деятель, большой поклонник Советского Союза.

[29] Примечания: 29

Анри де Монтерлан (1896–1972) — французский писатель довольно тоталитарных устремлений.

друг. Не просто насчет женщины, — им надо было как-то договориться, чтобы друг не пришел не вовремя, мужчины так делают, — о том, кто она такая. Её имя и все прочее. Она надеется, что нет. Судя по книгам и особенно по афише, друг из принципа был бы настроен против неё.

Сегодня он менее порывист, задумчивее. Ему хочется медлить, сдерживаться. Вглядываться.

Почему ты так смотришь?

Запоминаю.

Зачем? — И она рукой закрывает ему глаза. Ей не нравится, когда её так изучают. Будто щупают.

Чтобы ты осталась со мной, говорит он. Когда я уеду.

Не надо. Не порть сегодняшний день.

Куй железо, пока горячо, говорит он. Таков твой девиз?

Скорее уж — мотовство до нужды доведет, отвечает она. И тогда он смеется.

Она обмоталась простыней, подоткнула её на груди; лежит, прижавшись к нему; длинные ноги прячутся в белом изгибе русалочьего хвоста. Он заложил руки за голову, смотрит в потолок. Она дает ему отпить из своего стакана — на этот раз водка с водой. Дешевле, чем виски. Она все

время собирается захватить из дома что-нибудь приличное — что пить можно, — но каждый раз забывает.

Ну, рассказывай, просит она.

Мне нужно вдохновение, отвечает он.

Чем тебя вдохновить? Я могу остаться до пяти.

Тогда подлинное вдохновение отложим. Нужно собраться с силами. Дай мне полчаса.

O lente, lente currite noctis equi!

Что?

Медленней, медленней, о кони ночи[30]. Это Овидий, говорит она. На латыни звучит как медленный галоп. Неловко вышло: она будто хвастается. Никогда не поймешь, что он знает, а что нет. Иногда притворяется, что не знает, она давай объяснять, и тут оказывается, что он знает и притом давно. То говори, то молчи.

Странная ты. Почему кони ночи?

Они тащат колесницу Времени. А герой у возлюбленной. Хочет, чтобы ночь продлилась, чтобы дольше оставаться.

Зачем? — лениво спрашивает он. Пяти минут не хватит? Заняться больше нечем?

---

[30] Примечания: 30

Цитата из «Любовных элегий» (XIII) римского поэта Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. — ок. 18 г. н. э.).

Она садится. Ты устал? Я тебя утомила? Мне уйти?

Ложись. Никуда ты не пойдешь.

Лучше бы он не разговаривал, словно ковбой из вестерна. Он пытается взять верх. Тем не менее она ложится, обнимает его.

Положите руку вот сюда, мэм. Вот так. Прекрасно. Он закрывает глаза. Возлюбленная, говорит он. ЧуднОе слово! Викторианское. Мне следует целовать тебе изящную туфельку или потчевать тебя шоколадом.

Может, я чудная. Может, я викторианка. Тогда *любовница.* Или *юбка.* Так современнее? По справедливости?

Конечно. Но я предпочту *возлюбленную.* Справедливости не бывает же, правда?

Правда, говорит она. Не бывает. А теперь рассказывай.

Под вечер, продолжает он, Народ Радости становится лагерем на расстоянии дневного перехода от города. Рабыни — пленницы, захваченные в предыдущих сражениях, — разливают алый *ранг* из кожаных фляг, где он бродит; раболепствуют, кланяются, прислуживают, таскают чаны с жестким недоваренным мясом угнанных *фалков.* Законные жены сидят в тени, глаза их сверкают

в темных прорезях покрывал, подмечают бесстыдство. Сегодня им спать одним, но потом они смогут отхлестать пленниц за неловкость или неуважение, и непременно так и поступят.

Мужчины в кожаных плащах сидят на корточках возле костерков, ужинают, тихо переговариваются. Они невеселы. Завтра или послезавтра, в зависимости от их скорости и бдительности врага, придется сражаться, и на этот раз они могут не победить. Посланец с яростными глазами, что говорил с Кулаком Непобедимого, обещал победу, если они останутся благочестивыми и послушными, смелыми и хитроумными, но в таких делах всегда слишком много «если».

В случае поражения их убьют вместе с женщинами и детьми. Никто не ждет пощады. В случае победы убивать придется им, а это менее приятно, чем принято считать. Убить нужно всех — таков приказ. Ни одного живого мальчика — иначе он вырастет, мечтая отомстить за убитого отца. И ни одной девочки: она может развратить Народ Радости. Раньше они из побежденных городов привозили молодых пленниц и распределяли их между воинами: по одной, по две, по три — в зависимости от заслуг и удали, но в этот раз божий посланец сказал: хорошенького понемножку.

Резня будет утомительна и шумна. Резня такого масштаба требует напряжения сил и разлагает; провести её надо очень тщательно, или Народу Радости не избежать бед. У Всемогущего есть способы настаивать на букве закона.

Лошади привязаны в стороне. Их мало: одни вожди ездят на этих стройных, норовистых животных с заскорузлыми губами, длинными скорбными мордами и нежными трусливыми глазами. Они не виноваты — их заставили.

Тот, у кого есть лошадь, может пинать её и бить, но не смеет зарезать и съесть, ибо давным-давно посланец Всемогущего явился Народу в облике первого коня. Говорят, что лошади помнят и гордятся этим. И потому позволяют себя седлать лишь вождям. Во всяком случае, так принято объяснять.

«Мэйфэйр», май 1935 года

СВЕТСКИЕ СПЛЕТНИ ТОРОНТО ЙОРК

Весна шаловливо началась с апрельского события, о котором возвестила внушительная вереница лимузинов с шоферами, что свозили именитых гостей на один из самых любопытных приемов

сезона; это очаровательное мероприятие состоялось 6 апреля в тюдоровском «Роуздейле» миссис Уинифред Гриффен Прайор в честь мисс Айрис Чейз из Порт-Тикондероги, Онтарио. Мисс Чейз — дочь капитана Норвала Чейза и внучка покойной миссис Бенджамин Монфор Чейз из Монреаля. Она невеста брата миссис Гриффен Прайор, мистера Ричарда Гриффена, долгое время считавшегося одним из самых завидных женихов нашей провинции; их свадьба состоится в мае и обещает стать незабываемым событием года.

Дебютантки прошлого сезона и их матери с нетерпением ждали появления юной невесты, которая была очаровательна в скромном бежевом креповом костюме от Скиапарелли с узкой юбкой и длинной баской, отделанной черным бархатом и гагатом. Миссис Прайор принимала гостей в изящном платье от Шанель цвета «пепел розы», с юбкой в складку и мелким жемчугом на лифе. Гостей окружали белые нарциссы, белые решетчатые беседки и горящие свечи в

серебряных канделябрах с гирляндами искусственного черного мускатного винограда, декорированных серебристыми лентами. На приеме также присутствовала сестра мисс Чейз и подружка невесты, мисс Лора Чейз, в зеленом вельветовом платье, отделанном атласом.

Из высоких гостей были замечены заместитель губернатора с женой, миссис Герберт А. Брюс; полковник Р. И. Итон с женой и дочерью, мисс Маргарет Итон; достопочтенный У. Д. Росс с женой и дочерьми — мисс Сьюзан Росс и мисс Изобел Росс, миссис А. Л. Элсворт с двумя дочерьми — миссис Беверли Балмер и мисс Элейн Элсворт, мисс Джоселин Бун и мисс Дафна Бун, а также мистер Грант Пеплер с женой.

Слепой убийца: Бронзовый колокол

Полночь. В городе Сакел-Норн звонит единственный бронзовый колокол — отмечает момент, когда Поверженный Бог, ночное воплощение Бога Трех Солнц, достигает низшей точки падения в темноту, где после яростной схватки его разорвет в клочки Владыка Подземного Ми-

ра и его приспешники — живущие в глубине мертвые воины. Богиня соберет Поверженного по частям, вернет к жизни, он восстановит силу и здоровье, и на рассвете вновь явится миру, возрожденный, полный света.

Хотя Поверженный Бог — популярный культ, жители больше не верят в эту легенду. И все-таки женщины лепят Поверженного из глины, а в самую темную ночь года их мужья разбивают фигурку вдребезги. И на следующее утро женщины вновь её лепят. Для детей пекут съедобных сладких божков; дети с их жадными ротиками — как само будущее, что, подобно времени, пожирает все живое.

Король сидит в одиночестве в самой высокой башне роскошного дворца, откуда наблюдает за звездами, выискивая знаки и знамения на следующую неделю. Тканную платиновую маску он снял: никого нет и чувства можно не скрывать. Можно улыбаться или хмуриться, как обычный йгнирод. Какое облегчение!

Вот сейчас он грустно улыбается: вспоминает последнюю интрижку с пухленькой женой мелкого чиновника. Глупа, как *фалк*, но у неё мягкие полные губы, точно мокрая бархатная подушка; длинные тонкие пальцы, проворные, как рыбки;

хитрые узкие глазки и большая сноровка. Однако в последнее время она слишком настойчива и неосторожна. Пристает к нему, требует, чтобы он сочинил стихотворение о её загривке или ещё какой части тела: среди придворных пижонов это принято, но у него стихотворный дар отсутствует. Зачем женщинам эти трофеи, эти сувениры? А может, она хочет выставить его глупцом, показать свою власть?

Жалко, но придется от неё избавиться. Он разорит её мужа — окажет честь отобедать в его доме с приближенными; они останутся там до полного банкротства этого идиота. Женщину продадут в рабство за мужнины долги. Может, это даже пойдет ей на пользу — мышцы окрепнут. Приятно вообразить её без вуали, с лицом, открытым для взоров каждого прохожего, — она хмуро несет хозяйкину скамеечку для ног или домашнего любимца, синеклювого *вибулара.* Или можно приказать её убить, но это несколько чересчур: виновата она лишь в склонности к плохим стихам. Он же не деспот.

Перед ним лежит выпотрошенный *урм.* Король лениво гладит перья. Ему плевать на звезды: он больше не верит в эту чушь, но нужно глянуть на небо хоть разок и что-нибудь объявить. Пока

сойдет, если предсказать умножение богатства и щедрый урожай: если обещания не сбываются, люди их обычно не помнят.

Он размышляет, насколько правдиво то, что сообщил его конфиденциальный источник — личный брадобрей — об очередном заговоре. Надо ли арестовывать, затевать пытки и казни? Несомненно. Кажущаяся слабость вредит общественному порядку, как и слабость подлинная. Желательно крепко держать вожжи. Если покатятся головы, его собственной среди них не будет. Придется действовать, защищаться, но странная вялость охватила короля. Управлять государством — постоянное напряжение: на секунду расслабишься, и тут же нападут — кто там нападает.

К северу ему чудится вспышка, будто что-то горит, но потом все пропадает. Наверное, молния. Он проводит рукой по глазам.

Мне его жаль. Думаю, он старается.

Пожалуй, надо нам ещё выпить. Ты как на это смотришь?

Держу пари, ты его прикончишь. Что-то мне говорит.

По справедливости, он это заслужил. Я лично думаю, что он подонок. Но короли вынуждены

быть подонками, так ведь? Выживает сильнейший и так далее. А слабого к стенке.

Ты сам в это не веришь.

А как иначе? Выжми из бутылки, что можно. Я вообще-то умираю от жажды.

Попробую. Она встает, волоча за собой простыню. Бутылка на письменном столе. Кутаться необязательно, говорит он. Мне нравится то, что я вижу.

Она оглядывается через плечо. Так загадочнее, говорит она. Давай сюда стакан. Не покупал бы ты это пойло.

Остальное мне не по карману. В любом случае, я не знаток. Я ведь сирота. Приютская жертва пресвитерианцев. Оттого я мрачен и уныл.

Сиротства не надо, нечего на жалость давить. Сердце не затрепещет.

Затрепещет, возражает он. Я в него верю. Помимо твоих ножек и отличного задика, я восхищен жадностью твоего сердца.

У меня не сердце жадное, а ум. Жадный ум. Во всяком случае, так мне говорили.

Он смеется. Тогда — за твой жадный ум. И зароем топор войны.

Она пьет, морщась.

Что входит — то и выходит, весело говорит он.

Раз уж зашла речь, пора бы и отлить. Он встает, подходит к окну, приподнимает раму.

Да ты что!

Тут проулок. Я ни в кого не попаду.

Хоть штору не поднимай. А как же я?

А что ты? Никогда раньше не видела голого мужика? Ты не всегда закрываешь глаза.

Я не об этом. Я не могу писать в окно. Я лопну.

Халат моего друга, говорит он. Видишь? Клетчатый, на вешалке? Только чтобы в коридоре никого не было. Хозяйка — любопытная старая стерва, но если ты в клетчатом, она тебя не увидит. Сольешься с фоном: эта дыра вся сплошь в клеточку.

Ну, говорит он. На чем я остановился?

Полночь, напоминает она. Звонит единственный бронзовый колокол.

Ах, да. Полночь. Звонит единственный бронзовый колокол. Звон растворяется, и слепой убийца поворачивает ключ в замке. Его сердце бешено стучит — как всегда в минуту опасности. Если поймают, смерть будет долгой и мучительной.

Его не волнует убийство, которое он сейчас совершит, и не интересуют причины убийства. Кого и зачем убивать — дело богатых и сильных, а он их всех ненавидит. Они отняли у него зрение,

а затем, когда он был слишком мал, чтобы защищаться, десятками насиловали его тело, и он рад каждой возможности всадить нож в любого из них — в них и в тех, кто замешан в их делах, как эта девушка. Ему не важно, что она пленница, пусть пышно одетая и увешанная драгоценностями. Не важно, что его ослепили те же, кто сделал её немой. Он выполнит свою работу, получит деньги, и дело с концом.

Если он не убьет её сегодня, она умрет завтра. Он зарежет быстро и гораздо ловчее. Окажет ей услугу. Слишком много накладок во время жертвоприношений. Короли не умеют обращаться с кинжалом.

Он надеется, что девушка шуметь не станет. Его предупредили, что она не может кричать: самое большее, на что способен её изуродованный, безъязыкий рот — придушенное мяуканье, словно кошка в мешке. Отлично. Тем не менее он будет осторожен.

Он втаскивает труп стражницы в комнату, чтобы никто на неё не наткнулся. Затем босые ноги неслышно шагают туда же, и убийца запирает дверь.

V

Шуба

Утром по метеоканалу сообщили, что надвигается торнадо; к середине дня небо зловеще позеленело, а деревья трещали так, будто сквозь них продирался огромный разъяренный зверь. Буря пронеслась где-то высоко: по небу метались змеиные языки белого пламени, и словно громыхала стопка жестяных форм для пирожных. *Считайте до тысячи одного,* говорила нам Рини. *Если получится, значит, буря в миле отсюда.* Она не разрешала в грозу пользоваться телефоном: молния попадет в ухо, и оглохнешь. И ванну нельзя принимать, учила она: молния вылетит из крана. А ещё она говорила: если волосы на загривке встали дыбом, нужно подпрыгнуть, иначе ждет беда.

Буря к вечеру утихла, но было по-прежнему сыро, как в канаве. Я ворочалась в постели, прислушиваясь к сбивчивому шагу сердца по матрасу и пытаясь устроиться поудобнее. Наконец махнула рукой на сон, натянула поверх ночной рубашки длинный свитер и преодолела

лестницу. Надела синтетический плащ с капюшоном, сунула ноги в резиновые боты и вышла на улицу. Мокрые деревянные ступеньки опасны. Краска облезла — должно быть, гниют.

В слабом свете все казалось черно-белым. Воздух влажный и недвижный. Хризантемы на лужайке перед домом искрились сверкающими капельками; целая армия слизней дожевывала остатки листьев люпина. Говорят, слизни любят пиво; думаю, нужно им поставить немного. Лучше уж им, чем мне: никогда не любила такое спиртное. Мне бы бессилия побыстрее.

Я плелась и топала по мокрому тротуару. Полную луну затянула призрачная дымка; при свете фонарей моя четкая тень гоблином скользила впереди. Какая отвага, думала я: пожилая женщина разгуливает ночью совсем одна. Любой встречный сочтет меня совершенно беззащитной. Я и вправду немного испугалась, лучше сказать — встревожилась, и сердце учащенно забилось. Майра так мило мне твердит, что старые дамы — первая жертва грабителей. Говорят, эти грабители наведываются из Торонто — оттуда вообще все зло. Может, приезжают на автобусе, а воровское снаряжение маскируют под зонтики или клюшки для гольфа. Такие на все способны,

мрачно говорит Майра.

Я прошла три квартала до центральной городской улицы и остановилась глянуть на гараж Уолтера по ту сторону мокрой лоснящейся площади. Стеклянная Уолтерова будка маяком светилась среди чернильного пустого асфальтового озера. Подавшись вперед, в красной кепке, он напоминал стареющего жокея на невидимой лошади или пилота космического корабля, что ведет свою дьявольскую машину меж звезд. Вообще-то он просто смотрел спортивный канал по миниатюрному телевизору — Майра об этом рассказывала. Я не подошла поболтать: не хотелось пугать его своим видом, внезапно явившись из темноты в резиновых ботах и ночной рубашке, точно безумный восьмидесятилетний ловчий. И все же приятно сознавать, что хоть один человек в это время не спит.

По дороге домой я услышала позади шаги. Ну вот, добилась своего, сказала я себе, вот тебе и грабитель. Но то была лишь молодая женщина в черном плаще, с сумкой или маленьким чемоданчиком. Она быстро обогнала меня, глядя под ноги.

Сабрина, подумала я. Она все же вернулась. Я почувствовала себя прощенной, и на мгнове-

ние душа моя преисполнилась блаженства и благодати, словно время покатилось вспять, и моя старая сухая деревянная трость чудесным образом расцвела. Но со второго взгляда — нет, с третьего, — стало ясно, что это не Сабрина, просто незнакомая девушка. В конце концов, кто я такая, чтобы заслужить подобное чудо? Как можно надеяться?

Но я надеюсь. Несмотря ни на что.

Но хватит об этом. Как раньше писали, я вновь берусь за перо. Вернемся в Авалон.

Мама умерла. *Прежнего не вернешь.* Мне сказали сжать волю в кулак. Кто сказал? Конечно, Рини, или, может, отец. Странно, никогда не говорят о пальцах — их грызешь, заменяя одну боль другой.

Поначалу Лора все время сидела в маминой шубе. Котиковая шуба, и в кармане ещё лежал мамин платок. Лора пряталась в шубе, пытаясь застегнуть её изнутри, пока не догадалась поменять порядок: сначала застегивать пуговицы, а потом заползать снизу. Думаю, она там молилась или колдовала, пытаясь маму вернуть. Но что бы она ни делала, это не помогло. А потом шубу отдали благотворительной организации.

Потом Лора стала спрашивать, куда делся ребе-

нок, — тот, что был не похож на котенка. Ответ — *взяли на небо* — её не удовлетворял: она видела его в тазу. Рини сказала, что ребенка унес доктор. Но почему его не похоронили? Потому что он родился слишком маленьким, отвечала Рини. А как такой маленький мог убить маму? *Не твое дело,* сказала Рини. *Вырастешь* — узнаешь, сказала она. *Меньше знаешь — крепче спишь,* сказала она. Сомнительное утверждение: иногда страдаешь ужасно от того, чего не знаешь.

По ночам Лора прокрадывалась в мою комнату, будила меня и забиралась ко мне в постель. Она не могла спать: ей мешал Бог. До похорон они дружили. *Бог любит тебя,* говорила учительница в воскресной школе при методистской церкви, куда посылала нас мама, а теперь, по традиции, Рини. Раньше Лора верила. Но теперь начала сомневаться.

Её мучил вопрос о местопребывании Бога. Учительница в воскресной школе допустила ошибку, сказав: *Бог везде;* Лора хотела знать: а на солнце есть Бог, а на луне, а на кухне, а в ванной, а под кроватью он есть? («Я бы этой учительнице голову открутила», — сказала Рини.) Лоре не хотелось, чтобы Бог вдруг откуда-нибудь выскочил; учитывая его поведение, это нетрудно понять. *Закрой*

глаза и открой рот — сюрприз тебя ждет, говорила Рини, пряча за спину печенье, но теперь Лора глаз не закрывала. Держала их открытыми. Она доверяла Рини, просто боялась сюрпризов.

Возможно, Бог сидел в кладовой. Скорее всего. Прятался там, будто опасный дядя-сумасброд, но Лора не знала, там ли он — боялась открыть дверь. «Бог — в твоем сердце», — сказала учительница из воскресной школы. Еще хуже. Если в кладовой, можно хоть что-то сделать — закрыть дверь, например.

Бог никогда не спит, так говорится в гимне: *Беспечный сон не сомкнет его век.* Бродит по ночам вокруг дома и следит, хорошо ли там себя ведут, насылает разные напасти или ещё как-нибудь чудит. Рано или поздно он непременно сделает гадость — он не раз поступал так в Библии.

— Слышишь, это он, — говорила Лора. Легкий шаг, тяжелый шаг.

— Это не Бог. Это просто папа. Он наверху, в башне.

— Что он там делает?

— Курит. — Мне не хотелось говорить *пьет.* Отдавало предательством.

Я испытывала особую нежность к Лоре, когда она спала, — рот приоткрыт, ресницы ещё влаж-

ны; но спала она беспокойно: стонала, брыкалась, а иногда и храпела, не давая уснуть мне. Тогда я выбиралась из кровати, шла на цыпочках через комнату и запрыгивала на подоконник. Под луной сад был серебристо-серый, словно из него высосаны все краски. Я видела силуэт каменной нимфы, луна отражалась в пруду, и нимфа окунала ножки в холодный свет. Дрожа от холода, я возвращалась в постель и лежала, следя за колыханием штор и прислушиваясь к бульканью и скрипу переминающегося дома. И раздумывала, в чем я виновата.

Детям кажется, что все плохое происходит по их вине, и я не исключение; но ещё дети верят в счастливый конец, пусть ничто его не предсказывает, и тут я тоже от других не отличалась. Я только очень хотела, чтобы он поскорее наступил, потому что — особенно по ночам, когда Лора спала и не нужно было её подбадривать, — я была совсем одинока.

По утрам я помогала ей одеваться — это входило в мои обязанности и при маме — и следила, чтобы она почистила зубы и умылась. В обед Рини иногда разрешала нам устроить пикник. Мы мазали маслом белый хлеб, покрывали его сверху виноградным джемом, полупрозрачным,

как целлофан, брали сырую морковку и кусочки яблок. Вынимали солонину, формой напоминавшую ацтекский храм. Варили яйца вкрутую. Все это мы раскладывали по тарелкам, выносили в сад и ели то в одном, то в другом месте — у пруда, в оранжерее. Если шел дождь, мы ели дома.

— Не забывайте о голодающих армянах, — говорила Лора над корками от бутерброда с джемом, сжимая руки и зажмуриваясь. Я знала, что она говорит так, потому что так говорила мама, и мне хотелось плакать.

— Нет никаких голодающих армян, все это выдумки, — сказала я как-то, но она не поверила.

Мы часто оставались одни. Мы изучили Авалон вдоль и поперек: все закоулки, пещеры, тоннели. Нашли укромное место под черной лестницей — там громоздились старые ботики, непарные варежки, зонтик со сломанными спицами. Мы исследовали подвалы: угольный, где хранился уголь; овощной, где хранились овощи — кочаны капусты, тыквы на полках; свекла и морковь, ощетинившиеся в ящиках с песком; и рядом картофель с белыми слепыми щупальцами; холодный погреб для яблок в бочках и консервов — пыльных банок с вареньем и джемом, мерцавших, как неотшлифованные алмазы; чатни,

соленья, клубника, очищенные томаты и яблочное пюре — все в запечатанных банках. Еще винный погреб, но он всегда оставался закрыт, а ключ был только у отца.

Мы проползли сквозь заросли алтея и под верандой обнаружили сырую пещеру с земляным полом; там пытались расти чахлые одуванчики и ползучая травка — если её потереть, пахло мятой; этот запах мешался с кошачьим духом, а однажды — с тошнотворной пряной вонью потревоженного подвязочного ужа. Мы открыли чердак с ящиками, полными книг и старых одеял, тремя пустыми сундуками, сломанной фисгармонией и манекеном для платьев бабушки Аделии — выцветшим, заплесневелым торсом.

Затаив дыхание, мы крадучись обходили эти лабиринты теней. Нас это утешало — наш секрет, знание тайных троп, уверенность, что нас не видят.

Послушай язык часов, как-то сказала я. Речь шла о часах с маятником — старинных часах из белого с золотом фарфора, дедушкиных; они стояли на каминной плите в библиотеке. Лора подумала — настоящий язык. И действительно, качавшийся маятник напоминал язык, что лижет невидимые губы. Слизывает время.

Наступила осень. Мы с Лорой собирали и вскрывали стручки ваточника; трогали чешуйки семян, похожие на крылышки стрекозы. Мы разбрасывали их, глядя, как они летят на пушистых парашютиках, а нам оставались гладкие желто-коричневые язычки стручков, мягкие, как кожа в сгибе локтя. Потом мы шли к Юбилейному мосту и бросали их в воду — смотрели, сколько они продержатся, прежде чем перевернуться или умчаться прочь. Может, мы представляли, что на них люди или один человек? Не уверена. Но испытывали какое-то удовлетворение, когда стручки скрывались под водой.

Пришла зима. Серая дымка подернула небо, солнце — чахло-розовое, точно рыбья кровь, — нависало над горизонтом. Тяжелые мутные сосульки толщиной с запястья свешивались с карнизов и подоконников, будто замерли в полете. Мы их отламывали и сосали. Рини грозила, что у нас почернеют и отвалятся языки, но я так уже раньше делала и знала, что это неправда.

Тогда в Авалоне был эллинг и ледник у пристани. В эллинге стояла бывшая дедушкина, теперь отцовская яхта «Наяда» — её вытащили на берег и оставили зимовать. В леднике держали куски льда из Жога; лошади выволакивали их на берег,

а потом лед хранился под опилками до лета, когда становился редкостью.

Мы с Лорой ходили на скользкую пристань — нам это строгонастрого запрещалось. Рини говорила, что если мы попадем под лед, то и минуты не продержимся в воде — замерзнем до смерти. В ботики наберется вода, и мы камнем пойдем ко дну. Для проверки мы кидали настоящие камни; они прыгали по льду, замирали, оставались на виду. Дыхание превращалось в белый дым; мы выдували облака, точно паровозы, и переминались на замерзших ногах. Под ногами скрипел снег. Мы держались за руки, варежки смерзались, и когда мы их снимали, лежали двумя сцепившимися шерстяными ладошками — синими и пустыми.

Ниже порогов на Лувето громоздились зазубренные ледяные глыбы. Белый лед днём, бледно-зеленый в сумерки; льдинки звенят нежно, будто колокольчики. Посреди реки — черная полынья. С холма на том берегу кричат дети; за деревьями их не видно, в холодном воздухе одни голоса — звонкие, тонкие и счастливые. Дети катаются на санках — нам это запрещено. Хочется спуститься на прибрежный лед и проверить, насколько он крепкий.

Пришла весна. Ива пожелтела, кизил покраснел. На Лувето паводок; вырванные с корнями кусты и деревья крутились и громоздились друг на друга в реке. С Юбилейного моста возле обрыва прыгнула женщина; тело нашли через два дня. Её выловили внизу, и вид у неё был не из лучших: плыть по таким быстринам — все равно, что попасть в мясорубку. Не стоит так уходить из жизни, сказала Рини, если тебя волнует твой внешний вид, хотя в подобный момент едва ли об этом побеспокоишься.

За много лет миссис Хиллкоут вспоминает полдюжины таких прыгунов. О них писали в газетах. С одной утопленницей она училась в школе, потом та вышла замуж за железнодорожника. Он редко бывал дома, рассказывала миссис Хиллкоут, так чего он мог ждать?

— Положение, — говорила она. — И никаких оправданий. Рини кивала, словно это все объясняло.

— Пусть мужик дурак, — говорила она, — но считать большинство из них умеют — хотя бы на пальцах. Думаю, без рукоприкладства не обошлось. Но если конь ушел, что толку закрывать конюшню?

— Какой конь? — спросила Лора.

— Думаю, у неё и другие проблемы были, — сказала миссис Хиллкоут. — Пришла беда — отворяй ворота.

— Что такое положение? — шепнула мне Лора. — Какое положение? — Но я сама не знала.

Можно и не прыгать, сказала Рини. Можно зайти в воду, где течение, одежда намокнет, тебя затянет, и ни за что не выплыть, даже если захочешь. Мужчины осмотрительнее. Они вешаются на балках в сараях или пускают пулю в лоб; если же топятся, то привязывают камень или что-нибудь тяжелое — обух, мешок с гвоздями. Не хотят рисковать, когда дело касается таких серьёзных вещей. А женщина входит в реку и сдается — пусть вода делает, что хочет. По тону Рини трудно было понять, что она больше одобряет.

В июне мне исполнилось десять. Рини испекла торт; правда, сказала она, вряд ли стоило: мама умерла совсем недавно, но все-таки жизнь продолжается, так что, может, торт и не повредит. *Чему не повредит?* — спросила Лора. *Маминым чувствам,* — ответила я. Мама, значит, смотрит с небес? Но я уже стала упрямой и заносчивой и ничего не ответила. Услышав о маминых чувствах, Лора не стала есть торт, и мне достались оба куска.

Сейчас я с трудом вспоминаю подробности своего горя — его точные формы — хотя при желании слышу его эхо — вроде скулежа запертого в подвале щенка. Что я делала в день маминой смерти? Вряд ли вспомню, как и мамино лицо: теперь оно — как на фотографиях. Помнится, когда мамы не стало, её кровать стала какой-то неправильной — страшно пустой. Косой луч света в окне беззвучно падал на деревянный пол, а в нём туманом плавала пыль. Запах воска для мебели и аромат увядших хризантем, и давнишняя вонь судна и дезинфекции. Мамино отсутствие теперь помнится лучше присутствия.

Рини сказала миссис Хиллкоут, что никто не заменит миссис Чейз, она была просто ангел во плоти, если такое на земле возможно, но она, Рини, сделала, что смогла, никогда не горевала на наших глазах: от разговоров только хуже; к счастью, мы, похоже, справляемся, но в тихом омуте черти водятся, а я тихоня. Рини сказала, что я вся в себе, и то, что внутри, когда-нибудь всплывет. А про Лору вообще непонятно: та всегда была странным ребенком.

Рини сказала, что мы слишком много времени проводим вместе. Лора узнает то, что ей знать ещё рано, а я, напротив, торможу. Нам обеим надо

бы общаться со сверстницами, но те немногие дети, что нам подошли бы, разосланы по частным школам — туда и нас бы стоило отправить, но капитан Чейз, похоже, никак не соберется этим заняться — и то сказать, слишком много перемен на наши головы, я-то спокойная и, наверное, приспособилась бы, а вот Лора даже младше своих ровесников, да и вообще мала. И слишком нервная. Может запаниковать — на мелководье задрыгается, разволнуется и утонет.

Мы с Лорой сидели на черной лестнице за приоткрытой дверью и давились от смеха, прикрывая ладошками рты. Шпионажем мы наслаждались. Но он, в конечном счете, не принес нам обеим ничего хорошего.

Усталый солдат

Сегодня ходила в банк — рано, чтобы не угодить в самую жару и попасть к открытию. Тогда мне уделят внимание — а оно мне необходимо, поскольку в моем балансе опять ошибка. Я пока способна складывать и вычитать, сказала я им, в отличие от ваших машин, а они мне улыбались, как официанты, что на кухне плюют в суп. Я каждый раз прошу позвать управляющего, он каждый раз «на совещании», и каждый раз меня

отправляют к ухмыляющемуся снисходительному малютке — молоко на губах не обсохло, а воображает себя будущим плутократом.

Меня в банке презирают за то, что на счету мало денег, и за то, что когда-то их было много. Вообще-то их у меня, конечно, не было. Они были у отца, затем у Ричарда. Но мне всегда приписывали богатство — так свидетелям преступления приписывают преступление.

Банк украшают романские колонны, напоминающие, что кесарю причитается кесарево — то есть нелепая плата за услуги. За два цента я могла бы назло банку хранить сбережения в носке под матрасом. Но тогда пошел бы слух, что я рехнулась, превратилась в эксцентричную старуху — из тех, что умирают в лачуге, заваленной сотней пустых консервных банок из-под кошачьей еды и с парой миллионов баксов в пятидолларовых купюрах, что хранятся меж страницами пожелтевших газет. Я не желаю стать предметом внимания местных торчков и начинающих домушников с налитыми кровью глазами и дрожащими пальцами.

На пути из банка я обогнула ратушу: итальянская колокольня, флорентийская двуцветная кирпичная кладка, облупившийся флагшток

и пушка с поля битвы на Сомме. Тут же стоят две бронзовые статуи, обе выполнены по заказу Чейзов. Правую заказала бабушка Аделия в честь полковника Паркмена, ветерана последнего решающего боя Войны за независимость, происходившего в Форт-Тикондероге (теперь штат Нью-Йорк). Иногда к нам приезжают заблудшие немцы или англичане, а порой даже американцы; они слоняются по городу в поисках места сражения — Форт-Тикондероги. *Не тот город,* говорят им. *Если вдуматься, не та страна. Вам нужна соседняя.*

Это полковник Паркмен все запутал — пересек границу и дал название нашему городу, увековечив битву, которую проиграл. (Впрочем, не слишком необычный поступок: многие люди пристально интересуются своими шрамами.) Полковник сидит на коне, с саблей наголо — вот-вот рванет галопом в клумбу с петуньями: грубоватый мужчина с умудренным взором и острой бородкой — таков вождь кавалеристов в представлении любого скульптора. Никто не знает, как выглядел полковник Паркмен: не осталось ни одного прижизненного портрета, а статую воздвигли в 1885 году, и теперь полковник выглядит так. Вот она, тирания искусства.

Слева, тоже возле клумбы с петуньями, высится фигура столь же мифическая — Усталый Солдат: три пуговицы рубашки расстегнуты, голова склонилась, будто пред палачом, форма помята, шлем сдвинут набок. Солдат облокотился на никудышную винтовку Росса. Вечно молодой, вечно измученный — центральная фигура Военного Мемориала, кожа позеленела на солнце, голубиный помет слезами течет по щекам.

Усталый Солдат — проект моего отца. Скульптор — Каллиста Фицсиммонс, о которой высоко отзывалась Фрэнсис Лоринг из Комитета Военного Мемориала Художественного общества Онтарио. Кое-кто из местных возражал против кандидатуры мисс Фицсиммонс, считая, что женщине не под силу такая задача, но отец сокрушил собрание потенциальных спонсоров: а разве мисс Лоринг не женщина, спросил он. Это вызвало игривые замечания, самое приличное из которых — *а вы откуда знаете?* В узком кругу отец выразился так: кто платит, тот заказывает музыку, а раз остальные такие крохоборы, то пусть или раскошеливаются, или катятся ко всем чертям.

Мисс Каллиста Фицсиммонс была не просто женщина, а двадцативосьмилетняя рыжая красотка. Она стала часто наведываться в Авалон,

чтобы обсудить с отцом разные детали. Обычно отец и Каллиста встречались в библиотеке — первое время оставляли дверь открытой, потом стали закрывать. Каллисту селили в гостевую комнату — сначала так себе, а потом в лучшую. Вскоре мисс Каллиста Фицсиммонс уже проводила у нас почти все выходные, и её комнату уже называли «её» комнатой.

Отец повеселел и меньше пил. Он распорядился привести хоть в какой-то порядок сад; посыпать гравием подъездную аллею; отскоблить, покрасить и починить «Наяду». Иногда в выходные к нам съезжались художники — друзья Каллисты из Торонто. Художники — их имена теперь ни о чем не скажут — не надевали к обеду ни смокингов, ни даже пиджаков, предпочитая свитеры; они наспех ели на лужайке, обсуждали сложнейшие проблемы Искусства, курили, пили и спорили. Художницы пачкали уйму полотенец— Рини считала — потому что никогда прежде не видели нормальной ванной. И ещё они постоянно грызли грязные ногти.

Если гостей не намечалось, отец и Каллиста в автомобиле — в спортивном, а не в седане, — уезжали на пикник, прихватив корзину с провизией, ворчливо собранную Рини. Или выходили под

парусом. Каллиста надевала брюки и старый отцовский пуловер, и держала руки в карманах, точно Коко Шанель. Иногда они уезжали на машине в Виндзор и останавливались в придорожных гостиницах с коктейлями, дребезжащим пианино и фривольными танцами. В эти гостиницы частенько наведывались гангстеры, занимавшиеся контрабандой спиртного, приезжали из Чикаго или Детройта устраивать свои делишки с законопослушными винокурами в Канаде. (В США тогда был сухой закон; спиртное рекой текло через границу: каждая капля — на вес золота; мертвые тела с отрубленными пальцами и пустыми карманами, брошенные в реку Детройт, доплывали до озера Эри, а там начинались споры, кому платить за похороны.) Отец с Каллистой уезжали на всю ночь, а иногда на несколько ночей подряд. Однажды вызвали приступ зависти у Рини, отправившись на Ниагарский водопад, в другой раз поехали в Буффало — правда, на поезде.

Подробности этих путешествий нам сообщала Каллиста — на подробности она не скупилась. По её словам, отца надо «встряхнуть», встряска ему необходима. Взбодрить, почаще выводить на люди. Она говорила, что они с отцом «большие

друзья». Звала нас «детки», а себя просила звать «Кэлли».

(Лора спрашивала, танцует ли отец в этих придорожных ресторанах — у него же нога болит. Нет, отвечала Каллиста, но ему нравится смотреть. Со временем я усомнилась. Что за радость смотреть, как танцуют другие, если не можешь танцевать сам.)

Я благоговела перед Каллистой: она была художницей, с ней советовались, как с мужчиной, она по-мужски широко шагала, пожимала руку; ещё она курила сигареты в коротком черном мундштуке и знала, кто такая Коко Шанель. У неё были проколоты уши, а рыжие волосы (выкрашенные хной, как я теперь понимаю) она обматывала шарфиками. Носила свободные платья смелых, головокружительных оттенков: фуксии, гелиотропа и шафрана. Каллиста сказала, что это парижские фасоны русских белоэмигранток. Заодно объяснила, кто они такие. Объяснений у неё вообще был вагон.

— Еще одна его шлюшка, — сказала Рини миссис Хиллкоут. — Одной больше, одной меньше. Список и так длиной в милю. Раньше у него хотя бы хватало совести не приводить их в дом — покойница в могиле не остыла, что ж он себе-то

яму роет.

— Что такое шлюшка? — спросила Лора.

— Не твое дело! — огрызнулась Рини. Она явно злилась, и потому продолжала говорить при нас. (Я потом сказала Лоре, что, шлюшка — это девушка, жующая жвачку. Но Кэлли Фицсиммонс жвачку не жевала.)

— Дети слушают, — напомнила миссис Хиллкоут, но Рини уже говорила дальше.

— А что до заграничных тряпок, то она бы ещё в церковь в трусиках пошла. Против света видно солнце, луну, звезды и все, что перед ними. И было бы чем хвалиться — сущая доска, плоская, как мальчишка.

— У меня бы смелости не хватило, — заметила миссис Хиллкоут.

— Это уж не смелость, — возразила Рини. — Ей поплевать. (Когда Рини заводилась, грамматика ей отказывала.) По-моему, у неё не все дома. Пошла нагишом плескаться в пруду, с лягушками и рыбками. Я её встретила, когда она возвращалась. Идет по лужайке в чем мать родила, только полотенце прихватила. Кивнула мне и улыбнулась. Глазом не моргнув.

— Я про это слышала, — сказала миссис Хиллкоут. — Думала, что сплетни. Слишком уж дико.

— Авантюристка, — сказала Рини. — Хочет поймать его на крючок и выпотрошить.

— Что такое авантюристка? Какой крючок? — спросила Лора. При слове *доска* я вспомнила мокрое белье на ветру. Ничего общего с Каллистой Фицсиммонс.

Военный Мемориал вызвал споры не только из-за сплетен про отца и Каллисту. Некоторые в городе считали, что Усталый Солдат на вид слишком подавлен, да и неряшлив: возражали против расстегнутой рубашки. Им хотелось бы видеть нечто более триумфальное — вроде Богини Победы из мемориалов двух городов неподалеку, — ангельские крыла, трепещущие одежды, а в руке — трезубец похожий на вилку для тостов. Еще они хотели надпись «Тем, кто с радостью Высшую Жертву принес».

Но отец не отступился. Надо радоваться, сказал он, что у Солдата есть две руки и две ноги, не говоря уж о голове, а то ведь можно было удариться в реализм, и статуя оказалась бы грудой гниющих органов — в свое время он на такое часто натыкался. Что касается надписи, то никакой радости в жертве нет, и никто из солдат не хотел пораньше попасть в Царствие Небесное. Ему самому больше нравилось: «Да не забудем» — подчерки-

валось, что нужно, — то есть наша забывчивость. Отец сказал: черт возьми, все стали чертовски забывчивыми. Отец редко ругался на публике, и его слова произвели сильное впечатление. Разумеется, сделали, как он сказал — он платил.

Торговая палата выложила деньги за четыре бронзовые мемориальные плиты с именами павших и названиями битв, где они погибли. Члены палаты хотели выгравировать внизу и свои имена, но отец их пристыдил. Военный Мемориал — для мертвых, сказал он, а не для тех, кто выжил, и тем более нажился на войне. Этих слов ему многие не простили.

Мемориал открыли в ноябре 1928 года, в День поминовения. Несмотря на холод и изморось, собралась толпа. Усталого Солдата водрузили на пирамиду из круглых речных камней — из таких сложен и Авалон; вокруг бронзовых плит — маки, лилии и кленовые листья. Об этом тоже шел спор. Кэлли Фицсиммонс утверждала, что эти унылые цветы слишком старомодны и банальны — другими словами, *викторианские* — самое страшное ругательство у художников того времени. Ей хотелось чего-то строже и современнее. Но остальным цветы понравились, и отец сказал, что порою следует идти на компромисс.

На церемонии играли на волынках. («Хорошо, что на улице», — сказала Рини.) Затем прошла пресвитерианская служба; священник говорил о тех, *кто с радостью Высшую Жертву принес* — камень в отцовский огород, ему хотели показать, что он тут не командует, и что деньги решают не все; фразу они впихнули. Затем последовали другие речи и другие молитвы — множество речей и молитв: на открытии присутствовали представители всех церквей города. В организационном комитете католиков не было, но католического священника пригласили. На этом настаивал мой отец на том основании, что мертвый протестант ничем не лучше мертвого католика.

Можно и так посмотреть, сказала Рини.

— А ещё как можно? — спросила Лора.

Первый венок возложил отец. Мы с Лорой глядели, держась за руки; Рини плакала. Королевский Канадский полк прислал делегацию прямо из лондонских казарм Уолсли, и майор М. К. Грин тоже возложил венок. От кого только не было

венков — от Легиона[31], Львов[32], Сородичей[33], клуба Ротари[34], Тайного братства[35], Ордена оранжистов[36], Рыцарей Колумба[37], Торговой палаты и Дочерей империи[38] — последнюю представляла миссис Уилмер Салливан из «Матерей павших», потерявшая трёх сыновей. Пропели «Останься со мною», затем горнист из оркестра скаутов чуть неуверенно исполнил «Последний сигнал», потом последовали две минуты молчания и прозвучал оружейный салют отряда милиции. А потом «Пробудись».

Отец стоял, опустив голову; его трясло — от горя или от гнева, трудно сказать. Он надел шинель и армейскую форму, и обеими руками в кожаных перчатках опирался на трость.

Кэлли Фицсиммонс тоже пришла, но держалась

---

[31] Примечания: 31

Канадский королевский легион — организация, представляющая ветеранов, сначала Первой мировой войны, затем и других войн. Основан в 1925 г.

[32] Примечания: 32

Клуб Львов — международная организация, занимающаяся общественной деятельностью. Основан в 1917 г.

[33] Примечания: 33

Канадская ассоциация местных клубов, занимающихся благотворительностью и прочей общественной деятельностью. Первый клуб был образован в 1920 г. в Гамильтоне, Онтарио.

[34] Примечания: 34

Клуб «Ротари» — международная ассоциация деловых людей и представителей различных свободных профессий. Формальная цель

организации — поощрение общественного служения как основы созидательного предпринимательства. Основан в 1905 г. в Чикаго.

[35] Примечания: 35

Организация, в 1736 г. отпочковавшаяся от масонов.

[36] Примечания: 36

Протестантское движение, в 1795 г. возникшее в Северной Ирландии, а впоследствии пустившее корни в Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Того и Гане. Назван в честь Вильгельма Оранжского.

[37] Примечания: 37

Католическая общественная организация. Основана в 1882 г. в Коннектикуте.

[38] Примечания: 38

Орден дочерей империи — канадская женская благотворительная организация. Основан в 1900 г. в Монреале.

в тени. Не тот случай, когда художник должен выходить и отвешивать поклоны, сказала она. Вместо обычного наряда на ней был скромный черный пиджак и строгая юбка; шляпа почти целиком скрывала лицо, и все-таки о Кэлли шептались.

Дома Рини сварила нам с Лорой какао, потому что мы продрогли как цуцики. Миссис Хиллкоут тоже не отказалась бы от чашечки, и получила её.

— Почему называется мемориал? — спросила Лора.

— Чтобы мы помнили мертвых, — ответила Рини.

— Почему? — не отставала Лора. — Зачем? Им это нравится?

— Это скорее для нас, чем для них, — сказала Рини. — Вырастешь — поймешь. — Лоре всегда так говорили, но она пропускала это мимо ушей. Она хотела понять сейчас. Какао она прикончила.

— Можно ещё? А что такое Высшая Жертва?

— Солдаты отдали за нас свои жизни. Надеюсь, твои глаза не жаднее желудка, и, если я приготовлю ещё, ты выпьешь.

— А почему они отдали жизни? Им так хотелось?

— Нет, но они все равно отдали. Потому и жертва, — сказала Рини. — Ну, хватит об этом. Вот твое какао.

— Они вручили свои жизни Богу, потому что Он так хотел. Иисус ведь тоже умер за наши грехи, — сказала миссис Хиллкоут; она была баптисткой и считала себя высшим авторитетом в этих вопросах.

Спустя неделю мы с Лорой шли по тропинке над Лувето, ниже ущелья. Нависал туман, он поднимался от реки, молочной пеной расплываясь в воздухе, капал с голых веток. Камни были скользкие. Внезапно Лора очутилась в реке. К счастью, мы не были рядом с основным течением, и её не унесло. Я закричала, бросилась вниз по течению и успела ухватить Лору за пальтишко. Она ещё не промокла, но все равно была очень тяжелой, и я чуть не нырнула сама. Мне удалось не выпустить её до ровного места; там я вытащила её на берег. Лора промокла до нитки, и я тоже основательно. Я её встряхнула. Она дрожала и рыдала во весь голос.

— Ты нарочно! — выкрикнула я. — Я видела! Ты же утонуть могла. — Лора захлебывалась и всхлипывала. Я её обняла. — Зачем ты?

— Чтобы Бог оживил мамочку, — прорыдала

она.

— Бог не хочет, чтобы ты умерла, — сказала я. — Он бы знаешь как рассердился. Если б он захотел оживить маму, сделал бы это иначе — тебе бы не пришлось топиться. — Когда на Лору находит, с ней можно говорить только так: нужно притворяться, что знаешь о Боге больше неё.

Она ладонью вытерла нос.

— Откуда *ты* знаешь?

— Сама подумай — он же позволил мне тебя спасти. Понимаешь? Если б он хотел, чтобы ты утонула, тогда и я бы утонула. Мы бы обе погибли! А теперь пошли, тебе надо обсохнуть. Я не скажу Рини. Скажу, так случайно получилось, скажу, что ты поскользнулась. Только не делай так больше, хорошо?

Лора промолчала, но позволила отвести её домой. Там нас встретило испуганное кудахтанье, волнение, ругань, горячий мясной бульон, теплая ванна и грелка для Лоры, чью неприятность приписали обычной неловкости; ей наказали смотреть, куда идет. Отец назвал меня *молодчиной;* интересно, что бы он сказал, если б я её упустила. Рини сказала: хорошо, что у нас на двоих есть хоть половинка мозгов, но она в толк не возьмет, что мы вообще забыли на реке? Да ещё

в туман. Сказала, что я должна бы сообразить.

Я долго не спала этой ночью, лежала, обхватив себя руками. Ноги мерзли, зубы стучали. Перед глазами стояла одна картина: Лора в черной ледяной воде — волосы разметались дымом на ветру, мокрое лицо отливает серебром, и её взгляд, когда я ухватила её за пальтишко. Какая она тяжелая. Как я её чуть не упустила.

Мисс Вивисекция

Вместо школы к нам с Лорой приходили учителя — мужчины и женщины. Мы не считали, что это необходимо, и делали все возможное, чтобы отбить у них охоту с нами заниматься. Мы сверлили их небесно-голубыми взорами, притворялись глухими или тупицами; прямо в глаза никогда не смотрели — только в лоб. Часто сдавались они не сразу и подолгу со многим мирились: эти запуганные люди остро нуждались в деньгах. Лично против них мы ничего не имели — нам просто не хотелось лишней мороки.

Даже без наставников нам предписывалось находиться в Авалоне — в доме или в саду. Но кто мог проследить? От учителей мы с лёгкостью ускользали: те не знали наших тайных троп, а Рини была слишком занята, чтобы ежеминутно

за нами присматривать — она сама так говорила. При каждом удобном случае мы сбегали из Авалона и слонялись по городу, несмотря на все предостережения Рини, уверявшей, что мир кишит преступниками, анархистами, зловещими азиатами с опиумными трубками, усиками ниточкой и длиннющими ногтями, а ещё наркоманами и торговцами живым товаром, которые только и ждут, чтобы нас похитить и потребовать у отца выкуп.

Один из многочисленных братьев Рини был как-то связан с желтой прессой — с теми скандальными дрянными журнальчиками, что продают в аптекарских магазинах; а худшие образчики — только из-под прилавка. Кем он работал? *Распространителем,* говорила Рини. Как я теперь понимаю, доставлял журнальчики в страну контрабандой. В общем, иногда он отдавал остатки Рини; она старалась припрятать журналы подальше от нас, но мы рано или поздно их находили. Некоторые были про любовь — Рини их с жаром поглощала, но нам они пришлись не по вкусу. Мы предпочитали — точнее, я предпочитала, а Лора шла у меня на поводу — рассказы о других странах или даже планетах. Космические корабли из будущего, где женщины носят очень

короткие блестящие юбки, и все сверкает; астероиды, где растения говорят и бродят монстры с огромными глазами и клыками; давно сгинувшие страны, где гибкие девушки с топазовыми глазами и матовой кожей ходят в прозрачных шальварах и металлических бюстгальтерах, вроде воронок, соединенных цепочкой; герои в грубой одежде, их крылатые шлемы утыканы шипами.

Глупости, говорила Рини. *Такого на свете не бывает.* Но потому они мне и нравились.

О преступниках и работорговцах писали в криминальных журналах с пистолетами и лужами крови на обложках. Там богатым! наследницам с широко распахнутыми глазами грубо затыкали нос! платками с эфиром, потом связывали бельевой веревкой, которой всегда было больше, чем надо, и запирали в каютах яхты, в склепах или в сырых замковых подвалах. Мы с Лорой верили в существование работорговцев, но не очень-то их боялись: мы ведь знали, чего от них ждать. Они ездят в больших темных автомобилях носят длинные пальто, плотные перчатки и черные мягкие шляпы их нетрудно вычислить и сразу убежать.

Но мы их так ни разу и не встретили. Нашими

единственными врагами оказались дети фабричных, которые были помоложе и не знали от родителей, что мы неприкасаемые. Они следовали за нами по двое или по трое, молча глазея или обзываясь; иногда бросались камнями, но ни разу не попали. Мы были уязвимее всего на узкой тропинке вдоль Лувето — прямо под крутым утесом, откуда в нас можно было кидаться, и в безлюдных переулках — их мы приучились избегать.

Мы любили болтаться на Эри-стрит, разглядывая витрины; нам особенно нравились дешевые лавки. Или мы смотрели сквозь решетку на начальную школу для обычных детей — детей рабочих, — на гаревые спортплощадки и на высокие резные двери с надписями «Для девочек» и «Для мальчиков». На переменках дети вопили и были довольно грязны — особенно после драки или возни на площадке. Мы радовались, что не нужно ходить в эту школу. (Правда радовались? А может, чувствовали себя изгнанниками? Наверное, и то и другое.)

На прогулки мы надевали шляпки. Мы считали, они нас оберегают — в каком-то смысле превращают в невидимок. Леди никогда не выйдет на улицу без шляпки, говорила Рини. *И без перчаток*, добавляла она, но про них мы не всегда

вспоминали. Я помню тогдашние соломенные шляпки — не из бледной соломки, а темнее, словно жженые. Влажный июньский жар. Пыльца в дремотном воздухе. Ослепительное синее небо. Праздность, безделье.

Как бы мне хотелось вернуть эти бессмысленные дни, эту скуку, бесцельность, бесформенные перспективы. И они, в общем, вернулись, только теперь без особых перспектив.

У нас тогда появилась учительница, которая продержалась дольше остальных. Сорокалетняя женщина с большим запасом выцветших кашемировых кардиганов, говоривших, что в её жизни бывали времена получше, и пучком мышастых волос на затылке. Её звали мисс Беконтух — мисс Вивиан Беконтух. За глаза я однажды назвала её мисс Вивисекция — уж очень странное сочетание имени с фамилией, и потом, глядя на неё, еле сдерживала хихиканье. Однако прозвище привилось. Сначала я научила ему Лору, а потом, конечно, пронюхала и Рини. Она сказала, что жестоко смеяться над мисс Беконтух: у бедняжки нелёгкие времена, она заслуживает сочувствия — она ведь старая дева. А это что? Женщина без мужа. Мисс Беконтух обречена влачить одинокую жизнь, сказала Рини с оттенком презрения.

— Но у тебя тоже нет мужа, — заметила Лора.

— Я — другое дело, — сказала Рини. — Я пока не встречала мужчины, которому мне бы захотелось поплакаться в жилетку. Я многих отвергла. Многие сватались.

— Может, к мисс Вивисекции тоже сватались, — сказала я, только чтобы возразить. Я уже была в подходящем возрасте.

— Нет, — ответила Рини. — Не сватались.

— Откуда ты знаешь? — спросила Лора.

— Да вы посмотрите на неё. Посватайся к ней трёхголовый и хвостатый, она бы и в него зубами вцепилась.

Мы ладили с мисс Вивисекцией, потому что она позволяла нам делать все, что мы хотим. Она быстро смекнула, что ей с нами не справиться, и мудро решила не пытаться. Мы занимались по утрам в библиотеке — раньше дедушкиной, теперь отцовской, — и мисс Вивисекция просто допустила нас к книгам. На полках их стояло множество, в тяжелых кожаных переплетах с золотым тиснением. Сомневаюсь, что дедушка Бенджамин их когда-нибудь раскрывал: просто бабушка Аделия считала, что ему их следует прочесть.

Я выбирала книги, казавшиеся мне интересны-

ми: «Повесть о двух городах» Чарлза Диккенса; Истории Маколея[39]; иллюстрированные «Завоевания Мексики» и «Завоевание Перу». Я читала стихи; иногда мисс Вивисекция робро учительствовала, заставляя меня читать вслух.

В стране Ксанад благословенной
Дворец поставил Кубла Хан,
Где Альф бежит, поток священный,
Сквозь мглу пещер гигантских, пенный,
Впадает в сонный океан[40].

— Не торопись, — говорила мисс Вивисекция. — Строки должны *струиться,* милочка. Представь, что ты фонтан.

Хотя сама мисс Вивисекция была грузна и неизящна, у неё имелись весьма высокие критерии изысканности и целый список вещей, на которые нам следовало походить: цветущие деревья, бабочки, нежный ветерок. Что угодно, только не ковыряющие в носу маленькие девоч-

---

[39] Примечания: 39

Томас Бабингтон Маколей (1800–1859) — английский историк, чей главный труд — «История Англии» в пяти томах.

[40] Примечания: 40

«Кубла Хан, или Видение во сне» — стихотворение английского поэта Сэмюэла Тейлора Кольриджа (1772–1834), навеянное ему во сне, Перевод К. Бальмонта.

ки с грязными коленками: в вопросах личной гигиены она была чрезвычайно брезглива.

— Не жуй свой карандаш, милочка, — говорила она Лоре. — Ты же не мышка. Посмотри, у тебя весь рот зеленый. Это вредно для зубов.

Я читала «Эванджелину»[41] Генри Уодсуорта Лонгфелло, читала «Сонеты с португальского» Элизабет Барретт Браунинг[42]. *«Как я люблю тебя? Не счесть мне этих „как“.* «Прекрасно!» — вздыхала мисс Вивисекция. Она питала слабость к Элизабет Барретт Браунинг — во всяком случае, насколько ей позволяла унылая натура; а ещё к Эмили Полин Джонсон[43], принцессе могавков:

Ах, река живей теперь,
На стремнинах мчит скорей.

---

[41] Примечания: 41

Эпическая поэма американского поэта Г.У.Лонгфелло (1807–1882),р. которой описана судьба французских канадцев, изгнанных англичанами.

[42] Примечания: 42

Элизабет Барретт Браунинг (1806–1861) — английская поэтесса. «Сонеты с португальского» (1850) посвящены её мужу, поэту Роберту Браунингу.

[43] Примечания: 43

Эмили Полин Джонсон (1861–1913) — канадская поэтесса, дочь могавка и англичанки, первая индеанка, чьи работы были опубликованы в Канаде. Много разъезжала по стране, выступая перед жителями, в том числе перед индейцами.

Кружит, кружит
Пеной кружев.
Речка резвая все уже?[44]

— Очень волнующе, милочка, — говорила мисс Вивисекция. А ещё я читала лорда Альфреда Теннисона, человека, чье величие, по мнению мисс Вивисекции, уступало разве что Богу.

Где были цветы, теперь черный мох,
Клумбы покрыл ковром.
Обломки шпалер, виноград усох,
Гол и бесцветен дом…
Она лишь сказала: «Жизнь пустая.
Увы, не придет он».
Она сказала: «Я так устала.
Лучше уж вечный сон».[45]

— А почему она этого хочет? — спросила Лора, обычно не проявлявшая интереса к моей декламации.

— Это любовь, милочка, — ответила мисс Вивисекция. — Безграничная любовь. Оставшаяся

---

[44] Примечания: 44
Эмили Полин Джонсон. «Песня, что мое весло поет» (1912).

[45] Примечания: 45
Альфред Теннисон. «Мариана» (1830).

без взаимности.

— Почему?

Мисс Вивисекция вздохнула.

— Это стихотворение, милочка, — сказала она. — Его написал лорд Теннисон; думаю, он знал. В стихах не говорится, почему. «В прекрасном — правда, в правде — красота» — всё, что ты знаешь и что знать должна»[46].

Лора глянула презрительно и вернулась к раскрашиванию. Я перевернула страницу: я успела проглядеть все стихотворение и знала, что в нём больше ничего не случится.

Бей, бей, бей
В берега, многошумный прибой!
Я хочу говорить о печали своей,
Непокойное море, с тобой[47].

— Прелестно, милочка, — сказала мисс Вивисекция. Она восторгалась безграничной любовью, но также и безнадежной печалью.

В библиотеке была ещё бабушкина тоненькая книжка в кожаном переплете табачного

---

[46] Примечания: 46

Цитата из стихотворения английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821) «Ода греческой вазе» (1819). Пер. Шломо Крола.

[47] Примечания: 47

Альфред Теннисон. «Бей, бей, бей» (1842). Пер. С. Маршака.

цвета: Эдвард Фицджеральд. «Рубайят Омара Хайяма»[48]. (Эдвард Фицджеральд её не писал, и однако же значился автором. Как же так? Я не пыталась понять.) Мисс Вивисекция иногда мне её читала — показывала, как должны звучать стихи:

> *О, если б, захватив с собой стихов диван*
>
> *Да в кувшине вина и сунув хлеб в карман,*
>
> *Мне провести с тобой денек среди развалин,*
>
> *— Мне позавидовать бы мог любой султан!*[49]

Она выдыхала первое «О!» — будто её стукнули в грудь, «тобой» тоже выдыхала. Что волноваться из-за обычного пикника, думала я. Интересно, с чем у них бутерброды.

— Здесь речь идет не просто о вине, милочка, — сказала мисс Вивисекция. — Это таинство

---

[48] Примечания: 48

Эдвард Фицджеральд (1809–1883) — самый известный переводчик Омара Хайяма (1050–1123) на английский язык. Первое издание переводов вышло в 1859 г.

[49] Примечания: 49

Пер. О. Румера.

причастия.

Когда б скрижаль судьбы мне вдруг подвластна стала,

Я все бы стёр с неё и все писал сначала.

Из мира я печаль изгнал бы навсегда,

Чтоб радость головой до неба доставала[50].

О, не растите дерева печали…

Ищите мудрость в солнечном начале:

Ласкайте милых и вино любите!

Ведь не навек нас с жизнью обвенчали[51].

— Как это верно, — вздыхала мисс Вивисекция. Она обо всём вздыхала. Она хорошо вписалась в Авалон с его старомодной викторианской роскошью, атмосферой эстетического упадка, утраченного изящества, изнурительной печали. Её манеры и даже блеклый кашемир подходили к нашим обоям.

Лора читала мало. Зато срисовывала картин-

---

[50] Примечания: 50
Пер. В. Державина.

[51] Примечания: 51
Пер. И. Сельвинского.

ки или раскрашивала цветными карандашами черно-белые рисунки в толстых умных книгах о путешествиях или по истории. (Мисс Вивисекция ей разрешала, полагая, что все равно никто не заметит.) У Лоры были странные, но очень четкие представления о цветах: дерево могло быть синим или красным, а небо — розовым или зеленым. Если на картинке был человек, который ей не нравился, она закрашивала ему лицо фиолетовым или темно-серым, стирая черты.

Ей нравилось срисовывать пирамиды из книги о Египте и раскрашивать египетских богов. А ещё ассирийских крылатых львов с человеческими или орлиными головами. Эти нашлись в книге сэра Генри Лейарда[52] — он раскопал их среди руин Ниневии и доставил в Англию; говорили, что это изображения ангелов, описанных в Книге пророка Иезекииля. Мисс Вивисекции эти рисунки не очень нравились: статуи казались языческими и к тому же кровожадными, но Лору это не отпугивало. Слыша критику, она только ниже склонялась над рисунком и красила так, будто от этого зависела её жизнь.

---

[52] Примечания: 52

Остин Генри Лейард (1817–1894) — английский археолог и дипломат, проводил раскопки двух столиц Вавилонии: в 1845–1847 гг. — Калаха, в 1849–1851 гг. — Ниневии.

— Выпрями спину, милочка, — говорила мисс Вивисекция. — Представь, что ты дерево и тянешься к солнцу. — Но Лору такие фантазии не интересовали.

— Не хочу быть деревом, — отвечала она.

— Лучше деревом, чем горбуньей, милочка, — вздыхала мисс Вивисекция, — а ты непременно станешь горбуньей, если не будешь следить за осанкой.

По большей части мисс Вивисекция сидела у окна, читая романы из нашей библиотеки. Еще ей нравилось листать тисненые кожаные альбомы бабушки Аделии, куда та вклеивала разукрашенные приглашения, напечатанные в типографии меню и газетные вырезки о благотворительных чаепитиях и познавательных лекциях со слайдами, что переносили вас в Париж, Грецию или даже в Индию, к последователям Сведенборга[53], фабианцам[54], вегетарианцам — словом, как могли способствовали вашему развитию; а

---

[53] Примечания: 53

Эммануил Сведенборг (1688–1772) — шведский духовидец и теософ, основатель секты сведенборгиан.

[54] Примечания: 54

«Фабианское общество» — британская реформистская организация, основанная в 1884 г., названа в честь римского полководца Фабия Максима Кунктатора. Считали социализм неизбежным итогом развития общества, настаивая на эволюционной смене экономик.

порою нечто экстравагантное, вроде рассказа миссионера, побывавшего в Африке, в Сахаре или в Новой Гвинее, о колдовстве местных жителей, о женских резных деревянных масках, о черепах предков, покрытых красной краской и убранных раковинами каури. Мисс Вивисекция разглядывала все эти пожелтевшие свидетельства роскошной, изысканной и неумолимо сгинувшей жизни и словно что-то припоминала, нежно улыбаясь чужой радости.

У неё был пакетик с золотыми и серебряными звездочками — она приклеивала их к нашим поделкам. Иногда она уводила нас собирать цветы, мы сушили их между промокашками, положив сверху толстую книгу. Мы полюбили мисс Вивисекцию, хотя не плакали, когда пришло время расставаться. А вот она плакала — навзрыд, неизящно, как вообще все, что делала.

Мне исполнилось тринадцать. Я росла, и это была не моя вина, однако отец раздражался, точно я виновата. Он стал интересоваться моей осанкой, речью — вообще поведением. Мне следовало носить простую скромную одежду — белую блузку и темную плиссированную юбку, а в церковь — темное бархатное платье. Точно униформа, точно матроска, хотя и не матроска.

Плечи прямые, не сутулиться. Нельзя сидеть развалясь, жевать резинку, ерзать и болтать. Отец проповедовал армейские ценности: опрятность, послушание, молчание и никаких проявлений сексуальности. Сексуальность, о которой никогда не говорили, следовало убивать в зародыше. Отец слишком долго давал мне волю. Пришло время прибрать меня к рукам.

Лора была ещё не в том возрасте, но её эта муштра тоже коснулась. (А что за возраст? Половое созревание, как я теперь понимаю. Тогда же я совсем растерялась. Что за преступление я совершила? Почему со мной обращаются, будто с воспитанницей какой-то странной исправительной школы?)

— Ты слишком жесток с детками, — говорила Каллиста. — Они ведь не мальчики.

— А жаль, — отвечал отец.

Именно к Каллисте я пошла, обнаружив у себя страшную болезнь: у меня между ног потекла кровь. Ясное дело, я умираю! Каллиста расхохоталась. А потом все объяснила.

— Ничего страшного — всего лишь неудобство, — успокоила она меня. Сказала, это называется «пришли дела» или «праздники» У Рини, правда, были более пресвитерианские идеи:

— Напасть, — сказала она. Рини прикусила язык и не стала говорить, что это ещё одна уловка Бога, чтобы сделать жизнь неприятнее — просто сказала, что все так устроено. Что касается крови, то надо рвать тряпочки. (Рини сказала не *кровь*, а *грязь.)* Она приготовила мне настой ромашки, по вкусу — как запах испорченного салата, и дала горячую грелку от спазмов. Ничего не помогло.

Лора нашла на моей простыне следы крови и залилась слезами. Она решила, что я умираю. Я умру, как мамочка, всхлипывала она, и ей не скажу. У меня родится серый ребеночек, похожий на котенка, а потом я умру.

Я попросила её не валять дурака. Кровь к детям отношения не имеет. (Об этом Каллиста ничего не говорила, несомненно решив, что слишком много данных повредит моей психике.)

— С тобой такое тоже случится, — сказала я Лоре. — Когда тебе будет столько лет, сколько мне. Это со всеми девочками происходит.

Лора возмутилась. Она отказывалась мне верить. Не сомневалась, что и тут станет исключением.

С меня и Лоры написали тогда студийный портрет. На мне обязательное темное бархатное платье слишком детского фасона: у меня уже ясно

обозначились, как их называли когда-то, перси. Лора в таком же платье сидит рядом. На обеих белые гольфы, лакированные туфельки, лодыжки благопристойно скрещены, как приказано — правая поверх левой. Одной рукой я обнимаю Лору, но как-то нерешительно, будто меня заставили. Лорины руки сложены на коленях. У обеих светлые волосы причесаны на прямой пробор и убраны назад. Мы опасливо улыбаемся — как все дети, которым сказали хорошо себя вести и улыбаться (точно это одно и то же); так улыбаются при угрозе неодобрения. То есть, в нашем случае, отцовской угрозы и отцовского неодобрения. Мы боимся, но не знаем, как их избежать.

Метаморфозы Овидия

Отец пришел к довольно верному выводу, что образование наше запущено. Он хотел, чтобы нас учили французскому, но также математике и латыни: интенсивные умственные упражнения окоротили бы нашу чрезмерную мечтательность. Не помешала бы и география. Отец едва замечал мисс Вивисекцию, когда та у нас работала, но теперь распорядился уничтожить память о ней и о её расхлябанных, устарелых, радужных методах. Он хотел поступить с нами, как с латуком: кру-

жевные рюшечки слегка заветрившихся кромок подрезать, а простую крепкую сердцевину оставить. Он не мог понять, почему нам нравилось то, что нравилось. Ему хотелось, чтобы мы как-то напоминали мальчиков. А чего тут ждать? У него же не было сестер.

Вместо мисс Вивисекции отец нанял мужчину по имени мистер Эрскин — тот когда-то преподавал в английской мужской школе, но внезапно по состоянию здоровья переехал в Канаду. Нам он больным не показался: к примеру, никогда не кашлял. Был он коренастый, весь в твиде, лет тридцати или тридцати пяти, рыжеватый, с пухлым, красным, влажным ртом и эспаньолкой, убийственно ироничный, с препакостным характером, а запах от него шел, как со дна корзины мокрого белья.

Мы быстро поняли, что невнимательность и сверление взглядом учительского лба нас от него не избавят. Для начала он нас проэкзаменовал, чтобы выяснить, каковы наши познания. Оказалось, весьма скудны, хотя кое-что мы предпочли утаить. Мистер Эрскин объявил отцу, что мозги у нас не больше, чем у комара или сурка. Наша участь достойна сожаления, и чудо ещё, что мы не полные кретинки. У нас развилась умственная

лень — нам *позволили* её развить, прибавил он с упреком. К счастью, время ещё есть. И отец попросил мистера Эрскина привести нас в форму.

Нам мистер Эрскин сказал, что наша лень, наша самонадеянность, наше лодырничанье и мечтательность, наша слюнявая сентиментальность убивают всякую возможность серьёзно строить, свою жизнь. От нас не ждут гениальности (даже будь мы гениями, медалей все равно не получим), однако существует же минимум — даже для девочек, и если мы не поднатужимся, то станем обузой для мужчин, которым хватит глупости на нас жениться.

Он велел купить кипу школьных тетрадей — дешевых, в линеечку, с тонкими картонными обложками. И запас простых карандашей с ластиками. Эти волшебные палочки, заявил он, помогут нам преобразиться — с его помощью.

При слове *помощь* он ухмыльнулся.

Звездочки мисс Беконтух он выбросил.

Библиотека отвлекает нас от занятий, сказал мистер Эрскин. Он попросил и получил две школьные парты, которые установил в пустой спальне, убрав оттуда кровать и прочую мебель — осталась пустая комната. Дверь запиралась на ключ, а ключ он держал при себе. Теперь мы

сможем засучить рукава и приступить.

Методы у мистера Эрскина были просты. Он драл нас за уши и таскал за волосы. Он бил линейкой по парте рядом с нашими руками, а иногда и по рукам; выйдя из себя, отвешивал подзатыльники, кидался книгами или давал шлепка. Его сарказм испепелял — по крайней мере, меня; Лора же часто понимала его слова буквально, что злило учителя ещё больше. Наши слезы его не трогали; думаю, он получал от них удовольствие.

Он был таким не всегда. Иногда все шло мирно целую неделю. Он проявлял терпимость, даже какую-то неуклюжую доброту. Но потом случался взрыв — он рвал и метал. Хуже всего, что мы никогда не знали, чего от него ждать.

Отцу мы пожаловаться не могли: мистер Эрскин действовал по его приказу. Он так говорил. Но мы, конечно, пожаловались Рини. Она пришла в ярость. Я уже слишком большая, чтобы со мной так обращаться, а Лора слишком нервная, и мы обе… да и вообще, что он о себе думает? Из грязи в князи — много воображает, как все приезжие англичане; разыгрывает лорда, а сам — она голову дает на отсечение — не каждый месяц ванну принимает. Когда Лора пришла к Рини с

красными рубцами на ладошках, Рини устроила мистеру Эрскину скандал, но тот посоветовал ей не совать нос не в свое дело. Она-то нас и избаловала, объявил мистер Эрскин. Избаловала чрезмерным потаканием и тем, что нянчилась с нами, это очевидно, а ему теперь приходится исправлять то, что она натворила.

Лора заявила, что, если мистер Эрскин не уйдет, она уйдет сама. Убежит. Выпрыгнет в окно.

— Не делай этого, голубка моя, — сказала Рини. — Надо пошевелить мозгами. Мы его ещё прищучим.

— А где мы возьмем щуку? — рыдала Лора.

Нам могла помочь Каллиста Фицсиммонс, но она понимала, откуда ветер дует: мы ведь не её дети — у нас был отец. Именно он решил действовать так, и вмешательство Кэлли оказалось бы тактической ошибкой. Ситуация сложилась *sauve qui peut*[55] — это выражение, благодаря усердию мистера Эрскина, я теперь могу перевести.

Понятия мистера Эрскина о математике были весьма примитивны: от нас требовалось вести домашний учет — складывать, вычитать и вести двойную бухгалтерию.

---

[55] Примечания: 55
Спасайся, кто может (фр.).

Его представление о французском сводилось к глагольным формам и «Федре»[56], а также к лаконичным афоризмам известных писателей. *Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait*[57] — Этьен[58]; *C'est de quoi j'ai le plus de peur que la peur* — Монтень[59]; *Le coeur a ses raisons que le raison ne connaît point*[60] — Паскаль[61]; *L'histoire, cette vieille dame exaltée et menteuse*[62] — Мопассан[63]; *Il ne faut pas toucher aux idoles: la dorure en reset aux mains*[64] — Флобер[65]; *Dieu s'est fait homme; soit. Le diable s'est fait femme*[66] — Виктор Гюго[67]. И так далее.

Программа по географии сводилась к европейским столицам.

По-латыни — к Цезарю, покоряющему галлов и переходящему Рубикон, *alea iacta est*[68]; и ещё к отрывкам из «Энеиды» Вергилия — мистеру

---

[56] Примечания: 56

Трагедия французского драматурга Жана Расина (1639–1699), впервые опубликована и поставлена в 1677 г.

[57] Примечания: 57

Если бы молодость знала, если бы старость могла (фр.).

[58] Примечания: 58

Анри Этьен (1528–1598) — французский писатель. Боязнь страха хуже самого страха (фр.).

[59] Примечания: 59

Мишель де Монтень (1533–1592) — французский философ и писатель.

[60] Примечания: 60

У сердца есть свои резоны, о которых разум и не догадывается (фр.).

[61] Примечания: 61

Блез Паскаль (1623–1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.

[62] Примечания: 62

История — старая дама, восторженная и лживая (фр.).

[63] Примечания: 63

Анри Рене-Гюи де Мопассан (1850–1893) — знаменитый французский романист

[64] Примечания: 64

Не прикасайтесь к идолам, их позолота останется на пальцах (фр.).

[65] Примечания: 65

Постав Флобер (1821–1880) — знаменитый французский писатель

[66] Примечания: 66

Бог создал мужчину, а дьявол — женщину (фр.).

[67] Примечания: 67

Виктор Мари Гюго (1802–1885) — французский писатель, глава и теоретик французского демократического романтизма.

[68] Примечания: 68

Жребий брошен (лат.).

Эрскину нравилось самоубийство Дидоны, — и из «Метаморфоз» Овидия — к тем, где боги нехорошо поступали с молодыми женщинами: изнасилование Европы большим белым быком, Леды — лебедем, Данаи — золотым дождём. Во всяком случае, на эти истории вы обратите внимание, иронично улыбался мистер Эрскин. И был прав. Ради разнообразия, он заставлял нас переводить циничные латинские любовные стихи. *Odi et amo*[69] — вот такие вещи. Он наслаждался, видя, как мы сопротивляемся плохому отношению поэтов к таким же девушкам, в каких нам самим суждено было превратиться.

— *Rapio, rapere, rapui, raptum,* — говорил мистер Эрскин. — Хватать и нести. Английское слово *rapture* происходит от того же корня. Упадок. — *Хлоп* линейкой по парте.

Мы учились. Учились, вынашивая планы мести, — мы не давали спуску мистеру Эрскину. Больше всего на свете ему хотелось нас стреножить, но такого удовольствия мы старались ему не доставлять. Он великолепно научил нас обманывать. Мошенничать в математике непросто; зато мы целыми вечерами просиживали

[69] Примечания: 69
Люблю и ненавижу (лат.).

в дедушкиной библиотеке, списывая свои переводы Овидия с набранных мелким шрифтом старых многословных переводов выдающихся викторианцев. Уловив смысл отрывков, мы переписывали их попроще, Нарочно делая несколько ошибок, чтобы не вызвать сомнений в своем авторстве. Впрочем, мистер Эрскин в любом случае исчеркивал наши переводы красным карандашом и писал беспощадные замечания на полях. Латынь мы изучили не очень хорошо, зато прекрасно научились водить за нос. Еще нам ничего не стоило скорчить отсутствующую или оцепенелую рожу, словно нам только что накрахмалили мордашки. На мистера Эрскина лучше было не реагировать — главное, не вздрагивать.

Какое-то время Лора держалась настороже, но физическая боль — её собственная боль — большой власти над ней не имела. Лора оставалась рассеянной, даже когда мистер Эрскин на неё орал. Орал он не очень громко. Лора разглядывала обои с розочками и ленточками или смотрела в окно. Она научилась мгновенно отключаться: сейчас она с вами, а в следующее мгновение где-то далеко. Или, скорее, вы где-то далеко: она отпускала вас, словно мановением волшебной палочки, будто это вы исчезали.

Мистер Эрскин такого обращения не выносил. Он тряс Лору — кричал, что приведет её в чувство. Ты не Спящая Красавица, вопил он. Иногда толкал её в стену или стискивал ей горло. Когда Лору трясли, она закрывала глаза и вся обмякала — это учителя злило ещё больше. Сначала я пыталась вмешиваться, но толку не было. Мистер Эрскин просто отшвыривал меня ударом вонючей твидовой руки.

— Не зли его, — просила я Лору.

— Дело не в этом, — ответила Лора. — Он вовсе не злится. Просто хочет запустить руку мне под блузку.

— Никогда за ним не замечала, — сказала я. — Зачем ему?

— Он это делает, когда ты не видишь, — объяснила Лора. — Или лезет под юбку. Ему нравятся трусики. — Лора говорила спокойно, и я решила, что она все выдумала или не так поняла. Неправильно поняла, что делают руки мистера Эрскина, их намерения. Слишком уж неправдоподобно. Мне казалось, взрослым мужчинам такое не пристало и вообще не интересно — Лора всего лишь маленькая девочка.

— Может, рассказать Рини? — нерешительно предложила я.

— Она, наверное, не поверит, — сказала Лора. — Ты же не поверила.

Но Рини поверила или предпочла поверить, и мистеру Эрскину пришел конец. Рини не вызвала его на дуэль: мистер Эрскин обвинил бы Лору во вранье, и дела пошли бы ещё хуже. Спустя четыре дня Рини вошла в кабинет отца на фабрике с пачкой контрабандных фотографий. В наши дни они вызывают разве что лёгкое недоумение, но тогда это был скандал: женщины в черных чулках с похожими на пудинги бюстами, что вываливались из бюстгальтеров; те же самые женщины совсем без одежды в вывернутых позах и с раздвинутыми ногами. Рини сказала, что нашла эти снимки у мистера Эрскина под кроватью, когда подметала в комнате: неужели такому человеку можно доверить юных дочерей капитана Чейза?

При разговоре присутствовали и другие люди, которых происходящее сильно заинтриговало: несколько фабричных, юрист отца и, по чистой случайности, будущий муж Рини Рон Хинкс. Он не устоял перед раскрасневшейся женщиной — ямочки на щеках, пылающие глаза фурии-мстительницы и растрепавшийся черный, узел волос, — что размахивала пачкой большегрудых, крутозадых голых девиц. Мысленно он пал перед

ней на колени и с того дня принялся настойчиво за ней ухаживать; ухаживание, в конечном счете, оказалось успешным. Но это уже другая история.

Если есть на свете вещь, которую жители Порт-Тикондероги дружно не одобрят, так это подобная грязь в руках учителя невинных детей, наставительно сказал отцовский юрист. И отец понял: если он не хочет прослыть в родном городе чудовищем, от услуг мистера Эрскина следует отказаться.

(Я давно подозреваю, что снимки Рини взяла у брата — журнального «распространителя»; добыть их ему было раз плюнуть. Думаю, в отношении фотографий мистер Эрскин невиновен. Он, пожалуй, скорее склонялся к детям, чем к большегрудым кобылам. Но к тому времени он уже не мог ждать от Рини честной игры.)

Мистер Эрскин уехал, заявив, что ни в чем не виноват, возмущенный и потрясенный. Лора сказала, что её молитвы услышаны. Сказала, что все время молилась, чтобы мистера Эрскина прогнали, и Бог её услышал. Рини с грязными снимками и всем прочим, сказала она, выполняла божью волю. Интересно, подумала я, что об этом думает Бог, если предположить, что он существует, — в чем я все больше сомневалась.

А Лора, напротив, за время пребывания у нас мистера Эрскина стала относиться к религии ещё серьёзнее: Бога она по-прежнему боялась, но, оказавшись перед выбором между двумя вспыльчивыми и непредсказуемыми тиранами, выбрала того, что могущественнее и дальше.

Стоило ей сделать выбор, она, как всегда, решила идти до конца.

— Я стану монахиней, — безмятежно объявила она, когда мы ели в кухне сэндвичи.

— Тебе нельзя, — возразила Рини. — Тебя не примут. Ты не католичка.

— Я могу стать католичкой, — ответила Лора. — Приму католичество.

— Тогда тебе придется остричься, — сказала Рини. — Монашки под покрывалами лысые, как коленки.

Рини сделала хитрый ход. Лора ничего об этом не знала. Если она чем-то суетным и гордилась, то волосами.

— А зачем? — спросила она.

— Думают, что так хочет Бог, — объяснила Рини. — Думают, он хочет, чтобы ему пожертвовали волосы — вот как они невежественны. Зачем ему волосы? Ты представь только! Целые горы волос!

— А что потом делают с волосами? — спросила

Лора. — Когда отрежут?

Рини лущила фасоль: хлоп-хлоп-хлоп.

— Шьют парики для богатых женщин, — ответила она. Рини нашлась, но я понимала, что это выдумка, вроде историй о детях из теста. — Для богатеньких воображал. Ты ведь не хочешь, чтобы твои красивые волосы очутились на голове какой-нибудь жирной уродины.

Лора оставила мысль пойти в монахини — во всяком случае, так казалось; но с Лорой никогда не знаешь, что ещё ей в голову придет. К вере у неё была сверхспособность. Подставлялась под удар, доверялась, посвящала себя и отдавалась во власть. Чуточка недоверия стала бы первым оборонительным рубежом.

Прошло несколько лет — точнее, было потрачено на мистера Эр-скина. Наверное, не стоит говорить *потрачено:* я многому у него научилась, хотя и не тому, чему он собирался учить. Кроме лжи и мошенничества, я научилась скрывать презрение, научилась молчаливому сопротивлению. Я поняла, что месть — блюдо, что вкуснее всего холодным. Научилась не попадаться.

Тем временем разразилась Депрессия. После биржевого краха отец потерял не много, но все же кое-что потерял. И вышел за допустимый

предел ошибки. Следовало при снижении спроса закрыть фабрики; положить деньги в банк — припрятать, как делали другие в том же положении. Это было бы разумно. Но он так не сделал. Он просто не мог. Не мог выбросить фабричных на улицу. Он оставался верен своим рыцарям-вассалам. Не важно, что среди рыцарей-вассалов были и женщины.

В Авалоне воцарилась скудость. Зимой в спальнях было холодно, простыни обветшали. Рини вырезала протершиеся середины, потом сшивала края. Часть комнат совсем закрыли. Большинство слуг уволили. Больше не было садовника, и сад зарастал сорняками. Отец сказал, что нуждается в нашей помощи — тогда мы переживем тяжелые времена. Раз уж нам так противны латынь и математика, сказал он, мы можем помогать Рини по дому. Научиться экономить. На практике это означало есть на обед фасоль, соленую треску или крольчатину и штопать чулки.

Лора есть крольчатину отказывалась. Говорила, что кролики похожи на освежеванных младенцев. Их только людоеды могут есть. По словам Рини, отец был слишком добр — себе во вред. И слишком горд. Мужчина должен признавать поражение. Она не знала, что нас ждет впереди,

но, скорее всего, ожидало нас разорение.

Мне уже исполнилось шестнадцать. Какое-никакое обучение закончилось. Я слонялась без дела — но зачем? Что со мной будет?

У Рини были свои соображения. Она пристрастилась к журналу «Мэйфэйр», где описывались светские торжества, и к газетной светской хронике: свадьбы, благотворительные балы, роскошный отдых. Голова у неё пухла от имен и названий: фамилий знаменитостей, названий океанских лайнеров и дорогих отелей. Она считала, мне надо устроить дебют со всей атрибутикой — чаепитиями, где я познакомлюсь с матерями известных семейств, с приемами и выездами на природу, с танцами, куда пригласят подходящих молодых людей. Как в прежние времена, Авалон заполнят хорошо одетые люди, зазвучат струнные квартеты, запылают факелы на лужайке. Наша семья ничем не хуже, а может, и лучше тех семейств, где будущее дочерей устраивают именно так. Отцу следовало бы на такой случай положить деньги в банк. Будь жива моя мать, говорила Рини, все бы шло, как надо.

Я в этом сомневалась. Судя по тому, что я слышала о матери, она, скорее всего, отправила бы меня в школу — в женский колледж Альма или в

другое достойное и скучное заведение — изучать нечто полезное и тоже скучное, вроде стенографии; что касается дебюта, он показался бы ей суетным. У неё самой дебюта не было.

Другое дело — бабушка Аделия; она жила так давно, что её можно было идеализировать. Она приняла бы во мне участие, не пожалев ни денег, ни усилий. Я бродила по библиотеке, разглядывала её портреты, что по-прежнему висели на стенах. Портрет маслом 1900 года: улыбка сфинкса, платье цвета сухих алых роз, глубокое декольте — обнаженная шея появляется внезапно, точно рука фокусника из-за кулис. Черно-белые фотографии в позолоченных рамках: нарядные шляпки, страусовые перья, вечерние платья, диадемы, белые лайковые перчатки; бабушка одна или в обществе ныне забытых знаменитостей. Будь она жива, усадила бы меня рядом и дала советы: как одеваться, что говорить, как вести себя в разных обстоятельствах. И как не выглядеть смешной — а шансов для этого масса. Рини перекапывала светскую хронику, но все-таки знала недостаточно.

Пикник на пуговичной фабрике

Пришел и ушел День труда[70]; остались горы пластиковых стаканчиков, бутылок и сморщенных воздушных шариков — они то и дело всплывали в пене речных водоворотов. Сентябрь утверждался в своих правах. В поддень солнце по-прежнему палило нещадно, но по утрам вставало все позже, принося туманы; прохладными вечерами вовсю скрежетали и трещали сверчки. Дикие астры, недавно пустившие корни в саду, проросли пучками — маленькие белые цветочки, кустистые голубые и фиолетовые, со ржавыми стеблями. Прежде, во времена бессвязного садоводства, я бы посчитала их сорняками и выдрала с корнем. Теперь я больше не делаю таких различий.

Теперь гулять приятнее — нет прежней жары и солнцепека. Туристов все меньше, а оставшиеся хотя бы прилично одеты: никаких огромных шортов, бесформенных сарафанов и обгоревших красных ног.

Сегодня я отправилась в Палаточный лагерь. На полпути Майра догнала меня на машине и пред-

---

[70] Примечания: 70
Отмечается в первый понедельник сентября.

ложила подвезти; к стыду своему, я согласилась: меня замучила одышка. Я как-то не сообразила, что путь довольно длинный. Майра спросила, куда я иду и зачем: пастушеский инстинкт она, должно быть, унаследовала от Рини. Я сказала, куда; а насчет зачем ответила, что просто хочу снова взглянуть на это место — из сентиментальности. Слишком опасно, сказала Майра, кто его знает, что там в зарослях ползает. Взяла с меня обещание сидеть на открытом месте и её ждать. Через час она за мной заедет.

Я все больше ощущаю себя письмом: отправлено здесь — получено там. Только адресата нет.

Теперь в Палаточном лагере смотреть не на что. Пара акров между шоссе и Жогом, заросшие деревьями и чахлым кустарником; весной полно комаров — выводятся в болотце посреди леска. Тут охотятся цапли, порой слышны их хриплые крики — точно палкой скребут по жести. Время от времени несколько птиц-наблюдателей пролетают, удрученно оглядывая местность, будто что-то потеряли.

В тени поблескивают пустые сигаретные пачки, рядом — бледные клубеньки использованных презервативов и размокшие скомканные «клинексы». Собаки и кошки метят территорию;

жаждущие парочки прячутся меж деревьев, хотя теперь их все меньше — есть и другие места. Летом под кустами отсыпаются пьяные, подростки прибегают покурить и понюхать что они там курят и нюхают. Свечные огарки, обгоревшие ложки и странного вида одноразовые иголки. Об этом рассказывала Майра; она считает, все это — позор. Она знает, зачем нужны свечки и ложки, — это *наркоманские причиндалы.* Похоже, всюду порок. *Et in Arcadia ego* [71].

Лет десять или двадцать назад это место пытались почистить. Водрузили бессмысленную вывеску «Парк полковника Паркмена», поставили три простых стола для пикников, пластиковый бак для мусора и пару передвижных туалетов — все для удобства отдыхающих, однако те предпочитали упиваться пивом у реки и выбрасывать мусор там, откуда вид получше. Потом какие-то воинствующие юнцы превратили вывеску в мишень для стрельбы; местные власти распорядились убрать столы и туалеты — из-за бюджета, кажется; мусорный бак никогда не опорожнялся, зато его частенько навещали еноты; потом увезли и его, и Палаточный лагерь вернулся в

[71] Примечания: 71
И я в Аркадии (лат.).

прежнее состояние.

Палаточный лагерь так называется, потому что когда-то здесь происходили богослужения; разбивались палатки, похожие на шапито, и заезжие проповедники произносили пламенные речи. В те дни это место было ухоженнее или, скажем, более вытоптано. Здесь стояли ларьки и манежи разъездных ярмарок; здесь же привязывали пони, и осликов, устраивали парады, а потом публика расходилась на пикники. Здесь устраивали любые сборища.

Тут праздновали День труда «Чейз и Сыновья». День труда — это официальное название; все называли праздник пикником пуговичной фабрики. Он проводился в субботу перед собственно Днем труда с его риторическим трепом, марширующими оркестрами и самодельными флажками. Воздушные шары, карусель и безобидные глупые игры — бег в мешках, яйцо на ложке, эстафета с морковкой. Парикмахерские квартеты неплохо пели, туда-сюда маршировал отряд скаутов-горнистов; дети под музыку из заводного граммофона исполняли шотландский флинг и ирландскую чечетку на деревянном помосте вроде боксерского ринга. Был конкурс на Самую Нарядную Собачку и Самого Нарядного Младенца.

Ели вареную кукурузу с маслом, картофельный салат и хот-доги. Дамы из Женского легиона[72] в помощь чему-нибудь продавали выпечку — пироги, печенье и пирожные, а также варенья, чатни и соленья в банках, надписанных именем: Ассорти Роды или Сливовый компот Перл.

Все веселились от души. За прилавком не продавали ничего крепче лимонада, но мужчины приносили фляги и бутылки, и на закате в зарослях слышались потасовки, крики и хриплый хохот, а потом и плеск воды — это в речку бросали мужчину или парня в одежде или без штанов. Жог здесь довольно мелок — так что за все время почти никто не утонул. В темноте пускали фейерверки. В период расцвета этих пикников — в тот период, что кажется мне расцветом, — под скрипку плясали кадриль. Но к 1934 году, о котором я рассказываю, столь бурного веселья уже не наблюдалось.

Около трёх часов дня отец произносил с помоста речь. Очень короткую речь, но мужчины постарше слушали внимательно, и женщины тоже — каждая или сама работала на фабрике, или была замужем за фабричным. А когда при-

[72] Примечания: 72

Общественная женская организация, входящая в состав Канадского королевского легиона.

шли тяжелые времена, молодые мужчины тоже стали слушать, и даже девушки в летних платьицах с полуголыми руками. В речи говорилось немногое, но многое читалось между строк. «Есть причины радоваться» — это хорошо; «основания для оптимизма» — плохо.

В том году было жарко и сухо — и уже давно. Карусель не ставили, и воздушных шаров было мало. Вареная кукуруза старовата, зернышки сморщились, словно кожа на суставах, лимонад водянистый, хот-доги быстро закончились. Но на фабриках Чейза пока не увольняли. Спад производства — да, но никаких увольнений.

Отец четыре раза произнес «основания для оптимизма» и ни разу — «есть причины радоваться». Все тревожно переглядывались.

В детстве мы с Лорой пикникам ужасно радовались. Теперь уже нет, но появиться там — наш долг. Хоть на минуту. Нам это внушали с раннего детства: мама непременно появлялась на торжестве, как бы плохо себя ни чувствовала.

После маминой смерти, когда ответственность за нас легла на Рини, та очень внимательно выбирала нам для пикника одежду: не слишком простую — это расценили бы как пренебрежение, равнодушие к общественному мнению, но и не

слишком нарядную чтобы мы не важничали. В тот год мы были достаточно большими, чтобы самим выбирать себе наряды — мне восемнадцать, Лоре — четырнадцать, — но выбирать оказалось практически не из чего. В нашей семье не любили демонстраций роскоши, хотя у нас было несколько, говоря языком Рини, *приличных вещей;* но в последнее время роскошной считалась любая новая вещь. На пикник мы обе надели прошлогодние широкие синие плиссированные юбки и белые блузки. Лора была в моей шляпке трёхлетней давности, а я в прошлогодней шляпке с новой лентой.

Лору это, похоже, не смущало. В отличие от меня. Я так и сказала, а Лора объявила меня суетной.

Мы выслушали речь. (Точнее, я выслушала. Не понять, что именно слушает Лора, хотя слушать она умела: распахивала глаза и внимательно склоняла голову.) Отец с речью всегда справлялся, сколько бы он перед этим ни выпил, но сейчас запинался. Он то подносил машинописный текст к здоровому глазу, то отодвигал в замешательстве, словно ему подали счет за то, чего он не заказывал. Раньше его одежда была элегантной, со временем стала элегантной, но поношенной,

а в тот день выглядела чуть ли не обветшалой. Косматые волосы явно нуждались в стрижке; он выглядел опустошенным — даже каким-то свирепым, точно загнанный в угол разбойник с большой дороги.

Речь встретили вымученными аплодисментами, а затем люди, тихо беседуя, сбились в стайки. Некоторые, расстелив куртки или одеяла, уселись под деревьями или задремали, прикрыв лица носовыми платками. Только мужчины — женщины продолжали бодрствовать, оставались бдительны. Матери погнали детишек на берег — пусть повозятся в песке на пляже. В стороне начался пыльный бейсбольный матч; кучка людей рассеянно за ним наблюдала.

Я пошла помогать Рини продавать выпечку. В пользу чего торговали? Не припомню. Но я помогала каждый год — это само собой разумелось, Я сказала Лоре, что ей тоже следует пойти, но она сделала вид, будто не слышит, и зашагала прочь, лениво покачивая широкими полями шляпы.

Я её отпустила. Предполагалось, что я должна за ней присматривать. На мой счет Рини не переживала, а вот Лору считала слишком доверчивой, слишком дружелюбной с незнакомцами. Работорговцы не дремлют, и Лора — идеальная

жертва. Она сядет в чужой автомобиль, откроет неизвестную дверь, пойдет не по той улице, и все потому, что она ни перед чем не останавливалась — во всяком случае, не перед тем, что останавливает других людей, а предостеречь её невозможно: предостережений она не понимала. Она не попирала правила — просто их забывала.

Я устала за Лорой присматривать — она этого совсем не ценила. Устала отвечать за её промахи, за её неуступчивость. Устала отвечать — и точка. Мне хотелось в Европу или в Нью-Йорк или хотя бы в Монреаль — в ночные клубы, на званые вечера, в восхитительные места, о которых писали в журналах Рини — но я нужна была дома. *Нужна дома, нужна дома* — словно пожизненное заключение. Хуже — словно панихида. Я застряла в Порт-Тикондероге, горделивом оплоте заурядных пуговиц и дешевых кальсон для экономных покупателей. Я здесь зачахну, со мной никогда ничего не случится. Кончу жизнь старой девой, как мисс Вивисекция, жалкой и смешной. В глубине души я боялась именно этого. Мне хотелось отсюда вырваться, но я не знала как. Иногда надеялась, что меня похитят работорговцы, — пусть я в них и не верила. Хоть какая-то перемена.

Над прилавком с выпечкой установили на-

вес, а сами изделия прикрыли от мух чистыми кухонными полотенцами и вощеной бумагой. Рини испекла для распродажи пирожки — они ей никогда особо не удавались. Внутри сыроватые и клейкие, а снаружи — резиновая корочка, будто ламинария или громадный кожистый гриб. Во времена получше они неплохо продавались — скорее, как ритуальные сувениры, чем еда, — но в этот раз их покупали плохо. Денег у всех было мало: в обмен на них людям хотелось получить нечто действительно съедобное.

Я стояла у прилавка, и Рини, понизив голос, докладывала последние новости. Еще светло, а в речку уже побросали четверых, и совсем не веселья ради. Тут спорили что-то про политику, и все кричали, рассказывала Рини. Помимо обычных речных буйств случились драки. Избили Элвуда Мюррея, редактора еженедельной газеты, наследника двух поколений газетчиков-Мюрреев; большинство материалов Мюррей писал сам, и фотографировал тоже сам. Хорошо, в речку не окунули — погубили бы фотоаппарат, а он дорогой, хотя, по сведениям Рини, подержанный. У Мюррея шла носом кровь; он сидел под деревом со стаканом лимонада в руке, а вокруг хлопотали две женщины, постоянно меняя мокрые платки.

Мне было все видно.

Его из-за политики избили? Рини не знала, но всем не нравилось, что он подслушивает чужие разговоры. В лучшие времена Элвуда Мюррея считали дураком и, как говорила Рини, «голубком»: ну, он ведь так и не женился, а в его возрасте это кое о чем говорило. Однако его терпели и даже, в пределах допустимого, ценили — при условии, что он никого не забудет упомянуть в светской хронике и не переврет имена. Но времена изменились, а Мюррей любознателен по-прежнему. Никто не хочет, чтобы о нём прописали в газетах все подробности, говорила Рини. Никто в здравом уме такого не пожелает.

Я заметила отца — он ходил среди отдыхающих рабочих, припадая на одну ногу. Кивал то одному, то другому — резко, точно голова движется не вперед, а назад. Повязка на глазу тоже двигалась, и издали казалось, будто в голове дыра. Усы торчали одиноким темным изогнутым бивнем, который впивался во что-то время от времени — это отец улыбался. Руки он держал в карманах.

С ним был человек помоложе, чуть выше; в отличие от отца — ни единой морщинки, ни намека на угловатость. *Лощеный* — вот что приходило на ум. Изящная панама, полотняный, точно светя-

щийся костюм, такой свежий и чистый. Мужчина был явно не из местных.

— Кто это с отцом? — спросила я Рини. Она незаметно глянула и хмыкнула.

— Это Королевский Классический Мистер. Выдержка у него, похоже, есть.

— Я так и думала, — сказала я.

Королевский Классический Мистер — Ричард Гриффен из торонтской фирмы «Королевский классический трикотаж». Наши рабочие — те, кто работал у отца, — именовали фирму «Королевский классический дерьмотаж»: мистер Гриффен был не только главным конкурентом отца, но и антагонистом своего рода. Нападал на отца в газетах, обвиняя в излишнем либерализме по поводу безработицы, пособий и пьянства. А также по поводу профсоюзов — необоснованно, поскольку в Порт-Тикондероге профсоюзы не водились, и отец имел о них весьма смутное представление, что ни для кого не было секретом. И вот теперь отец зачем-то пригласил Ричарда Гриффена в Авалон на ужин после пикника, да к тому же в последний момент. Всего за четыре дня.

На Рини мистер Гриффен свалился как снег на голову. Всем известно, что перед врагами не ударить в грязь лицом важней, чем перед друзьями.

Четырех дней недостаточно, чтобы подготовиться к такому событию, — особенно если учесть, что в Авалоне грандиозных трапез не устраивали со времен бабушки Аделии. Ну да, Кэлли Фицсиммонс привозила иногда друзей на выходные, но это совсем другое дело: они просто художники и должны с благодарностью принимать, что дают. Иногда по ночам они шарили на полках в поисках съестного и готовили сэндвичи из остатков. Рини их звала *ненасытные утробы.*

— Денежный мешок из новых, — презрительно заметила Рини, разглядывая Ричарда Гриффена. — Только взгляни, штаны какие модные. — Она не прощала тех, кто критиковал отца (кроме себя, разумеется), и презирала любого, кто, выбившись в люди, важничал больше, чем ему, по мнению Рини, полагалось; а насчет Гриффенов все знали, что они из грязи вышли — по крайней мере, их дед. Обманул евреев и устроился, туманно говорила Рини — может, думала, что это подвиг такой? Впрочем, она никогда не уточняла, как именно все произошло. (По-честному, Рини могла про Гриффенов и приврать. Она порой сочиняла про людей истории, которые им, как ей казалось, подходили.)

За отцом и мистером Гриффеном шли Кэлли

Фицсиммонс и женщина, которую я сочла женой Ричарда Гриффена, — моложавая, худая, элегантная, в прозрачном рыжем муслине — точно в облаке пара над томатным супом. Зеленая широкополая шляпа, зеленые босоножки на высоком каблуке, шея обмотана каким-то зеленым шарфиком. Для пикника слишком разодета. Я видела, как она остановилась и глянула через плечо, не прилипло ли чего на каблук. Мне хотелось, чтобы прилипло. И все же я думала, как приятно носить такую прелестную одежду, эту купленную на нечистые деньги одежду, вместо добродетельных, убогих, потертых тряпок, что стали теперь нашей формой.

— Где Лора? — вдруг забеспокоилась Рини.

— Понятия не имею, — ответила я. Я завела привычку осаживать Рини, когда та принималась командовать. Моим кинжалом стал ответ *«ты мне не мать».*

— С неё глаз нельзя спускать, — сказала Рини. — Здесь может быть *кто угодно. — Кто угодно* — постоянная причина её страхов. Никогда не знаешь, какие выходки, какие кражи или ошибки совершат эти *кто угодно.*

Лору я нашла под деревом, она сидела и разговаривала с молодым человеком — мужчиной,

а не подростком — смуглым, в светлой шляпе. Каким-то непонятным — не фабричным, никаким — невнятным. Без галстука — впрочем, пикник же. Голубая рубашка слегка обтрепанные манжеты. Небрежный стиль, пролетарский. В те времена так многие одевались — студенты, к примеру. Зимой они носили вязаные жилеты в поперечную полоску.

— Привет, — сказала Лора. — Ты куда пропала? Алекс, познакомься, это моя сестра Айрис. Это Алекс.

— Мистер?.. — произнесла я. Как легко Лора переходит на «ты».

— Алекс Томас, — ответил молодой человек. Он был вежлив, но насторожен. Поднявшись, протянул мне руку, я протянула свою. И уже вдруг, оказывается, сижу с ними. Казалось, так правильнее — чтобы защитить Лору.

— Вы ведь не местный, мистер Томас?

— Да. Приехал навестить знакомых. — Судя по манере говорить, он из тех, кого Рини зовет *приличными* молодыми людьми — то есть *не бедными.* Но и не богат.

— Он друг Кэлли, — сказала Лора. — Она только что была здесь и нас познакомила. Он приехал с ней на одном поезде. — Сестра слишком уж

ударилась в объяснения.

— Видела Ричарда Гриффена? — спросила я Лору. — Гулял тут с отцом. Этот, которого на ужин пригласили.

— Ричард Гриффен, потогонный магнат? — спросил молодой человек.

— Алекс… мистер Томас знает про древний Египет, — сказала Лора. — Он рассказывал про иероглифы. — Она глянула на него. Я никогда не видела, чтобы Лора так на кого-нибудь смотрела. Испуганно, потрясенно? Трудно слово подобрать.

— Любопытно, — отозвалась я; это *любопытно* прозвучало у меня как-то насмешливо. Нужно как-то сообщить Алексу Томасу, что Лоре всего четырнадцать, но все, что приходило мне в голову, её разозлит.

Алекс Томас вытащил из кармана рубашки пачку сигарет — «Крэйвен-Эй», насколько я помню. Выбил себе одну. Я слегка удивилась, что он курит фабричные — это плохо сочеталось с его рубашкой. Сигареты в пачках были роскошью: рабочие делали самокрутки — некоторые одной рукой.

— Я тоже закурю, спасибо, — сказала я.

Прежде я курила всего несколько раз, украдкой таскала сигареты из серебряной шкатулки на

рояле. Он уставился на меня — думаю, я этого и добивалась — и протянул пачку. Спичку он зажег об ноготь, подержал мне огонек.

— Не надо так делать. Обожжешься, — сказала Лора. Перед нами вырос Элвуд Мюррей; снова на ногах и весел.

Спереди рубашка ещё мокрая, с розовыми потеками, где женщины оттирали кровь; темно-красное запеклось в ноздрях.

— Привет, мистер Мюррей, — сказала Лора. — С вами все в порядке?

— Кое-кто из парней немного увлекся, — ответил Элвуд Мюррей, будто робко признавался, что получил какую-то награду. — Позабавились. Вы позволите? — И он нас сфотографировал. Перед тем, как сделать снимок, он всегда спрашивал: *вы позволите?* — но ответа не дожидался. Алекс Томас поднял руку, словно отмахиваясь.

— Этих двух хорошеньких леди я знаю, — сказал Элвуд Мюррей ему, — а вас зовут?..

Тут явилась Рини. Шляпка у неё съехала набок, лицо раскраснелось, она тяжело дышала.

— Отец вас повсюду ищет, — объявила она.

Я знала, что это неправда. Тем не менее нам с Лорой пришлось подняться, выйти из тени, отряхнуть юбки и послушными утятами после-

довать за ней.

Алекс Томас помахал нам на прощанье. Сардонически — во всяком случае, мне так показалось.

— Вы что, с ума сошли? — накинулась на нас Рини. — Разлеглись на траве неведомо с кем. И, ради Бога, Айрис, брось сигарету — ты же не бродяжка. А если отец увидит?

— Папочка дымит, как паровоз, — сказала я, надеясь, что вышло достаточно надменно.

— Он другое дело, — ответила Рини.

— Мистер Томас, — произнесла Лора. — Мистер Алекс Томас. Он студент богословия. Был до недавнего времени, — уточнила она. — Он утратил веру. Совесть не позволила ему учиться дальше.

Совестливость Алекса Томаса, по-видимому, Лору потрясла, но Рини оставила равнодушной.

— А чем же он занимается? — спросила она. — Темными делишками, чтоб мне провалиться. Вид у него жуликоватый.

— Да что в нём плохого? — спросила я. Алекс мне не понравился, но его обсуждали за глаза.

— А что хорошего? — парировала Рини. — Вот ведь придумали — развалились на лужайке перед всеми. — Рини разговаривала в основном со мной. — Хорошо, хоть юбки подоткнули. — Рини

всегда говорила, что перед мужчиной коленки надо сжимать, чтобы и монетка не проскочила. Она боялась, что люди — мужчины — увидят наши ноги выше колен. О женщинах, которые такое допускали, Рини говорила: *Занавес поднялся, где же представление?* Или: *Еще бы вывеску повесила.* Или ещё злее: *На что напрашивается, то и получит.* А в худшем случае: *Дождется неприятностей.*

— Мы не разваливались, — сказала Лора. — Смотри, мы целые.

— Ты знаешь, что я хочу сказать, — буркнула Рини.

— Мы ничего не делали, — объяснила я — Разговаривали.

— Это неважно, — сказала Рини. — Вас могли увидеть.

— В следующий раз, когда не будем ничего делать, заберемся в кусты, — пообещала я.

— Кто он такой вообще? — спросила Рини; мои вызовы она оставляла без внимания, поскольку теперь не знала, что отвечать. *Кто он* означало: *Кто его родители?*

— Он сирота, — ответила Лора. — Его взяли на воспитание из приюта. Его усыновили пресвитерианский священник с женой. — Ей очень быстро

удалось выудить из Алекса Томаса эту информацию, но у неё имелся такой талант: нас учили, что бестактно задавать личные вопросы, однако она задавала их без конца, пока собеседник, смутившись или разозлившись, не переставал отвечать.

— Сирота! — воскликнула Рини. — Так он может быть кем угодно!

— Да что плохого в сиротах? — спросила я. Я знала, что в них плохого, по мнению Рини: они не знают своих отцов, и оттого ненадежные типы, если не полные дегенераты. *Рождены в канаве* — вот как это называла Рини. *Рождены в канаве, оставлены на крыльце.*

— Им нельзя доверять, — сказала Рини. — Они всюду вползают. Ни перед чем не остановятся.

— Ну, все равно я пригласила его на ужин, — объявила Лора.

— Для такого дорогого гостя ничего не жалко, — отвечала Рини.

Дарительницы хлебов

В саду на задах, по ту сторону забора, растет дикая слива. Старая, кривая, ветви с черными узлами. Уолтер говорит, надо её срубить, но я возражаю: она, по сути, не моя. К тому же я её

люблю. Каждую весну она цветет — непрошеная, неухоженная; а в конце лета роняет сливы ко мне в сад — синие, овальные, с налетом, будто пыль. Такая вот щедрость. Сегодня утром я собрала падалицу — то немногое, что оставили мне белки, еноты и опьяневшие осы. Я жадно съела сливы, и сок от синюшной мякоти тек по подбородку Я не заметила, пока не появилась Майра с очередной кастрюлькой: тунца. *Боже мой,* сказала она, задыхаясь от своего птичьего смеха. *С кем это ты воевала?*

День труда я помню до мельчайших подробностей: то был единственный раз, когда все мы собрались вместе.

Веселье в Палаточном лагере продолжалось, но уже такое, за которым вблизи лучше не наблюдать: тайное потребление дешевого спиртного в разгаре. Мы с Лорой удалились рано, чтобы помочь Рини с ужином.

Приготовления шли несколько дней. Узнав про ужин, Рини извлекла откуда-то свою единственную поваренную книгу «Кулинария по-бостонски» Фэнни Меррит Фармер. Вообще-то книга принадлежала бабушке Аделии, та обращалась к ней — и к многочисленным кухаркам, естественно, — составляя свои обеды из двенадцати блюд.

Потом книгу унаследовала Рини — правда, обычно ею не пользовалась, говорила, что и так все помнит. Но сейчас, требовалось показать класс.

Я эту книгу читала — по крайней мере, просматривала во времена идеализации бабушки. (Это прошло. Будь она жива, она бы меня переделывала, как Рини и отец; будь жива мать, она занималась бы тем же. Цель всей жизни взрослых — меня переделать. Больше им заняться нечем.)

Поваренная книга в простой обложке, деловой, горчичного цвета, и внутри все тоже просто. Фэнни Меррит Фармер отличалась непробиваемым прагматизмом, нудная и немногословная, как все в Новой Англии. Она исходила из того, что вы решительно ничего не знаете, и начинала так: «Напиток — это любое питье. Вода — это напиток, дарованный человеку Природой. Все напитки содержат большое количество жидкости и потому предназначены для: 1. Утоления жажды. 2. Обеспечения водой системы кровообращения. 3. Поддержания температуры тела. 4. Выведения жидкости из организма. 5. Питания. 6. Стимулирования работы нервной системы и различных органов. 7. Лечебных целей» — и так далее.

Вкус и удовольствие в списках не значились, но вначале помещался любопытный эпиграф из

Джона Раскина:

Кулинарное искусство есть знания Медеи и Цирцеи, Елены Прекрасной и Царицы Савской. Оно есть знание всех трав и плодов, бальзамов и специй, всей целебности и аромата полей и рощ, всей пикантности мяса. Кулинарное искусство — это осторожность, изобретательность, желание действовать и готовность приборов. Это экономность бабушек и достижения химиков, это дегустация и учет, это английская дотошность, французское и арабское радушие. Иными словами, вы всегда остаетесь настоящей дамой — дарительницей хлебов[73]

Мне трудно представить Елену Прекрасную в фартуке, с закатанными по локоть рукавами и лицом в муке; Цирцея и Медея, насколько я знаю, готовили исключительно волшебные зелья, травившие наследников, а мужчин превращавшие в свиней. Что до Царицы Савской, сомневаюсь, чтобы она за всю жизнь хотя бы тост поджарила. Интересно, откуда мистер Раскин почерпнул

[73] Примечания: 73

«Кулинария по-бостонски» Фэнни Меррит Фармер впервые была опубликована в 1896 г. Приведенная цитата — написанное специально для этого издания предисловие Джона Раскина (1819–1900), британского искусствоведа, художника, ученого, поэта и философа, много сделавшего, в частности, для поддержки прерафаэлитов.

столь удивительные представления о дамах и стряпне. Впрочем, во времена моей бабушки его слова, наверное, трогали множество женщин среднего класса. Им следовало быть степенными — терпеливыми, неприступными, даже величественными, но при этом обладать тайными рецептами, способными убить или разжечь в мужчинах неодолимые страсти. И в довершении ко всему — настоящие дамы, дарительницы хлебов. Что разносят щедрые дары.

И все это всерьёз? Для бабушки — да. Достаточно взглянуть на её портреты: сытая кошачья улыбка, тяжелые веки. Кем она себя считала, Царицей Савской? Несомненно.

Когда мы вернулись с пикника, Рини металась по кухне. На Елену Прекрасную она не очень походила. Она много сделала заранее, но все равно нервничала, вспотела, волосы растрепались, Рини пребывала в скверном настроении. Она сказала, что придется мириться с тем, что есть: а чего мы ждали — она не умеет творить чудеса и шить шелковые сумочки из свиных ушей. И лишний гость ещё, да в последний момент — этот Алекс или как его там. Хитрюга Алекс, ты только на него глянь.

— У него имя есть, как у всех, — сказала Лора.

— Он не как все, — возразила Рини. — Сразу видно. Небось полукровка — индеец, или цыган какой. Явно из другого теста.

Лора промолчала. Обычно она не угрызалась, а тут, похоже, раскаялась, что экспромтом пригласила Алекса Томаса. Но отменить ничего нельзя, сказала она — это будет верхом грубости. Приглашен — значит, приглашен, и не важно, кто.

Отец тоже это понимал, хотя был не в восторге. Лора явно опережает события, возомнив себя хозяйкой; если так пойдет дальше, она станет приглашать к столу всех сирот, бродяг и горемык, а отец ведь не добрый король Вацлав[74]Надо сдерживать её благие порывы, сказал он, у него не богадельня.

Кэлли Фицсиммонс пыталась умилостивить отца: Алекс вовсе не горемыка, уверяла она. Да, у юноши нет определенных занятий, но источник дохода, похоже, есть — во всяком случае денег он не выпрашивает. И что это за источник? — поинтересовался отец. Чтоб Кэлли провалиться, если она знает: Алекс держит рот на замке. Может, он

---

[74] Примечания: 74

Вацлав I из династии Пржемысловичей — князь Чехии (Богемии). ~ 929–936 гг. был убит своим братом Болеславом, впоследствии канонизирован. В 1853 г. Джон Мэйзон Нил написал о нём детскую песню «Добрый король Вацлав»; песня стала одним из самых популярных рождественских гимнов.

банки грабит, саркастически заметил отец. Вовсе нет, ответила Кэлли; и вообще, его знают многие её знакомые. Одно не мешает другому, сказал отец. К художникам он уже остывал. Слишком многие пристрастились к марксизму и рабочим, а его обвиняли в эксплуатации крестьян.

— С Алексом все в порядке. Он просто юнец, — сказала Кэлли — Только начинает жить. Приятель. — Ей не хотелось, чтобы отец подумал, будто Алекс — её поклонник и отцовский соперник.

— Чем помочь? — спросила Лора в кухне.

— Ну уж нет, — сказала Рини, — ещё ложки дегтя мне как раз и не хватало. Не мешай и ничего не опрокинь. Пусть Айрис помогает. Она хоть не безрукая. — Разрешить помогать означало, по мнению Рини, проявить благосклонность. Она ещё сердилась, и потому Лору выпроводила. Но наказание пропало даром. Надев широкополую шляпу, Лора пошла бродить по лужайке.

Мне поручили нарезать для стола цветы и рассадить гостей. Я срезала циннии — почти все, что к этому времени остались. Алекса Томаса я посадила между собой и Кэлли, а Лору — на дальнем конце стола. Так, решила я, он окажется изолирован — или хотя бы Лора.

У нас с Лорой не было подходящих платьев. Но

какие-то были. Обычные, из темно-синего бархата — мы их давно носили; платья отпустили и черной лентой подшили потрепанный подол. Раньше на них были белые кружевные воротнички — на Лорином остался, а свой я спорола — вырез получился больше. Платья были тесноваты — мое, во всяком случае, да вообще-то и Лорино. По всем правилам Лоре ещё рановато было присутствовать на таком ужине, но Кэлли сказала, что жестоко оставлять её одну, тем более, раз она лично пригласила гостя. Отец ответил, что это, наверное, правильно. И прибавил, что Лора уже вымахала и выглядит не моложе меня. Не знаю, какой возраст он имел в виду. Он никогда точно не знал, сколько нам лет.

В назначенное время гости собрались в гостиной пить херес — его подала незамужняя кузина Рини, которую специально позвали прислуживать за ужином. Нам с Лорой херес и вообще вино не полагались. Лору такое неравенство не уязвило, зато уязвило меня. Рини согласилась с отцом: она тогда была абсолютной трезвенницей.

— Губы, что касались спиртного, никогда не коснутся моих, — говорила она, сливая остатки вина из бокалов в раковину. (Тут она ошиблась: меньше, чем через год она вышла замуж за Рона

Хинкса, изрядного выпивоху. Майра, обрати внимание, если ты читаешь эти строки: до того, как Рини превратила твоего отца в столп общества, он был редкостный пропойца.)

Кузина была старше Рини и до ужаса неряшлива. Надела черное платье и белый фартук, как положено, — но коричневые чулки собрались гармошкой, да и руки могли быть почище. Днем она работала у зеленщика, и ей приходилось сортировать картофель, — трудно отмыть въевшуюся грязь.

Рини приготовила канапе с нарезанными оливками, яйцами и огурчиками, а ещё печеные творожные шарики, которые не очень получились. Все это подавалось на немецком фарфоре ручной росписи — лучших блюдах бабушки Аделии, с темно-красными пионами, золотыми листьями и стеблями. На блюдах салфетка, в центре — соленые орешки, вокруг лепестки бутербродов, ощетинившиеся зубочистками. Кузина резко, почти злобно, совала блюда гостям, точно грабила.

— Не очень-то гигиенично, — заметил отец с иронией, в кото рой я почувствовала скрытый гнев. — Лучше отказаться, а то бы потом не раскаяться. — Кэлли рассмеялась, а Уинифред Гриффен

Прайор грациозно взяла творожный шарик, положила в рот как делают женщины, опасаясь размазать помаду, — растопырив губы — и сказала, что это *занятно.* Кузина забыла принести салфетки, и Уинифред измазала пальчики. Я с любопытством за ней наблюдала: как она поступит — оближет их, вытрет о платье или может, о наш диван? Но потом я, как назло, отвела глаза и так и не узнала. Думаю, о диван.

Уинифред оказалась не женой Ричарда Гриффена (как я пред полагала), а сестрой. (Замужняя дама, вдова или разведенная? Непонятно. После «миссис» шла её девичья фамилия: значит, бывшим мистером Прайором произошло нечто дурное. О нём редко упоминали, его никогда не видели; говорили, что у него много денег, и он «путешествует». Много позже, когда мы с Уинифред уже не общались, я придумывала разные истории про этого мистера Прайора: как Уинифред сделала из него чучело и держит в коробке с нафталиновыми шариками, или как она и её шофер замуровали его в подвале и предаются там распутным оргиям. Думаю, насчет оргий я недалеко ушла от истины, хотя следует заметить: что бы Уинифред ни делала, она оставалась весьма рассудительна. Заметала следы — в общем,

тоже добродетель своего рода.)

В тот вечер на Уинифред было черное платье, простое, но умопомрачительно элегантное, с тройной ниткой жемчуга. В ушах крошечные виноградные гроздья — жемчужные, с золотым стебельком и листьями. А Кэлли Фицсиммонс нарочно оделась подчеркнуто скромно. Она уже года два как отказалась от своих фуксий и шафранов, от смелых фасонов русских эмигранток, даже от мундштука. Теперь она носила днём широкие брюки, свитеры с треугольным вырезом и рубашки с закатанными рукавами; она коротко стриглась, а имя сократила до Кэл.

Памятники погибшим воинам она бросила — на них не было спроса. Теперь Кэлли ваяла барельефы рабочих и фермеров, рыбаков в штормовках, индейских охотников и матерей в фартуках — они из-под руки глядят на солнце, а на боку у них висят грудные дети. Такое могли себе позволить только страховые компании и банки; они устанавливали барельефы на фасадах — доказывали, что не отстают от времени. Неприятно работать на откровенных капиталистов, говорила Кэлли, но главное — передать свою мысль: зато любой прохожий эти барельефы увидит — причем бесплатно. Это искусство для

народа, говорила она.

Кэлли надеялась, что отец ей поможет, устроит новые заказы от банков. Но отец сухо отвечал, что с банками у него дружба разладилась.

В тот вечер Кэлли надела темно-серое платье из джерси — цвет называется маренго, сказала она. На другой женщине такое платье смотрелось бы пыльным мешком с рукавами и поясом, но Кэлли удалось представить его — не то чтобы верхом изящества или шика, это платье как бы подразумевало, что такие вещи не стоят внимания — чем-то неприметным, но острым, как обычная кухонная утварь — нож для колки льда, к примеру, за секунду до убийства. Такое платье — как поднятый кулак, но среди молчаливой толпы.

Отцовскому смокингу пригодился бы утюг. Смокингу Гриффена — не пригодился бы. Алекс Томас надел коричневый пиджак, серые фланелевые брюки (слишком плотные для такой погоды) и галстук — синий в красную крапинку. Белая рубашка, слишком свободный воротничок. Одежда будто с чужого плеча. Что ж, он ведь не ждал, что его пригласят на ужин.

— Какой прелестный дом, — произнесла Уинифред Гриффен Прайор с дежурной улыбкой, когда мы шли в столовую. — Он такой… так хо-

рошо сохранился! Какие изумительные витражи — *прямо fin de siècle*[75]! Наверное, жить здесь — все равно, что в музее.

Она имела в виду, что дом *устарелый.* Я почувствовала себя униженной: мне всегда казалось, что витражи красивы. Но я понимала, что мнение Уинифред — это мнение внешнего мира, который в таких вещах разбирается и выносит приговор, — мира, куда я отчаянно мечтала попасть. Теперь я видела, что совсем для него не подхожу. Такая провинциальная, неотесанная.

— Эти витражи — замечательные образцы определенного периода, — сказал Ричард. — Панели тоже превосходны. — Несмотря на его педантичность и снисходительность, я была ему благодарна: мне не пришло в голову, что он составляет опись. Он различил нашу шаткость с первого взгляда, понял, что дом идет с молотка или вот-вот пойдет.

— *Музей* — потому что пыльный? — спросил Алекс Томас. Или *устаревший?*

Отец нахмурился. Уинифред, надо отдать ей должное, покраснела.

— Нельзя нападать на слабых, — заметила Кэл-

---

[75] Примечания: 75
Конец века (фр.).

ли с довольным видом.

— Почему? — спросил Алекс. — Все так делают. Рини подготовила основательное меню — насколько мы могли себе позволить. Но задача оказалась ей не по зубам. Раковый суп, окунь по-провансальски, цыпленок a la Провиданс — блюда сменяли друг друга в неотвратимом параде, точно прибой или рок. Суп отдавал жестью, пережаренный цыпленок — мукой, и к тому же затвердел и усох. Было что-то неприличное в этой картине — столько людей в одной комнате, энергично и решительно работающих челюстями. Не еда — жевание.

Уинифред Прайор двигала кусочки по тарелке, словно играла в домино. На меня накатила ярость: сама я намеревалась съесть все, даже косточки. Я не подведу Рини. Прежде, думала я, она допускала таких промашек — её нельзя было застать врасплох, разоблачить и тем самым разоблачить нас. В старое доброе время позвали бы специалистов.

Рядом со мной трудился Алекс Томас. Он усердно работал ножом, словно от этого зависела его жизнь: цыпленок так и скрипел. (Не то чтобы Рини благодарила его за преданность. Не сомневайтесь, она всегда знала, кто что съел. *Да,*

у этого Алекса-как-его-там аппетит отменный, — заметила она. — *Можно подумать, в подвале голодал.)*

Учитывая обстоятельства, беседа не клеилась. Но наконец после сыра — чедер слишком молодой, соус слишком старый, а блю — слишком с душком — наступил перерыв, и мы смогли отдохнуть и осмотреться.

Отец обратил единственный голубой глаз на Алекса Томаса.

— Итак, молодой человек, — проговорил он тоном, который, видимо, сам считал верхом дружелюбия, — что привело вас в наш замечательный город? — Будто отец семейства из скучной викторианской пьесы. Я опустила глаза.

— Я приехал к друзьям, сэр, — довольно вежливо ответил Алекс.

(Позже Рини высказалась насчет его вежливости. Сироты хорошо воспитаны, потому что в приютах им вбивают хорошие манеры. Только сирота может держаться так самоуверенно, но под самоуверенностью кроется мстительность — в глубине души они над всеми глумятся. Ну, ещё бы — с ними же вон как судьба обошлась. Анархисты и похитители детей обычно сироты.)

— Дочь мне сказала, вы готовитесь принять

сан, — продолжал отец. (Мы с Лорой ничего такого не говорили — должно быть, Рини, и она, конечно, — может, по злому умыслу — слегка ошиблась.)

— Я собирался, сэр, — сказал Алекс, — но пришлось это оставить. Добрались до развилки.

— А теперь? — спросил отец, привыкший получать конкретные ответы.

— Теперь живу своим умом, — ответил Алекс. И улыбнулся, точно сам себя осуждает.

— Должно быть, трудно вам, — пробормотал Ричард. Уинифред засмеялась.

Я удивилась: не думала, что он способен на такое остроумие.

— Он, наверное, хочет сказать, что работает репортером, — предположила Уинифред. — Среди нас шпион!

Алекс снова улыбнулся и промолчал. Отец нахмурился. В его представлении все журналисты — паразиты. Не только безбожно лгут, ещё и кормятся чужими несчастьям. *Трупные мухи,* вот как он их звал. Он делал исключение только для Элвуда Мюррея, поскольку знал его семью. Элвуда он звал всего лишь *болтуном.*

Потом беседа потекла в привычном русле — политика, экономика, обычные тогда темы.

Мнение отца: все хуже и хуже; мнение Ричарда: наступает переломный момент. Трудно сказать, вступила Уинифред, но она, безусловно, надеется, что удастся не выпустить Джинна из бутылки.

— Какого джинна? Из какой бутылки? — спросила Лора — прежде она молчала. Будто стул заговорил.

— Социальные беспорядки, — строго ответил отец, давая понять, что в дальнейшем Лоре лучше не встревать.

Вряд ли, сказал Алекс. Он только что из лагерей. — Из лагерей? — переспросил озадаченный отец. —

Каких лагерей?

— Для безработных, сэр, — ответил Алекс. — Трудовые лагеря Беннетта для безработных. Десять часов работы в день и объедки. Ребятам это не очень-то нравится; я бы сказал, они уже неспокойны.

— Нищие не выбирают, — сказал Ричард. — Все лучше, чем ничего. Еда трижды в день — это не всякий рабочий с семьей может себе позволить, и мне говорили, что кормят там неплохо. Ждешь благодарности, но такие типы не знают, что это такое.

— Они не типы, — произнес Алекс.

— Ба, у нас тут красный завелся, — проговорил Ричард. Алекс смотрел в тарелку.

— Если он красный, то и я тоже, — сказала Кэлли. — Хотя, по-моему, не надо быть красным, чтобы понимать…

— А что вы там делали? — спросил отец, перебив Кэлли. (Последнее время они много спорили. Кэлли хотела, чтобы отец признал профсоюзы. Отец говорил, Кэлли хочет, чтобы два плюс два равнялось пяти.)

Тут внесли *bombe glacée* [76]. У нас тогда уже был холодильник купили перед самым кризисом — и Рини, с опаской относившаяся к морозилке, в тот вечер отлично ею воспользовалась. *Bombe* был ярко-зеленый, твердый как камень, а по форме — как футбольный мяч, и на некоторое время он поглотил наше внимание.

Когда подавали кофе, в Палаточном лагере начался фейерверк. Мы вышли на причал посмотреть. Очень красиво — видишь и фейерверк, и его отражение в Жоге. В воздух фонтанами взмывали красные, желтые, синие ракеты, раскрываясь звездами, хризантемами, ивами света.

— Китайцы изобрели порох, — сказал Алекс, —

---

[76] Примечания: 76
Мороженое (фр.).

но никогда им не стреляли. Только фейерверки делали. Впрочем, я не большой поклонник фейерверков — слишком похоже на тяжелую артиллерию.

— Вы пацифист? — спросила я. Мне казалось, это вполне возможно. Скажи он «да», я принялась бы спорить — мне хотелось привлечь его внимание. Обращался он главным образом к Лоре.

— Нет, — ответил Алекс, — но моих родителей убили на войне. Во всяком случае, я так думаю.

Сейчас нам придется выслушать историю сироты, подумала я. После всех россказней Рини я надеялась, что будет интересно.

— Ты не знаешь точно? — удивилась Лора.

— Нет, — ответил Алекс. — Мне рассказали, что я сидел на обгоревших камнях в сожженном доме. Все остальные погибли. Я, видимо, прятался под тазом или котлом — под чем-то железным.

— Где это было? Кто тебя нашел? — прошептала Лора.

— Непонятно, — сказал Алекс. — Никто не знал. Не во Франции и не в Германии. Где-то восточнее, там маленькие страны такие. Меня передавали из рук в руки, а потом я попал в Красный Крест.

— Вы это помните? — спросила я.

— Почти нет. Кое-что потерялось — мое имя и

все остальное. В конце концов, я оказался у миссионеров, они считали, что в моем случае лучше все забыть. Пресвитерианцы, хорошие люди. Нам всем побрили головы — из-за вшей. Я помню, как волосы исчезли — голове стало холодно. Отсюда начинаются воспоминания.

Теперь он мне нравился больше, но со стыдом признаюсь, что я не очень поверила в его историю. Слишком мелодраматично, слишком много случайностей — хороших и плохих. Я была очень молода и не верила в совпадения. Но если он хотел произвести на Лору впечатление — хотел ли он? — он выбрал верный путь.

— Должно быть, ужасно не знать, кто ты на самом деле? — сказала я.

— Раньше я тоже так думал, — сказал Алекс. — Но потом понял, что *тому, кто я есть на самом деле,* не важно, кто я в обычном смысле. В конце концов, что такое род и все прочее? Оправдание снобизму или другим недостаткам. А у меня таких искушений нет, вот и все. Без всяких ниточек. Ничто не стесняет. — Он прибавил ещё что-то, но я не расслышала: как раз взлетела ракета. А Лора услышала и серьёзно кивнула.

(Что он сказал? Со временем я узнала. Он сказал: *Зато никогда не тоскуешь по дому.)*

Над нами взорвался пылающий одуванчик. Мы все подняли головы. В такие моменты трудно иначе. Трудно не стоять, открыв рот.

Тогда ли все началось — в тот вечер на причале в Авалоне, когда фейерверки затопили небо? Сложно сказать. Начала внезапны, но коварны. Таятся, прячутся в тени, крадутся неузнанными. А потом вдруг набрасываются.

Ручное раскрашивание

Дикие гуси летят на юг, скрипят, как несмазанные петли; вдоль берега тускло-красным горят свечки сумаха. Первая неделя октября. Время доставать шерсть из нафталина; время ночных туманов, росы, скользких ступенек и последних цветов; последнего броска львиного зева и оборчатой красно-лиловой капусты — прежде такую не разводили, а теперь она повсюду.

Время хризантем, похоронных цветов — белых. Как они, должно быть, надоели покойникам.

Утро было свежее и красивое. Я нарвала в саду букетик желтого и розового львиного зева и отнесла его на кладбище двум задумчивым ангелам на белом постаменте: хоть какое-то им разнообразие, подумала я. Потом совершила обычный

ритуал — обошла памятник, читая имена. Мне всегда кажется, что я произношу их про себя, но иногда слышу собственное бормотание — словно иезуит над требником.

Древние египтяне считали, что, произнося имена мертвых, мы возвращаем их к жизни. Не всегда этого хочешь.

Обойдя монумент, я увидела девушку — молодую женщину, — она стояла на коленях перед гробницей, точнее, перед тем местом, где покоится Лора. Девушка склонила голову. Вся в черном: черные джинсы, черная футболка и куртка, черный рюкзачок — такие теперь носят вместо сумок. Длинные темные волосы — как у Сабрины. У меня екнуло сердце: Сабрина вернулась из Индии или куда она уезжала. Без предупреждения. Передумала насчет меня. Хотела сделать сюрприз, а я все испортила.

Но, присмотревшись, я поняла, что не знаю эту девушку: какая-нибудь переутомленная выпускница. Сначала я подумала, что она молится. Но нет, она положила к могиле цветок — белую гвоздику, стебель в фольге. Девушка поднялась, и я увидела, что она плачет.

Лора волнует. Я — нет.

О пикнике написали в «Геральд энд Бэннер».

Ничего особенного кто самый красивый младенец, кто самая красивая собака. Что сказал отец — вкратце: Элвуд Мюррей истекал оптимизмом, и вышло так, будто жизнь продолжается. Были и фотографии: темный лохматый силуэт собаки-победителя; пухлый, как подушечка для булавок, младенец-победитель в чепчике; танцоры с огромным картонным трилистником в руках; отец на помосте. Не самая удачная его фотография: рот полуоткрыт, будто отец зевает.

На одной фотографии — Алекс Томас и мы: я слева, Лора справа, будто книгодержатели. Мы обе смотрим на него и улыбаемся; он тоже улыбается, но выставил руку, словно преступник при аресте, прячущийся от вспышек. Но ему удалось закрыть только поллица. Под фотографией подпись: «Мисс Чейз и мисс Лора Чейз развлекают приезжего гостя».

Элвуд Мюррей так и не выпытал у нас имя и фамилию Алекса; тогда он позвонил нам домой, и Рини ответила, что нечего путать наши имена неизвестно с кем, и тоже не сказала. Фотографию Элвуд Мюррей все же напечатал. Рини возмутилась — и нами, и его поступком. Она считала, что снимок почти нескромен, хотя мы и прикрыли ноги. Ей казалось, мы смотрим плотоядно, точ-

но влюбленные гусыни; раскрыли рты и несем околесицу. Жалкое зрелище: все в городе будут смеяться: как же, сохнем по молодому головорезу, индейцу, или, ещё хуже — еврею, закатавшему рукава, да к тому же коммунисту.

— Отшлепать бы этого Элвуда Мюррея, — сказала она. — Думает, он чертовски умный. — Она порвала газету и бросила в ящик для растопки, чтобы не увидел отец. Но, думаю, он уже видел на фабрике, хотя ничего не сказал.

Лора навестила Элвуда Мюррея. Она его не упрекала и не повторяла слов Рини. Просто заявила, что тоже хочет стать фотографом. Нет, она бы не стала так врать. Это он так понял. А она только сказала, что хочет научиться печатать фотографии с негативов. Чистая правда.

Элвуду Мюррею польстило внимание с высот Авалона — несмотря на задиристость, он был ужасный сноб, — и он разрешил Лоре помогать ему три раза в неделю в темной комнате. Она могла смотреть, как он проявляет и печатает фотографии, сделанные на стороне — на свадьбах, выпускных вечерах и так далее. С газетой все было налажено, в задней комнате её набирали двое рабочих, но все остальное Элвуд предпочитал делать сам, включая проявку.

А что, если он её научит ручному раскрашиванию, предложил Элвуд. Последняя новинка. Берутся старые черно-белые снимки и оживляются цветом. Вначале надо обесцветить кисточкой темные пятна, затем обработать снимок сепией — получался розовый фон. Потом раскрашивание. Краски хранились в тюбиках и бутылочках, их следовало наносить крошечными кисточками, а излишки сразу убирать. Важен вкус и подбор сочетаний, чтобы щеки не выглядели красными кругами, а кожа — некрашеной тканью. Нужно острое зрение и крепкая рука. Это искусство, говорил Элвуд, и он горд, что, с позволения сказать, им овладел. В окне конторы он поставил крутящийся стенд с раскрашенными фотографиями — вроде рекламы. А рядом — от руки написанная вывеска: «Оживите ваши воспоминания».

Чаще всего приносили фотографии юношей в забытой форме мировой войны, а ещё молодоженов. Потом выпускники, первопричастники, торжественные семейные портреты, младенцы в крестильных рубашечках, девушки в вечерних платьях, празднично одетые дети, кошки и собаки. Иногда попадалось какое-нибудь необычное домашнее животное — черепаха, попугай ара — и изредка — младенец в гробике с восковым

личиком, весь в кружевах.

Цвета всегда получались размытые, не такие, как на белой бумаге. Будто смотришь сквозь марлю. После раскрашивания люди теряли естественность, становясь, скорее, сверхъестественными — жителями странной полустраны — яркой, но смазанной; какой уж тут реализм.

Лора рассказала мне, чем занимается с Элвудом Мюрреем, и Рини тоже рассказала. Я ждала взрыва, криков; думала, Рини скажет, что Лора опускается, что это безвкусица, это унизительно. Что там происходит в темной комнате — юная девушка, мужчина, и свет выключен? Рини, однако, решила так: Элвуд не платит Лоре за работу, наоборот, её учит, а это совсем другое дело. Это ставило его на одну доску с прислугой. А что до темной комнаты, то никто дурного не думал: все знали, что Элвуд — голубок. Подозреваю, в глубине души Рини радовалась, что Лора заинтересовалась чем-то кроме Бога.

Лора и впрямь заинтересовалась, но, как всегда, пошла дальше, чем нужно. Она стащила у Элвуда краски и принесла домой. Обнаружилось это случайно: я лениво листала книги в библиотеке, и вдруг мой взгляд упал на все эти фотографии дедушки Бенджамина с премьер-министрами. У

сэра Джона Спэрроу лицо стало нежного, розовато-лилового оттенка, у сэра Маккензи Бауэлла — желто-зеленого, у сэра Чарлза Таппера — бледно-оранжевого. Борода и бакенбарды дедушки Бенджамина стали малиновыми.

Тем же вечером я застала Лору с поличным. На её туалетном столике были разложены тюбики и кисточки. И наш с ней парадный портрет в бархатных платьях. Лора вытащила фотографию из рамки и размалевывала меня голубым.

— Лора, — сказала я, — ради Бога, ты что тут творишь? Ты зачем снимки раскрасила? Те, в библиотеке. Отец разозлится.

— Я набивала руку, — ответила Лора. — Что ни говори, а их стоило немного оживить. По-моему, они выглядят получше.

— Они выглядят ненормально, — заметила я. — Или как больные. Зеленых лиц не бывает! И лиловых тоже.

Лора сохраняла невозмутимость.

— У них души такого цвета, — сказала она. — Так они *должны* выглядеть.

— У тебя будут неприятности. Узнают же, кто это сделал.

— Никто на них никогда *не смотрит.* Всем *наплевать.*

— Но бабушку Аделию лучше не трогай, — предупредила я. — И покойных дядюшек. Отец тебя убьет.

— Я хотела их раскрасить золотом, чтобы они были покрыты славой, — сказала Лора. — Но золотой краски нет. Только дядюшек. А бабушку стальным.

— Не смей! Отец в славу не верит. И отнеси лучше краски назад, пока тебя в воровстве не обвинили.

— Я их истратила не так уж много, — оправдывалась Лора. — Кроме того, я принесла Элвуду банку варенья. Это честная сделка.

— Думаю, варенье Рини. Из погреба. А тебе разрешили? Она все банки считает. — Я взяла в руки нашу фотографию. — А я почему голубая?

— Потому что спишь, — сказала она.

Но Лора стянула не только краски. Одна из её задач была — раскладывать в редакции негативы по конвертам. Элвуд любил порядок; и в темной комнате тоже. Негативы хранились в пергаминовых конвертах в хронологическом порядке — Лоре не составило труда найти негатив фотографии с пикника. Однажды, когда Элвуд ушел и Лора осталась в редакции одна, она отпечатала с этого негатива два черно-белых снимка. Нико-

му не сказала; даже мне — до поры до времени. Напечатав фотографии, она положила негатив в сумочку и ушла домой. Она не считала, что это воровство.

Элвуд обманом получил фотографию: ему не разрешили снимать. Она всего лишь забрала то, что ему и не принадлежало.

Получив, что хотела, она перестала ходить в редакцию. Не объяснив, не предупредив. Мне казалось, это бестактно; это и было бестактно, потому что Элвуд был уязвлен. Он справлялся у Рини, не заболела ли Лора, но Рини сказала, что Лора, должно быть, передумала заниматься фотографией. У этой девочки много планов, у неё всегда причуды, и теперь, наверное, какая-то новая.

Её слова возбудили в Элвуде любопытство. Он стал следить за Лорой — плюс к обычной своей пронырливости. Не могу сказать, что он шпионил — за кустами не прятался. Просто больше обращал на Лору внимание. (Однако исчезновения негатива пока не заметил. Элвуду в голову не пришло, что у Лоры мог быть скрытый мотив его добиваться. Такой честный взгляд, такие распахнутые глаза, такой чистый лоб — её невозможно заподозрить в двуличии).

Поначалу Элвуд не заметил ничего необычного. Каждое воскресное утро Лора шла по главной улице в церковь, где учила пятилетних в воскресной школе. Три дня в неделю по утрам помогала в бесплатной столовой для безработных у вокзала. В столовой кормили щами голодных и грязных мужчин и мальчиков с поездов — затея стоящая, но не все в городе её одобряли. Одни считали этих людей тайными заговорщиками или, хуже того, коммунистами; другие полагали, что вообще не должно быть бесплатных столовых, потому что сами в поте лица зарабатывали себе на хлеб. Слышались выкрики: «Идите работать!» (Оскорбления неслись с обеих сторон, но безработные с поездов выражались сдержаннее. Они, конечно, презирали Лору и остальных церковных благодетелей. И находили способы это показать. Где шутка, где усмешка, а где пинок или злобный взгляд. Нет ничего тягостнее вынужденной благодарности.)

Местная полиция околачивалась неподалеку: вдруг кому из безработных придет в голову осесть в Порт-Тикондероге. Пусть тащатся дальше — куда угодно. Но впрыгивать в товарняки прямо на станции не разрешалось — железнодорожная компания такого не потерпит. Случались драки и

кулачные бои, и — как писал Элвуд Мюррей — в ход шли полицейские дубинки.

И всем этим людям приходилось ковылять по шпалам и потом вскакивать в поезд на ходу, что было непросто: поезда уже набирали скорость. Бывали несчастные случаи, а однажды смерть: юноша лет шестнадцати, не больше, попал под колеса, и его фактически разрезало пополам. (После этого Лора заперлась в комнате на три дня и ничего не ела — она сама наливала юноше суп.) Элвуд Мюррей написал передовицу: случай прискорбный, но ни железнодорожная компания, ни, тем более, городские власти не виноваты — чего ждать, если идешь на необдуманный риск?

Лора выпрашивала у Рини косточки для церковной похлебки. Рини отвечала, что кости не валяются на дороге и не растут на деревьях. Кости ей самой нужны — для Авалона, для нас. Говорила, что у нас каждый грош на счету, и разве Лора не видит, как тяжело отцу? Но сопротивляться долго Рини не могла, и Лора получала косточку, или две, или три. Она не хотела к ним прикасаться и даже их видеть — она была довольно брезглива — и Рини заворачивала сама.

— Вот, бери. Эти бездельники нас разорят подчистую, — вздыхала она. — Я ещё луковицу

положила. — Рини считала, что работать в столовой — слишком тяжело для молодой девушки.

— Они не бездельники, — говорила Лора. — Все только и стараются от них отделаться. А они хотят просто работу. Это все, чего им надо.

— Я думаю, — отзывалась Рини скептически и раздраженно. А мне потом говорила: — Она вылитая мать.

Я с Лорой в столовую не ходила. Она не звала, да и все равно времени у меня не было: отец вбил себе в голову, что я должна вдоль и поперек изучить пуговичный бизнес — это мой долг. *Faute de mieux*[77], в компании «Чейз и Сыновья» мне предстояло быть сыном. Если придется всем тут заправлять, пора окунуться.

Я понимала, что у меня нет деловых способностей, но слишком боялась возражать. Каждое утро я сопровождала отца на фабрику, чтобы увидеть (его слова) настоящую жизнь. Будь я мальчиком, он поставил бы меня на конвейер — как в армии, где офицер должен уметь выполнить любую работу, которую поручает солдатам. А так меня приставили к инвентаризации и бухгалтерии: поступление сырья, выход продукции.

---

[77] Примечания: 77
Здесь — за неимением лучшего (фр.).

Работала я плохо — более или менее преднамеренно. Мне было скучно и страшно. Каждый день я, как собачонка, в своей монастырской юбке и блузке шла за отцом по пятам мимо рабочих.

Женщины меня презирали, мужчины на меня глазели. Я знала, что они отпускают шуточки за моей спиной: насчет осанки (женщины) и фигуры (мужчины) — и что они таким образом нас уравнивают. Я их не винила — на их месте я вела бы себя так же, — но все равно была оскорблена.

Фу ты, ну ты! Воображает себя царицей Савской.

Трахнуть бы её хорошенько — спеси бы поубавилось.

Отец ничего не замечал. Или предпочитал не замечать.

Как-то днём Элвуд Мюррей заявился к Рини, к черному ходу — раздувшийся и чванный, как всякий гонец с худыми вестями. Я помогала Рини закручивать банки: был конец сентября, и мы консервировали последние помидоры из огорода. Рини всегда была экономна, но теперь расточительствовать стало грешно. Она понимала, как усох ручеек — ручеек лишних долларов, что связывал её с её работой.

Мы кое-что должны узнать, сказал Элвуд

Мюррей, для нашей собственной пользы. Рини глянула на него, на эту его кичливую позу, оценила серьёзность новостей и сочла их достаточно серьезными, чтобы пригласить Элвуда в дом. Даже предложила ему чаю. Потом попросила подождать, пока она извлечет из кипятка последние банки и закрутит крышки. И только потом села.

Новости были вот какие. Мисс Лору Чейз не раз видели в городе, сказал Элвуд, в обществе молодого человека, того самого, с кем она сфотографировалась на пикнике. Первый раз их видели неподалеку от столовой, затем — на скамейке в парке — и не на одной; они сидели и курили. Во всяком случае, молодой человек курил, насчет Лоры не поручусь, сказал Элвуд, поджав губы. Их видели у Военного мемориала возле ратуши и на Юбилейном мосту — они стояли и смотрели на пороги, — обычное место для влюбленных парочек. Говорят, их даже встречали у Палаточного лагеря, а это верный знак сомнительного поведения молодежи или прелюдия к нему, но Элвуд поклясться не может: он лично их там не видел.

В общем, он подумал, что нам следует знать. Молодой человек уже взрослый, а мисс Лоре ведь всего четырнадцать? Какой стыд, что он так ею пользуется! Элвуд откинулся на стуле, горестно

качая головой, самодовольный, как индюк, глаза блестели злорадством.

Рини была в ярости. Она терпеть не могла, когда её опережали со сплетнями.

— Мы, безусловно, вам благодарны, — с ледяной вежливостью сказала она. — Дело вовремя — не бремя. — Так она защищала Лорину честь: ничего не случилось такого, что нельзя предвосхитить.

— Ну что я тебе говорила, — сказала Рини, когда Элвуд Мюррей ушел. — Стыда у него нет. — Она имела в виду не Элвуда, конечно, а Алекса Томаса.

Когда Лору приперли к стенке, она ничего не отрицала, кроме посещения Палаточного лагеря. Скамейки в парке и так далее — ну да, она сидела на скамейках, хоть и недолго. И не понимает, из-за чего Рини подняла такой шум. Алекс Томас не бабник (как выражалась Рини), не дармоед (ещё одно её выражение). Лора уверяла, что не курила ни разу в жизни. Что до «воркований» (опять Рини!), то она считает, что это отвратительно. Чем она вызвала столь низкие подозрения? Она совершенно не понимает.

Быть Лорой, подумала я, означает быть немузыкальной: музыка играет, вы что-то слышите, но не то, что остальные.

По словам Лоры, когда она встречалась с Алексом Томасом (всего трижды), они серьёзно спорили. О чем? О Боге. Алекс Томас потерял веру, и Лора старалась помочь ему её обрести. Это тяжело, потому что он циник или, скорее, *скептик,* вот что она имеет в виду. Алекс считает, наш век — век этого, не иного мира, — человека, человечества, и ему это нравится. Еще заявляет, что у него нет души, и ему плевать, что с ним случится после смерти. Но она намерена продолжить спор, как бы тяжел он ни был.

Я кашлянула в кулак. Смеяться я не посмела. Я помнила это Лорино выражение лица перед мистером Эрскином, и думала, что сейчас она делает то же самое — валяет дурака. Рини — руки в боки, ноги расставлены, рот открыт — напоминала загнанную курицу.

— Почему он до сих пор в городе, хотела бы я знать? — сбившись с толку, она сменила тему. — Он же вроде в гости приезжал.

— У него здесь дела, — спокойно ответила Лора. — А вообще он может быть, где хочет. У нас нет рабства. Кроме экономического, конечно. — Я поняла, что в беседах с Алексом говорит не одна Лора — он тоже вносит лепту. Если так пойдет и дальше, скоро у нас в доме появится больше-

вичок.

— А ему не слишком много лет? — спросила я.

Лора глянула свирепо — *слишком много для чего?* — советуя не вмешиваться.

— У души нет возраста, — ответила она.

— Люди всякое болтают, — прибегла Рини к последнему аргументу.

— Это их дело, — сказала Лора с высокомерным гневом. Другие люди — это её крест.

Мы с Рини растерялись. Что делать? Можно рассказать отцу, и тот запретит Лоре встречаться с Алексом Томасом. Но она не подчинится, раз на кон поставлена душа. Да, привлечь отца — только все усложнить. Да и вообще, что произошло? И не скажешь толком. (Мы с Рини тогда были наперсницы и постоянно советовались.)

Дни шли, и постепенно я поняла, что Лора меня дурачит, хотя не знала, каким образом. Вряд ли она врала, но всей правды тоже не говорила. Както я видела их с Алексом Томасом: поглощенные беседой, они прогуливались у Военного Мемориала; в другой раз стояли на Юбилейном мосту; потом бездельничали за летними столиками кафе «У Бетти». Они не замечали, что на них смотрят, — в том числе и я. То был форменный вызов.

— Тебе надо с ней серьёзно поговорить, — ска-

зала Рини. Но я не могла серьёзно говорить с Лорой. Я вообще не могла с ней говорить; то есть говорить могла, но слышит ли она меня? Все равно что с белой промокашкой разговаривать: слова тонули в её лице, будто в снежной лавине.

Когда я не была на фабрике (а мое ежедневное присутствие казалось все бессмысленнее, даже отцу), я сама стала много бродить. Я шагала вдоль реки, делая вид, что иду куда-то, или стояла на Юбилейном мосту, притворяясь, будто кого-то жду, смотрела в темную воду, вспоминая истории об утопленницах. Они покончили с собой из-за любви — вот что она с ними сделала. Любовь налетает внезапно и охватывает тебя, ты и осознать не успеваешь, а потом уже ничего не поделать. Только влюбишься — и уничтожена, как бы дело не обернулось. Во всяком случае, так пишут в книгах.

Иногда я гуляла по главной улице, вдумчиво разглядывая витрины, — носки, туфли, шляпы и перчатки, отвертки и гаечные ключи. Рассматривала афиши с фотографиями кинозвезд у кинотеатра «Бижу», сравнивала кинозвезд с собой, представляла, как я буду выглядеть, если начешу волосы на один глаз и надену красивую одежду. В кино мне ходить не разрешалось. Толь-

ко после замужества я первый раз пошла в кино: Рини считала, что «Бижу» вульгарен, во всяком случае, для одиноких девушек. Там шныряют мужчины, извращенцы. Сядут рядом, их руки к тебе прилипнут, как бумага от мух, оглянуться не успеешь, а они уже на тебя лезут.

В рассказах Рини девушки или женщины всегда инертны, и на них куча рук, как на шведской стенке. Магическим образом они лишены способности закричать или отодвинуться. Парализованы, прикованы к месту — от шока, оскорбления или стыда. И спасения нет.

Холодный погреб

Похолодало; облака высоко несутся в небе. Кое у кого на крыльце — груды сухой кукурузы; на верандах скалятся тыквенные фонари. Через неделю на улицы высыпят одержимые сластями дети в костюмах балерин, зомби, пришельцев, скелетов, цыганских гадалок и умерших рок-звезд, и тогда я, как обычно, выключу свет и притворюсь, что меня нет дома. Не из нелюбви к детям, а из самозащиты: если какой-нибудь малявка потеряется, не хочу обвинений, будто я его заманила к себе и съела.

Я рассказала Майре — она сейчас бойко торгует

приземистыми рыжими свечками, черными керамическими кошками, сатиновыми летучими мышами и набитыми тряпьем ведьмами с сушеными яблочными головами. Она рассмеялась. Подумала, я шучу.

Вчера был ленивый день — болело сердце, и я почти не вставала с дивана. Но сегодня утром, приняв лекарство, я ощутила странную бодрость. Довольно быстро дошла аж до кондитерской. Там осмотрела стенку в туалете; последние надписи такие: *«Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше не говори»* и *«Если не можешь сосать ничего хорошего, лучше не соси».* Приятно сознавать, что в этой стране по-прежнему цветет свобода слова.

Потом я взяла кофе и булочку с шоколадной глазурью и вынесла все это наружу, на скамейку, которую изловчились поставить рядом с мусорным баком. Там я сидела, греясь на ещё теплом солнышке, как черепаха. Мимо шли люди — две перекормленные женщины с детской коляской; ещё одна — моложе и стройней, на черном кожаном пальто — серебряные заклепки, будто шляпки гвоздей, и одна такая же в носу; трое старикашек в ветровках. Мне показалось, они на меня смотрят. Известность или паранойя? А

может, я просто говорила вслух? Трудно сказать. Может, голос вырывается из меня, как дыхание, когда я не замечаю? Прерывистый шепот, шелест виноградных лоз зимой, свист осеннего ветра в сухой траве.

Все равно, что подумают люди, говорю я себе. Если хотят — пусть слушают.

Все равно, все равно. Вечный ответ молодых. Мне, конечно, не все равно. Меня волновало, что подумают люди. Всегда волновало. В отличие от Лоры, мне не хватало храбрости стоять на своем.

Подошла собака. Я отдала ей половину булочки. «Сделай милость», — сказала я. Так говорила Рини, когда заставала нас за подслушиванием.

Весь октябрь — октябрь 1934-го — шли разговоры о том, что происходит на пуговичной фабрике. Поговаривали, вокруг неё снуют заезжие агитаторы; они разжигают страсти, особенно среди молодых и горячих. Говорили о коллективном договоре, о правах рабочих, о профсоюзах. Все профсоюзы под запретом, или только те, что в закрытых цехах? Толком никто не знал. Но все равно от них попахивало серой.

Все подстрекатели — головорезы и наемные бандиты (считала миссис Хиллкоут). Не просто заезжие агитаторы, вдобавок иностранцы

— почему-то от этого ещё страшнее. Плюгавые темноволосые мужчины, они кровью расписываются в верности делу до гробовой доски, затевают бунты и не останавливаются ни перед чем — бросают бомбы, могут тайком в дом проникнуть и перерезать нам во сне глотки (считала Рини). Вот такие у них методы, у безжалостных большевиков и профсоюзных деятелей, все они одинаковы (считал Элвуд Мюррей). Они за свободную любовь и разрушение семьи, за то, чтоб поставить к стенке и расстрелять всех, у кого есть деньги — хоть какие, — или часы, или обручальное кольцо. В России они так и сделали. Такие шли слухи.

А ещё говорили, что на отцовских фабриках неприятности.

Оба слуха — о заезжих агитаторах и о неприятностях — публично опровергались. Обоим верили.

В сентябре отец уволил кое-кого из рабочих — самых молодых, лучше прочих способных прокормиться, как он себе представлял, а остальным предложил работать неполный день. Он объяснил, что сейчас фабрики не могут работать в полную силу: пуговиц покупают мало, а точнее, не покупают те пуговицы, что выпускает «Чейз и Сыновья», у которого прибыль зависит от объ-

емов продаж. Не покупали и дешевое прочное нижнее белье — чинили старое, обходились тем, что есть. Конечно, не все в стране были безработными, но те, кто имел работу, чувствовали себя неуверенно, боялись её потерять, и предпочитали копить, а не тратить. Кто их осудит? Любой на их месте поступит так же.

На сцену вышла арифметика — со множеством ног, позвоночников и голов, с безжалостными нулевыми глазами. Два плюс два равняется четырем — вот что она говорила. А если нет двух и двух? Тогда ничего не сложится. И не складывалось, я никак не могла заставить. Не получалось в бухгалтерских книгах перекрасить красные цифры в черные. Я ужасно переживала, словно сама тому виной. По ночам, закрывая глаза, я видела цифры, они строились в шеренги на квадратном дубовом столе — шеренги красных цифр, точно механические гусеницы, пожирали остатки наших денег. Когда приходится продавать вещь дешевле, чем стоит её производство, — а именно это происходило в последнее время на фабриках «Чейз и Сыновья», — цифры так себя и ведут. Вели они себя отвратительно — ни любви, ни справедливости, ни милосердия. А что вы хотите? Они же просто цифры. У них нет выбора.

В начале декабря отец объявил о закрытии предприятий. Это временно, сказал он. Он надеялся, что это временно. Говорил об отступлении, об окопах и перегруппировке. Просил понимания и терпения. Собравшиеся рабочие выслушали его в настороженном молчании. Сделав это объявление, отец вернулся в Авалон, заперся в башне и напился в стельку. Слышался звон — билось стекло. Бутылки, несомненно. Мы с Лорой сидели на кровати в моей комнате, крепко держась за руки, и прислушивались к ярости и горю, что домашним ураганом бушевали у нас над головой. Отец давно уже не устраивал ничего подобного.

Он, должно быть, чувствовал, что подвел своих рабочих. Что он неудачник. Что бы он ни делал, все бесполезно.

— Я помолюсь за него, — решила Лора.

— Думаешь, Богу есть дело? — сказала я. — Да ему плевать. Если он есть.

— Этого не знаешь, пока, — отозвалась Лора.

Пока что? Я поняла Лору: мы и раньше говорили на эту тему. *Пока не умрешь.*

Через несколько дней после отцовского объявления показал зубы профсоюз. В нём и раньше были активные члены, и теперь они предложили вступать всем. Митинг устроили рядом с закры-

той пуговичной фабрикой, призвали рабочих объединяться, потому что (как уверяли), когда отец снова откроет фабрику, он станет драть с рабочих последнюю шкуру, а платить гроши. Он ничем не отличается от остальных: в тяжелые времена кладет деньги в банк и сидит, палец о палец не ударяя, пока люди не сломаются и не дойдут до ручки, а уж тогда он не упустит своего и вновь нагреет руки на несчастьях рабочих. Он со своим огромным домом и его расфуфыренные дочки — ничтожные паразиты, живущие трудом народа.

Видно, что эти так называемые организаторы — не здешние, заметила Рини, пересказывавшая последние сплетни за кухонным столом. (Мы больше не ели в столовой, потому что отец там больше не ел. Он забаррикадировался в башне, и Рини носила ему подносы с едой.) Эти хулиганы понятия не имеют о приличиях, раз приплели и вас двоих, когда каждый в городе знает, что вы тут ни при чем. Она посоветовала не обращать внимания. Легко сказать.

Некоторые рабочие сохраняли верность отцу. Рассказывали, что на собрании разгорелись споры, они становились все жарче, и дело кончилось потасовкой. Страсти накалились. Кого-то

ударили ногой по голове и пришлось его везти в больницу с сотрясением мозга. Он был одним из забастовщиков — теперь они называли себя *забастовщиками;* но в несчастном случае обвинили их самих: заварили кашу, а теперь кто знает, чем дело кончится.

Лучше не начинать. Лучше прикусить язык. Гораздо лучше.

К отцу приехала Кэлли Фицсиммонс. Сказала, что беспокоится. Её беспокоит, что он опускается. Она имела в виду, *морально.* Как мог он так высокомерно и мелко притом обойтись с рабочими? Отец посоветовал ей смотреть в лицо реальности. Назвал её утешительницей Иова[78] и прибавил: «Кто тебя подбил? Красные друзья?» Она ответила, что приехала сама, из любви, потому что, хоть он и капиталист, но всегда был приличным человеком, но теперь переродился в бессердечного плутократа. Нельзя быть плутократом, если разорен, возразил отец. Кэлли сказала, что он может пожертвовать своим добром, какое есть. Отец сказал, что добра у него не больше, чем у неё, хотя она, конечно, очень добрая, раз даром отдается любому, кто попросит. Кэлли сказала,

[78] Примечания: 78

У библейского Иова было три утешителя, которые, прослышав о постигших его несчастьях, пришли его утешить.

что он тоже в свое время не возражал против подаяний. Отец сказал, да, но какие скрытые расходы: вначале вся еда, что была в доме, для её друзей-художников, потом — его кровь, и теперь — душа. Она назвала его буржуазным реакционером. Он её — трупной мухой. Они уже друг на друга орали. Затем хлопнула дверь, автомобиль забуксовал на гравии, и на этом все кончилось.

Радовалась или огорчилась Рини? Огорчилась. Она не любила Кэлли, но привыкла к ней и считала, что отцу порой полезно с ней встречаться. Еще неизвестно, кто её заменит. Какая-нибудь вертихвостка. Уж лучше знакомый дьявол.

На следующей неделе раздался призыв к всеобщей забастовке в знак солидарности с рабочими компании «Чейз и Сыновья». Все магазины и предприятия закрыть — таков указ. Коммунальные службы тоже закрыть. Телефон, почту. Ни молока, ни хлеба, ни мороженого. (Кто выпускал эти указы? Никто не думал, что его автор — тот, кто их объявлял. Он жил в нашем городе, называл себя местным уроженцем, его таковым и считали — то ли Мортон, то ли Морган, что-то вроде того, — но после указа стало ясно, что он вовсе не местный. Разве может местный такое сотворить? А кстати, кто его дед?)

Итак, за указом стоял не он. Это не он придумал, сказала Рини, потому что он вообще думать не умеет. Тут поработали темные силы.

Лора волновалась за Алекса Томаса. Он в этом замешан, говорила она. Она уверена. Учитывая его взгляды, это неизбежно.

В первой половине дня в Авалон на автомобиле приехал Ричард Гриффен в сопровождении ещё двух машин — больших, сверкающих, с низкой посадкой. Всего пять человек (притом четверо — довольно здоровые) в темных пальто и серых фетровых шляпах. Один из них, Ричард Гриффен и отец вошли в отцовский кабинет. Двое остались у дверей — у парадного и черного хода, а ещё двое укатили в дорогом автомобиле. Мы с Лорой наблюдали за всеми перемещениями из окна её спальни. Нам велели не путаться под ногами — значит, убраться подальше и не подслушивать. Мы спросили Рини, что происходит, и она встревоженно ответила, что знает не больше нашего, но держит ухо востро.

Ричард Гриффен не остался на обед и уехал. Две машины отчалили, а третья и трое здоровяков остались. Они скромно расположились над гаражом, где раньше жил шофер.

Они детективы, сказала Рини. Наверняка. Они

и в пальто все время поэтому: оружие под мышками прячут. Оружие у них — револьверы. Рини об этом читала в своих журналах. Она сказала: они остались нас защищать, и если мы услышим ночью что-нибудь необычное в саду, кроме этих троих, разумеется, надо кричать.

На следующий день в центре начались беспорядки. Многих участников прежде в городе не видали, а если и видали, то не запомнили. Кто помнит бродяг? Но некоторые были не бродягами, а переодетыми иностранными агитаторами. Они шпионили, все время. Как это они так быстро сюда добрались? Ходили слухи, на крышах поездов. Так эти люди предпочитают путешествовать.

Беспорядки начались с митинга перед ратушей. Сначала речи про «тупиц» и «кровопийц»; затем под веселое улюлюканье сожгли картонную фигуру отца в цилиндре и с сигарой — ни цилиндра, ни сигар он не признавал. Облили керосином и бросили в огонь двух тряпичных кукол в розовых платьях. Это вроде как мы — Лора и я, сказала Рини. Шутили: вот, мол, какие горячие девочки. (Не забыли и прогулки Лоры с Алексом по городу.) Рини объяснила, что ей рассказал Рон Хинкс, — решил, что ей стоит знать. Он предупредил, чтобы мы не ходили в центр: страсти

кипят, всякое может случиться. Лучше нам не покидать Авалон, там мы в безопасности, сказал он. Эти куклы — просто позорище, говорил он; знай он, чьих рук дело, непременно поколотил бы этого типа.

В магазинах и конторах на главной улице, которые отказались прекратить работу, разбили витрины. Потом в тех, что закрылись, тоже разбили витрины. После началось мародерство, и ситуация вышла из-под контроля. Вломились в редакцию газеты и устроили там погром; Элвуда Мюррея избили, а печатные станки в типографии поломали. Темную комнату не тронули, но фотоаппарат попортили. Элвуду страшно не повезло — мы потом не единожды выслушивали рассказ о его злоключениях.

В ту же ночь загорелась пуговичная фабрика. Пламя вырывалось из окон нижнего этажа; я из комнаты не видела, но мимо прогромыхала на помощь пожарная машина. Конечно, я ужаснулась, испугалась, но, должна признаться, было во всем этом нечто захватывающее. Прислушиваясь к звону и отдаленным крикам, я услышала, как кто-то поднимается по черной лестнице. Я подумала, это Рини, но ошиблась. Лора; в пальто.

— Ты где была? — спросила я. — Нам велели не

выходить из дома. У папы и без твоих прогулок забот хватает.

— Только в оранжерее, — ответила она. — Я молилась. Хотелось в тишине побыть.

Пожар удалось потушить, но здание сильно пострадало. Это первое известие. Затем пришла запыхавшаяся миссис Хиллкоут с чистым бельем; охранники её пропустили. Поджог, сообщила она, нашли канистры с бензином. Ночного сторожа обнаружили на полу мертвым. Его ударили чем-то тяжелым по голове.

Видели двух убегавших мужчин. Их узнали? Полной уверенности нет, но ходят слухи, что один — Лорин молодой человек. Он не её молодой человек, возразила Рини: у Лоры нет молодого человека, просто знакомый. Ну, кто бы он ни был, сказала миссис Хиллкоут, похоже, он поджег фабрику и шарахнул беднягу Эла Дэвидсона по голове, а тот сразу окочурился, и лучше всего этому молодчику поскорей улизнуть из города.

За обедом Лора сказала, что не голодна. Сейчас ей не хочется, лучше она возьмет поднос с собой на потом. Я наблюдала, как она тащит полный поднос к себе в комнату. Всего по две порции — кролика, сока, отварного картофеля. Обычно Лорина трапеза — просто суета, чтобы

было чем занять руки, пока другие беседуют; или же обязанность по дому, вроде чистки серебра. Утомительная рутина. Откуда, интересно, у неё вдруг такой кулинарный энтузиазм.

На следующий день для восстановления порядка в город прибыл Королевский Канадский полк. Тот самый, в котором отец служил во время войны. Отцу тяжело было видеть, как эти солдаты выступают против своих — его людей, людей, которых он считал своими. Не надо быть гением, чтобы понять: рабочие не согласны с такой оценкой, но от этого отцу было не легче. Значит они любили его только за деньги? Похоже на то.

Когда Королевский Канадский полк взял ситуацию под контроль, заявилась конная полиция. Трое возникли у парадного входа. Они вежливо постучали, потом вошли в вестибюль; поскрипывали сверкающими ботинками по натертому паркету, в руках держали жесткие коричневые шляпы. Они хотели поговорить с Лорой.

— Пойдем со мной, пожалуйста, Айрис, — прошептала Лора, когда её позвали. — Я не могу одна. — Совсем девочка, ужасно бледная.

Мы обе устроились на диванчике в маленькой столовой, рядом со старым граммофоном. Полицейские сидели на стульях. По-моему, они не

походили на конных полицейских — слишком старые, и в талии полноваты. Один помоложе, но явно не главный. Заговорил средний. Сказал, что они просят извинить за вторжение в столь тяжелый для нас момент, но дело неотложное. Они хотели бы поговорить о мистере Алексе Томасе. Лора знает, что этот человек — известный радикал и подрывной элемент, что он посещал трудовые лагеря, вел там агитацию и подстрекал к бунту?

Лора ответила, что, насколько ей известно, он просто учил людей читать.

Можно и так на это взглянуть, сказал полицейский. Но если он невиновен, значит, ему нечего скрывать и нужно просто объявиться, разве нет? Где он сейчас может прятаться?

Не могу сказать, ответила Лора.

Вопрос задали несколько иначе. Этого человека подозревают в преступлении: разве не хочет Лора помочь найти того, кто поджег фабрику отца и стал причиной смерти одного из служащих? Ну то есть, если верить свидетелям.

Я заметила, что им вряд ли можно верить: убегавших видели только со спины и к тому же в темноте.

— Мисс Лора? — спросил полицейский, не об-

ращая на меня внимания.

Лора ответила, что, даже будь ей что сказать, она бы не сказала. Ты невиновен, пока вина не доказана. Кроме того, бросать человека на съедение львам противоречит её христианским принципам. Она сказала, ей очень жаль убитого сторожа, но Алекс Томас не виновен: он просто не способен на такое. Больше ей сказать нечего.

Она сжимала мое запястье; я чувствовала её дрожь, точно рельсы вибрируют.

Главный полицейский сказал что-то о препятствиях, чинимых правосудию.

Тут вмешалась я: Лоре только пятнадцать лет, и нельзя с неё спрашивать, как со взрослого. То, что она рассказала здесь, сугубо конфиденциально, а если сказанное просочится за стены этой комнаты — к примеру, в газеты, — отец будет знать, кого благодарить.

Полицейские заулыбались, поднялись и направились к выходу; вежливые и обнадеживающие. Видимо, поняли ошибочность этой версии расследования. Пусть отец на грани разорения, но друзья у него ещё оставались.

— Ладно, — сказала я, когда полицейские ушли. — Я знаю, ты спрятала его в доме. Лучше скажи где.

— Я отвела его в холодный погреб, — ответила Лора. Её нижняя губа задрожала.

— В холодный погреб? Что за идиотизм! Почему туда?

— В случае чего, у него будет много еды, — сказала она и разрыдалась. Я обняла её, и она засопела мне в плечо.

— Много еды? — удивилась я. — Много варенья, джемов и огурцов? Да, Лора, ты вне конкуренции. — И мы обе начали хохотать, а когда успокоились, и Лора вытерла глаза, я сказала: — Надо его оттуда вывести. А вдруг Рини спустится в погреб за каким-нибудь вареньем и на него наткнется? Её ведь кондрашка хватит.

Мы снова расхохотались. Мы были на грани истерики. Потом я сказала, что лучше чердак: туда никто не ходит. Я все устрою, сказала я. Лоре лучше лечь в постель: напряжение сказывалось, и она выглядела измученной. Она тихо вздохнула, точно усталый ребенок, и последовала моему совету. Лора изнемогала под тяжким грузом знания, он давил, как неподъемный рюкзак, а теперь, передав его мне, она могла заснуть.

И я верила, что хочу лишь освободить её, помочь, позаботиться о ней, как делала всегда?

Да. Верила.

Я дождалась, когда Рини, прибрав на кухне, отправится спать. Потом я спустилась по лестнице в погреб; в холод, сумрак и паучью сырость. Я миновала угольный отсек и запертый винный. Дверь холодного погреба была закрыта на щеколду. Я постучала, отодвинула щеколду и вошла внутрь. Услышала, как кто-то удирает. В погребе, естественно, было темно — свет только из коридора. На бочке с яблоками лежали кости кролика — остатки Лориного обеда. Точно примитивный алтарь.

Вначале я не увидела Алекса: он прятался за бочкой с яблоками. Потом понемногу различила колено, ступню.

— Все в порядке, — прошептала я. — Это всего лишь я.

— А-а… — отозвался он, не понижая голоса. — Преданная сестра.

— Тсс, — предупредила я. С лампочки свисала цепочка. Я дернула, зажегся свет. Алекс Томас выпрямлялся, выбираясь из укрытия. Он сгорбился, моргал, и выглядел глупо, будто его застали с незастегнутыми штанами.

— Как вам не стыдно! — сказала я.

— Полагаю, вы пришли сюда вышвырнуть меня или сдать властям, — улыбнулся он.

— Не говорите глупостей, — сказала я. — Я вовсе не хочу, чтобы вас здесь нашли. Отец не перенесет скандала.

— «Дочь капиталиста помогает большевистскому убийце»? — сказал он. — «Любовное гнездышко среди банок с вареньем»? Такого скандала?

Я нахмурилась. Нам не до шуток.

— Расслабьтесь. У нас с Лорой ничего нет, — сказал он. — Лора — замечательный ребенок, но она святая-практикантка, а я не растлитель детей. — Теперь он выпрямился и отряхивался.

— Тогда почему она вас прячет? — спросила я.

— Вопрос принципа. Если я прошу помощи, она не может отказать. Я попал в нужную категорию.

— Какую ещё категорию?

— Братьев меньших[79], наверное, — сказал Алекс. — Цитируя Иисуса. — Мне это показалось циничным. Алекс сказал, что встретился с Лорой случайно — они столкнулись в оранжерее. Что он там делал? Прятался, разумеется. И надеялся изыскать способ поговорить со мной.

— Со мной? — удивилась я. — А со мной-то почему?

---

[79] Примечания: 79

«И ответит им Царь: „истинно говорю вам: сделав для одного из братьев Моих меньших, вы для Меня сделали“ (Мф. 25:40).

— Решил, вы придумаете, что делать. На вид вы практичны. Ваша сестра менее…

— Лора хорошо справилась, — оборвала я. Мне не нравится, когда другие критикуют Лору — за рассеянность, наивность, беспомощность. Критика Лоры — моя монополия. — Как ей удалось провести вас мимо людей у входа? — спросила я. — В дом? Мимо тех, в пальто?

— Даже людям в пальто иногда нужно отлить, — ответил он.

Такая вульгарность меня ошеломила. Она совсем не сочеталась с его вежливостью на ужине. Может, сиротская язвительность, про которую говорила Рини. Я решила не реагировать.

— Полагаю, поджог — не ваших рук дело, — сказала я. Хотелось, чтобы прозвучало саркастически, но не вышло.

— Не настолько я глуп, — отозвался Алекс. — Зачем мне устраивать поджог?

— Все думают на вас.

— Однако же это не я, — сказал он. — Но некоторым удобно свалить все на меня.

— Каким некоторым? Зачем? — Я не иронизировала — я была озадачена.

— Подумайте головой, — посоветовал Алекс. Но больше ничего не прибавил.

Чердак

Я принесла с кухни свечу — из запаса на случай, если отключат электричество; зажгла её, вывела Алекса из погреба, через кухню на черную лестницу, а затем — на лестницу поуже и расположила его на чердаке за тремя пустыми сундуками. В сосновом ящике отыскались старые одеяла, и я извлекла их, чтобы устроить постель.

— Сюда никто не придет, — сказала я. — Если придут, прячьтесь под одеяла. Не бродите тут — могут услышать шаги. И свет не включайте. (На чердаке была лампочка с цепочкой, как в погребе.) — Утром принесем вам поесть, — прибавила я, не зная, как выполнить это обещание.

Я спустилась вниз, а затем вновь поднялась с ночным горшком и молча поставила его на пол. Эта проблема меня все время волновала, когда Рини рассказывала о похитителях детей, — как же с удобствами? Одно дело, когда тебя запирают в склепе, и совсем другое — когда приходится сидеть на корточках в углу с задранной юбкой.

Алекс Томас кивнул и сказал:

— Умница. Настоящий друг. Я знал, что вы практичны. Утром мы с Лорой пошептались у неё в комнате. Обсуждались следующие вопросы:

как доставлять еду и питье, как соблюдать осторожность и как опорожнять горшок. Одна будет притворяться, что читает, сидя в моей комнате с открытой дверью: оттуда видна лестница на чердак. Другая будет переносить что нужно. Договорились, что будем это делать по очереди. Наша головная боль — Рини, она обязательно заподозрит неладное, если мы будем слишком хитрить.

Мы не разработали план на случай, если нас раскроют. И потом не разрабатывали. Целиком импровизация.

Первый завтрак Алекса Томаса состоял из корок от тостов. Обычно мы их не ели — разве под нажимом: у Рини ещё не вышло из привычки говорить: *не забывайте о голодающих армянах* — но в этот раз Рини увидела пустое блюдо. Все тосты были в кармане темно-синей Лориной юбки.

— Наверное, голодающие армяне — это Алекс Томас, — шепнула я, когда мы торопливо поднимались по лестнице. Но Лора не засмеялась. Она считала, что так оно и есть.

Мы навещали Алекса утром и вечером. Мы совершали набеги на кладовую, подбирали объедки. Контрабандой доставляли сырую морковь, обрезки ветчины, недоеденные вареные яйца, сложенные вместе кусочки хлеба с маслом и

джемом. Однажды куриную ножку — смелое предприятие. И ещё — стаканы с водой, чашки с молоком, холодный кофе. Грязную посуду уносили и прятали под кроватями, а когда горизонт очистится, мыли её в раковине нашей ванной, а потом ставили в кухонный буфет. (Этим занималась я: Лора слишком неуклюжа.) Ценным фарфором мы не пользовались. Вдруг что-то разобьется? Даже исчезновение обычной тарелки могли заметить: Рини зорко следила. Поэтому с посудой мы были особенно осторожны.

А Рини нас подозревала? Думаю, да. Обычно она догадывалась, когда мы что-то затевали. Но ещё она обычно догадывалась, когда есть смысл притвориться, будто ей не известно, что именно. Думаю, она готовилась — если нас разоблачат — сказать, что понятия ни о чем не имела. Один раз она попросила нас не таскать изюм, прибавив, что мы какие-то бездонные бочки, и с чего это мы вдруг стали такими прожорливыми? И ещё рассердилась из-за пропажи четверти тыквенного пирога. Лора сказала, что её съела; с ней неожиданно случился приступ голода.

— Даже корки? — насторожилась Рини. Лора никогда не ела корки от пирогов Рини. Их никто не ел. Даже Алекс Томас.

— Я скормила их птичкам, — сказала Лора. И это правда: в результате она так и сделала.

Поначалу Алекс Томас был всем доволен. Называл нас отличными ребятами, без которых он бы попал как кур в ощип. Потом ему отчаянно захотелось курить — просто места себе не находил. Мы принесли ему несколько сигарет из серебряной шкатулки на рояле, предупредив, чтобы курил не больше одной в день, иначе дым заметят. (На ограничение Алекс не обратил внимания.)

Потом он заявил, что на чердаке тяжело, потому что невозможно мыться. У него во рту просто канализация. Мы стянули старую зубную щетку, которой Рини чистила серебро, и хорошенько её отмыли; Алекс сказал, что это лучше, чем ничего. Однажды мы принесли на чердак тазик, полотенце и кувшин с теплой водой. Помывшись, он убедился, что внизу никого нет, и вылил грязную воду из чердачного окна. Шел дождь, земля все равно была мокрая, и никто ничего не заметил. В другой раз, когда никого поблизости не было, мы разрешили Алексу спуститься и заперли его в нашей с Лорой ванной, чтобы он мог основательно вымыться. (Рини мы сказали, что хотим ей помочь и берем на себя уборку в ванной. Рини ответила: *чудесам конца не видно.)*

Пока Алекс Томас мылся, Лора сидела у себя в комнате, а я — у себя, и каждая стерегла дверь в ванную. Я пыталась не думать о том, что происходит за дверью. Было мучительно представлять его совсем без одежды, и невыносимо думать, почему так.

Об Алексе Томасе писали в передовицах всех газет, не только нашей. Его называли поджигателем и убийцей — из худших, убивающих с хладнокровием фанатика. В Порт-Тикондерогу приехал с единственной целью внедриться в рабочую среду и посеять семена раздора, и это ему удалось, судя по общей забастовке и бунту. Он яркий пример издержек университетского образования — умный юноша, даже слишком умный, чей ум извратили дурные люди и вредные книги. Писали, что его приемный отец, пресвитерианский священник, сказал, что каждый вечер молится за него, но этот юноша — порождение ехидны. Не оставили без внимания и то, что он спас маленького Алекса во время ужасной войны. Священник сказал, что Алекс — головня, вытащенная из печки, однако приводить в дом незнакомца — всегда большой риск. Подтекст был такой, что лучше бы такие головни оставлять в печи.

В довершение ко всему полиция напечатала плакат «Разыскивается» с фотографией Алекса; плакат повесили на почте и в других общественных местах. К счастью, не очень четкий снимок: рука Алекса частично загородила лицо. Фотография, которую сделал Элвуд Мюррей на пикнике (нас с Лорой, естественно, отрезали). Элвуд Мюррей говорил, что с негатива фотография получилась бы отчетливей, но негатив куда-то запропастился. Что ж, ничего удивительного: после погрома в редакции многое погибло.

Мы принесли Алексу газетные вырезки и плакат «Разыскивается» — Лора его умыкнула с телеграфного столба. Алекс читал о себе с тоскливым страхом.

— Им нужна моя голова на блюде, — вот что он сказал. Через несколько дней Алекс спросил, не могли бы мы дать ему бумаги, чтобы писать. От мистера Эрскина осталась стопка школьных тетрадей, мы принесли их и ещё карандаш.

— Как ты думаешь, что он пишет? — спрашивала Лора. Мы терялись в догадках. Дневник узника, попытка самооправдания? А может, письмо с просьбой о помощи? Но он не просил нас отправлять: значит, не письмо.

Забота об Алексе очень сблизила нас с Лорой.

Он стал нашей преступной тайной и нашей добродетелью, наконец-то общей. Мы были двумя маленькими самаритянками, что поднимают из канавы человека, упавшего вместе с ворами. Марией и Мартой, что служат — не Иисусу, конечно, даже Лора не зашла бы так далеко, но было очевидно, какую кому она отвела роль. Мне предназначалось быть Мартой, на заднем плане занятой хозяйственными заботами, а ей — Марией, приносящей к ногам Алекса свое неподдельное обожание. (Что предпочтет мужчина? Яичницу с беконом или чистое обожание? По-разному: зависит от того, насколько он голоден.)

Лора несла на чердак объедки, словно храмовые жертвоприношения. И ночной горшок выносила, как священную раку или драгоценную свечу, что вот-вот погаснет.

Вечерами, когда Алекс Томас был накормлен и напоен, мы говорили о нём: как он выглядит, не слишком ли исхудал, не кашлял ли — мы очень боялись, как бы он не заболел. Что ему нужно и что следует завтра для него стащить. Затем расходились по своим комнатам и укладывались спать. Не знаю, как Лора, а я представляла, что делает Алекс сейчас на чердаке, прямо надо мной.

Наверное, тоже старается заснуть и ворочается с боку на бок под затхлыми одеялами. Потом засыпает. И ему снятся долгие сны о войне и пожаре, о разрушенных деревнях и разметавшихся по земле обломках.

Не помню, в какой момент они превратились в сны о преследовании и бегстве; не помню, в какой момент я присоединилась к нему в этих снах, и мы убегали от пылающего дома, взявшись за руки, по жнивью, которое уже подморозил декабрь, к темной линии далекого леса.

Но это не его сон. Это я понимала. Это мой сон. Это горел Авалон, это его обломки устилали землю — дорогой фарфор, севрская ваза с розовыми лепестками, серебряная шкатулка с рояля. Сам рояль, витражи из столовой — кроваво-красная чаша, сломанная арфа Изольды — все, от чего я так стремилась избавиться, но не разрушением. Мне хотелось оставить дом, но пусть он стоит неизменный, ждет, когда мне снова захочется вернуться.

Однажды, когда Лора ушла из дома, — теперь это было не опасно, мужчины в пальто ушли, конные полицейские тоже, а на улицах снова наступил порядок, — я решила пойти на чердак одна. У меня имелось подношение — полный

карман смородины и сушеного инжира, похищенных из заготовок для рождественского пудинга. Я провела разведку (миссис Хиллкоут занимала Рини на кухне), поднялась к двери на чердак и постучала. К тому времени мы выработали условный стук — один удар, потом три быстрых. Я на цыпочках поднялась по узкой чердачной лестнице.

Алекс Томас устроился на корточках подле маленького овального окна, где было светлее. Стука он явно не слышал: сидел ко мне спиной с наброшенным на плечи одеялом. Похоже, он писал. Пахло табачным дымом — да, он курил, я увидела в его руке сигарету. По-моему, не стоит курить так близко от одеяла.

Как ему сообщить, что я тут?

— Я пришла, — сказала я.

Алекс вскочил и уронил сигарету. Она упала на одеяло. Задохнувшись, я упала на колени, чтобы её поднять, — перед глазами снова возник охваченный огнем Авалон.

— Все в порядке, — успокаивал меня Алекс. Он тоже стоял на коленях; мы оба шарили вокруг — не осталось ли искры. И тут — не помню как — мы оказались на полу, он обнимал меня и целовал в губы.

Этого я не ожидала.

Или ожидала? Внезапно, или было вступление — прикосновение, взгляд? Я как-то спровоцировала его? Насколько помнится, нет, но точно ли одно и то же — то, что я помню и то, что случилось на самом деле?

Теперь да: в живых осталась одна я.

В общем, все оказалось именно так, как Рини рассказывала о мужчинах в кинотеатрах. Только я не была оскорблена. Но остальное правда: я была ошеломлена, не могла двинуться, спасения не было. Кости превратились в тающий воск. Алекс успел расстегнуть на мне почти все пуговицы, но тут я очнулась, вырвалась и обратилась в бегство.

Все это я делала молча. Сбегая по чердачной лестнице, откидывая волосы и заправляя блузку, я не могла отделаться от ощущения, что он смеется мне вслед.

Я точно не знала, что будет, если такое произойдет снова, но одно было ясно — это опасно, по крайней мере, для меня. Я буду напрашиваться, приму, что случится, стану ходячей грядущей катастрофой. Я не могла больше приходить одна к Алексу Томасу на чердак и не могла объяснить Лоре, почему. Ей будет слишком больно: она

никогда не поймет. (Нельзя исключить и другую возможность: может, он такое же проделывал с Лорой. Нет, исключено. Она никогда не позволит. Или нет?)

— Нужно вывезти его из города, — сказала я Лоре. — Нельзя его тут вечно держать. Кто-нибудь узнает.

— Еще рано, — ответила Лора. — Железную дорогу все время проверяют. — Она была в курсе, потому что по-прежнему работала в столовой.

— Тогда надо перевести его в другое место, — настаивала я.

— В какое? Другого места нет. Здесь безопаснее всего: единственное место, куда не придут искать.

Алекс Томас сказал, что не хочет застрять на зиму. Иначе спятит. Сказал, он и так уже психованный, как в тюрьме. Сказал, что пройдет пару миль по шпалам и прыгнет в товарняк — насыпь там высокая, так что это нетрудно. Ему бы только попасть в Торонто, там его не найдут: у него в городе есть друзья, и у них тоже есть друзья. А при случае он переберется в Штаты, там не так опасно. Судя по статьям в газетах, власти подозревают, что он уже там. В Порт-Тикондероге его больше не ищут.

В начале января мы решили, что Алексу можно уходить. Порывшись в гардеробной, отыскали и отнесли на чердак старое отцовское пальто, собрали Алексу кое-что поесть — хлеб, сыр и яблоко, и отправили на все четыре стороны. (Через некоторое время отец хватился пальто, и Лора сказала, что отдала его бездомному бродяге — отчасти правда. Это было так похоже на Лору, что вопросов ей не задавали, только поворчали немного.)

В ночь расставания мы вывели Алекса через черный ход. На прощанье он сказал, что многим нам обязан и никогда этого не забудет. Он обнял каждую из нас, обнял, как сестер, каждую — не дольше другой. Было очевидно, что он хочет поскорее от нас уйти. Если б не ночь, можно было подумать, что он уезжает учиться. А мы, проводив его, плакали, точно матери. И одновременно чувствовали облегчение, что сбыли его с рук, — и в этом тоже было нечто материнское.

Алекс оставил на чердаке одну из наших дешевых тетрадок. Разумеется, мы её тут же раскрыли — посмотреть, написал ли он там что-нибудь. На что мы надеялись? Прощальное письмо с изъявлениями вечной благодарности? Добрые чувства к нам? Что-то в этом роде.

Но вот что мы обнаружили:

анхорин накрод
берел ониксор
каршинил порфириал
диамит кварцэфир
эбонорт ринт
фулгор сапфирион
глюц тристок
хорц улинт
иридис ворвер
йоцинт вотанит
калкил ксенор
лазарис йорула
малахонт цикрон

— Это что, драгоценные камни? — спросила Лора.

— Нет. Звучат как-то не так, — ответила я.

— Может, иностранный язык?

Этого я не знала, но подумала, что список подозрительно напоминает код. Может, Алекс Томас (в конце концов) был тем, за кого его принимали, — шпионом каким-то.

— Думаю, надо его уничтожить, — сказала я.

— Дай мне, — быстро предложила Лора. — Я сожгу в камине. — Она сложила лист и сунула

в карман.

Спустя неделю после ухода Алекса Лора пришла ко мне в комнату.

— Думаю, тебе она нужна, — сказала Лора. Фотография, на которой сняты мы трое, — та, что сделал Элвуд Мюррей на пикнике. Себя Лора отрезала — осталась только рука. Если её отрезать, край выйдет кривой. Лора фотографию не раскрашивала, только свою руку сделала бледно-желтой.

— Господи, Лора! — воскликнула я. — Где ты её взяла?

— Я сделала несколько копий, — ответила она. — Когда работала у Элвуда Мюррея. У меня и негатив есть.

Я не знала сердиться или тревожиться. Странно, если не сказать больше, — вот так резать фотографию. От зрелища бледно-желтой руки, сияющим крабом ползущей по траве к Алексу, у меня по спине побежали мурашки.

— Ты зачем это сделала?

— Потому что тебе хочется запомнить её именно такой, — сказала она.

Так дерзко, что у меня перехватило дыхание. Лора смотрела мне прямо в глаза — у любого другого человека такой взгляд мог означать только

вызов. Но это Лора: в голосе ни злобы, ни ревности. Она просто констатировала факт.

— Все нормально, — сказала она. — У меня ещё одна есть.

— А на твоей нет меня?

— Да, — ответила Лора. — Тебя нет. Только рука. — В тот раз она ближе всего подошла к признанию в любви к Алексу Томасу. Ну то есть, кроме того дня перед смертью. Но и тогда она не произнесла слово *«любовь»*.

Нужно было выбросить эту искалеченную фотографию, но я не выбросила.

Все пошло по старому, заведенному порядку. Не сговариваясь, мы с Лорой больше не говорили про Алекса Томаса. Слишком многое нельзя было высказать — обеим. Поначалу я поднималась на чердак — там ещё витал лёгкий запах табака, — но потом перестала: ни к чему хорошему это не приведет.

Насколько возможно, мы окунулись в повседневность. Денег немного прибавилось: отец должен был получить наконец страховку за сожженную фабрику. Мало, но все же, как сказал отец, некоторая передышка.

Имперский зал

Время года движется на шарнирах, земля откатывается все дальше от солнца; летний бумажный хлам под кустами вдоль дороги предвещает поземку. Воздух суше, готовит нас к Сахаре центрального отопления. Кончики пальцев трескаются, лицо вянет. Если бы я видела свою кожу в зеркале — очень близко или очень далеко, — она оказалась бы меж глубокими морщинами исчеркана тоненькими, точно раковина.

Прошлой ночью мне приснилось, что у меня волосатые ноги. Не пушок, а густая поросль — черные волосы, хохолки и завитки, покрывшие ногу до бедра, — точно звериная шкура. Наступает зима, снилось мне, и я погружаюсь в спячку. Обрасту шерстью, заберусь в берлогу и засну. Обычное дело, словно так и надо. Но потом я вспомнила — прямо во сне, — что прежде была не такой волосатой, а напротив, гладкой, как тритон, — по крайней мере, ноги волосатыми не были. Значит, хоть и кажется, что они срослись с телом, это не могут быть мои ноги. К тому же я их не чувствовала. Это чьи-то чужие ноги. Нужно только их ощупать, провести по ним рукой и понять, чьи же они.

Я встревожилась и проснулась — так мне показалось. Мне снилось, что вернулся Ричард. Я слышала, как он дышит рядом. Но в постели никого не было.

После этого я проснулась по-настоящему. Ноги затекли: меня во сне скрутило. Я нащупала ночник, расшифровала, что показывают часы: два часа ночи. Сердце отчаянно колотилось, словно я долго бежала. Значит, правда, что я слышала раньше: ночной кошмар может убить.

Я тороплюсь дальше, крабом ползу по странице. Мы с сердцем вяло соревнуемся. Я намерена прийти первой. Только куда? К концу или к *Концу*? Туда или сюда. В общем, пункт назначения — и то, и другое.

Январь и февраль. 1935 года. Разгар зимы. Шел снег, на морозе перехватывало дыхание, топили печи, из труб вился дым, гремели радиаторы. Автомобили съезжали в канавы, а водители, отчаявшись дождаться помощи, оставляли двигатели включенными и задыхались. На парковых скамейках и в заброшенных складах находили замерзших бродяг, жестких, словно манекены с витрины, рекламирующей нищету. Мертвецам приходилось дожидаться похорон в пристройках у нервных гробовщиков: земля настолько

промерзла, что лопата её не брала. То-то крысам праздник. Матерей, которые не могли найти работу и платить за квартиру, вместе с детьми выбрасывали на улицу, в снег, со всем скарбом. Ребятня каталась на коньках по замерзшей Лувето, двое провалились под лед, один утонул. Трубы замерзали и лопались.

Мы с Лорой проводили все меньше времени вместе. Лора почти не бывала дома: она в Объединенной церкви помогала безработным, во всяком случае так она говорила. Рини объявила, что со следующего месяца будет приходить только трижды в неделю; якобы её стали беспокоить ноги, но то был предлог: ей не могли платить за всю неделю. Я это понимала: все ясно, как пить дать. Что касается «пить», отец все больше времени проводил в своей башне.

Пуговичная фабрика стояла пустая, с развороченным и обугленным нутром. На восстановление не было денег: страховая компания артачилась, ссылаясь на таинственные обстоятельства поджога. В городе шептались, что не все так, как представляется: даже намекали, что отец сам устроил поджог — клевета. Две другие фабрики оставались закрыты; отец ломал голову, как их открыть. Он все чаще ездил в Торонто по делам.

Иногда брал меня с собой, и тогда мы останавливались в отеле «Ройял-Йорк» — в те времена он считался лучшим. Президенты компаний, известные врачи и адвокаты с соответствующими наклонностями селили там своих любовниц и неделями кутили, но я в то время этого не знала.

Кто оплачивал эти экскурсии? Думаю, Ричард — он всегда нас сопровождал. К нему у отца и было дело — последнее, что осталось. Оно касалось продажи фабрик и было довольно запутанно. Отец пытался их продать и раньше, но тогда никто ничего не покупал, особенно на его условиях. Отец хотел продать лишь часть акций, сохранив контрольный пакет за собой. Ему требовались денежные вливания. Он хотел вновь открыть фабрики и дать своим людям работу. Он так и называл их «мои люди», будто по-прежнему шла война, и он был их капитаном. Отец не хотел избавиться от невыгодных дел и бросить людей на произвол судьбы: все знают, или раньше знали, что капитан не покидает свой корабль. Теперь об этом не думают. Получают наличные и смываются — переезжают во Флориду.

Отец говорил, что я нужна ему для «ведения записей», но я их никогда не вела. Думаю, он брал меня, чтобы кто-то был рядом, — для моральной

поддержки. Она ему, несомненно, требовалась. Он был худой, как скелет, и у него постоянно дрожали руки. Он даже подписывался с трудом.

Лора никогда с нами не ездила. Её присутствие не требовалось. Она оставалась дома, раздавала черствый хлеб и водянистый суп. Сама почти не ела, будто не считала себя вправе.

— Иисус вот ел, — говорила Рини. — Он ел все. Он не голодал.

— Да, — отвечала Лора. — Но я не Иисус.

— Слава Господу, она хоть это уразумела, — ворчала потом Рини. Несъеденные две трети Лориной порции она перекладывала обратно в кастрюлю, потому что грех и стыд выбрасывать еду. Рини гордилась тем, что за все эти годы у неё ничего зря не пропало.

Отец больше не держал шофера, а сам водить уже не решался. Мы ездили в Торонто на поезде и, сойдя на Центральном вокзале, переходили дорогу и оказывались в отеле. Днем, пока отец занимался делами, я была предоставлена самой себе. Чаще всего я сидела в номере: меня пугал большой город, и я стеснялась своей одежды, в которой выглядела младше, чем была. Я читала журналы: «Лейдиз Хоум Джорнэл», «Колльерз», «Мэйфэйр». Главным образом рассказы про лю-

бовь. Выпечка и вязание меня не интересовали, а вот советы, как стать красивой, приковывали внимание. Еще я читала рекламу. Эластичное белье «Латекс» поможет мне лучше играть в бридж. Даже если я дымлю, как паровоз, какая разница, никто не учует, потому что со «Спадсом» мое дыхание будет слаще меда. Нечто под названием «Ларвекс» решит мои проблемы с молью. В «Бигвин-Инн», на прекрасном озере Бэйз, где каждый миг напоен счастьем, я могу худеть, занимаясь на пляже физкультурой под музыку.

В конце дня, когда с делами было покончено, мы втроем — отец, Ричард и я — ужинали в ресторане. Я обычно молчала; а что мне было говорить? За столом обсуждались экономика и политика, Депрессия, ситуация в Европе, тревожное наступление мирового коммунизма. Ричард считал, что при Гитлере Германия с финансовой точки зрения взяла себя в руки. Муссолини Ричард оценивал ниже — считал его любителем и дилетантом. Ричард собирался вложить деньги в новую ткань, придуманную итальянцами, — большой секрет, — она делается из нагретого молочного белка. Но когда ткань намокает, сказал Ричард, она ужасно пахнет сыром, а это вряд ли понравится дамам Северной Америки. Сам он

верил в вискозу, хотя она мялась при намокании, следил за всем, что творилось, и подхватывал любую стоящую идею. Что-то должно возникнуть, он чувствовал, некая искусственная ткань, которая потеснит шелк, да и хлопок тоже. Леди мечтают о материи, которую не нужно гладить, чтобы высохла — и ни морщинки. Еще им хочется иметь прочные и тонкие чулки, не скрывающие ножки. Не правда ли? — улыбнулся он мне. У Ричарда имелась привычка обращаться ко мне всякий раз, когда поднимались вопросы, касающиеся леди.

Я кивнула. Я всегда кивала. Я никогда особенно не вслушивалась в их разговоры: они нагоняли скуку и больно ранили. Мне тяжело было слышать, как отец соглашается с мнением, которого не разделяет.

Ричард сказал, что был бы счастлив пригласить нас к себе на обед, но он холостяк и боится, что дело это провальное. Дом у него безрадостный, прибавил он, и живет он почти монахом.

— Что за жизнь без жены? — улыбнулся он. Похоже на цитату. Думаю, это и была цитата.

Ричард сделал мне предложение в Имперском зале отеля «Ройял-Йорк». Он пригласил нас с отцом на обед, но в последнюю минуту, когда мы

шли по коридору к лифту, отец сказал, что пойти не сможет. Тебе придется идти одной, прибавил он. Разумеется, то был сговор.

— Ричард тебя кое о чем попросит, — сказал отец извиняющимся тоном.

— А, — сказала я. Опять, наверное, что-нибудь про утюги. Впрочем, мне было все равно. Мне казалось, Ричард взрослый. Ему было тридцать пять, мне восемнадцать. Он был из мира взрослых, и потому меня не интересовал.

— Мне кажется, он попросит тебя выйти за него замуж, — сказал отец.

Мы уже спустились в вестибюль. Я села.

— А, — только и сказала я. Я внезапно поняла то, что уже некоторое время было очевидно. Хотелось рассмеяться, словно это шутка. В животе будто образовалась дыра. Однако заговорила я спокойно: — И что мне делать?

— Свое согласие я уже дал, — ответил отец. — Теперь дело за тобой. — И прибавил: — От твоего ответа многое зависит.

— Многое?

— Я должен подумать о вашем будущем. На случай, если со мной что-то случится. Особенно о Лорином будущем. — Он имел в виду, что, если я не выйду за Ричарда, у нас не будет денег. И

ещё, что мы обе, особенно Лора, не в состоянии о себе позаботиться. — Я должен подумать и о фабриках, — продолжал отец. — О деле. Все ещё можно спасти, но меня душат банкиры. Они меня преследуют. Долго ждать не станут. — Он оперся на трость, устремив взгляд на ковёр, и я увидела, как ему стыдно. Как его побила жизнь. — Я не хочу, чтобы все это было зря. Твой дедушка и… пятьдесят, шестьдесят лет тяжелого труда — все впустую.

— Ясно. — Меня загнали в угол. Похоже, выхода нет — только согласиться.

— Авалон тоже заберут. Продадут.

— Продадут?

— Он заложен на корню. — А.

— Потребуется решимость. Мужество. Стиснуть зубы и так далее.

Я молчала.

— Но, разумеется, решение целиком зависит от тебя, — сказал отец.

Я молчала.

— Я не хочу, чтобы ты делала что-то совсем против воли, — продолжал он, здоровым глазом глядя мимо меня и слегка нахмурившись, словно увидел нечто очень важное. Позади меня была только стена.

Я молчала.

— Хорошо. Значит, с этим покончено. — Похоже, он успокоился. — Он очень разумный, этот Гриффен. Не сомневаюсь, в душе он хороший человек.

— Конечно, — сказала я. — Уверена, он очень хороший.

— Ты будешь в надежных руках. И Лора, конечно.

— Разумеется, — пробормотала я. — И Лора.

— Тогда выше голову!

Виню ли я отца? Нет. Больше нет. Сейчас все прозрачно, но он делал то, что считал — тогда все считали — разумным. Он просто не знал ничего лучше.

Ричард присоединился к нам, словно по команде; мужчины обменялись рукопожатием. Ричард слегка пожал руку мне. А потом локоть. Так в те времена мужчины управляли женщинами — держа за локоть, и вот меня за локоть отвели в Имперский зал. Ричард сказал, ему хотелось пригласить нас в более праздничное и светлое кафе «Венеция», но, к сожалению, там уже все забито.

Теперь это странно, но тогда отель «Ройял-Йорк» был самым высоким зданием в Торонто, а Имперский зал — самым большим рестораном.

Ричард любил все большое. Ряды громадных квадратных колонн; на мозаичном потолке — люстры, на каждой болтается кисточка, — застывшая роскошь. Какая-то кожаная, громоздкая, пузатая — почему-то с прожилками. *Порфир* — вот слово, которое просится на язык, хотя, может, порфира там и не было.

Полдень, неуютный зимний день, из тех, что ярче, чем полагается. Солнечный свет проникал меж тяжелыми портьерами — кажется, темно-бордовыми и, конечно, бархатными. Помимо обычных ресторанных запахов — мармита и остывшей рыбы — пахло раскаленным металлом и тлеющей тканью. Ричард заказал столик в сумрачному углу, подальше от резкого света. В вазочке стояла алая роза. Я смотрела на Ричарда с любопытством: как он себя поведет? Возьмет меня за руку, сожмет её, будет запинаться, заикаться? Сомневаюсь.

Не то, чтобы я испытывала к нему неприязнь. Я не испытывала приязни. Я не знала, что думать о Ричарде, потому что никогда о нём не думала, хотя время от времени обращала внимание на элегантность его костюмов. Иногда он бывал напыщен, но, во всяком случае, не урод — совсем не урод. Словом, вполне приемлемый жених.

Слегка закружилась голова. Я по-прежнему не знала, что делать.

Подошел официант. Ричард сделал заказ. Глянул на часы. И заговорил. Я почти ничего не услышала. Он улыбнулся. Вынул черную бархатную коробочку, открыл. Внутри сверкнул осколок света.

Эту ночь я провела, сжавшись в дрожащий комочек на просторной кровати в отеле. Ноги заледенели, я поджала коленки, съехала с подушки; предо мною безгранично раскинулось арктическое пространство белоснежного постельного белья. Я знала, что мне никогда его не пересечь, не вернуться на тропу, не выйти снова к теплу. Я знала, что утратила направление; знала, что заблудилась. Через много лет меня найдет группа отважных исследователей — я буду лежать, вытянув руку, точно хватаясь за соломинку, черты лица стёрты, пальцы обглоданы волками.

Это было ужасно, но не имело отношения собственно к Ричарду. Казалось, будто с отеля сорвали сверкающий купол, и я открыта взору враждебного существа, что прячется где-то над темной блестящей пеленой небесной пустоты. Это Бог смотрит вниз бесстрастным и ироничным глазом-прожектором. Наблюдает за мной,

наблюдает, как мне трудно, наблюдает, как мне не удается в него поверить. В комнате нет пола, я повисла в воздухе, вот-вот рухну. И буду падать бесконечно — бесконечно вниз.

Но в молодости подобная безысходность редко переживает восход.

«Аркадский дворик»

В темном саду за окном идет снег. Словно целует стекло. Скоро растает: ещё только ноябрь, но уже предвкушение. Почему так волнующе? Я же знаю, что будет потом: слякоть, темнота, грипп, грязный лед, ветер, следы соли на ботинках. И все же никак не отделаться от предчувствия — собираешься на грядущий поединок. В зиму выходишь, лицом к лицу с ней встречаешься, а потом можно схитрить, вернувшись в дом. Все же хотелось бы иметь камин.

В доме, где я жила с Ричардом, был камин. Целых четыре. Один в спальне. Отблески облизывали тело.

Я развернула закатанные рукава свитера, натянула их до кончиков пальцев. Похоже на обрезанные перчатки, как раньше у зеленщиков и всех прочих, которые на холоде работали. Пока осень довольно теплая, но расслабляться нельзя.

Надо проверить печь. Раскопать фланелевую ночнушку. Запастись консервированными бобами, свечами, спичками. Если опять случится ураган, как прошлой зимой, останемся без электричества, без туалета и питьевой воды — разве что снег растопить.

Сад совсем пустой: сухая листва, хрупкие стебли да несколько живучих хризантем. Солнце теряет высоту. Темнеет рано. Я теперь пишу дома, на кухне. Скучаю без шума порогов. Иногда ветер качает голые ветви — почти то же самое, только не так надежно.

Через неделю после помолвки меня отправили на обед с Уинифред Гриффен Прайор, сестрой Ричарда. Пригласила она, но я чувствовала, что организовал все Ричард. Возможно, я ошибалась — Уинифред многим заправляла, могла и на Ричарда надавить. Скорее всего, они это вместе придумали.

Обедали мы в «Аркадском дворике». Сюда, на верхний этаж универмага «Симпсонс» на Куин-стрит, приходили светские дамы; просторный зал с высоким потолком решен, как считалось, в «византийском» стиле (это означало, что там были сводчатые проходы и пальмы в кадках), весь серебристо-сиреневый, с обтекаемыми сту-

льями и светильниками. На половине высоты зал огибал балкон с железной решеткой — только для мужчин, бизнесменов. Оттуда они смотрели вниз на дам, а те чистили перышки и щебетали, как на птичьем дворе.

Я надела свой лучший костюм — по сути единственный, который могла надеть в такой ситуации: темно-синяя плиссированная юбка, белая блузка с бантом на шее и темно-синяя соломенная шляпка вроде канотье. В таком наряде я походила на школьницу или на активистку Армии Спасения. Я уж не говорю о туфлях: даже сейчас воспоминание о них заставляет меня краснеть. Обручальное кольцо я сжимала в руке, обтянутой бумажной перчаткой, понимая, что с такой одеждой бриллиант покажется фальшивым или украденным.

Метрдотель посмотрел так, словно я пришла не туда или, по крайней мере, не с того хода — может, я работу ищу? Я и впрямь казалось жалкой, да и слишком молодой, чтобы обедать с дамами. Но я назвала имя Уинифред, и все пошло, как по маслу, потому что Уинифред дневала и ночевала в «Аркадском дворике». *(Дневала и ночевала* — это она сама так говорила.)

По крайней мере, не пришлось ждать и пить

холодную воду в окружении глазеющих расфуфыренных дам, гадающих, как я сюда попала: Уинифред уже ждала меня за светлым столиком. Она оказалась выше, чем мне помнилось, — *стройной* или, скорее, *гибкой:* отчасти из-за корсета. Она была в зеленом — не бледно-зеленом, а ярком, почти кричащем. (Как хлорофилловая жвачка, вошедшая в моду через двадцать лет.) Зеленые туфли из крокодиловой кожи. Блестящие, упругие и будто чуть влажные, похожие на лист кувшинки, и я подумала, что никогда не видела таких изысканных, необычных туфель. Шляпка тоже в тон — завиток из зеленой ткани ядовитым пирожным покачивался на голове.

Как раз в тот момент Уинифред занималась тем, что мне строго-настрого запрещалось, ибо это дешевка: раскрыв пудреницу, она смотрелась в зеркальце — при всех. Хуже того, она пудрила нос. Я замялась, не желая показать, что застала её за таким вульгарным занятием, но тут она захлопнула пудреницу и сунула её в сумку из блестящей крокодиловой кожи, словно так и надо. Затем, вытянув шею, медленно повернула свое напудренное лицо и огляделась вокруг, светясь белизной, точно фара. Увидела меня, заулыбалась и томным жестом пригласила за столик. У неё на

руке я увидела серебряный браслет и мгновенно возжаждала такой же.

— Называй меня Фредди, — предложила она, когда я села. — Меня все друзья так зовут, а я хочу, чтобы мы стали большими друзьями. — Среди женщин круга Уинифред в то время были модны уменьшительные имена, и все назывались, точно подростки: Билли, Бобби, Уилли, Чарли. У меня не было уменьшительного, нечего предложить взамен.

— О, это кольцо? — спросила она. — Прелесть, правда? Я помогала Ричарду выбирать. Он любит, когда я делаю за него покупки. У мужчин от этого мигрени, от магазинов, правда? Он подумывал об изумруде, но с бриллиантом ничто не сравнится, верно?

Говоря это, Уинифред с интересом и холодным весельем ждала, как я отреагирую: мое обручальное кольцо — для неё всего лишь мелкое поручение. У неё были умные, ненормально большие глаза, на веках — зеленые тени. Подведенные карандашом брови аккуратно выщипаны в тонкую дугу, и Уинифред смотрела скучающе и с недоверчивым удивлением, как тогдашние кинозвезды, хотя я сомневаюсь, что Уинифред часто удивлялась. Её розовато-рыжая помада

только-только входила в моду — это называлось *креветочный* цвет, я читала в журналах. И рот кинематографичен, как и брови: верхняя губа изогнута луком Купидона. Голос, что называется, пропитой — низкий, глубокий даже, хрипловатый, чуть скрипучий, точно шершавый кошачий язык — точно кожаный бархат.

(Позже я узнала, что она заядлая картежница. Предпочитала бридж — не покер, хотя отлично играла бы в покер, великолепно блефовала, но это рискованно, слишком азартно; она предпочитала знать, на что ставит. Еще Уинифред играла в гольф — в основном, ради знакомств; играла она хуже, чем делала вид. Теннис слишком напряженный: ей не хотелось, чтобы видели, как она потеет. Она «ходила под парусом», что означало: сидела в шляпке на палубе — на мягкой подушке и с бокалом в руке.)

Уинифред спросила, что мне заказать. Я ничего не ответила. Она назвала меня «дорогая» и сказала, что салат «Уолдорф» изумителен. Ладно, сказала я.

Я не представляла, как у меня язык повернется называть её *Фредди:* слишком фамильярно, неуважительно даже. Она же взрослая — лет тридцати, в крайнем случае — двадцати девяти.

Лет на шесть-семь моложе Ричарда, но они были друзья:

— Мы с Ричардом — большие друзья, — сказала она доверительно — в первый, но далеко не последний раз. Разумеется, это была угроза, как и многое другое, что она говорила столь же легко и доверительно. Это означало, что у неё большие права на него и преданность, какую я не в состоянии понять, а ещё — что если я когда-нибудь доставлю Ричарду неприятности, придется иметь дело с ними обоими.

Это она, сказала Уинифред, помогает Ричарду устраивать разные мероприятия — нужные встречи, коктейли, ужины и так далее, потому что он холостяк; как она выразилась (и потом повторяла это год за годом): «Работенка для нас, девушек». Она просто в восторге, сказала она, что брат решил наконец остепениться, да ещё с такой милой юной девушкой, как я. У него была парочка романов — прежние обстоятельства. (Именно так Уинифред всегда говорила о женщинах Ричарда — *обстоятельства,* вроде сетей, или паутины, или западни, или жвачки на земле, случайно прилипшей к туфле.)

К счастью, Ричард не угодил в эти ловушки, хотя женщины за ним охотились. Они преследовали

его *табунами,* сказала Уинифред, понизив свой хрипловатый голос, и я представила себе Ричарда в драной одежде, с растрепанными волосами, бегущего в панике от толпы преследовательниц. Но образ получился неубедительный. Я не могла вообразить, как Ричард бежит, торопится или хотя бы пугается. Он не мог оказаться в опасности.

Я кивала и улыбалась, не в состоянии уяснить, кем же считают меня. Тоже липучкой? Возможно. На словах же меня исподволь заставляли понять, что Ричард — человек необыкновенный, и мне нужно следить за собой, если я собираюсь с ним жить.

— Не сомневаюсь, у тебя все получится, — слегка улыбнулась Уинифред. — Ты ещё так *молода.* — Но именно моя молодость заставляла сомневаться, что я справлюсь. На это Уинифред и рассчитывала. Сферу своего влияния она сокращать не собиралась.

Принесли салат «Уолдорф». Уинифред увидела, что я беру нож и вилку, — хоть руками не ест, говорил её взгляд — и тихонько вздохнула. Ей было тяжело со мной, теперь я понимаю. Несомненно, она считала меня угрюмой и замкнутой: я не умела светски болтать, была невежественна и *провинциальна.* А может, то был вздох предвку-

шения работы: я просто кусок необработанной глины, и ей предстоит взяться за дело и вылепить из меня нечто сносное.

Куй железо, пока горячо. Она приступила немедленно. Методы сводились к намекам, предложениям. (У неё имелся ещё один прием — удар дубинкой, но тогда за обедом она к нему не прибегала.) Она сказала, что знала мою бабушку или, по крайней мере, знала о ней. Монреальские дамы Монфор славятся своим вкусом, но я ведь родилась уже после смерти Аделии. Так Уинифред дала понять, что, несмотря на мою родословную, начинать придется с нуля.

Подразумевалось, что одежда не проблема. Одежду, естественно, всегда можно купить, но надо ещё научиться её носить.

— Как будто это твоя кожа, дорогая, — прибавила она. Мои волосы тоже никуда не годились — длинные, не завитые, зачесанные назад и заколотые гребнем. Разумеется, ножницы и холодная завивка. Затем ногти. Только помни — ничего вызывающего. Для этого ты ещё слишком молода. — Ты будешь очаровательна, — пообещала Уинифред. — Абсолютно. Только чуть-чуть постараться.

Я слушала смиренно, негодуя. Я знала, что ли-

шена шарма. И Лора тоже. Мы слишком скрытны и грубы. Нас никто не учил, а Рини избаловала. Она считала, что мы и *сами по себе* хороши. Нам не надо стараться нравиться людям, льстить, угождать или кокетничать. Думаю, отец временами мог оценить шарм в других, но нам его не привил. Он хотел видеть в нас мальчишек и добился своего. Мальчиков шарму не учат. А то все подумают, что они коварны.

Уинифред смотрела, как я ем, и загадочно улыбалась. В её голове я уже превращалась в список эпитетов, в забавные историйки, что она расскажет подружкам — всем этим Билли, Бобби и Чарли. *Одета как прислуга. Ест, будто её голодом морят. А какие туфли!*

— Ну, — сказала она, поковыряв в салате, — Уинифред никогда не доедала, — теперь надо нам посовещаться.

Я не поняла, что имеется в виду. Уинифред опять вздохнула.

— Насчет свадьбы, — сказала она. — У нас не так уж много времени. Думаю, святой апостол Симон, а затем прием в бальном зале «Ройял-Йорка», в центральном.

Должно быть, я считала, что меня просто передадут Ричарду, как бандероль; нет, ещё будут

церемонии — и не одна. Коктейли, чаепития, прием у невесты, фотографии для газет. Это напоминало свадьбу моей матери по рассказам Рини, только в обратном порядке и без некоторых деталей. Где романтическая прелюдия, где склонившийся предо мною юноша? В коленях зародилась волна смятения, она постепенно поднялась к лицу. Уинифред заметила, но не успокоила меня. Она не хотела, чтобы мне было спокойно.

— Не волнуйся, дорогая, — сказала она тоном угасающей надежды и похлопала меня по руке. — Я тобой займусь. — Я чувствовала, как воля покидает меня — та, что ещё оставалась, моя собственная воля. (Ну точно! Сейчас мне пришло в голову. Конечно! Она была вроде мадам из борделя. Сводница!)

— Бог мой, как поздно! — сказала она. У неё были серебряные часики, текучие, словно жидкий металл; на циферблате точки вместо цифр. — Надо бежать. Тебе принесут чай и пирожное или что захочешь. Девушки любят сладкости. Или сладости? — Она засмеялась и встала, подарила мне на прощанье креветочный поцелуй, но не в щеку, а в лоб. Показать мне мое место. Какое? Ясно какое. Малого ребенка.

Я смотрела, как она скользит по нежно-сиреневому залу, слегка кивая по сторонам и тщательно рассчитывая взмахи пальчиков. Сам воздух высокой травою расступался перед ней; ноги растут словно от талии; ничего не дергается. Я почувствовала, как у меня выпирают части тела — у пояса, поверх чулок. Я жаждала иметь такую походку — плавную, неземную, неуязвимую.

Меня выдавали замуж не из Авалона, а из полудеревянного псевдотюдоровского особняка Уинифред в Роуздейле. Удобнее, так как большинство гостей приедут из Торонто. И не так неловко для отца: он не мог выложиться на свадьбу, какую затевала Уинифред.

Он не мог даже купить мне одежду. Об этом тоже Уинифред позаботилась. В моем багаже — в нескольких новеньких чемоданах — имелись теннисная юбочка, хотя я не играла в теннис, купальник, хотя я не умела плавать, и несколько бальных платьев, хотя я не умела танцевать. Где бы я этому училась? Конечно, не в Авалоне; даже плаванию, потому что Рини нам не разрешала. Но Уинифред настояла на этих покупках. Она сказала, мне следует играть роль, несмотря на все мои недостатки, в которых никогда нельзя признаваться.

— Говори, что болит голова, — советовала она. — Всегда удачный предлог.

Она научила меня ещё многому.

— Показывать, что тебе скучно, — нормально, — говорила она. — Но никогда не показывай страха. Они его чуют, точно акулы, и стараются добить. Смотри на угол стола — это удлиняет веки, — но никогда не смотри в пол, от этого шея кажется дряблой. Не стой навытяжку — ты не солдат. Никогда не *раболепствуй.* Если кто-нибудь скажет обидное, переспроси: *извините?* — будто не расслышала; в девяти случаях из десяти у него духу не хватит повторить. Никогда не повышай голос на официанта, это вульгарно. Пусть он к тебе склонится — на то они и существуют. Не теребри перчатки и волосы. Всегда делай вид, будто у тебя есть занятие поинтереснее, но не выказывай нетерпения. Когда сомневаешься, иди в дамскую комнату, только без спешки. Грация — спутница безразличия. — Таковы были её уроки. Несмотря на все мое отвращение к ней, должна признать, в жизни они сослужили мне хорошую службу.

Ночь перед свадьбой я провела в лучшей спальне Уинифред.

— Стань красавицей, — сказала она весело, намекая, что я не красавица. Она дала мне кольд-

крем и бумажные перчатки; надо было намазать руки, а потом надеть перчатки. От этого руки должны стать белыми и мягкими — как сырой свиной жир. Стоя в ванной, я прислушивалась, как вода падает на фаянс, и изучала себя в зеркале. Я казалась стёртой и невыразительной, точно обмылок или луна на исходе.

Из своей спальни в ванную вошла Лора и села на крышку унитаза. Входя ко мне, она никогда не стучалась. В простой белой ночнушке, которую прежде носила я; волосы зачесаны назад, и пшеничный «хвост» свешивался через плечо. Босиком.

— Где твои тапочки? — спросила я. Лора скорбно смотрела на меня. С таким лицом, в белой рубашке и босиком она походила на осужденную — на еретичку со старых полотен, которую везут на казнь. Она сжимала руки; между стиснутыми пальцами — круглый просвет, точно для зажженной свечи.

— Я их забыла.

Полностью одетая, Лора из-за своего роста выглядела старше, чем на самом деле, но сейчас казалась моложе — лет двенадцати, и пахла, как ребенок. Это из-за шампуня — она пользовалась детским шампунем, потому что он дешевле. Все-

гда экономила на мелочах. Лора оглядела ванную, потом уставилась на кафельный пол.

— Я не хочу, чтобы ты выходила замуж, — сказала она.

— Ты достаточно ясно дала это понять, — отозвалась я. На всех церемониях — приемах, примерках, репетициях — Лора оставалась мрачна; едва вежлива с Ричардом, тупо покорна с Уинифред, будто служанка по контракту. Со мной — сердита, точно эта свадьба — в лучшем случае, злонамеренный каприз, в худшем, — предательство. Сначала я думала, она завидует, но это было не совсем так.

— Почему мне не выходить замуж?

— Ты слишком молодая, — ответила Лора.

— Маме было восемнадцать. А мне почти девятнадцать.

— Но она по любви. Она этого хотела.

— А с чего ты взяла, что я не хочу? — раздраженно спросила я. Она немного подумала.

— Ты не можешь этого *хотеть*, — сказала Лора, поднимая глаза. Глаза влажные и красные — она явно плакала. Я разозлилась: какое право она имеет плакать? Если уж на то пошло, плакать следовало мне.

— Дело не в моих желаниях, — сказала я рез-

ко. — Это единственный разумный выход. У нас нет денег, ты обратила внимание? Хочешь, чтобы нас выбросили на улицу?

— Мы могли бы пойти работать, — сказала Лора. Рядом с ней на подоконнике стоял мой одеколон; она машинально себя опрыскала. «Лиу» от Герлена, подарок Ричарда. (Выбранный Уинифред, о чем она поставила меня в известность. *Мужчины так теряются в парфюмерном отделе, не правда ли? У них там кружится голова.)*

— Не глупи, — сказала я. — Что мы будем делать? Разобьешь — голову откручу.

— Мы кучу всего можем делать, — неопределенно заметила она, ставя одеколон на место. — Устроимся официантками.

— На их жалованье не проживешь. Официантки зарабатывают гроши. Унижаются ради чаевых. У них у всех плоскостопие. Ты даже не знаешь, что сколько стоит, — сказала я. Будто учила птицу арифметике. — Фабрики закрыты, Авалон разваливается, его собираются продавать, банки берут нас за горло. Ты на папу смотришь? *Видишь,* как он выглядит? Он же совсем старик.

— Значит, это ради него? — спросила она. — Вот оно что. Тогда понятно. Ты смелая.

— Я делаю то, что считаю правильным, — за-

явила я, почувствовав себя очень добродетельной и такой несчастной, что чуть не заплакала. Но тогда все речи насмарку.

— Это неправильно, — сказала Лора. — Совсем неправильно. Ты ещё можешь все отменить, ещё не поздно. Убежать и оставить записку. И я с тобой.

— Перестань, Лора. Я уже достаточно взрослая. Сама знаю, что делаю.

— Но ведь придется разрешить ему к тебе *прикасаться.* Не просто целовать. Тебе придется…

— Обо мне не беспокойся, — перебила я. — Оставь меня. У меня глаза открыты.

— Да, как у лунатика, — сказала Лора. Она взяла мою пудреницу, открыла её и понюхала, умудрившись изрядно просыпать на пол — Ну, зато у тебя будет красивая одежда, — прибавила она.

Я её чуть не убила. Разумеется, этим я втайне и утешалась.

Лора ушла, оставив за собой белые следы, а я села на кровать, глядя в раскрытый пароходный кофр. Очень модный чемодан — светло-желтый снаружи и темно-синий внутри, со стальной окантовкой, металлическими звездочками поблескивают шляпки гвоздиков. Аккуратно упакованный, в нём все необходимое для свадебного

путешествия, но он точно вместилище мрака и пустоты — пустой космос.

Это мое приданое, подумала я. Это слово вдруг стало угрожающим — такое окончательное. Как будто от слова «предавать».

Зубная щетка, подумала я. Она мне понадобится. Тело отказывалось двигаться.

В английском слово *приданое* происходит от французского слова, обозначающего *чемодан. Trousseau.* Этим словом называют вещи, которые кладут в чемодан. Нечего волноваться — это всего лишь багаж. Все, что пакуешь и берешь с собой.

Танго

Вот картина свадьбы:

Молодая женщина в белом атласном платье, скроенном по косой, гладкая ткань, шлейф обвивает ноги, будто пролитая патока. Девушка чуть неуклюжа — бедра, ступни, — будто спина слишком пряма для этого платья. Для него удобнее вздернутые плечи, сутулость, кривой позвоночник — что-то вроде чахоточного горба.

Вуаль закрывает виски и лоб, бросая слишком густую тень на глаза. При улыбке не видно зубов. На голове венчик из белых розочек; в руках целый каскад роз побольше — розовых и белых,

перепутанных со стефанотисом, руки в белых перчатках, локти немного чересчур расставлены. *Венчик, каскад* — слова из газет. Вызывают в памяти монахинь и чистую быструю воду. Статья называлась «Прекрасная невеста». Тогда так писали. В её случае красота обязательна: слишком большие замешаны деньги.

(Я говорю «её», потому что себя ею не помню. Я и девушка на фотографии — больше не одно существо. Я — то, что из неё получилось, результат безрассудной жизни, какую она когда-то вела; а она — если вообще существует, — лишь мои воспоминания. У меня ракурс удобнее: я, по большей части, ясно её вижу. Она же, и попыталась бы посмотреть — не увидела бы.)

Ричард стоит рядом, он, говоря языком того времени и места, великолепен; то есть довольно молод, не уродлив и богат. Он солиден, но лицо насмешливо: одна бровь приподнята, нижняя губа слегка оттопырена, рот кривится в улыбке, словно он тайком вспомнил сомнительную шутку. В петлице — гвоздика, волосы зачесаны назад и от популярного в ту пору бриллиантина блестят, как купальная шапочка. Но все же он красив. Надо это признать. Галантен. Светский человек.

Есть и групповые портреты — на заднем плане толкутся шаферы в костюмах — они и на похороны одеваются так же, — и метрдотели; на переднем — чистенькие, сияющие подружки невесты с роскошными пенистыми букетами. Лора умудрилась испортить все фотографии. На одной решительно хмурится; на другой — должно быть, повернула голову, и лицо расплылось в силуэт ударившегося о стекло голубя. На третьей — грызет ногти, виновато оглядываясь, будто её застигли на месте преступления. На четвертой — должно быть, дефект пленки: вроде бы пятна света, но освещающего Лору не сверху, а снизу, будто она стоит ночью на краю залитого светом бассейна.

После церемонии ко мне подошла Рини в представительном синем платье. Она крепко меня обняла и сказала:

— Если бы твоя мать это видела!

Что она имела в виду? Мама зааплодировала бы или остановила процедуру? Судя по тону Рини, могло быть и то, и другое. Рини заплакала, я — нет. На свадьбах люди плачут, как на счастливых развязках: им отчаянно хочется верить в неправдоподобное. Но я переросла это ребячество: я вдыхала холодный пьянящий воздух

разочарования — так мне казалось.

Конечно, подавали шампанское. Как же без этого: Уинифред проследила. Гости ели. Звучали речи, но я ничего не запомнила. Танцы? Кажется, были. Я не умела танцевать, но как-то оказалась на площадке и, следовательно, что-то изобразила.

Затем я переоделась в дорожный костюм. Светло-зеленый, из тонкой шерсти, и скромная шляпка в тон. По словам Уинифред, шляпка стоила кучу денег. Перед уходом я встала на лестнице (какой лестнице? она из памяти испарилась) и бросила свадебный букет Лоре. Она не поймала. Стояла в своем розовом платье, сжав руки, словно сама себя держала, и сурово на меня глядела. Букет подхватила одна из подружек невесты — какая-то кузина Гриффенов, — и проворно с ним убежала, будто с подачкой.

Отец к тому времени исчез. И хорошо, потому что, когда его последний раз видели, он еле держался на ногах. Думаю, скрылся, чтобы довести начатое до конца.

Ричард взял меня за локоть и повел к автомобилю. Никто не должен был знать, куда мы едем. Предполагалось, что куда-то за город, в уединенную, романтическую гостиницу. На самом же

деле мы объехали квартал, вернулись назад, к боковому входу в отель «Ройял-Йорк», где только что принимали гостей, и проскользнули в лифт. Ричард сказал: зачем сбиваться с пути, раз на следующее утро мы отправляемся в Нью-Йорк, а вокзал через дорогу?

Я мало что могу рассказать о своей первой брачной ночи — точнее, дне: солнце ещё не село, Ричард не задернул шторы, и комната (если прибегнуть к штампу) утопала в розовом сиянии. Я не знала, чего ожидать; со мной об этом говорила только Рини, уверившая меня, что будет противно и скорее всего больно. Тут она не обманула. Еще Рини дала понять, что это неприятное событие или ощущение — обычное дело: все женщины через это проходят, во всяком случае, все замужние, и не стоит поднимать шума. *Улыбайся и терпи,* сказала она. Еще сказала, что будет немного крови. Тут она тоже не ошиблась. (Но почему — не сказала. И вот это стало для меня полной неожиданностью.)

Тогда я ещё не знала, что отсутствие удовольствия — мое отвращение, даже мое страдание, — муж сочтет вполне нормальным, желательным даже. Он был из тех, кто считал, что если женщина не испытывает сексуального наслаждения,

оно и к лучшему: не будет искать его на стороне. Возможно, такой взгляд был распространенным в то время среди мужчин. А может, и нет. Не мне судить.

Ричард распорядился, чтобы в номер принесли шампанское, рассчитав нужный момент. И ещё ужин. Я проковыляла в ванную и заперлась там, пока официант накрывал передвижной столик с белой льняной скатертью. На мне был наряд, который Уинифред сочла достойным ситуации: атласная серо-розовая рубашка с тончайшим серым кружевом. Я пыталась оттереть себя мочалкой, а потом задумалась, что делать с рубашкой: пятно очень бросалось в глаза, словно у меня шла носом кровь. В конце концов, я бросила рубашку в корзину для бумаг, надеясь, что горничная решит, будто она попала туда случайно.

Потом я побрызгала себя одеколоном «Лиу»; запах показался мне слабым и болезненным. Я уже знала, что одеколон назван в честь девушки из оперы — невольницы, которая предпочла убить себя, чтобы не изменить любимому, который, в

свою очередь, любил кого-то ещё[80]. Такие дела творятся в операх. Счастливым запах не казался, но я нервничала, что необычно пахну. Я и впрямь необычно пахла. Необычность исходила от Ричарда, но теперь коснулась меня. Я надеялась, что не очень шумела. Невольные вздохи, судорожные глотки воздуха, будто ныряешь в холодную воду.

На ужин подали бифштекс и салат. Я ела почти один салат.

Тогда во всех отелях подавали одинаковый латук. На вкус — как бледно-зеленая водичка. Или иней.

Путешествие в Нью-Йорк прошло без приключений. Ричард читал газеты, я — журналы. Разговоры ничем не отличались от тех, что мы вели перед свадьбой. (Трудно назвать их разговорами, поскольку я особо не говорила. Улыбалась, соглашалась и не вслушивалась.)

В Нью-Йорке мы ужинали в ресторане с какими-то друзьями Ричарда — супружеской парой, имен я не помню. Нуворишами, несомненно, — это бросалось в глаза. Одежда на них выглядела

---

[80] Примечания: 80

Лиу — невольница из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858–1924) «Турандот». Она, тайно влюбленная в принца Калафа, отказывается назвать его имя, поскольку это грозит ему смертью, и за это погибает сама.

так, будто они намазались клеем, а потом вывалялись в стодолларовых купюрах. Интересно, как им удалось разбогатеть: пахло нечистым.

Эти люди Ричарда не очень знали, да особенно и не стремились: они просто были ему обязаны, вот и все — за какую-то неизвестную услугу. Они его побаивались, слегка почтительно. Я это вычислила по игре с зажигалками: кто кому подносит огонь и насколько быстро. Ричард наслаждался их угодливостью. Он получал удовольствие, когда ему подносили зажигалку, а заодно и мне.

Я поняла, что Ричард захотел встретиться с ними не только из желания окружить себя льстецами, но и потому что не хотел оставаться наедине со мной. Едва ли его можно осудить: сказать мне было почти нечего. Но в обществе он был ко мне очень внимателен: заботливо подавал пальто, оказывал всякие мелкие нежные услуги, постоянно слегка касался меня где-нибудь. Время от времени обегал взглядом зал: завидуют ли ему другие? (Я. об этом догадываюсь, разумеется, задним числом — тогда я ничего не замечала.)

Ресторан был очень дорогой и очень современный. Я никогда не видела ничего подобного. Все сверкало, а не сияло; повсюду дерево, латунь и хрупкое стекло, и все это множеством слоев. Сти-

лизованные скульптуры женщин — медные или стальные — гладкие, как леденцы, с бровями, но без глаз, со стройными бедрами, но без ступней, с руками, что растворяются в туловище; белые мраморные шары; круглые иллюминаторы зеркал. На каждом столике в тонкой стальной вазочке одна калла.

Знакомые Ричарда были ещё старше него, а женщина — старше мужчины. В белой норке, несмотря на весеннюю погоду. Платье тоже белое, фасон (как она подробно нам рассказала) навеян древнегреческими мотивами, а точнее, образом Ники Самофракийской. Складки прошиты под грудью золотой тесьмой, которая проходит по ложбинке. Будь у меня такая дряблая отвисшая грудь, подумала я, никогда бы это платье не надела. Шея и руки у неё были веснушчатые и морщинистые. Пока она трещала, её муж с застывшей полуулыбкой на губах молчал, сжав кулаки, и вдумчиво созерцал скатерть. *Значит, вот оно, супружество,* подумала я: скука вдвоем, нервозность, и эти крошечные напудренные ручейки вдоль носа.

— Ричард не предупредил нас, что вы так *молоды,* — сказала женщина.

— Это пройдет, — прибавил муж, и жена рас-

смеялась.

Я обратила внимание на *не предупредил:* неужели я так опасна? Разве что как овца, думаю я теперь. Овцы так глупо попадают в беду: сбиваются в кучу на скале, или их окружают волки, и пастуху приходится рисковать жизнью и спасать стадо.

Вскоре, проведя два — или три? — дня в Нью-Йорке, мы отправились в Европу на *«Береджерии»;* Ричард сказал, на ней плавают все важные птицы. Море было довольно спокойное, и все же меня тошнило, как собаку от редьки. (Почему именно собаку? Потому что у них всегда такой вид, будто они ничего не могут изменить. Вот и я тоже.)

Мне принесли тазик и холодный слабый чай с сахаром и без молока. Ричард посоветовал выпить шампанского, сказал, что это лучшее лекарство, но я не хотела рисковать. Ричард был довольно внимателен, но притом раздражен; какой стыд, заметил он, что я больна. Я сказала, что не хочу портить ему вечер, пусть он идет и общается; так он и сделал. Единственный плюс — он не пытался забраться ко мне в постель. Секс возможен при самых разных обстоятельствах, но рвота — не из их числа.

На следующее утро Ричард сказал, что мне надо попытаться выйти к завтраку: правильный подход — наполовину победа. Сев за наш столик, я поклевала хлеба и попила воды, стараясь не обращать внимания на кухонные запахи. Я ощущала себя бестелесной, слабой, сморщенной, точно сдувшийся шарик. Ричард периодически за мной ухаживал, но он здесь многих знал или казалось, что знал, и его тоже знали. Он вставал, пожимал руки и снова садился. Иногда представлял меня, иногда — нет. Однако он знал не всех, кого хотел бы знать. Я поняла это, видя, как он все время озирается, смотрит мимо меня и собеседников — поверх голов.

Мне постепенно становилось лучше. Я выпила имбирного пива, и оно помогло. К ужину я вышла — правда, не ела. Вечером было представление кабаре. Я надела платье, которое Уинифред выбрала для такого события, — серо-сизое, с сиреневой шифоновой пелериной. К ним прилагались сиреневые туфли на высоком каблуке и с открытым носом. Я ещё не научилась как следует ходить на каблуках и слегка покачивалась. Ричард сказал, что морской воздух идет мне на пользу: прекрасный цвет лица и румянец, как у школьницы. Я чудесно выгляжу, сказал он.

Подвел меня к нашему столику и заказал нам обоим мартини. Сказал, мартини в мгновение ока приведет меня в норму.

Я отпила немного, и Ричард исчез, осталась одна певица, вышедшая к публике. Черные волосы закрывали один глаз; черное платье с крупными блестками обтягивало фигуру, подчеркивая твердый рельефный зад; оно держалось на каком-то перекрученном шнурке. Я смотрела с восхищением. Я никогда не бывала в кабаре, даже в ночном клубе. Поводя плечами, она пропела — страстно простонала — «Ненастье». Декольте у неё было чуть не до пупа.

Люди сидели за столиками, смотрели на певицу, слушали, обменивались мнениями: нравится — не нравится, очаровательна — не очаровательна; они одобряли или не одобряли её пение, платье, зад; они вольны были судить. Она не вольна. Она должна пройти через это — петь, поводить плечами. Интересно, сколько ей платят, и стоит ли игра свеч. Только если ты нищий, решила я. А фраза *на публике* с тех пор стала для меня синонимом унижения. *Публику* следует по возможности избегать.

После певицы вышел мужчина, который торопливо играл на белом рояле, а потом пара

профессиональных танцоров исполнила танго. В черном, как и певица. Огни стали ядовито-зелеными, и волосы танцоров блестели, будто лакированные. У женщины темный завиток на лбу и большой красный цветок за ухом. Платье расширялось от середины бедра, но выше походило на чулок. Музыка рваная, прерывистая, будто четвероногое пошатывается на трёх ногах. Раненый бык, нацелив рога, устремился вперед.

Танец напоминал поединок. Лица неподвижны и бесстрастны; танцоры пожирали друг друга глазами, ища возможности укусить. Я понимала, что это постановка, что исполнено искусно; и все же оба казались ранеными.

Наступил третий день. К полудню я вышла на палубу подышать. Ричард меня не сопровождал — сказал, ожидает важных телеграмм. Он уже много их получал, вскрывал серебряным ножичком конверт, читал, а затем рвал или клал в портфель, запиравшийся на ключик.

Не то, чтобы я очень хотела его общества, но все же чувствовала себя одинокой. Будто соблазненной и покинутой, будто сердце мое разбито. На меня поглядывали англичане в кремовых лёгких костюмах. Не враждебно — вежливо, отстранений, слегка заинтересованно. Взгляд

англичанина ни с каким не спутаешь. Я чувствовала себя взъерошенной, неопрятной и неинтересной.

Небо затянули грязно-серые облака, они свисали комьями, точно вата из промокшего матраса. Накрапывал дождик. Я не надела шляпу — боялась, что её сдует. Только шелковый шарф, завязанный под подбородком. Стоя у поручней, я глядела вниз на катящиеся волны цвета сланцев, на пенный след в кильватере — краткое, бессмысленное послание. И как вестник будущего несчастья — шифоновый лоскут. Ветер сдувал на меня копоть из трубы, волосы растрепались, и мокрые локоны прилипли к щекам.

Вот каков океан, думала я. Не такая уж бездна. Я пыталась припомнить, что я о нём читала, какое-нибудь стихотворение, но ничего не приходило на ум. *Бей, бей, бей.* А дальше как? Там ещё был многошумный прибой. *Непокойное море.*

Мне захотелось бросить что-нибудь за борт. Я чувствовала, что так нужно. В конце концов бросила медную монетку, но желания не загадала.

VI

Слепой убийца: Костюм в мелкую клетку

Он поворачивает ключ. Маленькая радость: есть задвижка. На этот раз повезло: в его распоряжении целая квартира. Однокомнатная, кухня в нише, зато есть ванная, а в ней колченогая ванна и розовые полотенца. Просто шикарно! Квартира подружки друга его друга — она уехала на похороны. Целых четыре дня безопасности — хотя бы иллюзии безопасности.

Поверх тюлевых занавесок висят шторы — тяжелый гофрированный вишневый шелк, под цвет покрывала на кровати. Стараясь держаться подальше от окна, он выглядывает на улицу. Сквозь пожелтевшую листву виден Аллен-Гарденс. Парочка пьяниц или бродяг валяется под деревьями, один накрыл лицо газетой. Он и сам, бывало, так спал. Увлажненные дыханием газеты пахнут бедностью, поражением, заплесневелым диваном в собачьей шерсти. Повсюду картонные указатели, скомканная бумага — осталось после вчерашнего вечернего митинга: товарищи вбивали свои догматы слушателям в уши — ко-

вали остывшее железо. Сейчас два унылых типа убирают мусор, накалывают на острые палки и складывают в холщовые мешки. По крайней мере, бедняги не безработные.

Она пересечет парк. Остановится, слишком явно оглядится, не смотрит ли кто. Тут-то смотреть и станут.

На белом с позолотой столике радиоприемник размером и формой — как полбуханки хлеба. Он включает: звучит мексиканское трио — голоса переплетаются, тягучие, резкие, нежные. Вот куда нужно ехать — в Мексику. Пить текилу. Пойти к чертям — ко всем чертям. К самому сатане. Стать сорвиголовой. Он ставит пишмашинку на стол, открывает, откидывает крышку, вставляет лист бумаги. Кончается копирка. До её прихода (если она придет) он успеет написать несколько страниц. Иногда её задерживают или не отпускают. Так она говорит.

Ему хочется отнести её в эту роскошную ванну и всю покрыть мыльной пеной. Побултыхаться вместе — поросятами в розовых пузырьках. Может, он так и сделает.

Сейчас он разрабатывает одну идею, или идею идеи. Внеземная раса посылает космический корабль исследовать Землю. Сама раса — высоко-

организованные кристаллы, и на Земле пытаются установить контакт с теми, кто похож на них, — с очками, оконными стеклами, пресс-папье из венецианского стекла, бокалами, бриллиантовыми кольцами. У них ничего не получается. Тогда они шлют домой отчет: *На планете обнаружено много интересных свидетельств присутствия в прошлом высокоразвитой цивилизации, которая в настоящее время прекратила существование. Неизвестно, какая катастрофа привела к исчезновению разумной жизни. На планете сейчас осталось несколько разновидностей вязкой зеленой субстанции и множество капель полужидкой грязи эксцентричных форм. Они движутся в беспорядке, благодаря хаотичным потокам светлой прозрачной жидкости, окутывающей планету. Издаваемые ими резкий писк и звучные стоны объясняются фрикционной вибрацией, их не следует путать с речью.*

Но это ещё не история. Истории не выйдет, если пришельцы не захватят и не опустошат планету, а на какой-нибудь даме не лопнет комбинезон. Но это противоречит изначальной посылке. Если существа-кристаллы полагают, что на планете нет жизни, зачем вообще на неё садиться? Может, археологические раскопки? Взять образцы. Не-

ожиданно тысячи стекол внеземным пылесосом высасываются из окон нью-йоркских небоскребов. Заодно и тысячи президентов банков визжа уходят в небытиё. Неплохо.

Нет. Все равно не история. Нужно написать нечто такое, что будет продаваться. Опять, значит, беспроигрышные мертвые красотки, жаждущие свежей крови. На этот раз у них будут пурпурные волосы, и живут они под ядовито-лиловыми лучами двенадцати лун Арна. Лучше сначала нарисовать картинку для обложки, которая понравится парням, а потом уже плясать от неё.

Он устал от них, от этих женщин. Устал от их клыков, гибких тел, упругих, роскошных грудей как полгрейпфрута, от их ненасытности. Устал от красных длинных ногтей и змеиных взглядов. Устал от размозженных голов. Устал от героев с именами Уилл, или Берт, или Нед, из одного слога; устал от лучевых ружей, обтягивающих металлических костюмов. Книжки за гроши. И все же это заработок, особенно если писать быстро, а у нищих выбора нет.

Деньги опять кончаются. Одна надежда, что она принесет чек, денежный перевод на чужое имя. Он подпишет, она обналичит; под своим именем,

в своем банке, очень просто. Он надеется, она принесет почтовые марки. И сигареты. Осталось всего три.

Он ходит по комнате. Пол поскрипывает. Древесина прочная, только пятна под радиатором. Дом построили до войны, для бизнесменов с хорошей репутацией. Тогда дела шли получше. Паровое отопление, всегда горячая вода, кафельный пол в коридорах — последний писк. Теперь все обветшало. Несколько лет назад, когда он был совсем молод, он знал девушку, которая тут жила. Медсестра, кажется: презики в тумбочке. На двухконфорочной плите она иногда готовила ему завтрак — яичницу с беконом, оладьи с кленовым сиропом; он слизывал сироп с её пальчиков. На стене висела оленья голова, оставшаяся от прежних жильцов, и медсестра сушила на рогах чулки.

Они проводили вместе субботы, вечера вторника, все её выходные, пили — виски, джин, водку, что придется. Она любила сначала основательно надраться. Ей никогда не хотелось в кино или на танцы; она вроде бы не нуждалась в романтике или хотя бы её подобии. Ей требовалась только его выносливость. Она любила расстилать одеяло на полу в ванной, ей нравилось чувствовать спи-

ной жесткий кафель. Его локтям и коленям тоже доставалось, но тогда он об этом не думал — был занят другим. Она стонала, точно на публику, мотала головой, закатывала глаза. Однажды он взял её стоя, в стенном шкафу. Дрожь в коленях, запах нафталина, нарядные платья, шерстяные костюмы. Она плакала от наслаждения. Расставшись с ним, она вышла замуж за адвоката. Брак по расчету, свадьба с флердоранжем; он прочитал о свадьбе в газете, позабавился, но не разозлился. *Тем лучше,* подумал он. *И потаскушкам иногда везет.*

Зеленая юность. Неописуемые дни, бездумные вечера, позорные, быстро пролетающие; никаких страстей — ни до, ни после, и слов никаких не нужно, и ни за что не платишь. Пока он не запутался в этой путанице.

Он смотрит на часы, потом опять в окно; вот и она, шагает по парку; сегодня на ней широкополая шляпа и туго перепоясанный костюм в мелкую клетку; сумку держит под мышкой; колышется юбка; неповторимая волнистая походка, будто она до сих пор не привыкла ходить на двух ногах. Может, всему виной высокие каблуки? Он часто думал, как женщины не падают. Вот она, словно по команде, остановилась, оглядывается

с обычным своим оцепенелым видом, словно очнулась от загадочного сна, и мусорщики окидывают её взглядом. *Что-то потеряли, мисс?* Но она идет дальше, переходит дорогу, силуэт мелькает в густой листве — должно быть, высматривает номер дома. Сейчас поднимается на крыльцо. Звонит в дверь. Он давит на кнопку, тушит сигарету, выключает настольную лампу и распахивает дверь.

Привет. Я совсем запыхалась. Не стала ждать лифта. Она захлопывает дверь, прислоняется к ней.

За тобой никто не шел. Я следил. Ты принесла сигареты?

И твой чек тоже. А ещё четверть бутылки отличного виски. Стянула из нашего бара — там полно всего. Я тебе говорила — у нас бар просто набит?

Изображает непринужденность, легкомысленность даже. Это ей не очень удается. Тянет время, чтобы понять, чего он ждет. Никогда не делает шаг первой — не любит раскрываться.

Умница. Он подходит к ней, обнимает.

Правда же, умница? Иногда я себя чувствую любовницей гангстера — поручения выполняю.

Ты не любовница гангстера. У меня и ружья

нет. Ты слишком много смотришь кино.

Не так уж и много, говорит она, уткнувшись ему в шею. Мог бы и постричься. Мягкие лохмы. Она расстегивает четыре верхние пуговицы, запускает ему руку под рубашку. Тело такое плотное — плоть. Точно обугленное полированное дерево. Она видела такие пепельницы.

Слепой убийца: Красная парча

Это было замечательно, говорит она. Замечательное купание. Я тебя и вообразить не могла среди розовых полотенец. По сравнению с тем, что обычно, тут просто роскошь.

Искушение подстерегает нас везде, говорит он. Богатство манит. По-моему, хозяйка не профессиональная потаскушка, как ты думаешь?

Он заворачивает её в розовое полотенце, относит в кровать — мокрую и скользкую. Они лежат на сатиновых простынях под вишневым шелковым покрывалом и пьют виски. Отличное виски, теплое и дымчатое, глотается легче лёгкого. Она с наслаждением потягивается, и лишь на секунду задумывается, кто будет стирать простыни.

В этих нескончаемых комнатах ей никак не удается избавиться от чувства греха — ощущения, что она вторгается в частную жизнь тех,

кто здесь обычно живет. Ей хочется осмотреть шкафы, ящики столов — ничего не брать, только посмотреть — увидеть, как живут другие люди. Реальные люди — реальнее, чем она. Ей хочется и с ним проделать то же самое, но у него нет шкафов, нет ящиков, вообще ничего нет. Нечего искать, ничто его не выдаст. Разве только потертый синий чемодан, всегда запертый. Обычно стоит под кроватью.

Из карманов ничего не узнаешь: она уже несколько раз в них рылась. (Это не шпионство, она просто хотела знать, как обстоят дела, на каком они свете.) Что там было? Голубой платок с белой каймой; мелочь; два окурка, завернутые в папиросную бумагу — должно быть, на черный день. Старый перочинный ножик. Однажды пара пуговиц — с рубашки, решила она. Но пришить не предложила — он бы понял, что она рылась в карманах. Ей хочется, чтобы он ей доверял.

Водительские права — на чужое имя. Свидетельство о рождении — то же самое. Разные имена. Ей хочется обыскать его целиком. Всего обшарить. Перевернуть вверх ногами. Вытрясти.

Он вкрадчиво напевает, как шансонье по радио:

В комнате дымка, ты подле меня, а в

небе луна, —

Я целую тебя, и ты говоришь: я буду верна.

Я ласкаю тебя под платьем,

Мы барахтаемся в кровати,

Но заря пришла — тебя унесла,

И мне не до сна.

Она смеется. Откуда это?

Это шлюшья песенка. Подходит к декорациям.

Она не настоящая шлюха. Даже не любительница. Не думаю, что она берет деньги. Скорее другое какое-то вознаграждение.

Шоколад, например. Ты бы согласилась?

Потребовались бы целые грузовики с шоколадом. Я довольно дорогая. Покрывало из настоящего шелка. И цвет хорош — кричащий, но ничего. Выигрышный для кожи — как розовые абажурчики. Ты состряпал продолжение?

Ты о чем?

О моей истории.

Твоей истории?

Ну да. Она же для меня?

Для тебя, говорит он. Конечно. Я ни о чем другом не думаю. Спать по ночам не могу.

Враль. Тебе наскучило?

Как может наскучить то, что доставляет тебе удовольствие!

Ах, как галантно! Надо почаще пользоваться розовыми полотенцами. Скоро будешь целовать мои хрустальные башмачки. Но все равно, продолжай.

На чем я остановился?

Пробил колокол. Перерезано горло. Дверь открывается.

Ага. Ну, слушай.

Девушка, о которой идет речь, услышала, как открылась дверь. Она прижимается спиной к стене, натягивая на себя красное парчовое покрывало с Ложа Одной Ночи. Оно противно пахнет, как солончак после отлива, — это застывший страх её предшественниц. Кто-то вошел; слышно, как втаскивают что-то тяжелое. Дверь снова закрывается; темно, как в гробу. Почему здесь ни лампы, ни свечи?

Она в страхе выставляет перед собой руки, желая защититься, и тут её левую руку берет другая рука — нежно, без усилия. Будто задает вопрос.

Она не может ответить. Не может сказать: *я не могу говорить.*

Слепой убийца сбрасывает женскую чадру. Держит руку девушки, садится подле неё на ложе. Он

по-прежнему намерен её убить, но с этим можно подождать. Он наслышан об этих затворницах, которых прячут от всех до последнего дня. Ему интересно. И вообще, девушка — вроде подарка, и подарок — для него. Отвергнуть такой дар — все равно, что плюнуть богам в лицо. Он знает, что надо торопиться, сделать дело и исчезнуть, но время ещё есть. Он вдыхает запах благовоний, которыми умастили её тело, запах похоронных дрог, что везут девушек, умерших до замужества. Погибшая свежесть.

Он не лишит её девственности, не сделает того, за что заплачено: фальшивый Владыка Подземного Мира наверняка уже был здесь и ушел. В ржавой кольчуге? Вполне возможно. Позвякивая, вошел в неё, как увесистый железный ключ, повернул в нежной плоти, открыл. Слепой убийца слишком хорошо помнит это ощущение. Такого он с ней не сделает.

Он подносит её руку к губам, не целуя, а лишь касаясь, — в знак уважения и преклонения. Милостивая и добрая госпожа, начинает он — обычное обращение бедняка к богатой благодетельнице — слух о вашей неземной красоте привел меня сюда, хотя за счастье находиться рядом с вами я заплачу жизнью. Я не вижу вас глазами, потому

что слеп. Разрешите мне увидеть вас руками. Это будет последняя радость — возможно, и ваша тоже.

Он побывал в шкуре раба и шлюхи; это не прошло даром: он научился льстить, правдоподобно лгать и добиваться расположения. Он касается пальцами её подбородка и ждет; поколебавшись, девушка кивает. Ему кажется, он слышит её мысли: *завтра я умру.* Интересно, догадывается ли она, зачем он на самом деле пришел?

Лучшее порой совершается теми, кому некуда деться, у кого не осталось времени, кто воистину понимает, что такое *беспомощный.* Они не прикидывают риск или выгоду, не думают о будущем: их копьем в спину выталкивают в настоящее. Когда тебя сбрасывают в пропасть, падаешь или летишь; цепляешься за любую надежду, даже самую неправдоподобную, надеешься — если мне позволят употребить такое заезженное слово — даже на чудо. Это называется *наперекор всему.*

Такой была и эта ночь.

Слепой убийца очень медленно начинает её ласкать — одной рукой, правой, более умелой, той, что обычно держит кинжал. Он гладит её лицо, шею, затем и левой рукой, ласкает её обеими руками, нежно, точно отмыкая очень хрупкий за-

мок, замок из шелка. Будто ласка воды. Девушка дрожит, но уже не от страха. Немного спустя парчовое покрывало падает, она берет руку убийцы и сама её направляет.

Прикосновение предшествует зрению, предшествует речи. Это первый и последний язык, и он не лжет.

Вот так случилось, что девушка, не способная говорить, и мужчина, не способный видеть, полюбили друг друга.

Ты меня удивляешь, говорит она.

Удивляю? — переспрашивает он. Почему? Впрочем, мне нравится. Он закуривает, предлагает ей, она качает головой. Он слишком много курит. Все это нервы — пусть у него пальцы и не дрожат.

Потому что ты сказал, что они полюбили друг друга. Обычно ты только фыркаешь, когда говорят о любви — вымысел, буржуазный предрассудок, прогнивший на корню. Болезненная сентиментальность, возвышенное викторианское оправдание обычной похоти. Ты что, смягчился?

Не стыди меня, такая уж история, улыбается он. Так случается. Любовь зафиксирована в истории; по крайней мере, на словах. К тому же я сказал, что он лжет.

Не увиливай. Лгал он только сначала. Потом

ты все изменил.

Согласен. Но можно посмотреть и приземленнее.

На что посмотреть?

На эти дела с любовью.

С каких пор это дела? — сердится она.

Он улыбается. Тебя это смущает? Слишком коммерчески? Совесть твоя содрогается, ты это хочешь сказать? Но сделка всегда есть, ведь так?

Не так, говорит она. Нет. Не всегда.

Он, можно сказать, воспользовался тем, что само шло в руки. Почему бы и нет? Никаких угрызений совести, жизнь звериная, и всегда такая была. Или они оба молоды и просто не поняли. Молодежь часто принимает желание за любовь, они же в идеализме по уши. А может, он все же убил девушку? Я же говорил, он абсолютный эгоист.

Ага, испугался, говорит она. Идешь на попятную, трус ты эдакий. Не хочешь идти до конца. Ты в любви — как динама в ебле.

Он смеется — испуганно смеется. Из-за грубости? Захвачен врасплох? Неужели ей удалось? Попридержите язычок, юная леди.

Почему, собственно? На себя посмотри.

Я плохой пример. Скажем, они получили воз-

можность не отказывать себе — своим чувствам, если хочешь. Выпустить чувства на волю — жить моментом, отдаться поэзии, сжечь свечу, осушить кубок, выть на луну. Время поджимало. Им было нечего терять.

Ему было что терять. По крайней мере, он так думал!

Пусть так. *Ей* нечего было терять. Он выдувает облако дыма.

В отличие от меня, говорит она. Ты на это намекаешь.

В отличие от тебя, дорогая. Зато — как мне. Мне нечего терять.

У тебя есть я, говорит она. Я — что-то.

Торонто Стар, 28 августа, 1935 года

ПРОПАВШАЯ
ШКОЛЬНИЦА ОТЫСКАЛАСЬ В ГОСТЯХ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СТАР»

Вчера полиция прекратила поиски четырнадцатилетней школьницы Лоры Чейз, пропавшей больше недели назад, поскольку стало известно, что мисс Чейз, здоровая и невредимая, находится у мистера и миссис Э. Ньютон-Доббс, друзей семьи, в их летней резиденции в Муско-

ке. Известный промышленник Ричард Э. Гриффен, женатый на сестре мисс Чейз, ответил по телефону на вопросы журналистов: «Мы с женой почувствовали большое облегчение, — сказал он. — Произошла некоторая путаница из-за задержки письма на почте. Мисс Чейз, как и принимавшие её супруги Ньютон-Доббс, была уверена, что мы в курсе её планов. Газет на отдыхе они не читают, иначе такое недоразумение никогда бы не произошло. Вернувшись в город и узнав о наших волнениях, они тут же позвонили».

На просьбу прокомментировать слухи о том, что мисс Чейз сбежала из дома и скрывалась при странных обстоятельствах в парке развлечений на Саннисайд-Бич мистер Гриффен ответил, что не знает, кто распускает эти грязные сплетни, но постарается выяснить. «Произошло обычное недоразумение, такое может случиться с кем угодно, — сказал он. — Мы с женой счастливы, что с девочкой все в порядке и выражаем искреннюю благодарность полиции, журналистам

и всем, кто нас поддерживал, за неоценимую помощь». Говорят, что мисс Чейз очень смущена подобной популярностью и отказывается беседовать с журналистами.

Ситуация разрешилась быстро, однако это первая ласточка, свидетельствующая, что не все у нас обстоит благополучно с почтовой службой. Общественность достойна сервиса, на который можно целиком полагаться. Правительственным чиновникам следует озаботиться этой проблемой.

Слепой убийца: Улица

Она идет по улице, надеясь, что выглядит, как женщина, имеющая право идти по улице. По этой улице. Но увы. Она не так одета — не та шляпка, не то пальто. Нужна косынка на голову и мешковатое пальто с потертыми рукавами. Надо быть бедной неряхой.

Дома стоят впритык. Когда-то ряды коттеджей для прислуги, но теперь прислуги меньше, а богатые как-то выкручиваются. Закопченные кирпичи, два вертикально, два горизонтально, удобства во дворе. Кое-где на лужайках — остатки

огородов: почерневший стебель помидора, на деревянном каркасе болтается бечевка. Вряд ли удачное место для огородов: слишком тенистое, в почве много шлаков. Но осенняя листва роскошна — желтая, оранжевая, алая и бордовая, как свежая печень.

Из домов доносятся вой, лай, грохот, хлопанье дверей. Гневные выкрики женщин, дерзкие вопли детей. На тесных верандах по деревянным стульям, безвольно уронив руки, расселись мужчины; работы нет, но пока есть дом и семья.

Они пялятся на неё, хмурятся, горько оценивая меховую опушку на рукавах и воротнике, сумочку из змеиной кожи. Может, это жильцы, загнанные в подвалы и каморки, чтобы хозяевам хватило на аренду.

Женщины спешат по улице — опустили головы, ссутулились, тащат набитые сумки. Должно быть, замужем. На ум приходит слово *тушуются.* Выпрашивают кости у мясника, несут домой обрезки, подают с вялой капустой.

А у неё слишком расправлены плечи, слишком вздернут подбородок, нет этого побитого взгляда; когда женщины поднимают головы и замечают её, в их глазах неприязнь. Наверное, принимают за проститутку — только что она делает здесь в

таких дорогих туфлях? Не по ней райончик.

Вот бар — на углу, где он и сказал. Пивной бар. У входа толпятся мужчины. Когда она проходит мимо, все молчат, — просто глазеют, словно из чащи, но она чувствует, как шепот, ненависть и похоть клокочут у них в горле, тянутся за ней, точно струя за кормой. Может, приняли её за церковную даму-благотворительницу или ещё какую вонючую филантропку. Запустит чистые пальчики в их жизнь, станет вопросы задавать, совать объедки в помощь. Нет, слишком хорошо одета.

Она приехала на такси, но расплатилась в трёх кварталах отсюда, где побольше машин. Лучше не вызывать разговоров — ну кто сюда поедет на такси? Но о ней и так станут болтать. Нужно другое пальто, купить на распродаже, затолкать в чемодан. Зайти в ресторан, оставить свое пальто в гардеробе, проскользнуть в женскую комнату, переодеться. Взъерошить волосы, размазать помаду. Выйти другой женщиной.

Нет. Ничего не получится. Начать с чемодана. Как вынести его из дома? *Куда это ты помчалась?*

Поэтому приходиться изображать шпионские номера без шпионских штучек. Полагаясь только

на мимику, на её коварство. У неё уже достаточно практики — по части ловкости, хладнокровия, безучастности. Удивленно вздернутые брови, чистый, искренний взгляд двойного агента. Чиста, словно родник. Важно не лгать, а избегать необходимости лжи. Чтобы все расспросы заранее казались абсурдными.

Но все же немного опасно. И для него тоже; больше, чем раньше, — так он сказал. Кажется, его заметили на улице; узнали. Какой-то тип — возможно, из красного взвода. Пришлось нырнуть в переполненный пивной зал и скрыться через черный ход.

Она не знает, верить ли в такую опасность: мужчины в темных мешковатых костюмах с поднятыми воротниками, патрульные полицейские машины. *Пройдемте. Вы арестованы.* Пустые комнаты и яркий свет. Не в меру театрально, такие вещи происходят лишь в тумане, в черно-белой гамме. В других странах, на других языках. А если здесь, то не с ней.

Если его поймают, она отречется от него раньше, чем петух единожды прокричит. Она это сознает — просто, спокойно. В любом случае её не тронут: их знакомство сочтут легкомысленным баловством или вызывающей выходкой — сло-

вом, все будет шито-крыто. Придется, конечно, заплатить за это при закрытых дверях — только чем? Она и так уже полный банкрот; из камня крови не выжмешь. Она спрячется от всех, захлопнет ставни. Будет только выходить к обеду.

Последнее время у неё появилось ощущение, что за ней следят, но проводя рекогносцировку, никого не видит. Она стала осторожнее — как только можно. Страшно? Да. Почти постоянно. Но страх ничего не значит. Нет, все-таки значит. От страха наслаждение острее; и яснее чувство, что она выходит сухой из воды.

Настоящая опасность в ней самой. Что она позволит, как далеко захочет пойти. Впрочем, позволения и хотения ни при чем. Значит, куда её направят, куда поведут. Она свои мотивы не анализирует. Возможно, их и нет; желание — не мотив. Похоже, у неё нет выбора. В столь остром наслаждении — и унижение тоже. Будто тебя волокут на постыдной веревке, на аркане за шею. Её возмущает эта несвобода, и она тянет время между встречами, дозирует их. Не приходит на свидание, а потом выдумывает — говорит, что не видела знаков мелом на стене в парке, не получала сообщений — новый адрес несуществующего ателье, почтовой открытки от старой подруги,

какой у неё никогда не было, телефонного звонка якобы по ошибке.

Но в конце всегда возвращается. Что толку сопротивляться? Она идет к нему, чтобы утратить память, забыться. Она сдается, теряет себя, погружается во мрак своей плоти, забывает свое имя. Жертвоприношения — вот чего она жаждет, пусть краткого. Существования без границ.

Иногда она задумывается о вещах, которые прежде не приходили ей в голову. Как он стирает одежду? Однажды она видела носки на батарее; он заметил её взгляд и тут же их убрал. Перед её приходом он всегда убирается — по крайней мере, старается изо всех сил. Где он ест? Он говорил, что не любит несколько раз появляться в одном месте. Ему приходится часто менять столовки и забегаловки. Эти слова выходят у него с неряшливым шармом. Порой он особо нервничает, падает духом, никуда не выходит; тогда в комнате огрызки яблок, хлебные крошки на полу.

Откуда у него яблоки, хлеб? Он странно молчалив, когда речь заходит о таких подробностях — что происходит в его жизни без неё? Быть может, он считает, что уронит себя, рассказав ей лишнее. Лишние убогие детали. Может, и прав. (Взять хоть полотна в музеях, где женщины за-

стигнуты в интимные моменты. Спящая нимфа. Сусанна и старцы. Женщина моется, одна нога в жестяном тазу — Ренуар или Дега? И у того, и у другого — пышечки. Диана и её девственницы — когда они ещё не видят подсматривающего охотника. И ни одной картины: «Мужчина, стирающий носки в раковине».)

Роман развивается при некотором отстранении. Роман — это когда смотришь в себя сквозь затуманенное окно. Роман — отход от всего: где жизнь ворчит и сопит, роман лишь вздыхает. Хочет ли она большего — его целиком? Всю картину?

Опасность приходит, когда смотришь чересчур близко и вилишь чересчур много, когда он распадается, а вместе с ним и ты. И потом вдруг просыпаешься пустой, все кончено — отныне и навсегда. У неё ничего не останется. Она будет *обобрана.* Старомодное слово.

На этот раз он не вышел её встречать. Сказал, так лучше. Пришлось ей проделать весь путь одной. Клочок бумаги с таинственными инструкциями — в ладони под перчаткой, но ей не нужно сверяться. Она кожей чувствует лёгкое сияние записки — словно фосфоресцирующий циферблат в темноте.

Она представляет, как он представляет себе её — вот она идет по улице, приближается, все ближе. Нетерпелив, волнуется, не может дождаться? Как и она? Он любит изображать безразличие, будто ему все равно, придет она или нет — но это лишь игра, и не единственная. Например, он больше не курит фабричные сигареты, не может себе позволить. Он сворачивает сигареты сам, такой непристойной на вид розовой резиновой штуковиной, сразу три штуки; потом разрезает их бритвой натрое и складывает в фабричную пачку. Мелкий обман, тщеславные потуги; при мысли о том, что они ему нужны, у неё перехватывает дыхание.

Иногда она приносит ему сигареты, целые пригоршни — щедрый дар, обильный. Таскает их из серебряной шкатулки, что стоит на стеклянном журнальном столике, и набивает ими сумочку. Но не каждый раз. Пусть все время напряженно ждет, пусть будет голоден.

Он лежит на спине, пресыщенный, курит. Если она хочет признаний, то должна услышать их сначала, как проститутка требует деньги вперед. Пусть и скупых признаний. *Я скучал,* может сказать он. Или: *никогда не могу тобой насытиться.* Он закрыл глаза, она шеей чувствует, как он

скрипит зубами, стараясь сдержаться.

А после из него приходится тянуть клещами.

Скажи что-нибудь.

Что именно?

Все, что хочешь.

Скажи, что ты хочешь услышать.

Если скажу, а ты повторишь, я тебе не поверю.

Тогда читай между строк.

Так нет же никаких строк. Ты ничего не говоришь.

Тут он может запеть:

> *О, ты входишь в меня и выходишь обратно,*
>
> *А дым все летит и летит в трубу…*

Как тебе такая строчка? — спрашивает он.

А ты и правда ублюдок.

Никогда ни на что другое не претендовал.

Неудивительно, что приходится обращаться к историям.

У обувной мастерской она поворачивает налево, проходит квартал, затем — ещё два дома. А вот и Эксцельсиор[81] — небольшая трёхэтажка. Наверное, по мотивам Генри Уодсворта Лонгфелло,

---

[81] Примечания: 81

Excelsior (лат.) — [всё] выше (девиз штата Нью-Йорк).

флажок со странной эмблемой: рыцарь, отринув земные блага, штурмует вершины. Вершины чего? Кабинетного буржуазного пиетизма. Как нелепо, особенно здесь и сейчас.

Эксцельсиор — красное кирпичное здание, на каждом этаже по четыре окна с коваными балкончиками, больше похожими на карнизы: даже стул поставить некуда. Когда-то дом был на голову выше окрестных, теперь же — приют тех, кто на грани. На одном балконе натянули бельевую веревку; там флагом побежденного полка болтается серое полотенце.

Она идет мимо, на углу переходит дорогу. Останавливается и смотрит вниз, будто что-то прилипло к туфле. Вниз и назад. За спиной никого, и машин не видно. Тучная женщина взбирается по ступенькам на крыльцо, в каждой руке по авоське — словно балласт; двое оборванцев гонятся по тротуару за шелудивой собакой. Мужчин не видно — только три престарелых стервятника на веранде склонились над одной газетой.

Она поворачивает назад; подойдя к Эксцельсиору, ныряет в переулок рядом и быстро идет, стараясь не бежать. Асфальт неровный, слишком высокие каблуки. Не дай бог ногу растянуть. Ей кажется, что здесь, на ярком солнце, она замет-

нее, хотя окон тут нет. Сердце сильно стучит, ноги подкашиваются. Её охватывает паника. Почему?

Его там нет, говорит тихий внутренний голос, тихий, сокрушенный голос — печальное воркование тоскующей голубки. Он ушел. Его увели. Ты никогда его больше не увидишь. Никогда. Она чуть не плачет.

Глупо так себя изводить. Но все возможно. Ему исчезнуть легче, чем ей: у неё постоянный адрес, он всегда знает, где её найти.

Она замирает, поднимает руку и, уткнув нос в надушенный мех, вдыхает уверенность. С задней стороны дома есть металлическая дверь — служебный вход. Она тихонько стучит.

Слепой убийца: Сторож

Дверь открывается, он на пороге. Она даже не успевает поблагодарить судьбу, как он втягивает её внутрь. Они на площадке: черная лестница. Света нет, только из окошка где-то наверху. Он целует её, обхватив её лицо ладонями. Подбородок у него — как наждачная бумага. Он дрожит, но не от возбуждения или не только от него.

Она отстраняется. Ты похож на разбойника. Она никогда не видела живых разбойников,

только в операх. Контрабандисты в «Кармен»[82]. Вымазанные жженой пробкой.

Прости, говорит он. Пришлось спешно менять пристанище. Возможно, ложная тревога, но кое-что я не успел захватить.

Например, бритву?

В том числе. Пойдем — это внизу.

Лестница узкая: некрашеное дерево, перила — бруски два на четыре. Внизу цементный пол. Запах угольной пыли и сырой земли, точно в каменном подземелье.

Это здесь. Каморка сторожа.

Но ты ведь не сторож, фыркает она. Разве нет?

Сейчас сторож. Во всяком случае, так думает хозяин. Он ко мне заходил пару раз по утрам, проверить, развожу ли я огонь, только не очень сильный. Не хочет горячих жильцов — дорого; хочет слегка подогретых. Не очень-то похоже на кровать.

Это кровать, говорит она. Запри дверь.

Она не запирается, отвечает он.

Зарешеченное окошко; остатки штор. Сквозь окошко в комнату сочится ржавый свет. Они

---

[82] Примечания: 82

Опера французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875), впервые поставлена в 1875 г.

просунули ножку стула в дверную ручку. В нём почти нет пружин, да и деревяшек не больше половины. Сомнительная защита. Они лежат под отсыревшим одеялом, набросив сверху свои пальто. О простыне лучше не думать. Она нащупывает его ребра, между ними провалы.

Что ты ешь?

Не приставай.

Ты страшно исхудал. Я могла бы принести что-нибудь поесть.

На тебя трудно рассчитывать. Я с голоду помру, пока ты вернешься. Не волнуйся, я скоро отсюда выберусь.

Откуда? Из этой комнаты, из города или…

Еще не знаю. Не придирайся.

Мне просто интересно, вот и все. Я беспокоюсь. Я хочу…

Хватит об этом.

Ладно, говорит она, тогда, наверное, на Цикрон. Если не хочешь, конечно, чтобы я ушла.

Нет. Побудь ещё. Прости, очень напряженно это все. На чем мы остановились? Я забыл.

Он решает, что ему делать: перерезать ей горло или полюбить навеки.

Точно. Да. Обычный выбор.

Итак, он решает, перерезать ей горло или по-

любить навеки, и в это время его чуткий слух слепого улавливает металлический скрип и скрежет. Цепи бьются друг о друга, позвякивают оковы. В коридоре, все ближе и ближе. Он уже знает, что Владыка Подземного Мира ещё не нанес свой оплаченный визит, — убийца застал девушку в таком состоянии. Нетронутом, можно сказать.

Что делать? Можно укрыться за дверью или под кроватью, предоставить девушку её судьбе, а затем вернуться и закончить работу, за которую ему заплатили. Но, учитывая обстоятельства, ему так поступать не хочется. Или можно подождать, пока придворный войдет в раж, совсем оглохнет, и потихоньку выскользнуть за дверь. Но тогда он запятнает честь всех наемных убийц — их гильдии, если хочешь.

Он берет девушку за руку, кладет её ладонь себе на губы и так показывает, что следует молчать. Отводит девушку от кровати и прячет за дверью. Убеждается, что дверь не заперта, как и договаривались. Придворный не рассчитывает увидеть стражницу: в сделке с Верховной Жрицей он специально обговорил, чтобы не было свидетелей. Услышав его приближение, стражница должна потихоньку улизнуть.

Слепой убийца вытаскивает мертвую стражницу из-под кровати и кладет на покрывало, шарфом прикрыв зияющую в горле рану. Женщина не остыла, кровь уже запеклась. Плохо, если придворный войдет с ярко горящей свечой; если же нет, ночью все кошки серы. Храмовых девственниц приучают к пассивности. Пройдет какое-то время, пока мужчина — особенно в громоздком костюме бога, по традиции — в шлеме и маске, — поймет, что трахает не ту женщину, и к тому же мертвую.

Слепой убийца почти задергивает парчовый полог. Затем он и девушка вжимаются в стену.

Скрежещет тяжелая дверь. Девушка видит на полу пятно света. Судя по всему, Владыка Подземного Мира плохо видит, он что-то задевает по дороге и ругается. Потом долго путается в пологе. Где ты, моя красавица? — говорит он. Ответа нет, но ничего удивительного: девушка немая, и это Владыку особенно устраивает.

Слепой убийца тихо выбирается из-за двери, ведя за собой девушку. Как эта чертовщина снимается? — бормочет себе под нос Владыка Подземного Мира. Тем временем двое огибают дверь и выскальзывают в коридор, держась за руки, будто дети, прячущиеся от взрослых.

Позади слышен крик — то ли гнева, то ли ужаса. Одной рукой касаясь стены, слепой убийца припускает бегом. По дороге он вырывает из креплений факелы и швыряет назад в надежде, что они погаснут.

Он знает Храм как свои пять пальцев, на ощупь и по запаху; это его работа — знать такие вещи. Город он знает так же и может пробежать его, как крыса — лабиринт, ему знакомы все закоулки, тоннели, убежища и тупики, все притолоки, канавы и ямы — даже пароли, по большей части. Он помнит, через какую стену можно перелезть, где опоры для ног. Он толкает мраморную панель — на ней барельеф Поверженного Бога, покровителя беглецов, — и они оказываются во тьме. Он это понимает, потому что девушка спотыкается, и тут ему впервые приходит в голову, что она будет его тормозить. Её зрячесть ему мешает.

По другую сторону стены слышны шаги. Он шепчет: держись за мою одежду, и прибавляет лишнее: не говори ни слова. Они на пересечении тайных ходов, что позволяют Верховной Жрице и её приближенным выведывать важные тайны тех, кто приходит в Храм исповедоваться Богине или помолиться. Отсюда надо срочно выбраться. Верховная Жрица станет искать их прежде всего

здесь. Нельзя возвращаться и тем путем, каким он пришел сюда, вынув из стены расшатанный камень. Лже-Владыка Подземного Мира, организовавший заговор и назначивший место и время, наверняка знает и про этот ход. Сейчас он, должно быть, уже догадался об измене слепого убийцы.

Толстые каменные стены заглушают удары бронзового гонга, но юноша чувствует их подошвами.

Он ведет девушку от стены к стене, а потом вниз по крутой узкой лестнице. Девушка хнычет от страха: отсутствие языка не мешает ей плакать. Какая жалость, думает юноша. Он нащупывает пустую трубу — он знает, она здесь, — подсаживает девушку внутрь, затем запрыгивает сам. Теперь им придется ползти. Здесь воняет, но это старая вонь. Человеческие миазмы, обращенные в пыль.

Пахнуло свежестью. Юноша втягивает воздух: не пахнет ли горящими факелами?

Ты видишь звезды? — спрашивает он девушку. Она кивает. Выходит, облаков нет. Плохо. В эти дни месяца две луны уже светят, и вскоре взойдут ещё три. Беглецы будут видны весь остаток ночи, а днём — вообще как на ладони.

В Храме не захотят предать побег гласности:

это приведет к падению престижа, а затем и к бунтам. На заклание отдадут другую девушку: под покрывалами они все одинаковы. Но преследовать будут: без шума, но безжалостно.

Он мог бы найти укрытие, но рано или поздно придется выходить за водой или пищей. Один он бы справился, но не вдвоем.

Конечно, он может её бросить. Или зарезать и скинуть в колодец.

Нет, не может.

Есть ещё логово слепых убийц. Там они собираются в свободное время — сплетничают, делят добычу, хвастаются подвигами. Слепые убийцы дерзко устроили себе убежище под залом суда главного дворца. Глубокая пещера устлана коврами — теми, что их заставляли ткать в детстве, украденными впоследствии. Они знают свои ковры на ощупь и часто сидят на них, покуривая вызывающую грезы траву *фринг,* водят пальцами по узорам, по великолепным расцветкам и вспоминают, как те выглядели, когда слепые ещё могли видеть.

Но в пещеру допускаются только наемные убийцы. У них закрытое общество: посторонние появляются там лишь в качестве добычи. Кроме того, он предал свое ремесло, оставив в живых

человека, за чье убийство ему заплатили. Они профессионалы, эти убийцы; они гордятся тем, что выполняют контракты, и не прощают нарушения профессиональной этики. Его убьют, не задумываясь, а через некоторое время и её тоже.

Для охоты на них могут нанять кого-нибудь из его коллег. Пусть вор у вора шапку крадет. Тогда они обречены. Их выдаст хотя бы её аромат — благовониями девушку умастили изрядно.

Нужно вывести её из Сакел-Норна — из города, со знакомой территории. Это опасно, но оставаться опаснее. Может, им удастся пробраться в гавань и сесть на какой-нибудь корабль? Но как выйти за ворота? Все восемь ворот заперты и охраняются — по ночам всегда так. В одиночку он перелез бы стену — его руки и ступни цепляются не хуже лапок геккона, — но вдвоем это будет катастрофа.

Есть ещё один путь. Чутко прислушиваясь, слепой убийца ведет девушку вниз по холму, в ту часть города, что обращена к морю. Все источники и фонтаны Сакел-Норна питает один канал, что под сводами тоннеля течет наружу, за городские стены. Глубина выше человеческого роста, течение стремительно, и никто никогда не пытался проникнуть в город этим путем. А

из города?

Вода отобьет и этот аромат.

Юноша умеет плавать. Убийцы такому учатся. Он справедливо полагает, что девушка плавать не умеет. Он велит ей снять с себя все и связать узлом. Затем, сбросив храмовое облачение, увязывает в узел и свою одежду. Укрепляет узел на плечах, а свободным концом ткани связывает девушке руки и говорит, чтобы она держалась за него, даже если невзначай отвяжется. Когда они достигнут арки, ей надо задержать дыхание.

Проснулись *ньерки:* слепой убийца слышит их карканье — значит, скоро рассвет. За три улицы от них кто-то идет — осторожно, обдуманно, точно ищет. Юноша то ли ведет, то ли толкает девушку в холодную воду. Она судорожно глотает воздух, но делает, как он сказал. Они плывут; он ищет основное течение, вслушивается: у арки вода бурлит и мчится. Нырнешь слишком рано — не хватит дыхания, слишком поздно — разобьешь голову о камень. Наконец он ныряет. Вода расплывчата, не имеет формы, рука свободно проходит сквозь неё, и все-таки вода может убить. Сила подобного — в движении, в траектории. С чем она столкнется и насколько быстра. То же самое можно сказать и о… но это не важно.

Долгий мучительный переход. Юноше кажется, что лёгкие сейчас взорвутся, руки не выдержат. Он чувствует, как девушка тащится позади: не захлебнулась ли? Хотя бы течение за них. Он задевает стену — что-то рвется. Ткань или плоть?

Они всплывают по ту сторону арки. Девушка кашляет, юноша тихо смеется. Лежа на спине, держит голову девушки над водой — так некоторое время они плывут по каналу. Наконец он решает, что они уже далеко и в безопасности; он подплывает к берегу и подсаживает девушку на покатую каменную насыпь. Ищет древесную тень. Он измучен, но настроение у него приподнятое: его переполняет странное ноющее счастье. Он её спас. Впервые в жизни сделал доброе дело. Кто знает, к чему приведет это отклонение от избранной тропы?

Ты кого-нибудь поблизости видишь? — спрашивает он. Девушка озирается и отрицательно качает головой. А зверей? Нет. Он развешивает их одежду на ветви; затем в постепенно меркнущем шафранном, гелиотропном и фуксиновом свете лун приподнимает девушку, словно тончайший шелк, и утопает в ней. Она свежа, точно спелая дыня, а кожа её солоновата, как у только что пойманной рыбы.

Они крепко спят, обнявшись, и тут на них натыкаются три разведчика, посланные Народом Опустошения вперед на поиски подходов к городу. Наших героев тут же будят и допрашивают: один лазутчик знает язык, хотя далеко не в совершенстве. Юноша слепой, говорит он остальным, а девушка немая. Все трое дивятся. Как эта парочка здесь очутилась? Ясно, что не из города: все ворота заперты. Похоже, сошли с небес.

Ответ очевиден: должно быть, это божьи посланцы. Им любезно разрешают надеть высохшую одежду, сажают на одного коня, и везут к Слуге Радости. Шпионы чрезвычайно довольны собой, а слепой убийца помалкивает. Он смутно помнит рассказы об этом народе и их странных поверьях насчет божьих посланцев. Говорят, что посланцы излагают волю богов смутно, и юноша пытается припомнить все загадки, парадоксы и головоломки, что когда-либо слышал. Например, путь вниз — путь наверх. Или: кто на рассвете ходит на четырёх ногах, в полдень — на двух и вечером — на трёх? Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое[83]. Что такое — повсюду черные, белые и сплошь красные?.

---

[83] Примечания: 83
Кн. Судей 14:14

Это не у цикронитов. У них нет газет.

Принято. Вычеркиваем. А что могущественнее Бога, хуже дьявола; оно есть у бедного, его нет у богатого; если им питаться, умрешь?

Что-то новенькое. Подумай. Сдаюсь. Ничего.

Она задумывается на минуту. Ничего. Да, соглашается она. Подходит.

Пока они едут, слепой убийца одной рукой обнимает девушку. Как её защитить? Ему приходит в голову идея, рожденный отчаянием экспромт, но может и сработает. Юноша подтвердит, что они божьи посланцы, но скажет, что у каждого своя роль. Он получает послания от Непобедимого, но только девушка может их расшифровать — руками, она изображает знаки пальцами. Умение читать эти знаки открыто лишь ему. И чтоб у них не возникали грязные мыслишки, прибавит, что ни один мужчина не смеет прикасаться и даже приближаться к немой девушке. Кроме него, конечно. Иначе она утратит силу.

Несложная работенка, пока им будут верить. Он надеется, что девушка быстро соображает и может импровизировать. Интересно, знает ли она хоть какие-нибудь знаки?

На сегодня хватит, говорит он. Нужно открыть

окно.

Но тут холодно.

По мне так нет. В этой комнате, как в комоде. Я задыхаюсь.

Она щупает ему лоб. Мне кажется, ты заболеваешь. Я пойду в аптеку…

Не надо. Я никогда не болею.

Что с тобой? Что случилось? Ты нервничаешь.

Не то чтобы нервничаю. Я никогда не нервничаю. Но мне не нравится то, что сейчас происходит. Не доверяю друзьям. Моим так называемым друзьям..

Почему? Что они делают?

Все педрилы, говорит он. Вот в чем проблема.

Мэйфэйр, февраль 1936 года

СВЕТСКИЕ СПЛЕТНИ ТОРОНТО
ЙОРК

В середине января отель «Ройял-Йорк» ломился от экзотически наряженных гостей: давался третий в этом сезоне благотворительный бал в пользу подкидышей из Приюта малютки. Тема этого бала (с оглядкой на прошлогодний захватывающий бал «Тамерлан в Самарканде») — «Ксанаду», и под умелым руководством

мистера Уоллеса Уайнанта три просторных зала отеля преобразились в «дворец любви и наслажденья»[84], где расположился Кубла Хан и его пышная свита. Восточные владыки и их окружение — жены, наложницы, слуги, танцовщицы и рабы, а также девицы с цимбалами, купцы, куртизанки, факиры, солдаты разных стран и множество нищих — все весело кружились у красочного фонтана, что символизировал «Альф, поток священный» и верхней подсветкой был окрашен алым, или под хрустальными гирляндами в центральной «Льдистой пещере».

Вовсю отплясывали и в двух прилегающих цветущих беседках; джаз-оркестры в залах играли «стройно-звучные напевы». Мы не слышали никаких «голосов предков, предвещающих войну» — все было в сладостной гармонии, благодаря твердому руководству ответственной за проведение бала миссис Уинифред Гриффен Прайор, появившейся на празднике в алом с золотом наряде раджастанской

[84] Примечания: 84

Здесь и далее — цитаты из стихотворения СТ. Кольриджа «Кубла Хан, или Видение во сне» (1797).

принцессы. В организационный комитет входили также миссис Ричард Чейз Гриффен в зеленом с серебром костюме Абиссинской девы, миссис Оливер МакДоннелл в красно-оранжевом костюме и миссис Хью Н. Хиллерт в пурпурном наряде султанши.

Слепой убийца: Пришелец во льду

Теперь он уже в другом месте; комната, которую он снимает, поблизости от железнодорожного узла. Прямо над скобяной лавкой. В витрине разложены гаечные ключи и дверные петли. Дела идут неважно; здесь все так идет. В воздухе песок; на земле скомканная бумага; на тротуарах предательский лед — утоптанный снег никто не убирает.

Неподалеку поезда, рыдая, отходят на запасные пути, гудки уносятся прочь. Всегда — прощай; никогда — здравствуй. Можно вскочить на поезд, только опасно: их иногда охраняют, и неизвестно, какие именно. Но будем смотреть правде в глаза: он тут как пришитый из-за неё, хотя она, подобно поездам, вечно опаздывает и всегда его покидает.

До его комнаты два пролета по черной лест-

нице, ступеньки покрыты резиной — местами протертой, но зато отдельный вход. Еще молодая пара с ребенком — они живут за стеной. Пользуются той же лестницей, но их почти не видать: рано встают. Правда, он часто слышит их по ночам, когда пытается работать: они так этим занимаются, словно завтра конец света — кровать скрипит, как сумасшедшая. Это сводит его с ума. Казалось бы, вопящий надоеда должен их утихомирить, но нет, все галопируют. К счастью, недолго.

Иногда он прикладывает ухо к стене, прислушивается. В шторм сойдет любой иллюминатор, думает он. В темноте все коровы — коровы.

Он пару раз сталкивался с соседкой — пухлой женщиной в платочке, будто русская старушка, со множеством свертков и с детской коляской. Супруги оставляют коляску на нижней площадке, где она таится иноземной трясиной, зияя черной пастью. Однажды он помог занести коляску в подъезд, тогда женщина украдкой улыбнулась: мелкие зубы по краям голубоваты, будто снятое молоко. *Я не мешаю вам по ночам, когда печатаю?* — отважился он, намекая, что не спит ночами и все слышит. *Нет, нисколько.* Пустой взгляд, глупа, как пробка. Темные круги под гла-

зами, от носа к уголкам рта тянутся морщинки. Вряд ли ночные игрища — её идея. Во-первых, слишком короткие: парень по-быстрому туда-сюда, словно банковский Грабитель. А на жене стоит клеймо: *рабочая лошадь* — наверное, смотрит в потолок, раздумывая насчет мытья полов.

Большую комнату перегородили и сделали две, поэтому стена, отделяющая его от соседей, такая хлипкая. Здесь тесно и холодно: из окна дует, батарея подтекает и звякает, но тепла не дает. В одном зябком углу туалет; моча и ржавчина постепенно окрасили унитаз в ядовито-рыжий цвет; рядом душевая установка из цинка с почерневшей от старости резиновой занавеской. На стене черный шланг с круглым металлическим распылителем — это душ. Ледяные капли. Раскладушка кривая — выпрямлять приходится ударом кулака; фанерная конторка, сбитая гвоздями, когда-то желтая. Одноконфорочная плитка. Все словно пропитано копотью.

По сравнению с тем, куда он может угодить, это дворец.

Он порвал с дружками. Сбежал, не оставив адреса. На изготовление паспорта или двух, как он требовал, не нужно столько времени. Он чувствовал, что его на всякий случай придерживают:

если кого поважнее схватят, он станет разменной монетой. Может, они вообще собирались его сдать. Отличный козел отпущения: ценности не представляет, не отвечает их требованиям. Попутчик, что не идет достаточно далеко или быстро. Им не нравилась эта его эрудиция, его скептицизм, который они принимали за легкомыслие. *Из того, что Смит не прав, вовсе не следует, что прав Джонс*, как-то сказал он. Возможно, это записали, чтобы потом припомнить. У них есть свои досье.

Может, им требовался мученик, Сакко и Ванцетти в одном лице. Его повесят, в газетах напечатают его лицо «красного» бандита, тут они и представят доказательства его невиновности — ещё несколько очков произволу. *Только посмотрите, что вытворяет система! Неприкрытое убийство! Никакой справедливости!* Вот такие приемы у этих товарищей. Словно шахматная партия. И он — сданная пешка.

Он подходит к окну, выглядывает наружу. За стеклом висят побуревшие бивни сосулек — краска течет с кровли. Он вспоминает её имя — оно в электрической ауре, точно в голубом неоне сексуальной вибрации. Где она? На такси не приедет — во всяком случае, не прямо сюда, слишком

умна. Он вглядывается в трамвай, заклиная её появиться. Сойти с трамвая, сверкнув ногой в сапоге на высоком каблуке — полный шик. *Дырка на ходулях.* Почему он так о ней думает? Попробуй другой мужчина так говорить, поколотил бы ублюдка.

На ней будет шубка. Он будет презирать её за это, попросит шубку не снимать. Все время оставаться в шубке.

В последний раз он заметил у неё на бедре синяк. Он предпочел бы оставить его сам. *Что это? Об дверь стукнулась.* Он всегда понимает, если она лжет. Или думает, что понимает. Мысли могут заманить в ловушку. Еще в университете профессор ему сказал, что у него интеллект тверд, как алмаз. Тогда ему это польстило. Теперь же он задумался о природе алмазов. Несмотря на блеск, остроту и умение резать стекло, они сияют только отраженным светом. И в темноте ни на что не годятся.

Почему она всё приходит? Может, ведет какую-то свою игру — может, в этом дело? Он не позволяет ей ни за что платить — он не продается. Она хочет от него любовного романа, все девушки этого хотят — во всяком случае, такие, как она, которые ещё чего-то от жизни ждут. Но

должна быть и другая сторона. Жажда мести, жажда наказания. У женщин странные способы причинять боль. Они причиняют боль себе или все так поворачивают, что мужчина лишь спустя какое-то время понимает, что ему сделали больно. Выясняет это. И член у него скукоживается. Иногда, несмотря на эти глаза, на чистую линию шеи, он улавливает в ней отблеск чего-то сложного и грязного.

Лучше не придумывать её в одиночестве. Дождаться её. И все придумать, пока она идет по улице.

У него есть старинный столик для бриджа — купил на блошином рынке, — и складной стул. Он садится за пишущую машинку, дышит на пальцы, вставляет лист.

Где-то в Швейцарских Альпах (или лучше в Скалистых горах, или, ещё лучше, в Гренландии) ученые обнаружили в глетчере вмерзший межпланетный корабль. По форме похож на небольшой дирижабль, с концов заостренный, точно плод окры. Он зловеще сияет, светится подо льдом. Каким цветом? Пусть будет зеленым с желтоватым оттенком, вроде абсента.

Ученые растапливают лед — чем? Случайно оказавшейся у них паяльной лампой? Или

разводят огромный костер, порубив окрестные деревья? Тогда лучше обратно в Скалистые горы. В Гренландии деревьев нет. А может, огромный кристалл, усиливающий солнечные лучи. Бойскауты — он недолго был одним из них, — умели таким образом разводить костры. Потихоньку от начальника отряда, общительного унылого розовощекого человека, любившего топоры и пение хором, они направляли лучи от увеличительных стекол на голые руки — соревновались, кто дольше выдержит. Таким же образом поджигали сосновую хвою и обрывки туалетной бумаги.

Нет, огромный кристалл — слишком невероятно.

Лед постепенно тает. X, суровый шотландец, советует коллегам не впутываться: ничего хорошего не выйдет, но Y, английский ученый, говорит, что необходимо внести лепту в копилку человеческих знаний, а Z, американец, уверен, что они заработают на этом миллионы. Б, девушка с белокурыми волосами и пухлым, чувственным ртом, говорит, что все это чрезвычайно захватывающе. Она русская и, по общему мнению, верит в свободную любовь. X, Y и Z на практике не проверяли, но каждый хотел бы: Y — подсознательно, X — виновато и Z — грубо.

Он всегда поначалу обозначает героев буквами, а имена дает после — иногда берет их из телефонной книги, иногда с надгробий. Женщина всегда Б — то есть Бесподобная, Безмозглая или Большегрудая Бабенка — в зависимости от настроения. Ну или, конечно, Беззаботная Блондинка.

Б спит в отдельной палатке, у неё привычка повсюду забывать варежки и бродить ночами, хотя это строго запрещено. Она восхищается луной и находит мелодичным вой волков; она дружна с ездовыми собаками, сюсюкает с ними по-русски и заявляет (несмотря на научный материализм), что у них есть душа. Будет неприятно, если кончатся запасы продовольствия и придется одну съесть, констатирует Х с типично шотландским пессимизмом.

Наконец светящийся предмет в форме плода разморожен, но ученым остается лишь несколько минут на изучение неизвестного человечеству тонкого сплава, из которого стручок сделан: металл испаряется, оставляя после себя запах миндаля или пачули, или жженого сахара, или серы, или цианида.

Их взглядам предстает тело — по форме гуманоид, явно мужского пола — на нём обтягивающий зеленовато-голубой, как павлинье перо, костюм,

переливающийся, будто стрекозиные крылья. Нет. Слишком похоже на сказку. Обтягивающий костюм зеленовато-голубого цвета газового пламени, переливающийся, будто бензин в воде. Гуманоид вмерз в лед внутри корабля. У пришельца светло-зеленая кожа, слегка заостренные уши, тонко очерченные губы и большие открытые глаза. Громадные совиные зрачки. Темно-зеленые волосы густыми завитками покрывают череп, вытянутый к макушке.

Невероятно. Существо из космоса. Сколько он тут пролежал? Десятилетия? Века? Тысячелетия?

Он, естественно, мертв.

Что им теперь делать? Они вынимают кусок льда с гуманоидом и советуются, как быть. (X говорит, что следует оставить все как есть и сообщить властям; Y хочет извлечь гуманоида из льда на месте, но ему напоминают, что тот может испариться, как и корабль; Z считает, что пришельца нужно отвезти поближе к цивилизации, обложить сухим льдом и продать тому, кто даст больше; Б замечает, что собаки проявляют нездоровый интерес к происходящему и уже скулят, но из-за её русской, женской, неумеренной манеры выражаться на неё не обращают внимания.) Наконец — уже стемнело, и на небе, как всегда,

появилось северное сияние, — решено, что гуманоида положат в палатку Б, а та ляжет в другой палатке с мужчинами, что позволит им кое-что подсмотреть при свечах: Б умеет и надевать альпинистский костюм, и забираться в спальный мешок. Ночью все поочередно по четыре часа будут дежурить в палатке с пришельцем. А утром бросят жребий и решат, что делать.

Дежурства X, Y и Z проходят спокойно. Затем наступает очередь Б. Она говорит, что у неё недоброе предчувствие; ей кажется, что все будет плохо, но она часто так говорит, и её слова игнорируют. Z её будит, похотливо наблюдает, как она, потягиваясь, выбирается из спального мешка и надевает теплый комбинезон. Б устраивается в палатке подле замерзшего гуманоида. Мерцание свечи навевает дремоту; Б ловит себя на мысли: интересно, каков зеленый пришелец в любви, — красивые брови, только слишком худ. Она клюет носом и засыпает.

Существо во льду начинает светиться, сначала слабо, потом все сильнее. Тихо стекает талая вода. Льда больше нет. Пришелец садится, встает. Беззвучно приближается к спящей девушке. Темно-зеленые волосы у него на голове шевелятся, прядь за прядью, потом удлиняются, щупаль-

це — теперь это видно — за щупальцем. Одно обвивает горло девушки, другое — её пышные прелести, а третье прилипает к губам. Б просыпается, как от ночного кошмара, но это не кошмар: лицо пришельца приближается, её неумолимо стискивают холодные щупальца, а в его глазах — невероятные страсть и желание, чистая голая нужда. Ни один смертный на неё так не смотрел. Она слегка сопротивляется, затем уступает.

Впрочем, у неё нет выбора.

Зеленый рот раскрывается, обнажая клыки. Они приближаются к её шее. Он так сильно полюбил её, что сделает частью себя — навеки. Они станут одним целым. Девушка понимает это без слов, потому что среди прочих достоинств у кавалера имеется дар телепатии. *Да,* вздыхает Б.

Он скручивает новую сигарету. Допустит ли он, чтобы Б съели и осушили таким вот образом? Или ездовые собаки почуют, что их любимица в беде, перегрызут упряжь, ворвутся в палатку и разорвут парня на куски — щупальце за щупальцем? Или коллега — сам он симпатизирует Y, спокойному англичанину, — придет на помощь? Завяжется драка? Неплохо. Перед смертью пришелец посылает Y телепатическое сообщение: *Дурак! Я мог бы научить тебя всему!* Кровь при-

шельца не того цвета, что у людей. Оранжевый подойдет.

Или зеленый гуманоид внутривенно обменяется кровью с Б, и та станет его подобием — совершенной, зеленоватой собой. Теперь их уже двое, остальных ученых они порешат, собак обезглавят и отправятся завоевывать мир. Их цель — разрушить богатые деспотичные города и освободить добродетельных бедняков. *Мы — бич Божий,* заявит эта парочка. Никто не возразит: они станут обладателями Смертоносного Луча, сварганенного инопланетянином (кладезем всяческих познаний) с помощью гаечных ключей и дверных петель, похищенных из скобяной лавки поблизости.

Есть ещё вариант: пришелец не станет пить кровь Б — он сам в ней растворится! Его тело скукожится виноградиной на солнце, сухая, морщинистая кожа распадется, обратится в дымку, и к утру от инопланетянина не остается и следа. Трое ученых входят в палатку; Б сонно трет глаза. *Я не понимаю, что случилось,* говорит она, а поскольку это её обычное состояние, мужчины ей верят. *Может, у нас была общая галлюцинация,* скажут они. *Север, северное сияние — путает человеческий мозг. От холода кровь густеет.* Они

не замечают высокоинтеллектуальный зеленый отблеск пришельца в глазах Б, которые, надо сказать, и так зеленые. Но собаки все поймут. Почуют перемену. Зарычат, прижмут уши. Завоют тоскливо. И больше не будут ей друзьями. *Что это с собаками?*

Сколько способов изложить один сюжет.

Схватка, борьба, спасение. Смерть инопланетянина. Сколько одежды будет сорвано в процессе. Но это как всегда.

Почему он сочиняет всю эту белиберду? По необходимости — иначе будет сидеть без денег, чтобы искать другую работу, надо выбираться на свет, а это совсем не благоразумно. К тому же у него получается. Есть способности. Они имеются далеко не у каждого: многие пытались и провалились. Прежде он метил куда выше, куда серьёзнее. Хотел правдиво описать человеческую жизнь. Жизнь на самом дне, где платят гроши, не хватает денег на хлеб, протекает крыша, бродят дешевые шлюхи с испитыми лицами, где бьют сапогами в лицо и блюют в канаве. Он хотел показать, как работает эта система, её механизм, что поддерживает в тебе жизнь, пока ты ещё на что-то годишься, выжимает полностью, превращает в ничтожество или пьяницу — не так, так

эдак заставляет вываляться в грязи.

Но обычный работяга не станет читать такую книгу — работяга, которого товарищи считают таким благородным. Эти парни хотят читать вот эту макулатуру. Дешевую книжонку в бумажном переплете, действие стремительно, куча сисек и задниц. Правда, сиськи и задницы напечатать нельзя: издатели макулатуры — страшные ханжи. Максимум, на что согласны, — груди и попки. Кровь и пули, выпущенные кишки, вопли и конвульсии — пожалуйста, только не голое тело. Никаких *выражений.* Может, не в ханжестве дело, а в том, что они не хотят остаться без работы.

Он закуривает, он ходит взад и вперед, он выглядывает в окно. Снег потемнел от угля. Мимо громыхает трамвай. Он отворачивается от окна, шагает по комнате, в голове роятся слова.

Он смотрит на часы. Она опять опоздала. Она не придет.

VII

Пароходный кофр

Единственный шанс сказать правду — исходить из того, что написанного никто не прочтет. Никто другой и даже ты сама когда-нибудь позже. Иначе станешь оправдываться. Нужно смотреть так: указательный палец правой руки выписывает чернильную нить, а левая рука эту нить тут же стирает.

Конечно, невозможно.

Я травлю свою строку, травлю строку, эту черную нить, что вьется по странице.

Вчера прислали бандероль: последнее издание «Слепого убийцы». Просто любезность: денег за него не полагается — мне, по крайней мере. Книга теперь — общественное достояние, издавать её может любой желающий: имущества у Лоры не прибудет. Вот что происходит через сколько-то лет после смерти автора: теряешь контроль. Книга живет себе где-то там, воспроизводит себя в бог знает каких количествах, без всякого моего разрешения.

«Артемизия-Пресс» — вот как издательство

называется; английское. Кажется, это они просили меня написать предисловие — я, разумеется, отказалась. С таким названием в издательстве, наверное, одни женщины. Интересно, какую Артемизию они имеют в виду. Ту персидскую даму, предводительницу войска из Геродота, — она ещё бежала с поля боя[85], или римскую матрону, которая съела мужнин прах, чтобы её тело стало живым склепом[86]? Скорее всего, изнасилованную художницу Возрождения[87]: в наши дни помнят только её.

Книга лежит на кухонном столе. *Забытые шедевры двадцатого века* — курсив под заголовком. На клапане суперобложки говорится, что Лора была «модернисткой». На неё, вероятно, повлияло творчество Джуны Варне[88], Элизабет

---

[85] Примечания: 85

Правительница Галикарнаса, дорийского города на юго-западе Малой Азии. Во время греко-персидских войн выступала зависимой союзницей Персии, сражалась при Саламине (480 г. до н. э.).

[86] Примечания: 86

Жена Мавзола, правительница Галикарнаса. После смерти мужа ок. 353 г. до н. э. установила в Галикарнасе огромный монумент в память о нём («Мавзолей»). По легенде, высыпала прах Мавзола в жидкость, которую затем выпила.

[87] Примечания: 87

Имеется в виду итальянская художница Артемизия Джентилески (1597–1651). В детстве её изнасиловали; считается, что это событие сильно повлияло на её творчество: она изображала главным образом сильных, почти мужеподобных женщин и слабых и уродливых

мужчин.

[88] Примечания: 88
Джуна Варне (1912–1982) — американская писательница.

Смарт[89], Карсон Маккалерс[90] — писательниц, чьих книг — я точно знаю, — Лора никогда не читала. Но обложка неплохая. Размытые красно-коричневые тона — под фотографию: у окна за тюлевой занавеской женщина в комбинации, лицо в тени. За ней смазанный силуэт мужчины — рука, затылок. По-моему, что надо.

Я решила, пора позвонить моему адвокату. Ну, не совсем моему. Тот, которого я привыкла считать своим, — он ещё улаживал дела с Ричардом и героически, хоть и безрезультатно, воевал с Уинифред, — умер не один десяток лет тому назад. С тех пор меня в фирме передавали из рук в руки, как изысканный серебряный чайник, который навязывают каждому следующему поколению под видом свадебного подарка, но никто им никогда не пользуется.

— Мистера Сайкса, пожалуйста, — сказала я девушке в трубку. Секретарша, наверное. Я представила себе её ногти — длинные, бордовые и острые. Хотя, может быть, теперь секретаршам полагается красить ногти в другой цвет. Напри-

---

[89] Примечания: 89

Элизабет Смарт (1913–1986) — американская поэтесса и романистка.

[90] Примечания: 90

Карсон Маккалерс (1917–1967) — известная американская писательница.

мер, в серо-голубой.

— Мне очень жаль, но мистер Сайке на совещании. Кто его спрашивает?

Для такой работы можно использовать и роботов.

— Миссис Айрис Гриффен, — произнесла я просто алмазной твердости голосом. — Одна из его старейших клиенток.

Это не помогло. Мистер Сайке оставался на совещании. Похоже, занятой парень. Хотя почему парень? Ему ведь уже за пятьдесят — родился примерно когда Лора умерла. Неужели её нет так давно, что за это время успел родиться и созреть юрист? Я этих вещей не понимаю, но, видимо, так и обстоят дела, потому что все остальные в это верят.

— Могу я передать мистеру Сайксу, о чем идет речь? — спросила секретарша.

— О моем завещании, — ответила я. — Я хочу его составить.

Он мне часто советовал этим заняться. — (Ложь, но мне хотелось заронить в её рассеянное сознание мысль, что мы с мистером Сайксом — закадычные друзья.) — И ещё кое-какие дела. Я скоро приеду в Торонто и с ним проконсультируюсь. Если ему удастся улучить минутку, пусть

мне позвонит.

Я представила себе, как мистер Сайкс получает мое сообщение. Как у него по спине пробежит холодок, когда он, поднапрягшись, вспомнит, кто я такая. Аж мурашки по коже. Нечто подобно испытываешь — даже я испытываю, — натыкаясь в газетах на имена когда-то знаменитых, блестящих или всем известных людей, которых считала давно умершими. А они, оказывается, всё живут — сморщенные, потускневшие, с годами проржавевшие, точно жуки под камнем.

— Конечно, миссис Гриффен, — сказала секретарша. — Я прослежу, чтобы он с вами связался. — Эти секретарши, должно быть, берут уроки — уроки красноречия, — чтобы достичь столь совершенного сочетания предупредительности и презрения. Но что я жалуюсь? Я и сама в свое время достигла совершенства.

Я кладу трубку. Несомненно, мистер Сайке и его моложавые лысеющие дружки, пузатые, на «мерседесах», удивленно вздернут брови: *Что эта старая карга может завещать?*

Что такого важного?

В углу на кухне стоит пароходный кофр — весь в драных наклейках. Часть моего приданого, из телячьей кожи, когда-то желтый, теперь выцвел,

застежки побиты и грязны. Кофр всегда на замке, а ключ я храню на дне банки с отрубями. Банки с кофе или сахаром — слишком очевидно.

С крышкой я основательно помучилась — надо придумать другой тайник, поудобнее, — наконец открыла банку и извлекла ключ. С трудом опустившись на колени, повернула ключ в замке и откинула крышку чемодана.

Я давно не открывала кофр. Мне навстречу пахнуло паленым, осенней листвой — старой бумагой. Там лежали тетради в дешевеньких картонных обложках, вроде спрессованных древесных опилок. Машинописная рукопись, перевязанная крест-накрест старой бечевкой. Письма к издателям — мои, конечно, не Лорины, Лора тогда уже была мертва, — и корректура. И злобные читательские письма, которые я потом перестала хранить.

Пять копий первого издания в суперобложках, на вид ещё новенькие, но безвкусные — как делали после войны. Ярко-оранжевый, блеклый фиолетовый, желто-зеленый, бумага чуть ли не папиросная, с кошмарным рисунком — псевдо-Клеопатра с выпуклыми зелеными грудями и подведенными глазами, алые ожерелья свисают до пупа, надутые оранжевые губы джинном про-

ступают из дымка пурпурной сигареты. Кислота разъедает страницы, и ядовитая обложка блекнет, будто перья на чучеле тропической птицы.

(Я получила шесть экземпляров — авторские, как их называли, — и одну отослала Ричарду. Не знаю, что с ней стало. Думаю, Ричард её порвал — он всегда рвал ненужные бумаги. Нет, вспомнила. Её нашли на яхте, на столике, прямо у него под головой. Уинифред прислала мне книгу с запиской: *Теперь видишь, что ты наделала!* Книгу я выбросила. Не хотела, чтобы в доме были вещи, которых касался Ричард.)

Я часто думаю, что с ним делать — с этим тайным хранилищем всякой всячины, с этим маленьким архивом. Я не могу заставить себя его продать, но и выбросить не могу. Если я ничего не предприму, за меня решит Майра, которой придется разбирать мои вещи. Несомненно, после первого шока — допустим, Майра начнет читать, — она порвет все в мелкие клочки. Затем поднесет спичку — и все. Посчитает это актом преданности: Рини поступила бы так же. В прежнее время сор из семьи не выносили, да и сейчас ему лучше хранилища не придумаешь — если для него вообще есть подходящее место. Зачем ворошить прошлое после стольких лет,

когда все так уютно улеглись в могилки, точно уставшие дети?

Может, оставить кофр со всем содержимым университету или, например, библиотеке. По крайней мере, они это оценят — по-своему мерзко. Найдется немало ученых, желающих наложить лапу на эти бесполезные бумаги. Назовут бумаги *материалом* — так у них именуют добычу. Небось считают меня тухлым старым драконом, что стережет нечестно нажитое добро, собакой на сене, высохшей чопорной сторожихой с поджатыми губами: я не выпускаю из рук ключи от темницы, где прикована к стене голодающая Лора.

Много лет меня засыпали просьбами желающие получить Лорины письма — Лорины рукописи, записные книжки, рассказы, истории — все жуткие подробности. На эти назойливые приставания я отвечала кратко:

> «Уважаемая мисс У.! Ваш план проведения „Памятной церемонии“ на мосту, где трагически погибла Лора Чейз, кажется мне безвкусным и диким. Вы, наверное, не в своем уме. Думаю, вы страдаете от аутоинтоксикации. Попробуйте клиз-

мы».

«Уважаемая мисс X! Подтверждаю получение вашего письма с указанием темы диссертации, но не сказала бы, что понимаю её название. Надеюсь, хоть вы его понимаете, иначе не придумали бы такое. Ничем не могу вам помочь. Да вы этого и не заслуживаете. „Деконструирование“ наводит на мысль о чугунной бабе, а глагола „проблематизовать“ вообще не бывает».

«Уважаемый доктор Y! По поводу вашего трактата о религиозном подтексте „Слепого убийцы“ могу сказать, что религиозные взгляды моей сестры трудно назвать традиционными. Ей не нравился Бог, она его не одобряла и не заявляла, что понимает. Она говорила, что любит Бога, а это уже другое дело, как и с людьми. Нет, она не была буддисткой. Не говорите глупостей. Советую научиться читать».

«Уважаемый профессор Z! Я приняла к сведению ваше мнение, что давно назрела необходимость написать биографию

Лоры Чейз. Возможно, она, как вы пишете, „одна из самых значимых женщин-писательниц середины нашего века“. Не знаю. Но мое участие в „вашем проекте“, как вы его называете, абсолютно исключено. У меня нет никакого желания способствовать удовлетворению вашей страсти к флаконам с запекшейся кровью и отрубленными пальцами святых.

Лора Чейз не «ваш проект». Она моя сестра. Ей бы не хотелось, чтобы её лапали после смерти, каким эвфемизмом не назови это лапанье. Написанное может сильно навредить. Очень часто люди об этом не думают».

«Уважаемая мисс У! Это уже четвертое ваше письмо на ту же тему. Отстаньте от меня. Вы зануда».

Десятилетиями я извлекала мрачное удовлетворение из этого ядовитого издевательства. С удовольствием наклеивала марки и бросала письма, будто ручные гранаты, в сверкающий красный ящик, считая, что проучила очередного надутого корыстолюбца, сующего нос не в свое дело. Но недавно перестала им отвечать. Зачем

дразнить незнакомцев? Им плевать, что я о них думаю. Для них я всего лишь придаток: странная Лорина рука, прилаженная к пустому месту, связующая Лору с миром, с ними. Во мне видят хранилище — живой мавзолей, *источник* — так они это называют. Почему я должна оказывать им услуги? На мой взгляд, они падальщики, большинство — гиены; шакалы, которых влечет трупный запах; воронье, летящее на мертвечину; трупные мухи. Им бы порыться во мне, словно я куча хлама, поискать обрезки металла, разбитую посуду, осколки клинописи и обрывки папируса, чудные потерянные игрушки, золотые зубы. Если бы они знали, что я тут прячу, сбили бы замки, вломились в дом и, шарахнув меня по голове, удрали с добычей, считая, что поступают правильно.

Нет. Никаких университетов. Не доставлю им такой радости.

Может, оставить кофр Сабрине, хоть она и решила ни с кем не общаться, хоть она и — вот, что больнее всего, — игнорирует меня. Но родная кровь не водица — это знает каждый, кто пробовал и то, и другое. Все это по праву принадлежит Сабрине. Можно сказать, это её наследство: она как-никак моя внучка. И Лорина племянница.

Когда придет время, ей захочется больше узнать о своих корнях.

Но Сабрина, конечно, откажется принять этот дар. Я все время напоминаю себе, что она уже взрослая. Если ей захочется меня спросить или вообще что-нибудь мне сказать, она даст знать.

Почему она молчит? Что её удерживает так долго? Может быть, её молчание — месть за что-то или за кого-то? Конечно, не за Ричарда. Она его не знала. И не за Уинифред, от которой сбежала. Значит, за мать — за бедняжку Эйми?

Что она может помнить? Ей было всего четыре года.

Смерть Эйми — не моя вина.

Где сейчас Сабрина, что она ищет? Я вижу её стройной девушкой с робкой улыбкой, чуть аскетичной, но красивой, с серьёзными голубыми, как у Лоры, глазами; длинные темные волосы спящими змейками обвивают голову. Паранджу она, конечно, носить не станет; думаю, она ходит в подходящих сандалиях или в ботинках со стоптанными подошвами. А может и в сари. Такие девушки их носят.

Она работает с миссионерами — кормит голодающих третьего мира, утешает умирающих, замаливает наши грехи. Бессмысленно: наши гре-

хи — зияющий ад, и чем глубже, тем их больше. Она, конечно, насчет бессмысленности станет спорить, что это дело Бога. Он всегда питал слабость к тщете. Ему кажется, тщета благородна.

В этом Сабрина похожа на Лору: то же стремление к определенности, тот же отказ от компромиссов, то же презрение к серьезным человеческим слабостям. Нужно быть красавицей, чтобы тебе это прощали. Иначе прослывешь брюзгой.

Преисподняя

Погода не по сезону теплая. Мягкая, ласковая, сухая и ясная. Даже солнце, такое тусклое в это время года, светит ярко и щедро, и закаты роскошны. Оживленные, улыбчивые дикторы на метеоканале говорят, это из-за какой-то далекой пыльной катастрофы — землетрясения, что ли, извержения вулкана. Нового смертоносного акта Божьей воли. Но их девиз: *не бывает мрака без просвета.* И просвета без мрака.

Вчера Уолтер возил меня в Торонто на встречу с адвокатом. Он сам туда ни за что бы не поехал — Майра настояла. Когда я сказала, что поеду на автобусе. Майра и слышать об этом не захотела. Всем известно, что туда ходит только один автобус, он отправляется затемно и возвращается в

темноте. Она сказала, что, когда я среди ночи вернусь, меня ни один автомобилист не разглядит и задавит, как клопа. И вообще в Торонто одной ездить нельзя: всякий знает, что там живут сплошь мошенники и бандиты. А Уолтер, сказала она, в обиду меня не даст.

Уолтер надел красную бейсболку; между ней и воротом куртки его щетинистая шея выступала ещё одним бицепсом. Веки в складках, будто коленки.

— Я поехал бы на пикапе, — сказал он, — тот у меня, как кирпичный сортир. Если какой негодяй решит протаранить, придется ему сначала крепко подумать. Но у пикапа накрылись рессоры, и ездить не очень гладко. — Всех водителей в Торонто Уолтер считает чокнутыми: — Чтобы там ездить, надо быть чокнутым, а?

— Но мы-то поедем, — напомнила я.

— Только один раз. Как мы говорили девушкам, один раз не считается.

— И они тебе верили, Уолтер? — поддразнила я — он любит такие дразнилки.

— Еще бы. Глупы, как пробки. Блондинки особенно. — Я почувствовала, что он ухмыляется.

Сложена, как кирпичный сортир. Помнится, в прежнее время так говорили о женщинах. Счита-

лось, что это комплимент: тогда далеко не у всех были кирпичные сортиры, только деревянные, вонючие и хлипкие — дунешь и упадет.

Усадив меня в автомобиль и пристегнув ремнем, Уолтер включил приемник: рыдала электроскрипка, путаная любовь, подлинный ритм страдания. Банального, но страдания. Развлекательный бизнес. Какими же мы стали вуайеристами! Я откинулась на положенную Майрой подушку. (Она экипировала нас, словно в дальнее плавание: положила плед, сэндвичи с тунцом, шоколадное печенье, термос с кофе.) За окном вяло тек Жог. Мы его переехали и повернули на север, минуя улицы, где прежде стояли коттеджи для рабочих, теперь известные, как «диспетчерские дома», потом несколько лавок: автосервис, опустившийся магазин здорового питания, магазин ортопедической обуви с зеленой неоновой ступней на вывеске, — она то вспыхивала, то гасла, словно все время шагала на одном месте. Дальше — торговый пассаж, пять магазинов, рождественская мишура — только в одном; Майрин салон красоты «Парик-порт». В витрине фотография коротко стриженного человека — не могу сказать, мужчины или женщины.

Затем мы проехали мотель, который раньше

назывался «Конец странствиям». Думаю, имелся в виду «конец странствиям любовничков», но не все улавливали этот намек: название могло показаться зловещим: дом со входами и без выхода, провонявший аневризмами и тромбозами, флаконами снотворного и пулевыми ранениями в голову. Теперь мотель называется просто «Странствия». Изменить название — мудрое решение. Больше незавершенности, меньше конечности. Насколько лучше странствовать, чем приезжать.

На пути нам встретились ещё закусочные — улыбчивые куры протягивают на тарелках жареные кусочки своих тушек; оскалившийся мексиканец с тако в руках. Впереди маячил городской водяной бак — такой громадный цементный пузырь, заполняющий сельский пейзаж пустым овалом, будто облако без слов в комиксах. Мы выехали из города. Посреди поля корабельной рубкой торчала железная силосная башня; у дороги три вороны клевали разодранный пушистый комочек, который прежде был сурком. Заборы, опять силосные башни, стадо вымокших коров, кедровая рощица, болотце, полысевший и пожухлый летний камыш.

Накрапывал дождь. Уолтер включил дворники. Под их колыбельную я уснула.

Проснувшись, первым делом подумала: не храпела ли? А если храпела, то с открытым ли ртом? Так некрасиво, и потому так унизительно. Но спросить не решилась. Если интересно, знай: тщеславию нет предела.

Мы находились на восьмиполосном шоссе неподалеку от Торонто. Так сказал Уолтер, сама я не видела: дорогу загораживал мерно раскачивающийся фермерский грузовик, доверху набитый клетками с белыми гусями — их, вне всякого сомнения, везли на рынок. Тут и там между прутьями высовывались дикие головы на длинных, обреченных шеях, они хлопали клювами, испуская жалобные и нелепые крики, тонувшие в дорожном шуме. Перья липли к ветровому стеклу, в салоне пахло гусиным пометом и выхлопами.

На грузовике сзади была надпись: «Если вы достаточно близко, чтобы это прочитать, — вы слишком близко». Когда грузовик наконец свернул, перед нами открылся Торонто — искусственная гора стекла и бетона на плоской равнине вдоль берега озера; стекло, шпили, огромные сверкающие плиты, колючие обелиски тонули в рыжеватой дымке смога. Я видела город будто впервые: будто он вырос за ночь или его

вообще нет, просто мираж.

Черные хлопья летели мимо, будто впереди тлела куча бумаги. В воздухе зноем вибрировала ярость. Я подумала, как с обочины стреляют по машинам.

Офис адвоката располагался рядом с Кинг-энд-Бей. Уолтер сбился с пути, а потом никак не мог найти место для парковки. Пришлось пешком идти пять кварталов, и Уолтер поддерживал меня за локоть. Я не понимала, где мы находимся: все очень изменилось. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, — что случается редко — все меняется, и общее впечатление — опустошение, точно город разбомбили, сравняли с землей, а потом отстроили заново.

Центр, который я помню — тусклый, кальвинистский, белые мужчины в темных пальто колоннами маршируют по тротуарам; изредка женщины — непременные высокие каблуки, перчатки, шляпка, сумочка, взгляд устремлен вперед, — теперь такого центра нет. Правда, уже некоторое время. Торонто больше не протестантский город, скорее, средневековый — разношерстные толпы, пестрая одежда. Под желтыми зонтиками прилавки с хот-догами и солеными кренделями; уличные торговцы продают сереж-

ки, плетеные сумки, кожаные ремни; нищие с табличками «Безработный»: тоже отвоевали себе территорию. Я миновала флейтиста, трёх парней с электрогитарами, мужчину в килте и с волынкой. И не удивилась бы, встретив жонглеров, пожирателей огня или процессию прокаженных в капюшонах и с колокольчиками. Шум стоял умопомрачительный; радужная пленка, словно бензин, затянула мне стекла очков.

В конце концов мы добрались до адвоката. Впервые я обратилась в эту фирму ещё в сороковых; она тогда размещалась в темно-коричневом конторском здании в манчестерском стиле — с мозаичными вестибюлями, каменными львами и золотыми буквами на деревянных дверях с матовым стеклом. В лифте — стальная решетка — туда входишь, будто в тюрьму на секунду. Лифтерша в темно-синей форме и белых перчатках выкликала номера — их было всего десять.

Сейчас фирма переселилась в пятидесятиэтажную башню из зеркального стекла. Мы с Уолтером поднялись в блестящем лифте, пластиковом, «под мрамор», где пахло автомобильной обивкой и толпились люди — мужчины и женщины с потупленными глазами и безучастными лицами вечных служащих. Люди, которые смотрят

лишь на то, за рассматривание чего им заплачено. Приемная фирмы сошла бы за вестибюль пятизвездочного отеля: букеты, громадностью и хвастливостью своей достойные восемнадцатого века, толстый, грибного цвета ковёр во весь пол, абстрактная картина, составленная из дорогущих клякс.

Адвокат вышел к нам, пожал руки; что-то мямлил, жестикулировал, приглашал пройти. Уолтер сказал, что подождет меня прямо здесь. Он с некоторым беспокойством взирал на молодую, элегантную секретаршу в черном костюме с лиловым шарфиком и перламутровыми ногтями; она же смотрела не столько на самого Уолтера, сколько на его клетчатую рубашку и огромные стручкообразные ботинки на каучуковой подошве. Решившись сесть на диван, Уолтер погрузился туда, как в зыбучие пески, — колени сложились, а брюки вздернулись, открыв красные носки — гордость лесорубов. На изящном столике перед Уолтером лежали деловые журналы, предлагавшие ему с выгодой вложить деньги. Уолтер выбрал номер о взаимных фондах — в его лапищах журнал выглядел «клинексом». Глаза у Уолтера вращались, точно у бегущего быка.

— Я скоро, — сказала я, чтобы его успокоить.

На самом деле, я задержалась дольше, чем думала. У этих адвокатов плата повременная, как у дешевых шлюх. Я все время ждала стука в дверь и раздраженного окрика: *Эй, там! Что за дела? Раз-два — и готово!*

Когда я уладила дела с адвокатом, мы дошли до машины, и Уолтер сказал, что отвезет меня пообедать. Сказал, что знает хорошее местечко. Думаю, тут тоже приложила руку Майра: *Ради Бога, проследи, чтобы она поела: они в этом возрасте едят, как птички, не понимают, когда силы на исходе, — она же умрет с голоду прямо у тебя в машине.* А может, он сам проголодался: пока я спала, он съел все Майрины упакованные сэндвичи, и шоколадное печенье в придачу.

Место, которое он знал, называлось «Преисподняя». Он там обедал, когда был здесь в последний раз, — два или три года назад, и кормили его, учитывая обстоятельства, прилично. Какие обстоятельства? Ну, заведение же в Торонто. Уолтер заказал тогда двойной чизбургер со всем, что положено. Там готовили жареную грудинку и вообще разное мясо на гриле.

Я сама знавала эту забегаловку — десять лет назад, когда следила за Сабриной после её первого бегства от Уинифред. К концу занятий я

ошивалась у школы, садилась на какой-нибудь скамейке, где могла бы перехватить Сабрину — нет, не то, — где она могла бы узнать меня, хотя шанс был ничтожен. Я пряталась за газетой, точно жалкий эксгибиционист, одержимая столь же безнадежной тягой к девочке, которая, разумеется, бежит от меня, как от тролля.

Я лишь хотела, чтобы Сабрина знала: я здесь; я существую; я не та, о ком ей рассказывали. Я могу стать ей прибежищем. Я понимала, что прибежище ей понадобится, уже понадобилось — я ведь знала Уинифред. Но ничего не вышло. Сабрина так меня и не заметила, а я не подошла. Когда подворачивался шанс, трусила.

Однажды я шла за ней до самой «Преисподней». Похоже, девочки — её ровесницы, из той же школы — болтались там в обеденный перерыв или прогуливали уроки. Огненно-красная вывеска на дверях, вдоль оконных рам — желтые пластмассовые гребешки, изображавшие адское пламя. Меня напугала поистине мильтоновская смелость названия: соображают ли владельцы, каких духов вызывают?

Всемогущий Бог

Разгневанный стремглав низверг строп-

тивцев,

Объятых пламенем, в бездонный мрак…

Где муки без конца и лютый жар

Клокочущих, неистощимых струй

Текучей серы…[91]

Нет. Они не знали. «Преисподняя» была адским пламенем только для мяса.

Лампы в цветных стеклянных абажурах, пестрые жилистые растения в глиняных горшках — атмосфера шестидесятых. Я устроилась в кабинке рядом с той, где сидела Сабрина с двумя подругами; все три — в одинаковой мешковатой мальчишеской форме: похожие на пледы юбки в складку и галстуки в тон — эту деталь Уинифред находила особенно элегантной. Девочки изо всех сил портили впечатление: гольфы сползли, блузки выбились, галстуки съехали набок. Девочки жевали резинку, будто отправляли регилиозный обряд, и болтали — скучающими голосами и чересчур громко, девочки это превосходно умеют.

Все три были красивы — как бывают красивы в этом возрасте все девочки. Такую красоту не

---

[91] Примечания: 91

Джон Мильтон. Потерянный рай (перевод Арк. Штейнберга).

скроешь и не сбережешь: это свежесть, упругость клеток; она дается даром, временно, и повторить её невозможно. Но все они были недовольны собой и уже пытались себя изменить — улучшить, исказить, умалить, втиснуть в невероятную воображаемую форму, выщипывая и рисуя на лицах. Я их не порицаю: сама делала то же самое.

Я сидела, подглядывая за Сабриной из-под полей обвислой летней шляпы и подслушивая пустую девчачью болтовню, которой они прикрывались, будто камуфляжем. Ни одна не говорила, что думала, ни одна не доверяла остальным, — и правильно: невольные предательства в этом возрасте свершаются ежедневно. Две блондинки; только у Сабрины волосы темные и блестящие, как спелая вишня. Вообще-то она не слушала подружек и не смотрела на них. За напускным безразличием её взгляда, должно быть, зрел бунт. Я узнала эту суровость, это упрямство, это негодование принцессы в заточении, — их держат в тайне, пока не накоплены силы. Ну держись, Уинифред, удовлетворенно подумала я.

Сабрина меня не заметила. Точнее, заметила, но не узнала. Девочки поглядывали в мою сторону, шептались и хихикали. Такое я тоже помнила. *Ну и чудище эта старушенция!* Или что-нибудь по-

современнее. Думаю, из-за шляпы. Давно прошли времена, когда она считалась модной. В тот день для Сабрины я была просто старой женщиной — пожилой женщиной, — непонятной пожилой женщиной, но не поразительно дряхлой.

Когда они ушли, я направилась в туалет. На стене увидела стишок:

Знай подруга Даррен мой
Мой — по гроб а не твой
А закрутишь с ним любовь
Разобью всю рожу в кровь.

Юные девушки теперь напористее, чем когда-то, но пунктуация у них лучше не стала.

Когда мы с Уолтером наконец разыскали «Преисподнюю», которая (сказал Уолтер) обнаружилась не там, где он её видел в последний раз, — окна забегаловки оказались забиты фанерой, на фанере — какое-то объявление. Уолтер покрутился у запертых дверей, как собака, потерявшая зарытую кость.

— Похоже, закрыто, — сказал он. Постоял, засунув руки в карманы, и прибавил: — Вечно они все меняют. Невозможно привыкнуть.

После розысков и нескольких неудачных по-

пыток мы смирились с сальными ложками «Давенпорта» — виниловые стулья, на столиках — автоматические проигрыватели, набитые «кантри» и кое-чем из ранних Битлов и Элвиса Пресли. Уолтер поставил «Отель разбитых сердец», и под эту песню мы поедали гамбургеры и пили кофе. Уолтер заявил, что заплатит сам — опять, конечно, Майра. Наверное, сунула ему двадцатку.

Я съела только полгамбургера. Целый не осилила. Уолтер доел остальное — сунул разом в рот, словно по почте отправил.

На обратном пути я попросила Уолтера проехать мимо моего старого дома — того, где я жила с Ричардом. Дорогу я помнила прекрасно, но дом не сразу узнала. Такой же чопорный, неизящный, громоздкий, с косыми окнами, темно-бурый, как настоявшийся чай, но теперь по стенам вился плюш. Деревянно-кирпичное шале, когда-то кремовое, стало яблочно-зеленым, и тяжелая парадная дверь тоже.

Ричард был против плюща. Когда мы въехали, плющ кое-где рос, но Ричард его изничтожил. Плющ разъедает камень, говорил Ричард, лезет в трубы и приманивает грызунов. Тогда Ричард ещё объяснял, почему думает и поступает так, а

не иначе, и старался внушить мне те же причины мыслей и поступков. Потом он на причины плюнул.

Передо мной мелькнула картинка: я в соломенной шляпке и светло-желтом платье — ситцевом, потому что очень жарко. Конец лета. Со дня свадьбы прошел год. Земля — будто каменная. По наущению Уинифред я занялась садоводством: нужно иметь хобби сказана она. Уинифред решила, что мне стоит начать с сада камней: если растения не выживут, хоть камни останутся. *Погубить камни у тебя силенок не хватит,* пошутила она. Уинифред прислала мне, как она выразилась, трёх надежных людей; они вскапывают землю и укладывают камни, а я сажаю растения.

В сад уже привезли заказанные Уинифред камни — небольшие и крупные, прямо плиты; разбросанные или громоздившиеся друг на друга рассыпанным домино. Мы все стояли в саду — три надежных человека и я — и глядели на свалку камней. Надежные люди были в кепках, а пиджаки сняли, открыв подтяжки, и закатали рукава; они ждали указаний, а я не знала, что сказать.

Тогда я ещё хотела что-то менять — что-то делать самой, пусть из почти безнадежных

материалов. Я думала, у меня получится. Но я абсолютно ничего не знала о садоводстве. Мне хотелось расплакаться, но тогда все было бы кончено: надежные люди стали бы меня презирать и перестали быть надежными.

Уолтер вытащил меня из автомобиля и молча ждал, стоя чуть позади, готовый меня поймать, если я вдруг рухну. Я стояла на тротуаре и смотрела на дом. Сад камней сохранился, хоть и заброшен. Конечно, сейчас зима, трудно сказать, но вряд ли тут растет что-нибудь — разве что драцена, она везде растет.

На подъездной аллее — большой мусорный бак, набитый щепками и кусками штукатурки: шел ремонт. А может, тут был пожар: верхнее окно выбито. В таких домах селятся бродяги, говорит Майра. Оставьте дом без присмотра, — во всяком случае, в Торонто, — и они мигом туда набьются, устроят наркоманскую оргию или что там. Сатанинские культы, вот что она слышала. Устраивают костры на паркете, засоряют туалеты и гадят в раковины, отвинчивают краны, изящные дверные ручки — все, что можно. Хотя иногда и обычные подростки могут все разнести, для забавы. У молодых на это талант.

Дом выглядел бесхозным, недолговечным, —

точно фотография на рекламке недвижимости. Казалось, он больше со мной не связан. Я пыталась вспомнить звук своих шагов, хруст снега под зимними сапогами, когда я торопливо возвращалась домой, опаздывая, изобретая оправдания; иссиня-черную решетку ворот; свет от фонарей на сугробах — синеватых по краям, испещренных собачьей мочой, точно желтыми знаками Брайля. Тени тогда были другими. Сердце взволнованно билось, дыхание белым дымком клубилось в морозном воздухе. Лихорадочный жар ладоней, пылающие губы под свежим слоем помады.

В гостиной был камин. Мы с Ричардом, бывало, перед ним сидели, отблески огня играли на лицах и бокалах — бокалы на отдельных подставках, во спасение показухи. Шесть часов вечера, время мартини. Ричард любил резюмировать день — так он это называл. У него была привычка класть руку мне сзади на шею — держать её там, просто легко касаться, пока резюмировал. *Резюме* — иными словами, заключительная речь судьи, а потом дело переходит к присяжным. Так он себя видел? Возможно. Но его тайные мысли, его мотивы часто оставались для меня смутны.

Моя неспособность его понять, предвосхищать его желания, — одна из причин напряжения

между нами. Он относил её на счет умышленного и даже вызывающего невнимания. Но ещё тут крылось недоумение, а потом страх. Ричард все меньше казался мне мужчиной с кожей и прочими органами, все больше — огромным запутанным клубком, который я, точно околдованная, обречена ежедневно распутывать. И всегда безуспешно.

Я стояла возле моего дома, моего бывшего дома, ожидая пробуждения каких-нибудь чувств. Никаких. Испытав и то, и другое, не знаю, что хуже: сильное чувство или его отсутствие.

С каштана на лужайке свисала пара ног, женских ног. На секунду я решила, что это настоящие ноги, кто-то слезает, убегает, но, присмотревшись, поняла, что это колготки, чем-то набитые — туалетной бумагой или бельем — и выброшенные из верхнего окна во время сатанинского обряда, подростковых проказ или пирушки бродяг. Застряли в ветвях.

Наверное, эти бестелесные ноги выбросили из моего окна. Бывшего моего. Я вспомнила, как в далеком прошлом из него смотрела. Воображая, как тихонько, никем не замеченная, убегаю этим путем, спускаюсь по дереву, — сначала снимаю туфли, перелезаю через подоконник и тяну одну

ногу в чулке вниз, потом другую, цепляюсь руками. Я этого так и не сделала.

Смотрела из окна. Сомневалась. Думала. Как равнодушна я к себе сейчас.

Открытки из Европы

Дни темнее, деревья угрюмее, солнце катится к зимнему солнцестоянию, а зимы все нет. Ни снега, ни слякоти, ни воющего ветра. Не к добру это промедление. Сумрачная тишина пропитывает нас.

Вчера дошла до самого Юбилейного моста. Говорят, он проржавел, его разъедает, расшатались опоры; говорят, его снесут. Какой-то безымянный и безликий застройщик жаждет присвоить общественную землю вокруг моста и построить там жилые дома; место первый сорт — оттуда красивый вид. Хороший вид теперь подороже картошки — не то чтобы прямо там сажали картошку. Поговаривают, застройщик хорошо дал кому-то на лапу, чтобы сделка состоялась; впрочем, я уверена, подобное происходило и в те дни, когда мост строился — якобы в честь королевы Виктории. Чтобы получить подряд, кто-то щедро заплатил избранникам Её Величества, а в нашем городе уважают старые традиции. *Не важно как*

— *но делай деньги.* Вот эти традиции каковы.

Трудно представить, что когда-то дамы в кружевах и турнюрах приходили на мост и, опираясь на резное ограждение, любовались этим (теперь дорогим и скоро переходящим в частную собственность) видом: бурлящий поток внизу, живописные известняковые уступы на западе, поблизости фабрики, что вовсю работают по четырнадцать часов в сутки, фабрики, где полным-полно ломающих шапки раболепных мужланов, фабрики, что в сумерках мерцают, будто залитые огнями игорные дома.

Я стояла на мосту, глядя вверх по течению, где река гладка, темна и тиха, опасность ещё впереди. По другую сторону моста — водопады, водовороты, бурлит вода. Далеко внизу. У меня сжалось сердце, закружилась голова. И перехватило дыхание, словно я нырнула. Но куда? Не в воду — что-то плотнее. Во время — ушедшее холодное время, в старые горести, что илом в пруду скопились на дне души.

Вот, например:

Шестьдесят четыре года назад мы с Ричардом спускаемся по сходням с *«Беренжерии»* по ту сторону Атлантического океана.

Шляпа Ричарда небрежно заломлена, моя рука

в перчатке легко легла на его руку — молодожены, медовый месяц.

Почему он зовется медовым? *Lune de miel*[92], медовый месяц — будто месяц — луна — не холодный безвоздушный шар из рябого камня, а сочная, золотистая, душистая — сияющая медоточивая слива, желтая, что тает во рту, исходит соком, как желание, — от сладости зубы ноют. Словно теплый прожектор плывет — не в небе, внутри тебя.

Я все это знаю. И очень хорошо помню. Но мой медовый месяц тут ни при чем.

Больше всего из этих восьми недель — неужто всего было девять? — мне запомнилось беспокойство. Я боялась, что Ричарда наш брак — то, что свершалось в темноте, о чем не принято говорить — разочаровал, как меня. Впрочем, похоже, нет: поначалу Ричард был со мной очень любезен, по крайней мере, днём. Свое беспокойство я скрывала, как могла, и постоянно принимала ванну: казалось, я внутри тухну, как яйцо.

Сойдя на берег в Саутгэмптоне, мы поездом отправились в Лондон и остановились в отеле «Браунз». Завтрак подавали в номер; я выходила

---

[92] Примечания: 92
Медовый месяц (фр.).

к нему в пеньюаре, одном из трёх, выбранных Уинифред: пепельно-розовом; цвета слоновой кости с сизым кружевом; сиреневом с сине-зеленым отливом — нежные, пастельные тона хорошо смотрелись утром. К каждому пеньюару прилагались атласные домашние туфли, отделанные крашеным мехом или лебяжьим пухом. Я сделала вывод, что взрослые женщины по утрам так и одеваются. Такие наряды я видела (только где? может, реклама — кофе, например?): мужчина в костюме и галстуке, с прилизанными волосами, и женщина в пеньюаре, такая же ухоженная, в руке серебряный кофейник с изогнутым носиком, они дремотно улыбаются друг другу поверх масленки.

Лора посмеялась бы над этими нарядами. Она уже посмеялась, глядя, как их упаковывают. Ну, не совсем посмеялась. Насмехаться Лора не способна. Недостает жестокости. (Точнее, необходимой намеренной жестокости. Её жестокость случайна — побочный эффект возвышенных представлений, которыми набита её голова.) То было скорее изумление — недоверие. Погладив атлас, она чуть поежилась, и мои пальцы ощутили холодную маслянистость, скользкую ткань. Будто кожа ящерицы.

— И ты будешь это *носить?* — спросила она.

В то лондонское лето — ибо уже наступило лето, — мы завтракали с приспущенными шторами, прячась от яркого солнца. Ричард съедал два вареных яйца, два ломтя бекона и запеченный помидор, тосты и джем — хрустящие тосты, остывающие на подставке. Я — половинку грейпфрута. Темный, вяжущий чай походил на болотную воду. Ричард говорил, что чай таким и должен быть — это английский стиль.

Кроме обязательного «Как спала, дорогая?» — «М-м-м… а ты?» — мы беседовали мало. Ричарду приносили газеты и телеграммы. Телеграммы он получал ежедневно. Сначала просматривал газеты, затем распечатывал телеграммы, читал, аккуратно складывал их вчетверо, прятал в карман. Или рвал в клочки. Никогда не комкал и не бросал в корзину, но даже делай он так, я не стала бы доставать их и читать. В то время — не стала бы.

Я считала, все они адресованы ему: я никогда не получала телеграмм, и не могла придумать, с чего вдруг могу получить.

Днем у Ричарда были разные встречи. Я думала, с деловыми партнерами. Ричард нанял автомобиль с шофером, и меня возили смот-

реть то, что, по мнению Ричарда, посмотреть следовало. Главным образом, разные здания и парки. А ещё статуи возле зданий или в парках: государственные деятели — животы втянуты, грудь колесом, согнутая выставленная вперед нога, в руках бумажные свитки; полководцы — всегда верхом. Нельсон — на своей колонне, принц Альберт — на троне в окружении квартета экзотических женщин, что валяются, ошиваются у его ног, изрыгая фрукты и злаки. Это были Континенты, над которыми принц Альберт, хоть и покойный, сохранял власть. Но он не обращал на них внимания: сидел суровый и молчаливый под разукрашенным позолоченным куполом, глядел в пространство и думал о высоком.

— Что ты сегодня видела? — спрашивал за ужином Ричард, и я покорно докладывала, перечисляя здания, парки и памятники: Тауэр, Букингемский дворец, Кенсингтон, Вестминстерское аббатство, Парламент. Ричард не поощрял посещение музеев, за исключением музея естественной истории. Сейчас мне интересно, почему он считал, что зрелище множества больших набитых чучел послужит моему образованию? Совершенно очевидно, что все эти экскурсии проводились ради моего образования. Но почему

чучела больше соответствовали мне или представлению Ричарда о том, какой мне следует быть, чем, например, полные залы живописи? Я догадываюсь, в чем тут дело, хотя, может, и ошибаюсь. Вероятно, чучела животных казались ему чем-то вроде зоопарка — куда принято водить детей.

В Национальную галерею я все же сходила. Мне посоветовал портье, когда памятники закончились. Поход меня измотал: слишком много людей, чересчур ярко — точно в универмаге; но у меня кружилась голова. Я никогда не видела столько обнаженных женских тел одновременно. Обнаженные мужчины тоже были, но не такие обнаженные. И масса изысканных нарядов. Возможно, нагота или одетость — первичные категории, как мужчина и женщина. Ну, Бог так думал. (Лора — ребенком: *«А что носит Бог?»)*

Пока я осматривала достопримечательности, автомобиль меня дожидался. Я быстрым шагом входила в ворота или какой там был вход, притворяясь целеустремленной; стараясь не выглядеть одинокой или потерянной. Потом все глазела и глазела — чтобы было что рассказать. Но я толком не понимала, что вижу. Здания — всего лишь здания. Ничего в них особенного нет, если ты не

знаток архитектуры или не знаешь, что в них происходило, а я ничего не знала. Я не обладала талантом видеть целое, глаза точно тормозили на поверхности того, на что я смотрела, и я уносила с собой лишь текстуру — шершавость кирпича или камня, гладкость вощеных деревянных перил, жесткость убогого меха. Зеркальные глаза.

Ричард поощрял не только познавательные экскурсии, но и поездки по магазинам. Я пугалась продавцов и покупками не увлекалась. Иногда заходила в парикмахерскую. Ричард не хотел, чтобы я коротко стриглась или делала горячую завивку — я и не делала. Чем проще, тем лучше, говорил он. Это подчеркивало мою молодость.

Бывало, я просто бродила по улицам, сидела в парках, дожидаясь, когда настанет время возвращаться. Случалось, ко мне подсаживался мужчина и пытался завязать разговор. Тогда я уходила.

Я много времени тратила на переодевания. На возню с ремешками, пряжками, прилаживанием шляпок, выравниванием швов на чулках. Переживала, подходит ли то или это к тому или иному часу дня. Некому было застегнуть мне крючки на платье или сказать, как я выгляжу со спины, все ли сидит как надо. Раньше это делали Рини или

Лора. Я скучала по ним, и старалась не скучать.

Полирую ногти, парю ноги. Выщипываю или сбриваю волоски: кожа должна быть гладкой, без поросли. Топография — точно сырая глина, чтобы руки скользили.

Считается, что медовый месяц дается молодоженам, чтобы лучше узнать друг друга, но шли дни, и я чувствовала, что знаю Ричарда все меньше. Он закрывался — а может, что-то скрывал. Отошел на выгодную позицию. Я же обретала форму — ту, что он для меня выбрал. Каждый раз, когда я смотрелась в зеркало, во мне сильнее проступали новые черты.

Из Лондона мы направились в Париж, сначала на пароме через канал, потом на поезде. Дни в Париже мало чем отличались от Лондона, — разве что на завтрак подавали рогалики, клубничный джем и кофе с горячим молоком. Трапезы были роскошны; ими Ричард особенно восторгался — винами в первую очередь. Все повторял, что мы не в Торонто — очевидный для меня факт.

Я видела Эйфелеву башню, но наверх не поднималась — не люблю высоты. Видела Пантеон и гробницу Наполеона. А в Соборе парижской богоматери не была: Ричард не благоволил к церквям — по крайней мере, католическим, считал, что

они расслабляют. Например, говорил, что от ладана тупеешь.

Во французской гостинице имелось биде; Ричард объяснил мне его назначение с лёгкой усмешкой, увидев, как я мою там ноги. Французы понимают то, чего не понимают другие, подумала я. Понимают желания тела. Во всяком случае, признают, что оно существует.

Мы жили в «Лютеции» — во время войны там будет штаб-квартира нацистов, но откуда мы могли знать? По утрам я пила кофе в ресторане гостиницы, потому что боялась идти куда-нибудь ещё. Я была убеждена, что потеряв гостиницу из виду, никогда не найду дорогу назад. Я уже поняла, что от французского, которому меня научил мистер Эрскин, проку мало. От фразы *«Le coeur a ses raisons que le raison ne connaît point*[60]*»* молока в кофе не прибавится.

Меня обслуживал официант с лицом старого моржа; он высоко поднимал кувшины и лил кофе и горячее молоко одновременно — я восхищалась, будто ребенок фокусником. Однажды он спросил — он немного знал английский:

— Почему вы такая печальная?

---

[60] Примечания: 60

У сердца есть свои резоны, о которых разум и не догадывается (фр.).

— Вовсе нет, — ответила я и расплакалась. Порой сочувствие посторонних — катастрофа.

— Не надо печалиться, — сказал он, глядя на меня грустными, кожистыми глазами моржа. — Наверно, любовь. Но вы молодая, красивая. У вас потом будет время печалиться. — Французы — знатоки по части печали, они её знают во всех видах. Потому у них и есть биде. — Это преступно, любовь, — прибавил он, похлопывая меня по плечу. — Но без неё хуже.

Впечатление от этих слов было несколько испорчено на следующий день, когда официант сделал мне гнусное предложение, если я правильно поняла: с моим французским трудно сказать точно. Он был не так уж стар — должно быть, лет сорока пяти. Надо было согласиться. Но насчет печали он ошибался: печалиться лучше в молодости. Печальная хорошенькая девушка вызывает желание её утешить, а вот печальная старая клюшка — нет. Но это так, к слову.

Потом мы направились в Рим. Мне он показался знакомым — во всяком случае, контекст в меня вбил мистер Эрскин на уроках латыни. Я видела Форум — то, что от него осталось, Аппиеву дорогу и Колизей, похожий на обгрызенный мышами сыр. Разные мосты, побитых временем ангелов,

серьёзных и печальных. Видела Тибр — желтый, будто желчь. Видела Святого Петра — правда, только снаружи. Он огромен. Наверное, я должна была видеть черные формы фашистов Муссолини, марширующих по городу и всех избивающих — они уже появились? — но я не видела. Такие вещи обычно невидимы, если жертва не ты. О них узнаешь только из кинохроник или из фильмов, поставленных много позже.

Днем я заказывала чашку чая — я постепенно приучалась заказывать, начала понимать, как разговаривать с официантами, как удерживать их на безопасном расстоянии. Я пила чай и писала открытки. Рини, Лоре и несколько — отцу. На открытках изображались места, где я побывала, — все, что мне полагалось видеть, в деталях цвета сепии. Мои послания мог бы писать слабоумный. Рини: *Погода чудесная. Я в восторге.* Лоре: *Сегодня видела Колизей, где христиан бросали на съедение львам. Тебе было бы интересно.* Отцу: *Надеюсь, ты здоров. Ричард передает привет.* (Это неправда, но я уже постигала, какого вранья от меня, жены, ожидают.)

Ближе к концу медового месяца мы провели неделю в Берлине. У Ричарда там были дела — насчет ручек для лопат. Одна его фирма делала

ручки для лопат, а немцам не хватало древесины. В стране много копали и собирались копать ещё больше, а Ричард мог поставлять ручки дешевле, чем конкуренты.

Как говорила Рини: *Большое складывается из малого.* И ещё: *Бывает чистый бизнес, а бывает нечистый.* Но я ничего не понимала в бизнесе. Моя задача — улыбаться.

Признаюсь, Берлин мне понравился. Нигде я не ощущала себя такой белокурой. Мужчины исключительно предупредительными, только не оглядывались, проходя в дверь. Но если тебе целуют руки, можно многое простить. Именно в Берлине я привыкла наносить духи на запястья.

Города я запоминала по гостиницам, гостиницы — по ванным комнатам. Одеться, раздеться, понежиться в воде. Но хватит путевых заметок.

В Торонто мы вернулись через Нью-Йорк. Была середина августа, жара стояла нестерпимая. После Европы и Нью-Йорка Торонто показался маленьким и тесным. У Центрального вокзала клали асфальт, в воздухе клубились битумные пары. Заказанный автомобиль повез нас, обгоняя трамваи с их пылью и лязгом, мимо разукрашенных банков и универмагов, в гору к Роуздейл, в тень каштанов и кленов.

Мы остановились перед домом, который Ричард купил для нас по телеграмме. Купил за понюшку табаку, говорил он, — бывший владелец ухитрился разориться. Ричарду нравилось говорить, что он купил что-то за понюшку табаку, — очень странно, потому что он не нюхал табак. И не жевал. Даже курил нечасто.

Фасад мрачен, увит плющом; высокие узкие окна обращены внутрь. Ключ под ковриком; в прихожей пахнет химикалиями. Пока нас не было, Уинифред затеяла ремонт, и он ещё не закончился: в гостиных, где маляры содрали старые викторианские обои, валялись робы. Теперь дом стал пастельный, жемчужный — цвета равнодушной роскоши, холодного отчуждения. Как подсвеченные зарей перистые облака, что плывут одиноко в небе над вульгарной суетой птиц, цветов и всякой живности. В этой атмосфере мне предстояло жить, этим разреженным воздухом дышать.

Рини презрительно фыркнула бы при виде мерцающей пустоты и мертвенной белизны дома: *да это одна большая ванная.* Но обстановка напугала бы её не меньше моего. Я мысленно призвала бабушку Аделию. Вот кто знал бы, что делать. Ясно: нувориши хотят произвести впечатление.

Она вежливо отмела бы: *что и говорить — очень современно.* Бабушка поставила бы Уинифред на место, думала я, но от этого не легче: теперь и я принадлежала к Гриффенам. Отчасти, во всяком случае.

А Лора? Притащила бы цветные карандаши, тюбики с красками. Что-нибудь пролила, что-нибудь разбила, хоть что-то испортила бы в доме. Оставила бы свою метку.

В холле — прислоненное к телефону послание от Уинифред: «Привет, ребята! С возвращением! В первую очередь я велела привести в порядок спальню! Надеюсь, вам понравится — просто шикарная! Фредди».

— Я не знала, что этим занимается Уинифред.

— Мы хотели сделать сюрприз, — сказал Ричард. — Зачем тебе вникать?

И я в который раз почувствовала себя ребенком, которого родители не посвящают в свою взрослую жизнь. Доброжелательные деспотичные родители, тайно сговорившиеся, уверенные, что они во всем и всегда правы. Я заранее знала, что на день рожденья Ричард никогда не подарит мне то, чего я хочу.

По совету Ричарда я пошла наверх освежиться. Наверное, у меня был такой вид. Я и впрямь

чувствовала себя совсем разбитой и липкой. («Роса на розе», так назвал это Ричард.) Шляпка развалилась, я бросила её на туалетный столик. Побрызгала водой лицо, вытерлась белым полотенцем с монограммой — Уинифред повесила. Окна спальни выходили в сад, которым ещё не занимались. Сбросив туфли, я рухнула на бескрайнюю кремовую постель. Наверху балдахин, повсюду кисея, будто в сафари. Значит, здесь мне улыбаться и терпеть — на этой кровати, которую я не стелила, но в которой придется спать. И на этот потолок смотреть сквозь кисейный туман, пока на теле вершатся земные дела.

Возле кровати стоял белый телефон. Он зазвонил. Я сняла трубку. Лора, вся в слезах.

— Где ты была? — рыдала она. — Почему не приехала?

— Ты о чем? — не поняла я. — Мы приехали точно в срок. Успокойся, я тебя плохо слышу.

— Ты даже не отвечала! — заливалась слезами Лора.

— Господи, да о чем ты?

— Папа умер! Он умер, он умер! Мы послали пять телеграмм! Рини послала!

— Подожди. Не торопись. Когда это случилось?

— Через неделю после твоего отъезда. Мы пы-

тались звонить. Мы обзвонили все гостиницы. Нам сказали, что тебе передадут, нам обещали. Они что, не сказали?

— Я приеду завтра, — сказала я. — Я не знала. Мне ничего не передавали. Я не получала никаких телеграмм. Ни одной.

Я ничего не понимала. Что случилось, как это произошло, почему папа умер, почему мне не сказали? Я сидела на полу, на пепельном ковре, скорчившись над телефоном, будто над хрупкой драгоценностью. Я представила, как в Авалон приходят из

Европы мои открытки с веселыми пустыми словами. Может, до сих пор лежат на столике в вестибюле. *Надеюсь, ты здоров.*

— Но об этом писали в газетах! — воскликнула Лора.

— Не там, где я была. Не в тех газетах. — Я не добавила, что вообще не прикасалась к газетам. Слишком отупела.

Всюду — на пароходе и в гостиницах — телеграммы получал Ричард. Я так и видела, как его аккуратные пальцы вскрывают конверт, Ричард читает, складывает телеграмму вчетверо, прячет. Его нельзя обвинить во лжи — он ни слова о них не говорил, об этих телеграммах, — но ведь и это

ложь? Разве нет?

Он, наверное, договаривался в гостиницах, чтобы меня ни с кем не соединяли по телефону. Никаких звонков, пока я в номере. Намеренно держал меня в неведении.

Сейчас вырвет, подумала я, но тошнота отступила. Через некоторое время я спустилась вниз. *Кто себя в руках держит, тот и победил,* говорила Рини. Ричард сидел на задней веранде и пил джин с тоником. Как предусмотрительно со стороны Уинифред запастись джином, сказал он — дважды. Второй бокал ждал меня на столике — стеклянная столешница на коротких кованых ножках. Я взяла бокал. Лед звякнул о хрусталь. Вот так должен звучать мой голос.

— Бог ты мой! — Ричард глянул на меня. — А я думал, ты немного освежилась. Что с твоими глазками? — Наверное, покраснели.

— Папа умер, — ответила я. — Мне послали пять телеграмм. Ты не сказал.

— *Mea culpa*[93], — сказал Ричард. — Понимаю, что должен был рассказать, но не хотел тебя расстраивать, дорогая. Сделать ничего было нельзя, на похороны мы никак не успевали, а я не хотел

---

[93] Примечания: 93
Моя вина (лат.).

тебе все портить. Наверное, я эгоист: я хотел, чтобы ты целиком принадлежала мне — хоть ненадолго. А сейчас сядь, встряхнись, выпей джину и прости меня. Утром мы этим займемся.

От зноя кружилась голова; пятна солнца на лужайке слепили зеленью. Тень под деревьями черна, как смоль. Стаккато его голоса взрывалось азбукой Морзе: я слышала только отдельные слова.

Расстраивать. Не успевали. Портить. Эгоист. Прости меня.

Что я могла ответить?

Светло-желтая шляпка

Рождество пришло и ушло. Я старалась его не замечать. Но Майру трудно не заметить. Она принесла мне в подарок небольшой сливовый пудинг, приготовила его сама из черной патоки и какой-то замазки, а сверху половинки резиновых ярко-красных вишен — точно нашлепки на сосках у стриптизерши былых времен. Еще она подарила мне плоскую расписную деревянную кошку с нимбом и ангельскими крыльями. Эти кошки пользуются в «Пряничном домике» бешеным спросом, сказала Майра; ей они тоже кажутся забавными, и она отложила одну для

меня; на ней, правда, есть маленькая трещинка, но она совсем незаметна, и кошка будет отлично смотреться на стене над плитой.

Удачное место, согласилась я. Наверху ангел, и плотоядный ангел к тому же — давно пора откровенно об этом поговорить! Внизу — печь, как известно из надежных источников. А мы все — посредине, застряли на Земле — как раз где сковородка. Как всегда, теологические споры поставили бедняжку Майру в тупик. Ей нравится, когда Бог прост — прост и безыскусен, как редиска.

Долгожданная зима пришла в канун Нового года — ударил мороз, а назавтра повалил снег. За окном мело и мело — сугроб за сугробом, словно в финале детского праздника Бог вываливал грязное снежное белье. Для полной ясности я включила метеоканал: дороги занесены, автомобили погребены под снегом, повреждены линии электропередач, замерла торговля, рабочие в мешковатых комбинезонах неуклюже бродят на морозе, точно дети-переростки, упакованные для игр. Молодые ведущие называют ситуацию «текущим моментом», не теряя задорного оптимизма, как при любой катастрофе. Делая невероятные прогнозы, они сохраняют беззаботность труба-

дуров, цыган на ярмарке, страховых агентов или биржевых гуру, прекрасно понимая: все их обещания сбыться не могут.

Майра позвонила узнать, как у меня дела. Сказала, что Уолтер приедет меня откапывать, как только прекратится снегопад.

— Не глупи, Майра, — сказала я. — Сама выкопаюсь. — (Откровенная ложь: я и пальцем не шевельну. У меня полно арахисового масла — могу переждать. Но мне хотелось общества, а мои угрозы заняться физическим трудом обычно ускоряют приезд Уолтера.)

— Не смей трогать лопату! — завопила Майра. — Сотни старых… сотни людей твоего возраста каждый год умирают от инфарктов, потому что копали снег. И если отключат электричество, смотри, куда ставишь свечи.

— Я ещё не в маразме, — огрызнулась я. — Дом спалю разве только нарочно.

Приехал Уолтер, прокопал дорожки. Привез пакет бубликов. Мы их съели за столом на кухне: я осторожно, Уолтер — оптом, но задумчиво. Он из тех, для кого жевание — форма размышления. Мне вспомнилась вывеска в витрине ларька «Мягкие бублики», в парке развлечений «Санни-сайд», — в каком же году? — летом 1935-го:

Главное в бубликах — бублик,
А вовсе не дыры…
Помни об этом, братец,
И топай по миру.

Дырка от бублика — парадокс. Пустота, но теперь и её научились продавать. Отрицательное число; *ничто,* ставшее съедобным. Интересно, нельзя ли — конечно, метафорически — на этом примере доказать существование Бога. Когда даешь имя ничему, не становится ли оно чем-то?

На следующий день я рискнула прогуляться среди великолепных холодных дюн. Безрассудство, но мне хотелось приобщиться: снег так красив, пока не потемнел и не покрылся порами. Лужайка перед домом напоминала сверкающую лавину с переходом через Альпы. Я вышла на улицу и успешно преодолела некоторое расстояние, но через несколько домов к северу хозяева копали не столь усердно, с Уолтером не сравнить, и я увязла в снегу, стала барахтаться, поскользнулась и упала. Вроде никаких переломов или растяжений — я об этом и не думала — но подняться я не могла. Так и лежала, суча ногами и руками, будто опрокинутая черепаха. Дети такое специально устраивают, машут руками, будто

крыльями, — «делают ангелов». Им это забава.

Я уже забеспокоилась, как бы не промерзнуть насквозь, но тут два незнакомца меня подняли и доволокли до дома. Я прохромала в комнату и рухнула на диван, не снимая бот и пальто. По своему обыкновению, почуяв беду, вскоре объявилась Майра с полдюжиной разбухших кексов, оставшихся после каких-то семейных посиделок. Она приготовила чай, сунула мне в постель грелку и вызвала доктора. Они засуетились уже вдвоем, мягко и обидно меня упрекая, и надавали кучу полезных советов, чрезвычайно довольные собой.

Я расстроена. И злюсь на себя ужасно. Нет, скорее, не на себя — на свое тело, учинившее такое свинство. Плоть всю жизнь ведет себя, как законченная эгоистка, твердит о своих потребностях, навязывает свои убогие и опасные желания, и вдруг под конец откалывает такое — просто уходит в самоволку. Когда нам что-то нужно — например, рука или нога, оказывается, у тела совершенно иные планы. Оно шатается, гнется под тобой, просто тает, будто снежное — и что остается? Пара угольков, старая шляпа, улыбка из гальки. Кости — хворост, легко ломаются.

Все это оскорбительно. Трясущиеся колени,

артрозные суставы, варикозные вены, все эти немощи и унижения — все это не наше — мы этого не хотели и не требовали. В мыслях мы остаемся совершенствами — собою в лучшую пору и в лучшем свете: никогда не застреваем, вылезая из автомобиля — одна нога на улице, другая в салоне; не ковыряем в зубах; не сутулимся; не почесываем нос или зад. Если мы обнажены, то грациозно полулежим в лёгкой дымке — это мы переняли у актеров, они научили нас таким позам. Актеры — наша юная сущность, покинувшая нас, сияющая, обратившаяся в миф.

Ребенком Лора спрашивала: *а сколько лет мне будет на небе?*

Поджидая нас, Лора стояла на ступеньках Авалона между двумя каменными урнами, куда не удосужились посадить цветы. Несмотря на рост, она выглядела совсем девочкой — хрупкой и одинокой. Будто крестьянкой, нищенкой. В голубом домашнем платье с выцветшими лиловыми бабочками — моем, трёхлетней давности, — и притом босая. (Это что, очередное умерщвление плоти или просто эксцентричность? А может, она просто забыла надеть туфли?) Косичка переброшена через плечо, как у нимфы на пруду.

Кто знает, сколько времени она тут простоя-

ла. Мы не смогли сказать точно, когда приедем, поскольку отправились на машине: в это время дороги не размыты и не утопают в грязи, а некоторые тогда уже заасфальтировали.

Я говорю *мы*, потому что Ричард поехал со мной. Сказал, что не оставит меня в такой момент одну. Он был предельно заботлив.

Ричард сам вел синий двухместный автомобиль — одну из последних игрушек. В багажнике лежали два чемоданчика — мы собирались в Авалон только до завтра. Чемодан Ричарда из бордовой кожи, и мой, лимонный. Я надела светло-желтый полотняный костюм (конечно, ерунда, но я купила его в Париже, и он мне очень нравился), и боялась, что помнется на спине. В полотняных туфлях с жесткими бантиками и прорезями на носах. Светло-желтую шляпку я везла на коленях как изящную драгоценность.

Ричард за рулем всегда нервничал. Он не выносил, когда его отвлекали — говорил, что не может сосредоточиться, — и мы ехали по большей части молча. Поездка, на которую теперь уходит два часа, заняла у нас все четыре. Небо ясное, яркое и бездонное, точно металл; солнце лилось расплавленной лавой. Над раскаленным асфальтом дрожал воздух; в маленьких городках

все попрятались от зноя, опустили шторы. Помню выжженные лужайки, веранды с белыми столбами; редкие бензоколонки, насосы, похожие на цилиндрических одноруких роботов — стеклянный верх, как шляпа-котелок без полей; кладбища, где, казалось, никогда больше никого не похоронят. Изредка попадались озера — от них пахло тухлой рыбой и теплыми водорослями.

Когда мы подъехали, Лора не помахала. Стояла и ждала, пока Ричард выключит мотор, выберется из машины, обойдет её и откроет мне дверцу. Я сдвинула вбок обе ноги, не раздвигая коленей, как учили, и оперлась на протянутую Ричардом руку, но тут Лора внезапно ожила. Сбежала со ступеней, схватила меня за другую руку, вытянула из машины, не обращая на Ричарда внимания, и вцепилась в меня, словно утопающий в соломинку. Никаких слез, только это судорожное объятие.

Светло-желтая шляпка упала, и Лора на неё наступила. Раздался треск; Ричард шумно втянул воздух. Я ничего не сказала. В тот момент мне было не до шляпы.

Обнимая друг друга за талии, мы с Лорой поднялись в дом. В дальнем конце коридора, на пороге кухни маячила Рини, но она оставила нас вдво-

ем. Думаю, занялась Ричардом — предложила ему выпить или ещё что. Он, наверное, хотел взглянуть на дом и землю — он же фактически их унаследовал.

Мы пошли в Лорину комнату и сели на кровать. Мы крепко держали друг друга за руки — левой за правую, правой за левую. Лора не плакала, как по телефону. Точно каменная.

— Он был в башне, — сказала Лора. — Заперся там.

— Он всегда так делал, — заметила я.

— На этот раз он не выходил. Рини оставляла подносы с едой под дверью, но он ничего не ел и не пил — или мы не знали. Тогда нам пришлось высадить дверь.

— Вам с Рини?

— Пришел ухажер Рини — Рон Хинкс — она собирается за него выйти. Он высадил дверь. А папа лежал на полу. Доктор сказал, он там пролежал не меньше двух дней. Он выглядел ужасно.

Я не знала, что Рон Хинкс — дружок Рини, даже её жених. Как давно, и как я могла этого не знать?

— То есть он был мертв?

— Сначала я так не подумала: у него были открыты глаза. Но он был мертвый. Он выглядел…

Не могу сказать как. Будто прислушивался к чему-то, что его напугало. *Настороженный.*

— Застрелен? — Не знаю, почему я так спросила.

— Нет. Просто умер. В бумагах так и написали: *внезапно, по естественным причинам.* Рини говорила миссис Хиллкоут, что и правда по естественным причинам, потому что пьянство стало его естеством, а судя по пустым бутылкам, он в этот раз выпил столько, что и быка свалило бы.

— Он пил, потому что хотел умереть, — сказала я. Это не был вопрос. — Когда это случилось?

— Когда объявили, что фабрики навсегда закрываются. Вот что его убило. Я точно знаю!

— Что? Как навсегда? Какие фабрики?

— Все, — ответила Лора. — Все наши фабрики. Все, что в городе. Я думала, ты знаешь.

— Я не знала, — сказала я.

— Наши слились с фабриками Ричарда. Все переехало в Торонто. Теперь называется «Королевское объединение Гриффен — Чейз». То есть *Сыновей* больше нет. Ричард их убил подчистую.

— Значит, работы нет, — сказала я. — Здесь нет. Все кончено. Ликвидировано.

— Говорят, все упиралось в деньги. Пуговичная фабрика сгорела, а перестройка слишком

дорогая.

— Кто говорит?

— Не знаю, — ответила Лора. — Разве не Ричард?

— Это была нечестная сделка, — сказала я. Бедный отец, он верил в рукопожатия, честное слово и молчаливые выводы. Я начинала понимать, что все это теперь не действует. А может, никогда не действовало.

— Какая сделка? — спросила Лора.

— Не важно.

Значит, я напрасно вышла замуж за Ричарда: я не спасла фабрики. И, конечно, не спасла отца. Но оставалась Лора — хоть она не на улице. Вот о чем следует думать.

— Отец оставил что-нибудь — письмо, записку?

— Ничего.

— Ты смотрела?

— Рини смотрела, — ответила Лора тихо; значит, ей самой не хватило духу.

Разумеется, подумала я. Рини все осмотрела. И если что-то нашла, сожгла тут же.

Но отец не оставил бы записки. Он понимал, какие будут последствия. Он не хотел вердикта «самоубийство», поскольку выяснилось, что его жизнь застрахована; он давно уже вносил деньги, и никто не мог придраться, что он все подстроил. Деньги отец заморозил: они поступили доверенным, и получить их могла только Лора и лишь когда ей исполнится двадцать один год. Должно быть, отец уже не доверял Ричарду и решил, что нет смысла оставлять деньги мне. Я была ещё несовершеннолетней и женой Ричарда. Тогда были другие законы. Все мое фактически принадлежало мужу.

Как я уже говорила, мне достались отцовские ордена. За что он их получил? За мужество. За храбрость в бою. За благородную: самоотверженность. Думаю, он хотел, чтобы я стала их достойна.

Весь город пришел на похороны, сказала Рини. Ну, почти весь: в некоторых кварталах жители не избавились от горечи, но все-таки отца уважали, и к тому времени многие уже понимали, что фабрики закрыл не он. Понимали, что он тут ни при чем, и сделать ничего не мог. Его убил

большой бизнес.

Все в городе жалеют Лору, сказала Рини. (С подтекстом *а не меня.* Считалось, что останки достались мне. Какие были.)

Вот что устроил Ричард:

Лора переедет к нам. Ну, разумеется, это необходимо: не жить же ей одной в Авалоне — ей всего пятнадцать.

— Я могу жить с Рини, — возразила Лора, но Ричард сказал, что это не дело. Рини выходит замуж, и у неё не будет времени за Лорой присматривать. Лора упорствовала: за ней вовсе не надо присматривать, но Ричард только улыбался.

— Пусть Рини переедет в Торонто, — предложила Лора, но Ричард сказал, что Рини не хочет. (Не хотел Ричард. Они с Уинифред уже наняли слуг, которые, по их мнению, больше подходили для нашего хозяйства — знали толк, как он выразился. *Знали толк* в Ричарде и Уинифред.)

Ричард сказал, что уже все обсудил с Рини, и они пришли к соглашению. Рини с мужем станут сторожами, будут следить за ремонтом Авалона: дом разваливается, предстоит много работы, начиная с крыши; и они всегда смогут приготовить дом к нашему приезду: на лето мы станем селиться здесь. Будем приезжать в Авалон

поплавать на яхте и вообще отдохнуть, пояснил Ричард тоном доброго дядюшки. И мы с Лорой не лишимся фамильного дома. *Фамильный дом* он произнес с улыбкой. Мы что, не рады?

Лора его не поблагодарила. Сверлила ему лоб пустым взглядом, который практиковала на мистере Эрскине, и я поняла, что нас ждут неприятности.

Как только все войдет в свою колею, мы с ним вернемся в Торонто на машине, продолжал Ричард. Прежде всего нужно повидаться с адвокатами отца, нам на встрече присутствовать не стоит: учитывая обстоятельства, это будет слишком тяжело, а ему хотелось бы оградить нас от лишних потрясений. Рини сказала нам по секрету, что один из адвокатов — наш свойственник по материнской линии, муж троюродной маминой сестры, и он, конечно, будет начеку.

Лора останется в Авалоне, пока они с Рини соберут вещи, потом приедет в Торонто на поезде, и на вокзале её встретят. Она будет жить с нами, в доме есть свободная спальня, она прекрасно подойдет, если её чуть подремонтировать. И Лора сможет — наконец-то — пойти в хорошую школу. Посоветовавшись с Уинифред, которая в таких вещах разбирается, Ричард выбрал школу святой

Цецилии. Лоре надо будет подготовиться, но он уверен, это не составит труда. Таким образом, она сможет воспользоваться плюсами, преимуществами…

— Преимуществами чего? — спросила Лора.

— Своего положения, — ответил Ричард.

— Не вижу никакого положения, — сказала Лора.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Ричард уже не так добродушно.

— Это у Айрис есть положение. Она миссис Гриффен. А я лишняя.

— Я понимаю, ты очень расстроена, — сказал Ричард холодно. — Печальные обстоятельства тяжелы для всех, но это не повод дерзить. И Айрис, и мне тоже нелегко. Я просто стараюсь сделать для тебя все, что могу.

— Он думает, я буду помехой, — сказала мне Лора вечером, когда мы укрылись от Ричарда на кухне. Было неприятно смотреть, как он составляет списки — это выбросить, это починить, это заменить. Смотреть и молчать. *Он ведет себя как хозяин,* возмутилась Рини. *Он и есть хозяин,* возразила я.

— Чему помехой? — не поняла я. — Я уверена, ты ошибаешься.

— Ему помехой, — ответила Лора. — Тебе и ему.

— Все к лучшему, — сказала Рини как-то механически. Она говорила устало и неубедительно, и я поняла, что помощи от неё ждать нечего. В тот вечер она выглядела старой, толстой и побежденной. Как выяснилось впоследствии, она уже ждала Майру. Рини позволила, чтобы её вымели из нашей жизни. *Выметают только сор и выбрасывают в мусорный ящик*, говаривала она, но сама же себя опровергла. Должно быть, она думала о другом: идти ли к алтарю, а если нет, что тогда делать? Плохие были времена, ничего не скажешь. Не было перегородки между благополучием и бедой: поскользнувшись, падаешь, а упав — летишь, бьешься и тонешь. Второй шанс ей мог и не подвернуться: даже если б она уехала, родила ребенка и отдала на воспитание, слухи просочились бы, и ей никогда бы не простили. Можно табличку вывесить — очередь к ней выстроится до соседнего квартала. Если женщина оступилась, значит, ей судьба оступаться и дальше. *Зачем покупать корову, если можно и так молока пить вдоволь*, должно быть, думала Рини.

И она сдалась, отдала нас с Лорой. Много лет

заботилась о нас, как могла, но теперь у неё не было сил.

Я ждала Лору в Торонто. Жара не спадала. Духота, влажный лоб, душ перед бокалом джина с тоником на веранде, выходящей в засохший сад. Воздух — как мокрый огонь, все размякло и пожелтело. Вентилятор в спальне шкондыбал, как человек с деревянной ногой по лестнице: тяжелое сопение, стук, опять сопение. Душными беззвездными ночами я лежала на кровати и глядела в потолок, пока Ричард на мне возился.

Он говорил, что одурманен мною. *Одурманен* — словно пьян. Словно будь он трезв и в здравом рассудке, чувствовал бы иначе.

Я с удивлением разглядывала себя в зеркало. Что во мне такого? Что такого дурманящего? Зеркало было в полный рост, я пыталась рассмотреть себя сзади, но у меня, конечно, ничего не получалось. Невозможно увидеть себя со стороны — как видят другие, как видит мужчина, что смотрит сзади, когда об этом не догадываешься, потому что в зеркале поворачиваешь голову, глядя через плечо. Застенчивая, соблазнительная поза. Можно взять второе зеркало, но тогда увидишь то, что любили рисовать художники: «Женщину, разглядывающую себя в зеркале» — аллегорию

тщеславия, как принято думать. Вряд ли это тщеславие — скорее, наоборот, поиск недостатков. Фразу — *Что во мне такого?* легко переделать в другую — *Что во мне такого плохого?*

Ричард говорил, что женщины делятся на яблоки и груши по очертаниям попок. Я груша, говорил он, только ещё неспелая. Это ему и нравилось — моя незрелость, упругость. Думаю, он имел в виду нижний этаж, хотя, возможно, и остальное тоже.

Приняв душ, побрив ноги, причесав и пригладив волосы, я теперь старательно убирала с пола малейший волосок. Тщательно осматривала ванну и раковины и все волосы смывала в унитаз: Ричард однажды как бы между прочим заметил, что женщины всюду оставляют волосы. Подразумевалось: как линяющие животные.

Откуда он знал? О грушах и яблоках, о линьке? Кто эти женщины, другие женщины? Мне было слегка любопытно — не более того.

Я старалась не думать об отце, о его смерти, о том, что было с ним перед этим, что он чувствовал; обо всем, что Ричард избегал со мной обсуждать.

Уинифред была настоящей рабочей пчелкой. Несмотря на жару, всегда свежа, в чем-то светлом

и воздушном — пародия на сказочную крестную. Ричард все твердил, какая она замечательная, да как она избавляет меня от стольких трудов и хлопот, но меня она нервировала все больше. Уинифред постоянно мелькала в доме; неизвестно, когда появится в следующий раз и весело улыбаясь сунет голову в дверь. Моим единственным убежищем была ванная — там можно запереться и не выглядеть чересчур грубой. Уинифред продолжала надзирать за ремонтом, заказала мебель для Лориной комнаты. (Туалетный столик, подбитый гофрированной розовой тканью в цветочек, и такие же шторы и покрывало. Зеркало в белой, причудливой раме с золотой отделкой. Так подходит Лоре, я согласна? Я была не согласна, но что толку возражать.)

Уинифред занималась и садом, уже сделала несколько набросков — кое-какие идеи, сказала она, впихнув мне бумаги, затем забрала их и бережно засунула в разбухшую от кое-каких идей папку. Хорошо бы фонтан, говорила она, — можно французский, только подлинник. Я согласна?

Мне не терпелось увидеть Лору. Её приезд уже трижды откладывался: то она не успела собрать вещи, то простудилась, то потеряла билет. Я разговаривала с ней по белому телефону; её голос

звучал сдержанно и отчужденно.

Наняли двух слуг: ворчливую кухарку-экономку и крупного мужчину с двойным подбородком — шофера и садовника. Фамилия их была Мергатройд, вроде бы муж и жена, но походили друг на друга, как брат и сестра. Мне они не доверяли, я им платила тем же. В те дни, когда Ричард уезжал на работу, а от Уинифред некуда было деться, я старалась держаться подальше от дома. Говорила, что еду в центр, говорила, что за покупками, — их устраивало, если я тратила время таким образом. Рядом с универмагом «Симпсонс» я выходила и говорила шоферу, что вернусь домой на такси. Потом шла в магазин, быстро покупала что-нибудь — чулок и перчаток всегда хватало для подтверждения моего усердия. Я проходила весь магазин и покидала его через противоположный выход.

Я вернулась к прошлым привычкам — бесцельно шаталась по городу, разглядывала витрины, театральные афиши. Я даже стала одна ходить в кино, уже не боясь мужских приставаний; я знала, что у мужчин на уме, и они утратили ореол демонического очарования. Меня уже не интересовало тисканье, бормотание. *Не распускайте руки, а то закричу* — срабатывало отлично, если произносилось уверенно. Похоже, они понимали,

что я так и сделаю. В то время я больше всех любила Джоан Кроуфорд[94]. Страдальческие глаза, убийственный рот.

Иногда я ходила в Королевский музей Онтарио. Разглядывала доспехи, чучела, старинные музыкальные инструменты. Меня не увлекало. Или шла в кондитерскую «Диана» выпить газировки или кофе; светское кафе напротив модных магазинов, куда постоянно захаживали благородные дамы, здесь можно было не опасаться приставаний одиноких мужчин. Или гуляла в Королевском парке — быстро и целеустремленно. Если замедлить шаг, обязательно пристроится мужчина. *Мушиные липучки,* звала Рини некоторых девушек. *Мужчин от них приходится отскребать.* Как-то раз один прямо передо мной расстегнул ширинку. (Я совершила ошибку, сев на единственную скамью в университетском парке.) Не бродяга, вполне сносно одетый. «Простите, — сказала я ему, — мне это просто неинтересно». Он был так разочарован. Наверное, рассчитывал, что я в обморок упаду.

Теоретически я могла ходить, куда хочу, но

---

[94] Примечания: 94

Джоан Кроуфорд (1908–1977) — американская киноактриса. Большинство её героинь неудержимо стремились к успеху, готовые ради него принести в жертву чувства.

на практике возникали невидимые барьеры. Я гуляла по главным улицам, в богатых районах: но и в этих пределах не так много было мест, где я ощущала себя раскованно. Я смотрела на людей — скорее женщин, чем мужчин. Они замужем? Куда они идут? Есть ли у них работа? Глядя на них, я мало что различала — разве что стоимость туфель.

Меня словно перенесли в чужую страну, где все говорят на незнакомом языке.

Иногда мне встречались парочки, под руку — смеющиеся, счастливые, влюбленные. Жертвы чудовищного обмана и в то же время сами в нём повинные — так мне казалось. Я смотрела на них с ненавистью.

А потом однажды — в четверг — я увидела Алекса Томаса. Он стоял через дорогу под светофором. Перекресток Куин-стрит и Йондж. Одет он был хуже некуда — голубая рабочая рубаха и шляпа-развалина, но никаких сомнений — это он. Казалось, сноп света падает на Алекса, делая его опасно заметным. Конечно, все на улице тоже на него смотрят — и конечно, знают, кто он такой! Вот сейчас опомнятся, закричат и бросятся в погоню.

Сначала мне захотелось его предупредить. Но

внезапно я поняла, что предупреждать надо нас обоих, ибо все, что случится с ним, случится и со мной.

Я могла не обратить внимания. Могла отвернуться. Это было бы мудро. Но тогда я до подобной мудрости ещё не доросла;

Я сошла с тротуара и направилась к Алексу. Новый сигнал светофора застиг меня посреди улицы. Мне гудели, кричали; ринулись машины. Я не знала, возвращаться или идти вперед.

Тут Алекс обернулся, и я сначала не поняла, видит ли он меня. Я протянула руку, словно утопающий, моля о спасении. В сердце своем я уже изменила.

Измена или акт мужества? Наверное, и то, и другое. Их не готовят заранее, они происходят мгновенно, в секунду. Лишь потому, что мы не раз репетируем их во тьме и тишине — в такой тьме, такой тишине, что сами об этом не ведаем. Слепо, но уверенно мы делаем шаг, будто вспомнив танец.

«Саннисайд»

Через три дня должна была приехать Лора, Я сама отправилась на вокзал, но Лоры в поезде не оказалось. Не было её и в Авалоне: я позвонила

Рини, и та устроила истерику: она всегда знала, что с Лорой это может случиться, Лора — она такая. Рини проводила Лору до поезда, отправила чемодан и все вещи, как договорились, она была так осторожна. Надо было ей Лору проводить! Только подумай! Её наверняка похитил работорговец.

Лорин багаж пришел по расписанию, но она сама исчезла. Ричард встревожился больше, чем я предполагала. Он боялся, что её похитили какие-нибудь неизвестные силы, и теперь будут на него давить. Может, «красные» или бессовестные конкуренты — бывают же такие уроды. Преступники, намекал он, они в сговоре с людьми, которые ни перед чем не остановятся, чтобы его прижать, а все потому, что растет его политическое влияние. Вот-вот придет письмо от шантажиста.

В тот август Ричард был очень подозрителен; говорил, надо быть настороже. В июле на Оттаву двинулся марш — тысячи, десятки тысяч якобы безработных; они требовали работы, приличного жалования, их подстрекали подрывные элементы, которые спят и видят, как бы сбросить правительство.

— Не сомневаюсь, тот юнец — как его там — тоже замешан, — сказал Ричард, пристально глядя

на меня.

— Какой юнец? — спросила я, глядя в окно.

— Ты не слушаешь меня, дорогая. Лорин приятель. Темный такой. Тот, что сжег фабрику твоего отца.

— Она не сгорела, — возразила я. — Её успели потушить. И никто ничего не доказал.

— Он удрал, — сказал Ричард. — Как последний трус. Мне доказательств достаточно.

Участников марша на Оттаву обманули с помощью секретного хитрого плана, разработанного (утверждал Ричард) им самим, уже вращавшимся в высоких кругах. Лидеров заманили в Оттаву якобы на «официальные переговоры», а остальная честная компания застряла в Реджайне. Переговоры, как и планировалось, ни к чему не привели, последовали мятежи и бесчинства; подрывные элементы оживились, подогревали страсти, толпа вышла из-под контроля, были убитые и раненые. За всем этим стояли коммунисты, они каждой бочке затычка, и откуда мы знаем, может, они и к похищению Лоры приложили руку.

Мне казалось, Ричард как-то чрезмерно себя накручивает. Я тоже волновалась, но думала, что Лора просто потерялась — отвлеклась на что-то.

Это больше на неё похоже. Сошла не на той станции, забыла наш номер телефона, заблудилась.

Уинифред посоветовала проверить больницы: может, Лора заболела, может, произошел несчастный случай. Но в больницах Лоры не было.

Проведя в тревоге два дня, мы заявили в полицию, и вскоре, несмотря на старания Ричарда, история просочилась в газеты. Наш дом осаждали репортеры. За неимением лучшего фотографировали двери и окна, звонили по телефону и клянчили интервью. Они жаждали скандала. «Школьница из высшего общества в любовном гнездышке». «Кошмарные останки на Центральном вокзале». Им хотелось, чтобы Лора сбежала с женатым мужчиной, была похищена анархистами или найдена мертвой в чемодане, оставленном в камере хранения. Секс или смерть, или то и другое вместе — вот, что у них на уме.

Ричард сказал, что вести себя следует вежливо, но держать язык за зубами. Нет смысла портить отношения с газетчиками: эти подонки мстительны, помнят обиду годами и не упустят шанса ударить в спину, когда меньше всего ждешь. Ричард сказал, что все уладит.

Первым делом он заявил, что я на грани нервного срыва, просил проявить уважение к моему

горю и не забывать о хрупкости моего здоровья. Это немного отрезвило репортеров; они, естественно, решили, что я беременна, а беременность в те дни кое-что значила, и к тому же, как считалось, взбалтывала женщине мозги. Ричард объявил, что любая информация не останется без вознаграждения, но сумму не назвал. На восьмой день раздался анонимный звонок: Лора жива и торгует вафлями в парке развлечений «Саннисайд». Звонивший сказал, что опознал её по описанию в газетах.

Было решено, что мы с Ричардом поедем туда и её заберем. Уинифред сказала, что, скорее всего, у Лоры запоздалый шок после безвременной кончины отца — тем более, что она обнаружила тело. Такое испытание любого подкосит, а у Лоры очень тонкая душевная организация. Возможно, она не отдает себе отчета в своих поступках и словах. После водворения в лоно семьи Лоре надо будет дать сильное успокоительное и показать врачу.

Но важнее всего, продолжала Уинифред, чтобы ничего не пронюхали газетчики. Когда пятнадцатилетняя бежит из дома, это бросает тень на семью. Люди могут подумать, что с ней плохо обращались, а это серьёзная помеха. Уинифред

имела в виду: помеха Ричарду и его политическим амбициям.

В то время в «Саннисайд» ездили отдыхать летом. Конечно, не такие, как Ричард или Уинифред: для них там слишком шумно, слишком потно. Карусели, сосиски, шипучка, тиры, конкурсы красоты, пляжи — короче говоря, вульгарные развлечения. Ричарду и Уинифред не понравилось бы так приближаться к чужим подмышкам или к тем, кто считает деньги в центах. Но с чего это я фарисействую: мне там тоже не нравилось.

Теперь «Саннисайда» нет: стёрт двенадцатиполосным шоссе где-то в пятидесятые. Исчез из нашей жизни, как и многое другое. Но тогда, в августе, жизнь била ключом. Мы приехали в двухместном автомобиле, но его пришлось оставить поблизости — на тротуарах и пыльных дорогах была давка.

День был отвратительный — душный и туманный; петли на дверях преисподней холоднее, как сказал бы сейчас Уолтер. Над берегом озера стоял невидимый, но почти осязаемый туман — затхлые духи и масло на голых загорелых плечах, копченые сосиски и жженый сахар. В толпу ныряешь, точно в соус, становишься ингредиентом, приобретаешь вкус. Даже у Ричарда под панамой

увлажнился лоб.

Сверху раздавался скрежет металла, грохот вагонов и женский визг — американские горки. Я их видела впервые и смотрела во все глаза, пока Ричард не сказал: «Закрой рот, дорогая. Муха влетит». Позже я слышала странную историю — от кого? От Уинифред, конечно: она такими байками давала понять, что знает жизнь, даже низших классов, даже то, о чем не говорят. Она рассказывала, что девушки, которые дошли до беды, — это Уинифред так говорила, будто девушки туда взяли и сами дошли, — так вот, эти девушки шли в «Саннисайд» и катались на американских горках, чтобы у них случился выкидыш. *Конечно, ничего не выходило, смеялась Уинифред. А если бы вышло, что бы они делали? Со всей этой кровищей! Взлетали бы в воздух в таком виде? Только представьте!*

Слушая её, я представляла красный серпантин, что сбрасывали с океанских лайнеров в момент отплытия, он низвергался на провожающих; и ещё представляла красные линии, длинные толстые красные линии вьются вниз с американских горок и с девушек. Будто краской из ведра плеснули. Каракули киноварью. Как надпись в небесах.

Теперь я думаю: если надпись, то какая? Днев-

ники, романы, автобиографии? Или просто граффити. *Мэри любит Джона.* Но Джон не любит Мэри — или недостаточно любит. Не так сильно, чтобы спасти от опустошения, чтобы ей не пришлось царапать повсюду эти красные, красные буквы.

Вечная история.

Но тогда я про выкидыши ничего не знала. Даже если бы при мне сказали это слово (чего не случалось), я бы не поняла, что оно значит. Даже Рини его не произносила: максимум смутные намеки на мясников за кухонными столами, и мы с Лорой, прячась на черной лестнице и подслушивая, думали, что это она про людоедов; мы считали, весьма увлекательно.

Визги с американских горок остались позади; в тире что-то хлопало, будто попкорн. Смеялись люди. Мне захотелось есть, но я молчала: мысль о еде казалась неуместной, а еда вокруг — за гранью пристойного. Ричард был мрачнее тучи; вел меня сквозь толпу, держа за локоть. Другую руку сунул в карман: это место наверняка кишит воришками, сказал он.

Мы добрались до палатки с вафлями. Лоры не видать, но Ричард и не хотел говорить с ней сразу: у него был свой план. Если получалось, он

предпочитал действовать по нисходящей. Поэтому сначала хотел побеседовать с владельцем, крупным небритым мужчиной, от которого несло прогорклым маслом. Тот сразу все понял. Отошел от палатки, украдкой глянув через плечо.

Знает ли хозяин, что укрывает несовершеннолетнюю беглянку? — спросил Ричард. Боже упаси! — ужаснулся тот. Лора его провела — сказала, что ей девятнадцать. Но работала усердно, трудилась изо всех сил, убиралась в палатке, а когда дел совсем невпроворот, и вафли помогала печь. Где она спала? Ничего конкретного он не сказал. Кто-то здесь сдавал ей койку, но не он.

Поверьте, ничего плохого не было, во всяком случае он о таком не слышал. Она порядочная девушка, а он любит жену — не то, что некоторые. Он Лору пожалел — думал, у неё неприятности. Он когда видит таких славных девчушек, у него на душе теплеет. Кстати, он и звонил — и не только ради вознаграждения; он решил, что лучше ей вернуться к семье, правда же?

Тут он выжидающе посмотрел на Ричарда. Деньги были отданы, хотя — поняла я, — их оказалось меньше, чем владелец палатки ожидал. Потом позвали Лору. Она не возражала. Глянула на нас и решила не возражать.

— В любом случае спасибо за все, — сказала она хозяину. Пожала ему руку. Не поняла, что это он её сдал.

Мы с Ричардом вели её по «Саннисайду» к автомобилю, поддерживая за локти. Я чувствовала себя предательницей. Ричард усадил Лору в машину между нами. Я успокаивающе обняла её за плечи. Я сердилась, но понимала, что должна утешать. От Лоры пахло ванилином, сладким сиропом и немытыми волосами.

Как только мы вошли в дом, Ричард призвал миссис Мергатройд и велел принести Лоре стакан чая со льдом. Лора не стала пить; застыла на диване, сжав коленки, неподвижная, с Потемневшими глазами на окаменелом лице.

Она вообще представляет, сколько волнений и тревог нам доставила? — спросил Ричард. Нет. Ей все равно? Молчание. Он искренне надеется, что она больше ничего такого не выкинет. Молчание. Потому что теперь он, так сказать, *in loco parentis*[95], отвечает за нее и намерен выполнить свои обязательства, чего бы ему это ни стоило. А поскольку не бывает односторонних отношений, он надеется, она понимает: и у нее есть обяза-

---

[95] Примечания: 95
На правах родителя (лат.).

тельства перед ним — перед нами, поправился Ричард, — а именно: хорошо себя вести и делать, что требуется. Ей понятно?

— Да, — ответила Лора. — Мне понятно.

— Очень надеюсь, — сказал Ричард. — Очень надеюсь, что понятно, юная леди.

От *юной леди* меня передернуло. Слова прозвучали упреком, словно быть юной и леди — дурно. Если так, упрек относился и ко мне.

— Что ты ела? — спросила я, чтобы сменить тему.

— Засахаренные яблоки, — ответила Лора. — Бублики. На второй день они дешевле. Ко мне все были очень добры. Сосиски.

— О боже, — произнесла я, умоляюще улыбаясь Ричарду.

— Другие люди это и едят, — сказала Лора. — В реальной жизни.

И я начала смутно понимать, чем её привлек «Саннисайд». *Другими людьми* — теми, что всегда были и будут *другими*, — для Лоры, по крайней мере. Она жаждала им служить, этим другим людям. В каком-то смысле стремилась слиться с ними. Но ей не удавалось. Повторялась история с бесплатным супом в столовой Порт-Тикондероги.

— Лора, зачем ты это сделала? — спросила я, когда мы остались вдвоем (на вопрос: *как ты это сделала?* ответ имелся простой — сошла с поезда в Лондоне и поменяла билет. Хорошо, в другой город не уехала — мы бы её вообще не нашли.)

— Ричард убил папу, — ответила она. — Я не могу жить в его доме. Это неправильно.

— Ты не совсем справедлива, — сказала я. — Папа умер в результате несчастного стечения обстоятельств. — Мне стало стыдно: казалось, это произнес Ричард.

— Может, и не справедлива, но это правда. По сути правда, — возразила Лора. — В любом случае, я хотела работать.

— Но зачем?

— Показать, что мы… что я могу. Что я… что мы можем обойтись без… — Отвернувшись, Лора покусывала палец.

— Без чего?

— Ты понимаешь, — сказала Лора. — Без всего этого. — Она махнула рукой в сторону туалетного столика с оборочками и штор в цветочек. — Первым делом я пошла к монахиням. В Звезду Морей.

О Боже, подумала я. Только не монахини снова. Я думала, с монахинями уже покончено.

— И что? — спросила я любезно и не слишком заинтересованно.

— Ничего не вышло, — ответила Лора. — Они были со мной очень милы, но отказали. Не только потому, что я не католичка. Они сказали, у меня нет истинного призвания, я просто уклоняюсь от своего долга. Сказали, что, если я хочу служить Богу, то должна делать это в той жизни, к которой он меня призвал. — Она помолчала. — В какой жизни? У меня нет никакой жизни!

Она заплакала, и я обняла её от времени покосившимся жестом из детства. *Ну-ка перестань выть.* Будь у меня коричневый сахар, я дала бы ей кусочек, но стадию коричневого сахара мы уже прошли. Он теперь не поможет.

— Как нам отсюда выбраться? — рыдала она. — Пока ещё не поздно?

У неё, в отличие от меня, хватило ума почувствовать опасность. Но мне казалось, что это обычная подростковая истерика.

— Поздно для чего? — спросила я тихо. Зачем паниковать? Глубокий вдох — и все; глубокий вдох, спокойствие, оценка ситуации.

Я думала, что справлюсь с Ричардом, с Уинифред. Буду жить мышкой в тигрином логове, красться по стенкам, помалкивать, не подни-

мать глаз. Нет, я слишком много на себя брала. Не видела опасности. Я даже не знала, что они тигры. Хуже того: я не знала, что сама могу стать тигрицей. И Лора тоже — в определенных обстоятельствах. Каждый может, если уж на то пошло.

— Подумай о хорошем, — сказала я как можно мягче. Похлопала её по спине. — Сейчас принесу теплого молока, а потом ты хорошенько выспишься. Завтра будет лучше.

Но она все плакала и плакала, и ничто не могло её утешить.

Ксанаду

Прошлой ночью мне приснилось, что на мне костюм с маскарада «Ксанаду». Я изображала Абиссинскую деву — девицу с цимбалами. Зеленый такой, атласный костюм: короткое, выше талии болеро с золотыми блестками, открывающее ложбинку меж грудей; зеленые атласные трусики и прозрачные шаровары. Куча фальшивых золотых монет — ожерелья на шее и на лбу. Небольшой изящный тюрбан с брошкой в виде полумесяца. Короткая вуаль. Представление какого-то безвкусного циркового модельера о Востоке.

Казалось, я просто бесподобна, но потом я

опустила взгляд и увидела отвисший живот, распухшие костяшки с набрякшими венами, высохшие руки — я была не той молодой женщиной, а такой, как сейчас.

И не на балу. Я была одна — во всяком случае, я сначала так подумала — в развалинах оранжереи в Авалоне. Тут и там валялись цветочные горшки — пустые или с сухой землей и мертвыми растениями. Каменный сфинкс лежал на боку, разрисованный фломастером — имена, инициалы, непристойные рисунки. В стеклянной крыше зияла дыра. Пахло кошками.

Дом позади стоял темный, пустой, всеми покинутый. Меня бросили тут в этом нелепом маскарадном костюме. Была ночь; месяц — с ноготок. В его свете я увидела, что одно растение не погибло: блестящий куст с одиноким белым цветком. *Лора,* сказала я. И услышала из темноты мужской смех.

Не такой уж кошмарный кошмар, скажете вы. Попробуйте сами. Я проснулась опустошенной.

Зачем сознание проделывает такие штуки? Набрасывается, запускает когти, рвет. Говорят, если очень проголодаться, начинаешь поедать собственное сердце. Может, это из той же области.

Чепуха. Все дело в химии. Нужно действовать,

бороться с такими снами. Должны же быть лекарства.

Сегодня опять снег. При одном взгляде из окна у меня ноют суставы. Я пишу за кухонным столом — медленно, словно гравирую. Ручка тяжела, ею трудно царапать — будто гвоздем по цементу.

Осень 1935 года. Жара отошла, надвигался холод. Иней на палой листве, потом на той, что не упала. Потом на окнах. Я тогда всему этому радовалась. Мне нравилось вдыхать. Легкие целиком принадлежали мне.

Тем временем события развивались.

«Маленькую Лорину проделку», как её называла Уинифред, скрывали, как могли. Ричард сказал Лоре, что если она проболтается — в школе или ещё где, он обязательно узнает, сочтет личным оскорблением и попыткой ему навредить. С прессой он все уладил: алиби предоставили супруги Ньютон-Доббсы, его друзья из высшего общества (муж занимался какой-то железной дорогой). Они изъявили готовность публично подтвердить, что Лора все это время провела у них в Мускоке. Все устроилось в последнюю минуту, Лора думала, что Ньютон-Доббсы позвонили нам, а те, напротив, не сомневались, что это сделала Лора, вышло просто недоразумение, а супруги не знали, что

Лору разыскивают, потому что на отдыхе не следят за новостями.

Правдоподобная байка. Но ей поверили или сделали вид, что поверили. Думаю, Ньютон-Доббсы рассказали правду двум десяткам ближайших друзей — по секрету, конечно, только между ними, — что непременно сделала бы на их месте Уинифред: сплетни — товар, как и все остальное. Но во всяком случае правда не попала в газеты.

Лору обрядили в колючую клетчатую юбку, прицепили галстук из шотландки и отправили в школу святой Цецилии. Лора её не выносила и не скрывала этого. Говорила, что ей туда не надо; говорила, что однажды нашла работу, и может найти другую. Она излагала это мне в присутствии Ричарда. С ним она не разговаривала.

Лора кусала пальцы, мало ела и сильно исхудала. Я беспокоилась за неё, как легко понять; откровенно говоря, мне и следовало беспокоиться. Но Ричард сказал, что истерическая чепуха ему надоела, а что до работы, то он больше не хочет об этом слышать. Лора слишком молода, чтобы жить самостоятельно; вляпается в какую-нибудь грязь: вокруг полно разных типов, которые охотятся за такими вот глупенькими девушками. Если ей не нравится школа, её отпра-

вят в школу подальше, в другой город, а если она оттуда убежит, поместят в интернат для трудных девиц, таких же моральных преступниц, а если и это не сработает, то на худой конец всегда остается клиника. Частная клиника с решетками на окнах; и если она потребует власяницу и пепел, их внесут в счет. Она несовершеннолетняя, он её опекун, и можете не сомневаться: он поступит именно так, как сказал. Как ей известно — как всем известно, — он человек слова.

Ричард, когда сердился, выкатывал глаза; сейчас они тоже были навыкате, хотя говорил он спокойно и доверительно. Лора ему поверила и испугалась. Я попыталась вмешаться — угрозы слишком суровы, он не знает, что Лора все понимает буквально, — но Ричард попросил меня не вмешиваться. Тут нужна твердая рука. С Лорой достаточно нянчились. Ей пора взрослеть.

В течение нескольких недель царило тревожное перемирие. Я старалась устроить так, чтобы Ричард и Лора не сталкивались. Расходились, как корабли в ночи.

Конечно, тут приложила руку Уинифред. Должно быть, убеждала Ричарда стоять на своем: Лора из тех, кто кусает руку кормящего, если на них не надеть намордник.

Ричард советовался с Уинифред во всем: она сочувствовала ему, помогала и вдохновляла. Она поддерживала его в обществе, отстаивала его интересы перед нужными людьми. Когда он будет баллотироваться в парламент? Не сейчас, шептала она в каждое склоненное к ней ухо, ещё не время, но не за горами тот день. Они оба считали, что у Ричарда большое будущее, а женщина, что стоит за ним, — ведь за каждым успешным мужчиной стоит женщина, — это она, Уинифред.

Конечно, не я. Теперь наше положение, её и мое, окончательно определилось. Или Уинифред его знала всегда, а теперь стала понимать и я. Она необходима Ричарду — а меня всегда можно заменить. Моя задача — раздвигать ноги и не открывать рот.

Конечно, грубо. Но в порядке вещей.

Уинифред приходилось в течение дня меня занимать: она не хотела, чтобы я свихивалась от скуки или напивалась в стельку. Она изо всех сил выдумывала мне бессмысленные задания, а затем меняла расписание, чтобы мне легко было их выполнять. Совсем не сложные задания — Уинифред не скрывала, что считает меня дурочкой с переулочка. А я никогда не пыталась это опровергнуть.

Отсюда и благотворительный бал в пользу подкидышей из Приюта малютки, который организовала Уинифред. В список устроительниц бала она внесла и меня — чтобы занять делом, а ещё потому что это полезно для имиджа Ричарда. «Устроительница» — хорошая шутка: Уинифред считала, что я не в состоянии устроить даже скандала. Какую черную работу можно мне доверить? Надписывать конверты, решила она. И не прогадала — у меня получалось. И даже неплохо. Работа, над которой не задумываешься, и я могла думать о своем. (Я так и слышала, как она говорит своим Билли и Чарли за бриджем: «Слава Богу, у неё нашелся *один* талант. Нет, простите, забыла — два!» Дружный хохот.)

Приют малютки, а точнее, благотворительный бал — лучшее детище Уинифред. Костюмированный бал — тогда предпочитали их, потому что все любили маскарадные костюмы. Едва ли не больше форм. И те, и другие позволяли не быть тем, кто ты есть, притворяться кем-то другим. Надел экзотические одежды — и стал сильнее и могущественнее или загадочнее и привлекательнее. В этом что-то есть.

Уинифред создала комитет по проведению бала, но все знали, что главные решения она

принимает единолично. Она держала обруч, остальные через него прыгали. Это она предложила тему «Ксанаду» для бала 1936 года. Незадолго до этого прошел бал конкурентов «Тамерлан в Самарканде» — он имел колоссальный успех. Восточные темы никогда не подводят; кроме того, все заучивали «Кубла Хана» в школе, поэтому даже адвокаты, даже доктора, даже *банкиры* знали, что такое Ксанаду. Не говоря об их женах.

В стране Ксанад благословенной
Дворец поставил Кубла Хан,
Где Альф бежит, поток священный,
Сквозь мглу пещер гигантских, пенный,
Впадает в сонный океан.

Уинифред заказала печатную копию «Кубла Хана» и оттиски на мимеографе, которые раздала членам комитета, чтобы мы, как она выразилась, прониклись идеями. Уинифред прибавила, что будет рада любым нашим предложениями, но мы-то понимали: она уже все сама придумала. Стихотворение напечатали и на приглашениях — золотыми буквами и в лазурно-золотой рамке арабской вязи. Кто-нибудь понимал, что написано? Нет, но так красивее.

На такие приемы попадали только по при-

глашению. Сначала получаешь приглашение, потом основательно раскошеливаешься. Впрочем, круг узок. Те, кто сомневался в своем статусе, нервничали, попадут ли в число приглашенных. Рассчитывать на приглашение, но не получить — все равно, что оказаться в чистилище. Думаю, из-за этого пролилось много слез — конечно, тайно: в этом мире нельзя показывать, что тебе не все равно.

Прелесть «Ксанаду» (сказала Уинифред, хрипло прочитав стихотворение, — прекрасно прочитав, надо отдать ей должное), *прелесть* этой темы в том, что вы можете как угодно разоблачаться или маскироваться. Дородные могут закутаться в богатую парчу, а стройненькие нарядиться рабынями или персидскими танцовщицами и явиться хоть голышом. Прозрачные юбки, браслеты на щиколотках, звенящие цепочки на голенях — перечень украшений бесконечен; ну а мужчины обожают наряжаться пашами и притворяться, что у них гаремы. Сомневаюсь, впрочем, прибавила Уинифред под одобрительное хихиканье, что удастся уговорить кого-нибудь прийти на бал в костюме евнуха.

Лора до такого бала ещё не доросла. Уинифред планировала вывезти её в свет, но дебют пока не

состоялся, а до этого Лоре не надлежало появляться на подобных приемах. Она, однако, сильно заинтересовалась приготовлениями. Я была рада, что она интересуется хоть чем-то. Школьные занятия явно оставляли её равнодушной, и оценки её были чудовищны.

Поправка: Лору интересовал не бал, а стихотворение. Я его помнила ещё со времен мисс Вивисекции, с Авалона, но Лора тогда не очень в него вникала. А теперь перечитывала снова и снова.

Кто такой демон? Почему океан сонный? Почему безжизненный? Почему дворец любви находится меж вечных льдов? Что за гора Абора и почему Абиссинская дева о ней поет? Почему голоса праотцов возвещают войну?

Тогда я ответов не знала. Зато знаю их теперь. Не ответы Сэмюэла Тейлора Кольриджа — я вообще не уверена, что они у него были, он ведь тогда принимал наркотики, — мои собственные ответы. Хороши или плохи, вот они.

Священная река живая. Она впадает в сонный океан, ибо там заканчивается все живое. Любовник — демон, потому что его нет. Дворец любви находится меж льдов, ибо таков удел всех дворцов любви: со временем они холодеют, а потом

тают, — и что тогда? Ты вся мокрая. Гора Абора — родина Абиссинской девы, дева поет о ней, потому что не может туда вернуться. Голоса праотцов возвещают войну, потому что они никогда не затыкаются, и терпеть не могут ошибаться, а война рано или поздно неизбежна. Если я не права, поправьте.

Пошел снег — сначала мягкий и пушистый; потом жесткая крупа, иголками коловшая кожу. Солнце садилось днём, а кровью умытое небо перекрашивалось в снятое молоко. Из труб, из набитых углем печей вился дымок. Лошади, запряженные в хлебные фургоны, оставляли на мостовых бурые дымящиеся кучки, быстро застывавшие на морозе. Ими швырялись дети. День за днём часы били полночь, и каждая полночь — иссиня-черная, усеянная холодными звездами, и среди них светилась костяшка луны. Я смотрела на улицу из окна спальни сквозь ветви каштана. И выключала свет.

Бал назначили на вторую субботу января. Мой костюм, весь переложенный папиросной бумагой, принесли утром в коробке. Считалось хорошим тоном взять костюм напрокат у Малабара, а не шить специально — слишком много чести. Почти шесть вечера, я примеряла костюм.

Лора сидела у меня в комнате; она часто готовила здесь уроки или делала вид, что готовит.

— А кем ты будешь? — спросила она.

— Абиссинской девой, — ответила я. Неясно, чем заменить цимбалы. Может обмотать банджо лентами? Потом я вспомнила, что единственное банджо, какое я видела в жизни, лежит на чердаке в Авалоне — осталось от покойных дядьев. Придется обойтись без цимбал.

Я не ждала, что Лора назовет меня красивой или хотя бы хорошенькой. Она никогда так не говорила, не мыслила в таких понятиях — *красивая* или *хорошенькая.* Сейчас она сказала:

— Не очень-то ты Абиссинская. Абиссинки блондинками быть не могут.

— С волосами ничего не поделаешь, — ответила я. — Это Уинифред виновата. Надо было устроить бал викингов.

— Почему они все его боятся? — спросила Лора.

— Кого боятся? — не поняла я. (Я не видела в стихотворении страха — только наслаждение. *Дворец любви.* Я сама жила сейчас во дворце любви — настоящая я, какую не знала ни одна живая душа Вокруг высились стены и башни, и никто не мог проникнуть внутрь.)

— Послушай, — сказала Лора. И прочитала с

закрытыми глазами:

О, когда б я вспомнил взоры
Девы, певшей мне во сне
О Горе святой Аборы,
Дух мой вспыхнул бы в огне,
Все возможно было б мне.
В полнозвучные размеры
Заключить тогда б я мог
Эти льдистые пещеры,
Этот солнечный чертог.

Их все бы ясно увидали
Над зыбью, полной звонов, дали,
И крик пронесся б, как гроза:
Сюда, скорей сюда, глядите,
О, как горят его глаза!
Пред песнопевцем взор склоните,
И этой грезы слыша звон,
Сомкнёмся тесным хороводом,
Затем что он воскормлен медом
И млеком Рая напоен![96]

---

[96] Примечания: 96
Перевод К.Д.Бальмонта.

— Вот видишь, его боятся, — сказала она. — Но почему?

— Лора, я правда понятия не имею, — ответила я. — Это просто стихотворение. Никогда точно не скажешь, что оно значит. Может, они решили, что он безумен.

— Это потому, что он слишком счастлив, — сказала Лора. — Напоен млеком Рая. Когда ты слишком счастлив, люди пугаются. Поэтому, да?

— Лора, не приставай ко мне, — отмахнулась я. — Я не могу знать все. Я же не профессор.

Лора сидела на полу в школьной клетчатой юбке, сосала палец и разочарованно смотрела на меня. Последнее время я часто её разочаровывала.

— Я на днях видела Алекса Томаса, — сказала она.

Я быстро отвернулась, поправляя перед зеркалом вуаль. Зеленый атлас меня не красил: голливудская женщина-вамп из фильма про пустыню. Утешало, что и другие будут не лучше.

— Алекса Томаса? Правда? — переспросила я. Следовало сильнее удивиться.

— Ты что, не рада?

— Чему не рада?

— Что он жив, — сказала Лора. — Что его не

схватили.

— Конечно, рада, — ответила я. — Только никому не рассказывай. Ты ведь не хочешь, чтобы его выследили.

— Могла бы не говорить. Я не маленькая. Я ему поэтому и не помахала.

— Он тебя видел?

— Нет. Просто шел по улице. Воротник поднял, и шарф по самый подбородок обмотал, но я его узнала. Руки в карманах.

Когда она сказала про руки, про карманы, острая боль пронзила меня.

— Где это было?

— На нашей улице. Он шел по той стороне и смотрел на дома. Мне кажется, он нас искал. Наверное, знает, что мы тут живем.

— Лора, — сказала я, — ты что, запала на Алекса Томаса? Если так, тебе следует выбросить его из головы.

— Ничего я не запала, — презрительно сказала она. — И никогда не западала. *Запала* — ужасное слово. От него просто разит. — В школе Лора перестала быть ханжой, и выражалась теперь гораздо грубее. *Разит* она употребляла чаще всего.

— Как ни называй, а тебе нужно с этим кончать. Это нереально, — мягко продолжала я. — Ты

будешь несчастна.

Лора обняла коленки.

— Несчастна? — переспросила она. — Да что ты знаешь о несчастье?

VIII

Слепой убийца: Плотоядные истории

Он снова переехал — разницы никакой. То место у железнодорожного узла она ненавидела. Не любила туда ездить — к тому же слишком далеко, и уж очень холодно; добравшись туда, она всякий раз стучала зубами от холода. Ненавидела узкую, безрадостную комнату, вонь старых окурков, которая не выветривалась, потому что нельзя открыть заклеенное окно, убогий душ в углу и женщину, которая часто попадалась на лестнице; женщину, походившую на угнетенную крестьянку из банального старого романа: только вязанки хвороста на спине не хватает. Женщина смотрела угрюмо и надменно, словно в деталях представляла, что творится у него в комнате, едва закроется дверь. В этом взгляде была зависть, да ещё злоба.

Слава Богу, с этим покончено.

Снег уже растаял, только кое-где в тени ещё лежат серые кляксы. Солнце припекает, пахнет сырой землей, оживающими корнями и разбухшими блеклыми клочками прошлогодних газет,

в которых ни строки не разобрать. В лучших городских районах уже проклюнулись нарциссы, в палисадниках, где не бывает тени, распустились тюльпаны — красные и рыжие. Многообещающее начало, как пишут в колонке садовода; хотя и сейчас, в конце апреля, однажды пошел снег — крупный, пушистый и мокрый, странная метель.

Она спрятала волосы под платок, надела темно-синее пальто — самое мрачное в её гардеробе. Он сказал, так лучше. Здесь по углам пахнет котами, блевотиной и куриным пометом. На мостовой — навоз, оставшийся после рейда конной полиции; полицейские ищут агитаторов, а не воров — здесь притоны «красных» иностранцев, что затаились крысами на сеновале, плетут извращенные хитроумные интриги; человек по шесть в одной постели, разумеется, и все жены общие. Говорят, где-то поблизости в этом районе живет высланная из Штатов Эмма Голдман[97].

На тротуаре кровь. Рядом мужчина с ведром и щеткой. Он брезгливо обходит розовую лужицу. Здесь живут кошерные мясники, портные, меховщики-оптовики. И потогонные конторы, конечно. Шеренги иммигранток склонились над

---

[97] Примечания: 97
Эмма Голдман (1869–1940) — известная анархистка.

станками, пух забивает им лёгкие.

На тебе одежда с чужого плеча, как-то сказал он. Да, легкомысленно ответила она, но на мне она лучше смотрится. А затем прибавила уже сердито: ну и что мне *сделать!* Что *мне* сделать? Ты что, думаешь у меня есть какая-то власть?

Она заходит в лавку зеленщика, покупает три яблока. Так себе яблоки, прошлогодние, кожура слегка сморщилась, но она чувствует, что должна принести что-то в знак примирения. Продавщица забирает одно яблоко, показывает гнильцу на боку, кладет яблоко получше. Все это молча. Понимающие кивки и щербатая улыбка.

Мужчины в длинных черных пальто и широкополых черных шляпах, маленькие востроглазые женщины. Шали, длинные юбки. Ломаная речь. Не пялятся, но ничего не упустят. Она слишком заметна — великанша. И ноги на виду.

Вот и галантерея, о которой он говорил. Она секунду смотрит на витрину. Модные пуговицы, атласные ленты, тесьма, шнуры, блестки — сырье для сказочного реквизита из журнала мод. Должно быть, чьи-то пальцы здесь пришивали горностаевый мех на её вечернюю шифоновую накидку. Контраст лёгкой ткани и густой звериной шерсти для кавалеров притягателен. Нежная

плоть, и вдруг кустики.

Его новая квартира — над булочной. Вход сбоку, и вверх по лестнице, где пахнет приятно. Но слишком сильно, ошеломительно — забродившие дрожжи теплым гелием ударяют ей в голову. Она так давно его не видела. Почему она медлила?

Он здесь, он открывает дверь.

Я принесла тебе яблоки, говорит она.

Через некоторое время предметы вокруг вновь обретают форму. Вот его пишущая машинка, шаткая на крошечном умывальнике. Синий чемодан, на нём умывальный тазик. На полу скомканная рубашка. Почему разбросанные вещи всегда символизируют желание? Его вывернутые, порывистые формы. Так выглядят языки пламени на картинах — оранжевая ткань, отброшенная, летящая. Они лежат в кровати — огромной резной конструкции красного дерева, занимающей почти всю комнату. Привезенная издалека, на свадьбу подаренная мебель, должна была служить всю жизнь. *Вся жизнь* — каким глупым кажутся сейчас эти слова; как это бесполезно — долговечность. Она режет яблоко его перочинным ножом, скармливает ему дольки.

Я бы мог подумать, ты пытаешься меня соблаз-

нить.

Нет — просто поддерживаю в тебе жизнь. Откармливаю, а съем потом.

Какая извращенная мысль, юная леди.

Да. Твоя. Не говори, что забыл о покойницах с лазурными волосами и глазами, точно полные змей глубокие колодцы. Они бы тобой позавтракали.

Если им позволить. Он снова тянется к ней. Ты где пряталась? Столько недель уже.

Да. Подожди. Я хочу что-то сказать.

Это срочно? — спрашивает он.

Да. Да нет. Нет.

Солнце клонится к закату, тени от штор ползут по кровати. Голоса на улице — говорят на незнакомых языках. Я запомню этот день навсегда, говорит она себе. И тут же: какие ещё воспоминания? Сейчас ещё не *потом*, пока сейчас. Ничего не кончилось. Я додумала историю, говорит она. Следующую часть.

Вот как? У тебя свои идеи?

У меня всегда свои идеи.

Отлично. Послушаем, ухмыляется он.

Хорошо, говорит она. Последнее, что нам известно, — девушку и слепого юношу везут на встречу со Слугой Радости, вождем варваров-за-

воевателей, Народа Опустошения, потому что в наших героях подозревают божьих посланцев. Поправь меня, если я ошибаюсь.

Ты что, и впрямь слушала всю эту чепуху? — удивляется он. Ты правда все помнишь?

Конечно. Я помню каждое твое слово. Они оказываются в лагере варваров, и слепой убийца говорит Слуге Радости, что у него есть послание от Непобедимого, но передать его можно лишь с глазу на глаз, только при девушке. Поскольку не хочет выпускать её из вида.

Он не видит. Он же слепой, забыла?

Ты меня понимаешь. И Слуга Радости говорит: хорошо.

Он не может просто сказать *хорошо.* Он произнесет речь.

Такие вещи мне не даются. Трое уединяются в палатке, и слепой убийца объясняет, в чем состоит план. Он расскажет, как проникнуть в Сакел-Норн, не осаждая город и не теряя людей — то есть, варваров. Нужно послать двух воинов — он скажет им пароль (как ты помнишь, он его знает); попав в город, они сплавят наружу через арку веревку. Свой конец привяжут — к каменному столбу, например, — и ночью отряд сможет попасть в город под водой, держась за веревку.

Там они обезоружат часовых, откроют все восемь ворот и — бинго!

Бинго? — смеется он. На Цикроне так не говорят.

Ну, значит, «дело в шляпе». И тогда они могут убивать всласть, если им хочется.

Умно, говорит он. Очень хитро.

Да, соглашается она. У Геродота было или ещё у кого-то. Падение Вавилона, что ли.

Сколько у тебя пустяков в голове, замечает он. Но это же, наверное, сделка? Не могут же наши молодые люди вечно изображать божьих посланцев. Слишком рискованно. Рано или поздно допустят промах, ошибутся, и их убьют. Надо бежать.

Да. Я об этом думала. Прежде чем сообщить пароль и прочее, слепой юноша требует, чтобы им дали основательный запас провианта и всего прочего и отвели к подножью западных гор. Говорит, что им надо совершить туда вроде как паломничество — подняться на гору, получить божественные указания. Товар вручается только там — ну то есть пароль. Таким образом, если атака варваров провалится, они оба окажутся там, где жители Сакел-Норна вряд ли догадаются их искать.

Но они станут лёгкой добычей волков, говорит он. А не волков, так покойниц с гибкими станами и рубиновыми устами. Или её убьют, а несчастного парня заставят выполнять их чудовищные желания до конца его дней.

Нет, говорит она. Такого не будет.

Ах, не будет? Кто сказал?

Только не надо так: *ах, не будет.* Я сказала. Вот послушай. Слепой убийца в курсе слухов и потому знает настоящую правду об этих женщинах. На самом деле они вовсе не мертвы. Они сами пустили эти слухи, чтобы их оставили в покое. На самом деле, это беглые рабыни и женщины, скрывшиеся, чтобы мужья или отцы их не продали. Там не только женщины, есть и мужчины, но они добры и дружелюбны. Все живут в пещерах, пасут овец и выращивают овощи. Для поддержания легенды по очереди бродят среди гробниц и пугают путников — воют на них и все такое.

Да и волки — не волки вовсе, а пастушьи собаки, их специально дрессируют, чтобы они по-волчьи выли. А так они совсем ручные и очень преданные.

Эти люди приняли наших беглецов, а узнав их грустную историю, отнеслись к ним очень ласково. Слепой убийца и немая девушка поселятся в

пещере, со временем у них родятся дети, которые будут видеть и говорить, и все они будут очень счастливы.

А тем временем их сограждан перережут? — усмехается он. Ты одобряешь измену родине? Лучше личное счастье, чем благополучие общества?

Их хотели убить. Между прочим, сограждане.

Не все — только те, кто наверху, козыри в колоде. А ты вместе с ними приговорила и остальных? Заставила нашу парочку предать свой народ? Довольно эгоистично с твоей стороны.

Такова история, отвечает она. В «Завоевании Мексики» этот — как его? — Кортес… так вот, его ацтекская любовница сделала то же самое. И блудница Раав — при падении Иерихона. Помогла людям Иисуса Навина, и потому её с родными пощадили.

Принято, говорит он. Но ты нарушила правила. Нельзя по собственной прихоти превращать обитательниц гробниц в невинных пастушек.

В твоей истории их толком и не было, отвечает она. Прямо — не было. О них ходили разные слухи. Слухи могли быть ложными.

Он смеется. Тоже верно. А теперь послушай мою версию. В лагере Народа Радости все произошло,

как ты сказала, — только речей больше. Наших молодых людей доставили к подножью западных гор и оставили среди гробниц; а варвары проникли в город, как им подсказали, и грабили там, уничтожали и убивали жителей. Не уцелел никто. Короля повесили на дереве, Верховной жрице вспороли живот, заговорщик-придворный погиб вместе с остальными. Невинные дети-рабы, гильдия слепых убийц и жертвенные девы из Храма — все погибли. Целая культура стёрта с лица земли. Не осталось никого, кто умел бы ткать удивительные ковры, а это, согласись, никуда не годится.

Тем временем двое молодых людей, держась за руки, одиноко бредут по западным горам. Их поддерживает вера в то, что скоро их найдут и приютят твои великодушные огородники. Но, как ты правильно заметила, слухи не всегда верны, и слепой убийца поверил в ложную легенду. Мертвые женщины действительно мертвы. Более того, волки тоже настоящие и повинуются покойницам. Не успеешь оглянуться, а наша романтическая пара уже стала их добычей.

Ты неисправимый оптимист, говорит она.

Я исправимый. Но я предпочитаю, чтобы истории были правдивы, а значит, в них должны

быть волки. В том или ином качестве.

Почему это правдиво? Она отворачивается, смотрит в потолок. Она обижена, что её версия разбита.

Все на свете истории — про волков. Все, что стоит пересказывать. Остальное — сентиментальная чепуха.

Все?

Вот именно, говорит он. Подумай сама. Можно убегать от волков, сражаться с волками, ловить их или приручать. К волкам могут бросить тебя или других, и тогда волки съедят их вместо тебя. Можно убежать с волчьей стаей. Обернуться волком. Лучше всего — вожаком. Ни одна приличная история не обходится без волков.

По-моему, ты не прав, говорит она. По-моему, в истории о том, как ты мне рассказываешь историю про волков, волков нет.

Я бы не ручался, говорит он. Во мне тоже есть волк. Иди сюда.

Подожди. Я хочу тебя кое о чем спросить.

Ну валяй, лениво соглашается он. Его глаза опять закрыты, рука легла ей на живот.

Ты когда-нибудь мне изменяешь?

Изменяешь — какое чудное слово.

Оставь в покое мой лексикон. Изменяешь?

Не больше, чем ты мне. Он замолкает. Я не считаю это изменой.

А чем считаешь? — холодно спрашивает она.

С твоей стороны, рассеянностью. Закрываешь глаза и забываешь, где находишься.

А с твоей?

Скажем так: ты первая среди равных.

А ты действительно ублюдок.

Я просто говорю правду.

Может, не стоило.

Да не взрывайся ты! Я просто дурачусь. Я и пальцем другую женщину тронуть не могу— Меня же вырвет.

Молчание. Она целует его, отодвигается. Говорит осторожно: мне надо уехать. Я должна была тебе сказать. Чтобы ты не ломал голову, куда я делась.

Куда уехать? Зачем?

Первое плавание. Все едут, вся компания. Он говорит, это нельзя пропустить. Говорит, событие века.

Прошла только треть века. Думаю, в нём осталось место для мировой войны. Шампанское при луне вряд ли сравнится с миллионами мертвецов в окопах. Или с эпидемией гриппа, или…

Он имеет в виду светские рауты.

О, простите, мэм. Признаю свою ошибку.

В чем дело? Меня не будет где-то месяц — ну, примерно. Зависит от того, как все сложится.

Он молчит.

Не то чтобы я этого *хотела.*

Понимаю. Я и не думаю, что ты хочешь. Слишком много перемен блюд и танцев перебор. Девушка совсем вымотается.

Не надо так.

Не учи, как надо! Не становись в очередь — тут уже целая толпа желающих меня исправить. Я чертовски устал. И буду, какой есть.

Прости. Прости. Прости. Прости.

Ненавижу, когда ты унижаешься. Но, клянусь Богом, у тебя здорово получается. Могу спорить, на домашнем фронте у тебя хорошая практика.

Наверное, мне лучше уйти.

Уходи, если хочешь. Он поворачивается к ней спиной. Делай, черт побери, все, что хочешь. Я тебя не держу. И не надо торчать здесь, умолять, хныкать и передо мной лебезить.

Ты не понимаешь. Даже не пытаешься. Ты представить не можешь, каково это. Мне от этого никакой *радости.*

Правильно.

Мейфэйр, июль 1936 года

В ПОИСКАХ ЭПИТЕТА

ДЖ. ГЕРБЕРТ ХОДЖИНЗ

…Никогда морские просторы не бороздил корабль прекраснее. Плавность и обтекаемость корабля снаружи под стать богатому интерьеру и великолепной отделке внутри — все это вместе делает его поистине чудом комфортабельности, надежности и роскоши. Его можно смело назвать плавучим отелем «Уолдорф-Астория».

Я долго искал подходящий эпитет. Корабль называли удивительным, потрясающим, восхитительным, царственным, величественным, великолепным и превосходным. Все эти определения ему в общем подходят. Но каждое дает лишь частичное представление об этом «величайшем достижении в развитии британского судостроения». «Куин Мэри» невозможно описать: её нужно увидеть, «прочувствовать» и принять участие в той жизни, какую ведут пассажиры.

…Каждый вечер в главной кают-компании, разумеется, танцуют; здесь невозможно представить, что ты в мо-

ре. Музыка, танцплощадка, элегантно одетые люди — все, как в танцевальных залах крупнейших отелей мира. Здесь можно увидеть самые последние, с иголочки, лондонские и парижские модели. И последние веяния в аксессуарах: очаровательные маленькие сумочки; разнообразные воздушные шали, подчеркивающие цветовое решение вечерних платьев; роскошные меховые накидки и пелерины. Пышные платья из тафты или тюля здесь особенно в почете. Если нужно подчеркнуть изящный силуэт, платью непременно сопутствует элегантный жакет из тафты или набивного атласа. Шифоновые накидки разнообразны и текуче ниспадают с плеч в героической манере. На одной очаровательной молодой женщине с фарфоровым личиком и светлыми волосами была сиреневая шифоновая накидка поверх свободного серого платья. А на высокой блондинке в розовом платье — белая шифоновая накидка, отделанная горностаевыми хвостами.

Слепой убийца: Женщины-персики с Aa'A

Вечером танцы, изящные сверкающие пары на скользком паркете. Вынужденное веселье: сбежать не удается. Повсюду фотовспышки; никогда не знаешь, что именно снимают: раскрываешь газету и вдруг видишь себя — голова запрокинута, и все зубы напоказ.

Утром у неё болят ноги.

Днем она спасается в воспоминаниях — лежит в шезлонге на палубе, прячась за темными очками. Она отказывается от бассейна, серсо, бадминтона, бесконечных бессмысленных игр. Развлечения — это чтобы развлекаться; у неё свои развлечения.

По палубе кругами ходят собаки на поводках. За ними — те, кто их выгуливает, первоклассные специалисты. Она притворяется, что увлечена чтением.

Кто-то пишет в библиотеке письма. А ей нет смысла. Даже если отправить, он слишком часто переезжает, письмо к нему может и не попасть. Зато может попасть к кому-нибудь другому.

В спокойные дни море ведет себя как положено. Убаюкивает. Все говорят: ах, морской воздух, он так полезен. Дыши глубже. Расслабься. Забудь обо всем.

Почему ты рассказываешь печальные истории, спросила она несколько месяцев назад.

Они лежат, укрывшись её шубкой, — мехом наружу, он так попросил. В разбитое окно дует; мимо грохочут трамваи. Подожди, говорит она, мне пуговица в спину давит.

Я только такие истории знаю. Печальные. Но по логике, любая история печальна: в конце все умирают. Рождение, совокупление и смерть. Никаких исключений — разве только совокупления. Некоторым бедолагам даже этого не достается.

Но посередке же бывает счастье? Между рождением и смертью? Нет? А если верить в загробную жизнь, тогда тоже выходит счастливая история — которая про смерть. Засыпаешь под пение ангелов и все такое.

Ага. Перед концом — журавль в небе. Нет уж, спасибо.

И все-таки счастье бывает. Больше, чем в твоих рассказах. У тебя его почти нет.

Счастье — это как мы с тобой женимся, селимся в домике и заводим двух малышей? Ты об этом?

Ты злой.

Ладно, говорит он. Хочешь счастливую историю? Вижу, ты не успокоишься, пока её не получишь. Тогда слушай.

Шел девяносто девятый год войны, которую впоследствии назвали Столетней, или Ксенорской. На планете Ксенор, находящейся в другом измерении, жила высокоинтеллектуальная, но чрезвычайно жестокая раса, известная как людиящеры, хотя сами они величали себя иначе. Семи футов росту, серые и чешуйчатые. С вертикальными зрачками, как у змей или кошек. И такой толстой шкурой, что никакой одежды не надо — за исключением шортов из каршинила — гибкого красного металла, неизвестного на Земле. Он защищал их важные органы, тоже чешуйчатые и, надо сказать, громадные, но все же уязвимые.

Ну хоть что-то уязвимое нашлось, смеется она.

Я знал, что тебе понравится. У них имелся план: похитить множество земных женщин и вывести новую сверхрасу полулюдей, полуксенорцев, которые будут лучше приспособлены для жизни на других обитаемых планетах Вселенной — смогут дышать в необычных атмосферах, есть самую разную пищу, сопротивляться неизвестным болезням и так далее — но при этом будут обладать силой и внеземным интеллектом ксенорцев. Эта сверхраса распространится в космосе и покорит его, по пути сожрав обитателей всех остальных планет, потому что людям-ящерам требуется

пространство для экспансии и новый источник протеина.

Ксенорское космическое войско впервые атаковало Землю в 1967 году и нанесло удар по крупнейшим городам, где погибли миллионы. Посреди всеобщей паники люди-ящеры превратили некоторые районы Евразии и Южной Америки в рабовладельческие колонии; над молодыми женщинами проводили дьявольские селекционные эксперименты, а мужчин убивали и бросали в глубокие шахты, только сначала съедали особо лакомые органы. Больше всего ксенорцам нравились мозги и сердца, а ещё слегка обжаренные почки.

Но выпущенные из секретных установок ракеты землян уничтожили каналы, по которым к людям-ящерам поступали необходимые составные части их смертоносного лучевого оружия *зорч;* земляне собрались с силами и нанесли ответный удар; при этом использовались не только войска, но и газ, изготовленный из яда редкой лягушки *хорц,* обитающей в Иридисе. В прежние времена племя накродов из Улинта обмакивало в этот яд наконечники стрел, а земные ученые выяснили, что ксенорцы к нему особо чувствительны. Таким образом, шансы уравнялись.

Шорты из каршинила легко воспламенялись, если в них прямой наводкой попадал раскаленный снаряд. В те дни героями стали снайперы, стрелявшие точно в цель фосфоресцирующими пулями из дальнобойных ружей, но в плену их обрекали на мучительные и прежде неизвестные пытки электрическим током. Люди-ящеры переживали, когда огонь лишал их половых органов — их можно понять.

И вот к 2066 году людей-ящеров отбросили в ещё одно измерение, где их преследовали земные пилоты на небольших и быстроходных двухместных летательных аппаратах. Земляне задумали в итоге уничтожить всех ксенорцев, сохранить лишь несколько десятков и показывать их в специальных укрепленных зоопарках за непробиваемым стеклом. Но ксенорцы отчаянно защищались. У них оставался жизнеспособный флот да ещё несколько козырей в рукавах.

В рукавах? Мне казалось, они по пояс голые.

Боже милостивый, ну и придира. Ты понимаешь, о чем я.

Уилл и Бойд — старые добрые друзья, два покрытых шрамами бывалых ветерана воздушного флота, — воевали уже три года. Большой срок: потери среди пилотов огромны. По словам

командиров, отвага этих двоих превосходила все разумные пределы, но пока безрассудство сходило им с рук рейд за рейдом, один другого отважнее.

Однако в начале нашей истории ксенорский корабль с оружием *зорч* на борту настиг их и расстрелял, и теперь они еле тащились. В топливном баке дыра, связь с Землей утрачена, рулевой механизм расплавился, Бойд тяжело ранен в голову, а Уилл истекает кровью в своем скафандре, раненный непонятно куда.

Похоже, нам крышка, сказал Бойд. Выкрашены и выброшены. Эта штука вот-вот взлетит на воздух. Жаль, не успеем отправить на тот свет ещё пару сотен чешуйчатых сукиных сынов.

Согласен. А ты по уши в грязи, старина, сказал Уилл. Похоже, совсем прохудился. Красная слякоть какая-то. По ногам стекает. Ха-ха!

Ха-ха! отозвался Бойд, корчась от боли. Ну и шуточки. Хреново у тебя с юмором.

Уилл не успел ответить — корабль потерял управление и бешено завертелся в головокружительной спирали. Они попали в гравитационное поле — но какой планеты? Они понятия не имели, куда их занесло. Искусственной гравитации настал капут, и пилоты вырубились.

Очнувшись, они не поверили своим глазам. Корабль исчез, и тонкие металлические скафандры тоже. Одетые в свободные зеленые одежды из сверкающей материи, друзья возлежали на мягких позолоченных диванах в беседке, увитой диким виноградом. Их раны излечились, а на левой руке Уилла снова вырос средний палец, потерянный ещё в предыдущей битве. Их затопляло здоровье и удовлетворение.

Затопляло, бормочет она. Боже, боже.

Да, мы такие… Порою любим хитрые словечки, говорит он, нарочно цедя слова, будто гангстер в кино. Шикарнее звучит.

Я так и подумала.

Дальше. Я чего-то в толк не возьму, сказал Бойд. Мы что, умерли?

Если это умерли, то я согласен умереть, отозвался Уилл. Здесь неплохо, весьма и весьма.

Точно.

Тут Уилл тихонько присвистнул. К ним шли две девушки — персики да и только. Волосы — точно обструганная ива. Длинные сине-лиловые платья в крошечную складку, шуршащие при ходьбе. Глядя на девушек, Уилл вспомнил бумажные гофрированные юбочки на фруктах в выпендрежных магазинах. Голые руки, ноги босы. На головах

— странные уборы из красной сетки. Золотисто-розовая сочная кожа. Двигались девушки, плавно покачиваясь, словно плыли в сиропе.

Приветствуем вас, люди Земли, сказала первая.

Да, приветствуем, поддержала вторая. Мы вас давно ждем. Межпланетная телекамера следила за вашим приближением.

Где мы? — спросил Уилл.

На планете Аа'А, ответила первая девушка. Название прозвучало как довольный выдох с крошечным вздохом в середине. Как вздох младенца, что ворочается во сне. Или как последний вздох умирающего.

Как мы сюда попали? — спросил Уилл. Бойд лишился дара речи. Его глаза ощупывали представшие пред ним пышные изгибы и округлости. Так бы и вонзил зубы в этот персик, думал он.

Вы свалились в корабле прямо с неба, сказала первая девушка. К несчастью, корабль уничтожен. Вам придется остаться у нас.

С этим легко смириться, сказал Уилл.

О вас будут заботиться. Вы это заслужили. Спасая свою планету от ксенорцев, вы защитили и нас.

Над дальнейшим придется опустить завесу

скромности.

Да?

Через минуту покажу. Следует прибавить, что Бойд и Уилл были единственными мужчинами на планете Аа'А, и девушки, естественно, были девственницами. Но они умели читать мысли, и каждая знала, чего Бойд и Уилл хотят. Поэтому вскоре осуществились самые смелые фантазии наших друзей.

Потом их напоили чудесным нектаром, который, объяснили девушки, надолго отодвигал старость и смерть; потом повели на прогулку в дивные сады с невиданными цветами; потом проводили в большую комнату с кучей трубок, и каждый смог выбрать трубку по душе.

Трубки? Курительные?

И тапочки — их вручили после трубок.

Похоже, я попалась.

Да уж, ухмыльнулся он.

Дальше — больше. Одна девушка была настоящая секс-бомба, другая посерьёзнее — могла рассуждать об искусстве, литературе и философии, не говоря уж о теологии. Девушки будто знали, что от них требуется в данный момент, и переключались в зависимости от настроений и желаний Бонда и Уилла.

Время протекало в полной гармонии. Прекрасный день сменялся следующим, и мужчины больше узнавали о планете Аа'А. Во-первых, там не ели мяса, не водились хищники, хотя повсюду порхали бабочки и певчие птички. Нужно ли говорить, что бог, которому поклонялись на планете, воплощался в огромной тыкве?

Во-вторых, рождений как таковых здесь не знали. Женщины росли на деревьях, на головах у женщин имелись черенки. Созревших собирали те, кто родился раньше. В-третьих, здесь и смерти толком не знали. Когда приходило время, женщины-персики — так называли их Бойд и Уилл, — просто разъединяли свои молекулы, из которых деревья делали новых свежих женщин.

Поэтому самая последняя была по форме и по сути идентична самой первой.

А как они узнавали, что время пришло? Разъединить молекулы?

Во-первых, у перезревших на бархатистой коже появлялись мелкие морщинки. Во-вторых, по мухам.

Мухам?

У них над головами начинали кружиться плодовые мушки.

Ты считаешь, это счастливая история?

Подожди. Еще не конец.

Через некоторое время такая жизнь, при всей её восхитительности, Бойду и Уиллу приелась. Во-первых, девушки все время проверяли, счастливы ли мужчины. Парня это может достать. Кроме того, для этих малышек не было ничего невозможного. Они были абсолютно бесстыжими — иными словами, полностью лишены стыда. Стоило намекнуть, и они вели себя, как самые грязные шлюхи. И это ещё мягко сказано. Или становились робкими и целомудренными скромницами, даже плакали и кричали — тоже по команде.

Сначала Уилла и Бонда это возбуждало, но через некоторое время стало раздражать.

Если такую женщину ударить, крови не будет — только сок. Если ударить посильнее, женщина превратится в сладкую мягкую кашу, которая вскоре станет новой женщиной-персиком. Они, похоже, не испытывали боли; Уилл и Бонд засомневались, доступно ли персикам наслаждение. Может, их исступленный восторг — лишь притворство?

Когда их спрашивали в лоб, девушки улыбались и уходили от ответа. Докопаться было невозможно.

Знаешь, чего я хочу? — сказал в один прекрасный день Уилл.

Думаю, того же, что и я, отозвался Бойд.

Огромный сочный бифштекс, слабо прожаренный, с кровью. Много-много чипсов. И холодного пива.

То, что надо. А потом ввязаться в жаркую схватку с ксенорским чешуйчатым отродьем.

Ты меня понял.

Друзья решили обследовать планету. Им говорили, что на Аа'А всюду одно и то же: деревья, беседки, птички, бабочки и сочные женщины-персики, но друзья все же двинулись на запад. После долгого пути без всяких приключений они наткнулись на невидимую стену. Скользкая, как стекло, она была в то же время мягкая и податливая. Если надавить, а потом убрать руку — выпрямлялась. Дотянуться до края или перелезть невозможно — высокая. Вроде огромного хрустального пузыря.

Похоже, нас заманили в громадную прозрачную сиську, заметил Бойд.

В глубоком отчаянии они сели под стеной.

Здесь царят мир и изобилие, сказал Уилл. Мягкая постель и сладкие сны ночью, утром — тюльпаны на столе, завтрак, маленькая жен-

щина готовит кофе. Все то, о чем мечтаешь, здесь есть — во всех видах. Воюя в другом измерении, мужчины думают, что этого и хотят. И именно за это отдают жизни. Я прав?

На все сто, согласился Бойд.

Но тут слишком хорошо, продолжал Уилл. Наверное, это западня. Может, дьявольская ловушка для разума, придуманная ксенорцами, чтобы мы не участвовали в войне. Это рай, но мы не можем из него выбраться. А любое место, откуда нельзя выбраться, есть ад.

Но это не ад. Это счастье, сказала женщина-персик, только что выросшая на дереве поблизости. Отсюда некуда идти. Расслабьтесь. Наслаждайтесь. Вы привыкнете.

Тут и конец истории.

И все? — недоумевает она. Ты хочешь, чтобы они навсегда остались в этом курятнике?

Я сделал, как ты хотела. Ты хотела про счастье. Но я могу оставить их там или выпустить, как хочешь.

Тогда выпусти.

Снаружи смерть, забыла?

А… Понятно. Она ложится на бок, натягивает на себя шубу и обнимает его. Но ты не прав относительно женщин-персиков. Они не такие, как

ты думаешь.

В чем не прав?

Просто не прав.

«Мейл энд Эмпайр», 19 сентября 1936 года

ГРИФФЕН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О КРАСНОЙ ОПАСНОСТИ В ИСПАНИИ

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ «МЕЙЛ ЭНД ЭМПАЙР»

Выступая перед членами Имперского клуба в прошлый четверг, известный промышленник Ричард Э. Гриффен, владелец фирмы «Королевское объединение Гриффен — Чейз», горячо рассуждал о потенциальной опасности, грозящей человечеству и мирной международной торговле в связи с непрекращающейся гражданской войной в Испании. Республиканцы, сказал он, действуют по указке красных. Тот факт, что они отнимают чужую собственность, убивают мирных граждан и совершают злодеяния против религии, лишь доказывает это. Многие церкви осквернены и сожжены, а убийства монахинь и священников стали обычным делом. Вооруженное

вмешательство националистов во главе с генералом Франко можно было предвидеть. Возмущенные происходящим храбрые испанцы из всех слоев общества объединились во имя защиты традиций и гражданского порядка, и весь мир, затаив дыхание, ждет развязки. Победа республиканцев приведет к тому, что Россия станет более агрессивной, и под угрозой окажутся многие небольшие страны. Противостоять этому напору в Европе хватит сил лишь у Германии, Франции и в меньшей степени — Италии.

Мистер Гриффен призвал Канаду последовать примеру Англии, Франции и Соединенных Штатов, избрав политику невмешательства. Такая позиция разумна, и её следует сформулировать немедленно: канадские граждане не должны рисковать своей жизнью в чужой свáре. Однако твердолобые коммунисты уже потянулись с нашего континента в Испанию, и хотя закон должен им воспрепятствовать, страна может порадоваться, что представилась возможность очиститься от подрывных элементов не за

счет налогоплательщиков.

Речь мистера Гриффена была встречена аплодисментами.

Слепой убийца: Гриль-бар «Цилиндр»

На гриль-баре «Цилиндр» горит неоновая вывеска: синяя перчатка приподнимает красный цилиндр. Цилиндр вверх, цилиндр снова вверх; вниз — никогда. Головы под ним нет — только подмигивающий глаз. Мужской глаз — то откроется, то закроется; глаз фокусника; озорная дурацкая шутка.

Цилиндр — лучшее, что есть в баре «Цилиндр». И все же они сидят в кабинке, у всех на виду, как настоящие, и у каждого горячий сэндвич с говядиной, серое мясо на хлебе — мягком и безвкусном, как попка ангела; бурая подливка, густая от муки. Консервированный горошек нежного серовато-зеленого цвета, картофель фри, обмякший от масла. В других кабинках сидят одинокие безутешные мужчины с покрасневшими жалобными глазами, в несвежих рубашках и лоснящихся галстуках бухгалтеров; несколько потрепанных парочек — это лучший пятничный кутеж, на который они способны; и несколько трио незанятых проституток.

Интересно, может, он встречается с кем-то из этих шлюх, думает она. Когда меня нет. И следующая мысль: откуда я знаю, что они шлюхи?

Это лучшее, что здесь можно получить за такие деньги, говорит он. Имея в виду сэндвич с говядиной.

А остальное ты пробовал?

Нет, но у меня инстинкт.

Да, он ничего — в своем роде.

Уволь меня от этих салонных выражений, говорит он, но не слишком грубо. Его настроение приподнятым не назовешь, но он на взводе. Почему-то взвинчен.

Когда она возвращается из своих поездок, он обычно не таков. Неразговорчив и мстителен.

Давно не виделись. Тебе как обычно?

Как обычно?

Как обычно, перепихнуться.

Почему тебе обязательно нужно быть грубым?

Связался с дурной компанией.

Сейчас ей хотелось бы знать, почему они едят здесь. Почему не у него? Почему он плюнул на предосторожности? Откуда у него деньги?

Сначала она получает ответ на последний вопрос, хотя вслух его не задает.

Этим сэндвичем, говорит он, мы обязаны лю-

дям-ящерам с Ксенора. Выпьем за них, подлых чешуйчатых тварей, и за все, что с ними связано. Он поднимает бокал с кока-колой, куда плеснул рома из фляжки. (Боюсь, коктейлей тут нет, сказал он, распахивая перед ней дверь. Это заведение суше, чем передок у ведьмы.)

Она тоже поднимает бокал. Люди-ящеры с Ксенора? — переспрашивает она. Те самые?

Один в один. Я послал историю в газету. Две недели назад. И они клюнули. Чек пришел вчера.

Значит, он сам ходил за чеком, и обналичивал сам, уже не первый раз. А что делать — её слишком долго не было.

Ты рад? Судя по виду, вроде да.

Да, конечно… шедевр. Много действия, много крови. Прекрасные дамы. Он усмехается. Оторваться невозможно.

Про женщин-персиков?

Нет. Никаких персиков. Совсем другой сюжет.

Он думает: что будет, когда я ей скажу? Конец игры или клятвы навек — и что хуже? На ней шарфик — тонкий, текучий, какой-то розовато-оранжевый. *Арбузный* — вот как называется оттенок. Сладкое хрустящее жидкое тело. Он вспоминает, как впервые её увидел. Все, что он

мог вообразить у неё под платьем, было сплошным туманом.

Что на тебя нашло? — спрашивает она. Ты словно… Ты пил?

Нет. Немного. Он перекатывает по тарелке бледно-серые горошины. Это случилось наконец, произносит он. Я уезжаю. Есть паспорт и все прочее.

О, говорит она. Вот как. Она старается, чтобы голос не выдал ужаса.

Вот так, продолжает он. Товарищи появились. Решили, видно, что там я буду полезнее, чем здесь. В общем, после всех этих виляний им вдруг не терпится меня спровадить. Одной занозой в заднице меньше.

А тебе безопасно ездить? Я думала…

Безопаснее, чем оставаться. Но говорят, меня теперь не слишком ищут. Такое чувство, будто другая сторона тоже хочет, чтобы я проваливал. Хлопот меньше. Хотя я не собираюсь кому-то сообщать, на каком поезде поеду. Ничего хорошего, если меня с него столкнут с пулей в башке и ножом в спине.

А через границу? Ты всегда говорил…

Сейчас граница тоньше паутинки — для тех, кто уходит. Таможенники в курсе, что происхо-

дит, знают, что отсюда маршрут в Нью-Йорк, а оттуда в Париж. Все организовано, и всех зовут Джо. Полицейским все объяснили. Сказали, смотреть сквозь пальцы. Они тоже хотят есть хлеб с маслом. Им положить с прибором.

Я хотела бы поехать с тобой, говорит она.

Так вот почему они здесь. Чтобы она не устроила скандал. Он надеется, что на публике она не закатит сцену. Не станет рыдать, вопить, рвать на себе волосы. Он на это рассчитывает.

Да. Я тоже хотел бы, говорит он. Но тебе нельзя. Там тяжело. В голове у него крутится:

> *Ненастье,*
>
> *Какой-то бред, на ширинке пуговиц нет,*
>
> *Только молния…*[98]

Держись, говорит он себе. В башке бурлит, словно там имбирное пиво. Газированная кровь. Будто он летит и смотрит на неё сверху. Её прелестное расстроенное лицо дрожит отражением в неспокойной воде; уже кривится, скоро польются слезы. Но, несмотря на печаль, она как никогда восхитительна. Нежное молочное сия-

---

[98] Примечания: 98
Пародия на песню Теда Кёлера и Гарольда Арлена «Ненастье».

ние исходит от неё, рука, которую он сжимает, упруга и округла. Ему хочется схватить её, унести к себе и трахать до самозабвения неделю. Будто это поможет.

Я тебя подожду, говорит она. Когда ты вернешься, я просто выйду из дома, и мы уйдем вместе.

Правда, уйдешь? Уйдешь от него?

Да. К тебе — уйду. Если захочешь. Я все брошу.

Неоновый свет лучинами тычется в окно над ними — красный, синий, красный. Она воображает, что он ранен: тогда бы он остался. Ей хочется запереть его, связать, спрятать для себя одной.

Уйди от него сейчас, говорит он.

Сейчас? Её глаза расширяются. Прямо сейчас? Почему?

Мне невыносимо, что ты с ним живешь. Одна мысль невыносима.

Но для меня это ничего не значит, говорит она.

А для меня значит. Особенно когда уеду, когда не буду тебя видеть. Я свихнусь, об этом думая.

Но тогда я останусь без денег, удивляется она. Где мне жить? Снимать комнату, в одиночестве? Как ты, думает она. На что жить?

Ты можешь найти работу, беспомощно говорит он. Я мог бы посылать тебе кое-что.

У тебя нет денег — толком нет. А я не могу ни-

чего *делать*. Шить не могу, печатать не могу. Есть ещё одна причина, думает она, но я не могу ему сказать.

Должен быть какой-то выход. Но он не настаивает. Может, и впрямь не такая удачная идея — жить ей одной. В большом грязном мире, где каждый парень отсюда до Китая может к ней пристать. И если что случится, виноват будет только он.

По-моему, мне лучше остаться, нет? Это лучше всего. Пока ты не вернешься. Ты же вернешься? Целым и невредимым?

Конечно, говорит он.

Потому что иначе я не знаю, что сделаю. Если тебя убьют или ещё что, я пропала. Она думает: я говорю, как в кино. А как ещё говорить? Мы забыли, как ещё.

Дело дрянь, думает он. Она себя накручивает. Сейчас заплачет. Заплачет, а я тут буду сидеть, как болван. Если женщина начинает плакать, её уже не остановишь.

Хватит, пойду принесу твое пальто, говорит он угрюмо. Это не шуточки. У нас мало времени. Пойдем обратно ко мне.

IX

Стирка

Наконец-то март, скупые приметы весны. Деревья ещё голые, почки жесткие, закукленные, на припеках тает снег. Собачьи какашки оттаивают, оседают, их обледеневшее кружево побледнело от прошлогодней мочи. Вылезают куски лужайки, грязные и замусоренные. Должно быть, так выглядит чистилище.

Сегодня на завтрак было нечто новенькое. Какие-то новые хлопья — их принесла Майра, чтобы меня взбодрить: она верит всему, что пишут на упаковках. Эти хлопья, говорят прямые буквы цвета леденцов или теплых спортивных костюмов, изготовлены не из никудышной, сверхприбыльной кукурузы или пшеницы, а из малоизвестных злаков с труднопроизносимыми именами — древних и мистических. Их семена обнаружены в индейских захоронениях доколумбова периода и в египетских пирамидах — информация убедительная, но, если вдуматься, не больно-то обнадеживающая. Эти хлопья не только прочистят тебя изнутри не хуже скребка,

шепчут нам, но даруют новую силу, неувядающую молодость, бессмертие. Сзади коробка украшена гирляндой розовых кишок, спереди — нефритовое мозаичное безглазое лицо; рекламодатели явно не поняли, что это ацтекская посмертная маска.

В честь нового продукта я заставила себя сесть, как полагается, за кухонный стол с прибором, да ещё с салфеткой. Живущие в одиночестве привыкают есть стоя: к чему приличия, если никто тебя не увидит и не осудит? Однако дай себе поблажку в одном — и рассыпется все.

Вчера я решила устроить постирушку — показать Богу нос и поработать в воскресенье. Впрочем, ему наверняка плевать на дни недели: на небесах, как и в подсознании, — так нам, во всяком случае, говорят, — время отсутствует. На самом деле я хотела показать нос Майре. Не надо убирать постель, говорит она, не надо носить тяжелые корзины с грязным бельем по шатким ступенькам в подвал, где стоит древняя, бешеная стиральная машина.

Кто стирает мое белье? По умолчанию, Майра. *Пока я здесь, могу быстренько загрузить машину,* говорит она. А затем мы обе притворяемся, что она этого не делала. Поддерживаем легенду

— то, что стремительно превращается в легенду, — будто я могу сама о себе позаботиться. Но в последнее время напряжение этого притворства начинает сказываться.

У Майры болит спина. Она хочет найти женщину, чужого человека, которая будет ко мне приходить, все делать и всюду совать нос. Потому что, видите ли, у меня больное сердце. Она как-то узнала — и о посещении врача, и о лекарствах, и о прогнозах; думаю, её просветила медицинская сестра, рыжая, крашеная и с языком как помело. Весь город под одним одеялом.

Я сказала Майре, что со своим бельем разберусь сама. Я буду сопротивляться появлению этой *женщины,* сколько смогу. Потому что смущаюсь? В немалой степени. Не хочу, чтобы посторонний копался в моем грязном белье, в пятнах и запахах. Майра — ладно: я знаю её, она знает меня. Я её крест: я делаю её особо добродетельной в глазах окружающих. Она называет мое имя, закатывает глаза — и отпущение грехов ей обеспечено, если не ангелами, то хотя бы соседями, а этим угодить гораздо труднее.

Пойми меня правильно. Я не издеваюсь над добродетелью, она не проще зла, а объяснима и того меньше. Но подчас мириться с нею трудно.

Приняв решение — и предвкушая, как раскудахчется Майра, когда обнаружит выстиранные и сложенные полотенца, и свою самодовольную улыбку, — я выступила в свой стиральный поход. Я склонилась над корзиной, едва не свалившись туда вниз головой, и выудила, что смогу унести, стараясь не вспоминать белье далекого прошлого. (Какое красивое! Такого больше не делают, ни обшитых пуговок, ни ручной строчки. Хотя, может, я его просто не вижу, все равно не могу себе позволить, да и не влезу в него. Для таких вещичек нужна талия.)

Я сложила вещи в пластмассовое ведро и пошлепала вниз, шаг за шагом, боком по лестнице, словно Красная Шапочка, что идет к бабушке по преисподней. Только я сама бабушка, и злобный волк сидит внутри меня. И грызет, грызет.

Спустилась, пока все хорошо. По коридору на кухню, оттуда — в полумрак подвала, в его пугающую сырость. Почти сразу меня начала бить дрожь. Вещи, раньше не представлявшие никакой опасности, стали казаться предательскими: подъемные окна притаились капканами, готовые защемить мне руки, табуретка вот-вот развалится, а верхние полки буфетов полны хрупких стеклянных мин. Пройдя полпути вниз,

я поняла, что зря это затеяла. Слишком крутая лестница, слишком тусклый свет и такая вонь, будто в свежий цемент закатали чью-то умело отравленную жену. Внизу, у лестницы, мерцало озерцо темноты — глубокое, дрожащее и мокрое, точно настоящее озеро. А может, и впрямь настоящее; может, речная вода просочилась сквозь пол — я такое видела по метеоканалу. Все четыре стихии могут проявить себя в любой момент: огонь — вырваться из земли, земля — обратиться в лаву и тебя похоронить, воздух — порывом яростного ветра снести крышу с твоего дома. Так почему не наводнение?

Я слышала какое-то бульканье — может, внутри меня, но может, и нет; сердце бешено колотилось в панике. Я понимала, что вода — выверт зрения, слуха или мозга, и все-таки лучше не спускаться. Я уронила белье на ступеньки, там его и оставила. Может, вернусь за ним позже, а может, и не вернусь. Кто-нибудь заберет. Майра — поджав губы. После того, что я натворила, мне точно не отделаться от *женщины.* Я повернулась, чуть не упала, вцепилась в перила; потом потащила себя наверх, ступеньку за ступенькой, — к успокоительному, рассудительному кухонному свету.

За окном было серо, ровная безжизненная се-

рость; небо и пористый тающий снег — одного цвета. Я включила электрический чайник, вскоре он затянул свою паровую колыбельную. Плохо дело, если кухонная утварь заботится о тебе, а не наоборот. Но все-таки он меня утешил.

Я налила чай, выпила и сполоснула чашку. Хоть посуду ещё могу за собой мыть — и на том спасибо. Затем поставила чашку на полку к другим чашкам — вручную расписанная посуда бабушки Аделии; лилии к лилиям, фиалки к фиалкам, одинаковые узоры вместе. По крайней мере, в буфете у меня порядок. Но из головы не шло белье, упавшее на ступеньки. Эти тряпки, скомканные лоскуты — точно сброшенная белая кожа. Впрочем, не такая уж и белая. Завещание кому-то: чистые страницы, на которых царапало мое тело, оставляя таинственные знаки, медленно, но уверенно выворачиваясь наизнанку.

Может, попытаться собрать белье и снова запихнуть в корзину — тогда никто ничего не узнает. *Никто* — это Майра.

Похоже, меня охватила страсть к порядку.

Лучше поздно, чем никогда, говорит Рини.

О, Рини! Как я хочу, чтобы ты была рядом. Вернись и позаботься обо мне!

Но она не придет. Придется самой о себе за-

ботиться. О себе и о Лоре, как я торжественно обещала.

Лучше поздно, чем никогда.

Так на чем я остановилась? *Была зима.* Нет, это уже было.

Была весна. Весна 1936 года. В этом году все стало разваливаться. Точнее, продолжало разваливаться, но уже серьёзнее, чем прежде.

В том году король Эдуард отрекся от престола; пожертвовал честолюбием ради любви. Нет. Пожертвовал своим честолюбием ради честолюбия герцогини Виндзорской[99]. Это событие запомнилось. А в Испании началась Гражданская война. Но это все случилось несколько месяцев спустя. Что же было в марте? Нечто. Ричард, шурша газетой за завтраком, сказал: *он это все-таки сделал.*

В тот день мы завтракали вдвоем. Лора ела с нами только по выходным, да и тогда уклонялась, притворяясь, что ещё спит. В будни она ела одна в кухне, потому что ехала в школу. Ну, не одна: с миссис Мергатройд. А мистер Мергатройд отвозил Лору в школу и забирал оттуда, поскольку

[99] Примечания: 99

10 декабря 1936 г. король Великобритании Эдуард VIII (1894–1972) подписал отречение от престола ради женитьбы на Уоллис Симпсон (1895–1986). Герцогом и герцогиней Виндзорской они стали уже после отречения Эдуарда.

Ричард не хотел, чтобы Лора ходила пешком. На самом деле, боялся, что она собьется с пути.

Лора обедала в школе, а по вторникам и четвергам брала уроки игры на флейте: требовалось на чем-нибудь играть. Начали с фортепиано, но ничего не вышло. С виолончелью то же самое. Нам сказали, что Лора мало занимается, хотя вечерами наш слух порой терзали печальные, фальшивые завывания флейты. Фальшивила она явно намеренно.

— Я с ней поговорю, — сказал как-то Ричард.

— Вряд ли нам есть, на что жаловаться, — отозвалась я. — Она просто делает, что ты сказал.

Лора больше не дерзила Ричарду. Но тут же покидала комнату, если он входил.

Вернемся к утренней газете. Ричард держал её между нами, и я читала заголовки. *Он* — это Гитлер, который вошел в Рейнские земли. Он нарушил правила, перешел границу, совершил запретное. *Что ж,* сказал Ричард, *это можно было предвидеть, но, похоже, он застиг их врасплох. Утер им нос. Ловкий парень. Умеет нащупать слабое место. И шанса не упустит. Надо отдать ему должное.* Я соглашалась, не слушая. В те месяцы, чтобы не сломаться, мне оставалось лишь ничего не слушать. Глушить все посторонние

шумы; подобно канатоходцу, пересекающему Ниагарский водопад, не могла позволить себе глядеть по сторонам — боялась утратить равновесие. А как ещё себя вести, если то, о чем постоянно думаешь, так далеко от жизни, которую вроде бы ведешь? От того, что стоит на столе перед тобою — в то утро там стоял белый нарцисс в вазочке, выдавленный из луковицы, которую прислала Уинифред. *Такие прелестные в это время года,* говорила она. *Так благоухают. Словно вдыхаешь надежду.*

Уинифред считала меня безобидной. Иными словами, дурочкой. Позже — десять лет спустя, — она мне скажет (по телефону, поскольку мы больше не встречались):

— Я думала, ты глупа. На самом деле ты порочна. Ты всегда нас ненавидела: твой отец разорился и поджег свою фабрику — вот почему ты на нас злилась.

— Он не поджигал, — скажу я. — Это сделал Ричард. Или подстроил.

— Гнусная ложь. Твой отец был полным банкротом, если б не страховка, вы остались бы без гроша. Мы вытащили вас из грязи — тебя и твою полоумную сестру! Если бы не мы, ты оказалась бы на улице и не бездельничала бы круглые

сутки, не отрывая зад от дивана, как избалованный дитятя. За тебя всегда все делали другие: ты никогда не пыталась хоть что-нибудь сделать сама, ни секунды не благодарила Ричарда. Ты никогда и пальцем не пошевелила, чтобы ему помочь, — ни разу!

— Я делала, как вы хотели. Помалкивала. Улыбалась. Была нарядной вывеской. Но с Лорой — это было чересчур. Не надо было ему трогать Лору.

— Все это одна лишь злоба, злоба, злоба! Ты обязана нам всем, и вот этого ты не могла простить. И ты ему отомстила. Вы две его просто убили — все равно что приставили пистолет к виску и спустили курок.

— А кто же убил Лору?

— Лора покончила с собой, и ты прекрасно это знаешь.

— Я то же самое могу сказать о Ричарде.

— А вот это клевета! Лора была больная на всю голову. Не понимаю, как ты могла поверить хоть одному её слову, о Ричарде и о чем угодно. Никто в здравом уме не поверил бы!

Я больше не могла говорить и повесила трубку. Но я была бессильна, потому что у Уинифред уже имелась заложница. Моя Эйми.

Однако в 1936 году Уинифред была довольно любезна, и я оставалась её протеже. Она таскала меня на разные сборища — в Молодежную лигу, на посиделки политиков, на заседания всевозможных комитетов — и пристраивала меня куда-нибудь в угол, пока общалась с нужными людьми. Теперь я понимаю, что её по большей части не любили, а просто терпели: у неё были деньги и неистощимая энергия, многих женщин её круга устраивало, что она берет на себя львиную долю любой работы.

Время от времени какая-нибудь из них подсаживалась ко мне со словами, что знала мою бабушку, а если помоложе — что желали бы с ней познакомиться в то прекрасное предвоенное время, когда ещё была возможна истинная элегантность. Это был пароль: подразумевалось, что Уинифред принадлежит к *парвеню* — нуворишам, наглым и вульгарным, и мне следует защищать другую систему ценностей. В ответ я слабо улыбалась и говорила, что бабушка умерла задолго до моего рождения. То есть им не следует ждать от меня противостояния Уинифред.

А как дела у вашего умного мужа? — спрашивали они. *Когда ждать важного известия?* Важное известие касалось политической карьеры Ричар-

да, которая формально не началась, но считалась неизбежной.

Ах, улыбалась я, *не сомневаюсь, я услышу его первой.* Неправда: я не сомневалась, что узнаю обо всем последней.

Наша жизнь — моя и Ричарда — устаканилась, и мне казалось, она не изменится никогда. Вернее, существовали две жизни — дневная и ночная: абсолютно разные и притом неизменные. Спокойствие и порядок, все на своем месте, а в глубине — узаконенное изощренное насилие: грубый, тяжелый башмак, отбивающий такт на мягком ковре. Каждое утро я принимала душ, чтобы смыть с себя ночь, смыть эту штуку, которую Ричард втирал в голову, — какой-то дорогой душистый жир. Я вся им пропахла.

Беспокоило ли Ричарда мое равнодушие к его ночной деятельности, мое отвращение даже? Нисколько. Как и во всем, он предпочитал завоевывать, а не сотрудничать.

Иногда (со временем все чаще) на моем теле оставались синяки — лиловые пятна синели, потом желтели. Удивительно, как меня легко повредить, улыбался Ричард. Одно прикосновение. Никогда не встречал женщины с такой чувствительной кожей. Это потому, что я очень

юная и нежная.

Он предпочитал ставить синяки на бедрах — там не видно. Синяки на открытых местах помешали бы его карьере.

Иногда мне казалось, что эти знаки на теле — что-то вроде шифра, который расцветал и бледнел, подобно симпатическим чернилам над свечой. Но если это шифр, у кого же ключ?

Я была песком, я была снегом — на мне писали, переписывали и стирали написанное.

Пепельница

Я снова была у доктора. Меня отвезла Майра: оттепель сменилась заморозками и гололедом, чересчур скользко идти, сказала она.

Доктор постучал мне по ребрам, подслушал сердце, нахмурил чело, разгладил, а потом, видимо, пришел к какому-то заключению и спросил, как я себя чувствую. Кажется, он что-то сделал с волосами: раньше у него просвечивала макушка. Может, наклейку носит? Или, хуже того, сделал трансплантацию? Ага, подумала я. Несмотря на бег трусцой и волосатые ноги, возраст дает о себе знать. Скоро ты пожалеешь, что столько загорал. Лицо станет, как мошонка.

Тем не менее, доктор был оскорбительно игрив.

Только что не говорил: *ну и как мы сегодня себя чувствуем?* Он никогда не называет меня *мы*, как некоторые: понимает важность первого лица единственного числа.

— Спать не могу, — ответила я. — Мучают сны.

— Если видите сны, значит, спите, — попытался сострить он.

— Вы понимаете, что я хочу сказать, — отрезала я. — Это не одно и то же. От этих снов я просыпаюсь.

— Кофе пьете?

— Нет, — солгала я.

— Значит, угрызения совести.

Он стал выписывать рецепт — на какие-нибудь подслащенные пилюли, конечно. И при этом хихикал: наверное, считал, что исключительно остроумен. В какой-то момент порча опыта дает обратный ход: с годами в глазах окружающих мы превращаемся в наивных простаков. Глядя на меня, доктор видит лишь никчемную и, значит, невинную старушенцию.

Пока я находилась в святилище, Майра в приемной листала старые журналы. Выдрала статью о том, как справиться с душевным напряжением, и ещё одну — о благотворном действии сырой капусты. Прямо для меня, сказала она, явно до-

вольная своими *trouvailles*[100]. Майра постоянно ставит мне диагнозы. Мое физическое здоровье ей интересно не менее духовного, — особенно беспокоит её мой кишечник.

Я ответила, что вряд ли могу страдать от напряжения, поскольку в вакууме напряжения не бывает. Что касается сырой капусты, то меня от неё пучит, так что я проживу без её благотворного действия. И прибавила, что не собираюсь провести остаток дней, смердя, как бочонок с кислой капустой, и гудя, точно клаксон.

Грубость насчет функций организма Майру всегда вырубает. Остаток пути она молчала с гипсовой улыбкой на губах.

Иногда мне за себя стыдно.

Работа всегда под рукой. *Под рукой* — подходящее выражение: подчас мне кажется, что пишет только рука, а все остальное нет; она живет своей жизнью и будет жить даже отрубленной, вроде забальзамированного зачарованного египетского амулета или высушенной кроличьей лапки, которую на счастье вешают под зеркальце в машинах. Несмотря на артрит, рука в последнее время проявляет невиданную прыть, отбросив

---

[100] Примечания: 100
Находками (фр.).

к чертям собачьим сдержанность. Она пишет много такого, чего я в здравом уме никогда бы не написала. Страница за страницей. На чем я остановилась? Апрель 1936 года.

В апреле нам позвонила директриса школы святой Цецилии. Речь идет о Лорином поведении, сказала она. Не телефонный разговор.

Ричард был ужасно занят. Он предложил мне поехать с Уинифред, но я сказала, что чепуха; я сама все улажу и сообщу ему, если будет что-то важное. Я договорилась о встрече с директрисой, чью фамилию уже не помню. Я вырядилась так, чтобы её напугать или хотя бы напомнить о положении и влиянии Ричарда. Помнится, явилась в кашемировом пальто, отделанном мехом росомахи — не по сезону теплом, зато впечатляющем, — и в шляпе с дохлым фазаном —.точнее, с частями фазана: крыльями, хвостом и головой с красными бусинками вместо глаз.

Седеющая директриса напоминала вешалку, — хрупкие кости, обернутые мокрыми на вид тряпками. От ужаса втянув голову в плечи, она сидела в кабинете, забаррикадировавшись дубовым столом. Еще год назад я дрожала бы перед ней, как сейчас она передо мной — точнее, перед денежным мешком, который я олицетворяла. Но

за этот год я обрела уверенность. Я наблюдала за Уинифред и подражала. Я уже научилась вздергивать одну бровь.

Директриса нервно улыбалась, показывая выпуклые желтые зубы, точно полуобгрызенный кукурузный початок. Интересно, что Лора натворила, чтобы заставить директрису пойти на конфликт с отсутствующим Ричардом и его невидимым могуществом.

— Боюсь, мы не сможем учить Лору дальше, — сказала она. — Мы сделали все, что в наших силах, знаем, что имеются смягчающие обстоятельства, но, поймите, мы должны думать и о других ученицах, а Лора на них, я боюсь, пагубно влияет.

Я тогда уже усвоила, как важно заставить людей объясняться.

— Простите, но я не понимаю, о чем идет речь, — процедила я, едва разжимая губы. — Какие смягчающие обстоятельства? Почему пагубно влияет?

Мои руки неподвижно лежали на коленях, я приподняла подбородок и чуть склонила голову, — так лучше смотрелась шляпа с фазаном. Я надеялась, директриса чувствует, как на неё уставились все четыре глаза. За мной стояло

богатство, за ней — возраст и положение. В кабинете было жарко. Я бросила пальто на спинку стула, но все равно обливалась потом, точно портовый грузчик.

— На богословии — единственном, кстати, уроке, к которому Лора проявляет хоть какой-то интерес, она ставит под сомнение самого Господа Бога. Даже написала сочинение «Лжет ли Бог?» — вот до чего дошло. Это весь класс выбило из колеи.

— И какой она дает ответ? — спросила я. — Насчет Бога. — Я удивилась, но виду не подавала; а я-то думала, что у Лоры интереса к Богу поубавилось. Оказывается, я ошибалась.

— Утвердительный. — Директриса посмотрела на стол, где лежало сочинение Лоры. — Вот здесь она цитирует Третью Книгу Царств, глава 22 — то место, где Бог обманывает царя Ахава[101]: «И смотрите, Бог вкладывает лживый смысл в уста всех пророков». Дальше Лора утверждает, что если Бог поступил так однажды, откуда мы знаем,

---

[101] Примечания: 101

«И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. [Господь] сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так» (3-я Царств 22:20–22).

что он так не делал и потом, и как тогда отличить лживые пророчества от истинных:

— Ну, по крайней мере, логично, — заметила я. — Лора Библию знает.

— Да уж, — раздраженно сказала директриса. — Ради выгоды и Дьявол цитирует Священное Писание. Дальше Лора говорит, что Бог обманывает, но не жульничает: он всегда посылает людям истинного пророка тоже, но того никто не слушает. Она считает, Бог — что-то вроде радиостанции, а мы плохие приемники. Я нахожу это сравнение, по меньшей мере, непочтительным.

— Лора не хотела быть непочтительной, — сказала я. — Во всяком случае, не по отношению к Богу.

На это директриса не обратила внимания.

— Дело даже не в том, что она убедительно спорит, она считает возможным задавать вопросы.

— Лора любит получать ответы, — сказала я. — Она любит ответы на важные вопросы. Полагаю, вы согласитесь, что вопросы о Боге — из их числа. Не понимаю, что в этом пагубного.

— Другие ученицы находят это пагубным. Они считают, что она… ну, воображает. Бросает вызов авторитетам.

— Как и Христос, — сказала я. — В его время

некоторые так думали.

Директриса не прибегла к неопровержимому аргументу: что дозволено Христу, не дозволено шестнадцатилетней девчонке.

— Вы не совсем понимаете, — проговорила она, ломая руки. Я с интересом за ней наблюдала — никогда раньше такого не видела. — Ученицы находят её… они думают, что она *забавна.* Во всяком случае, некоторые. Другие считают, что она большевичка. А остальные — что она просто странная. Как бы то ни было, она вызывает нездоровый интерес.

Я начала понимать.

— Не думаю, что Лора хочет быть забавной, — заметила я.

— Но так трудно понять! — Мы помолчали, глядя друг на друга через стол. — У неё и последователи есть, — прибавила директриса не без зависти. Подождав, пока я переварю эту информацию, она продолжила: — И потом, у неё слишком много пропусков. Я понимаю, проблемы со здоровьем, но все же…

— Какие ещё проблемы? — удивилась я. — С Лорой все в порядке.

— Ну, она столько ходит к врачу, я решила…

— К какому врачу?

— Это не вы писали? — И она предъявила мне пачку писем. Я сразу же узнала свою бумагу. Потом просмотрела письма: я их не писала, но подпись стояла моя.

— Понятно, — сказала я, забирая пальто и сумочку. — Придется с Лорой поговорить. Спасибо, что уделили мне время. — И я пожала директрисе кончики пальцев. Было ясно без слов, что Лору из школы придется забрать.

— Мы так старались. — Бедняжка чуть не рыдала. Еще одна мисс Вивисекция. Рабочая лошадка. Благие намерения и никакого толку. Лоре не чета.

Вечером Ричард спросил, как прошла встреча, и я рассказала о Лорином пагубном влиянии на одноклассниц. Ричарда это не рассердило, а позабавило, едва ли не восхитило. Он сказал, у Лоры есть характер. Умеренно бунтует — значит, заводная. Он и сам не любил школу, учителя с ним мучились. Вряд ли по тем же причинам, что с Лорой, подумала я, но промолчала.

О подложных письмах я не упомянула: пусти лису в курятник. Дразнить учителей — одно дело, прогуливать — совсем другое. Попахивало преступлением.

— Зря ты подделала мой почерк, — сказала я

Лоре наедине.

— Почерк Ричарда не получается. Он совсем другой. Твой гораздо проще.

— Почерк — личная вещь. Смахивает на воровство. Секунду она казалась расстроенной.

— Прости. Я просто одолжила. Подумала, ты не будешь против.

— Думаю, нет нужды спрашивать, зачем?

— Я не просила, чтобы меня посылали в школу, — сказала Лора. — Меня там все любят не больше, чем я их. Не принимают всерьёз. Они сами не серьёзные. Если б мне пришлось туда все время ходить, я бы и правда заболела.

— А чем ты занималась вместо школы? — спросила я. — Куда ты ходила? — Я боялась, не встречается ли она с кем-нибудь — с мужчиной. Уже пора.

— Куда придется, — ответила Лора. — Ездила в центр, сидела в парке или ещё где. Или просто бродила. Пару раз видела тебя, но ты меня не заметила. Ты, наверное, в магазин шла.

К сердцу прилила кровь, потом его стиснуло: меня скрутило паникой. Должно быть, я побледнела.

— Что с тобой? — спросила Лора. — Тебе плохо?

В мае мы отправились в Англию на «Беренжерии», а в Нью-Йорк возвращались первым рейсом «Куин Мэри»[102]. «Куин Мэри» — крупнейший и самый роскошный океанский лайнер за всю историю кораблестроения — во всяком случае, так писали в рекламных буклетах. Ричард сказал, это эпохальное событие.

С нами поехала Уинифред. И Лора. Путешествие пойдет ей на пользу, сказал Ричард: после внезапного ухода из школы она подавлена, бледна и болтается без дела. Оно расширит Лорин кругозор, такая девушка, как она, сумеет извлечь из него пользу. В любом случае, не оставлять же её одну.

Публика была ненасытна. Каждый дюйм «Куин Мэри» описали и сфотографировали, разукрасили её тоже везде: лампы дневного света, пластик, колонны с каннелюрами и кленовые панели — сплошь роскошный глянец. Но качало свински; кроме того, палуба второго класса нависала над первым: стоило выйти, и вдоль перил выстраивалась толпа не столь богатых придурков.

---

[102] Примечания: 102

Трансатлантический лайнер, самое крупное пассажирское судно в истории кораблестроения. Спущено на воду в 1934 г., использовалось до 1964 г., затем было поставлено на прикол в Лонг-Бич, Калифорния, и превратилось в гостиницу и музей.

В первый день меня мутило, но потом все наладилось. На пароходе постоянно танцевали. Я уже научилась танцевать — не слишком хорошо, но вполне прилично. *(Ничего не делай слишком хорошо,* говорила Уинифред, *а то подумают, ты из кожи вон лезешь.)* Я танцевала не только с Ричардом, но и с его деловыми партнерами, которым он меня представил. *Позаботьтесь об Айрис для меня,* говорил он, улыбаясь и хлопая их по плечу. Он тоже танцевал с другими женщинами, с женами знакомых. Иногда выходил покурить или погулять по палубе — так он говорил. Мне же казалось, он злится или размышляет. Отсутствовал, к примеру, час. Затем возвращался, садился за столик и смотрел, как я танцую, а я не знала, давно ли он здесь.

Я решила, он недоволен, потому что плавание сложилось не так, как он рассчитывал. Он не смог заказать столик в зале «Веранда Гриль» и не познакомился с теми, с кем хотел познакомиться. Дома он был крупной шишкой, но на «Куин Мэри» встречались шишки покрупнее. Уинифред тоже не котировалась, и вся её энергия пропадала зря. Я не раз видела, как её ставили на место женщины, с которыми она заговаривала. В конце концов она ограничилась, как она выражалась, «нашим

кругом», надеясь, что это не бросается в глаза.

Лора не танцевала. Не умела и не проявляла к танцам интереса — кроме того, она была слишком молода. После ужина запиралась в каюте и говорила, что читает. На третий день за завтраком глаза у неё были красные и опухшие.

Вскоре после завтрака я пошла её искать. Лора сидела в шезлонге на палубе, закутавшись в плед по самую шею, и апатично следила за игрой в серсо. Я села рядом. Крепкая молодая женщина прошла мимо с семью собаками, каждый пес — на отдельном поводке; несмотря на холод, женщина была в шортах, открывавших загорелые ноги.

— Я тоже могла бы так работать, — сказала Лора. — Как?

— Гулять с собаками, — пояснила она. — С чужими собаками. Я люблю собак.

— Может, хозяев не полюбила бы.

— Я бы и не с ними гуляла. — Лора надела темные очки, но тряслась.

— Что-нибудь случилось? — спросила я.

— Ничего.

— Ты же замерзла. Ты не заболеваешь?

— Со мной все в порядке. Не суетись.

— Я же волнуюсь.

— Ну и не надо. Мне уже шестнадцать. Скажу,

если заболею.

— Я обещала папе о тебе заботиться, — сказала я сухо. — И маме тоже.

— Глупо с твоей стороны.

— Это уж точно. По молодости. Не знала, как поступить. В молодости вечно так.

Лора сняла темные очки, но на меня не смотрела.

— Чужие обеты — не моя вина, — сказала она. — Папа меня тебе навязал. Не знал, что со мной делать — с нами обеими. Но он уже умер, они оба умерли, так что ничего страшного. Я тебя отпускаю. Ты свободна.

— Лора, *что* с тобой?

— Ничего, — сказала она. — Но каждый раз, когда мне хочется подумать — разобраться во всем — ты говоришь, что я больна, и начинаешь придираться. Свихнуться можно.

— Ты несправедлива, — возразила я. — Я очень старалась, я всегда позволяла тебе роскошь сомневаться, я давала тебе самое…

— Давай не будем об этом, — предложила она. — Взгляни, до чего глупая игра. Интересно, почему она называется серсо?

Я решила, виноваты старые горести — тоска по Авалону и нашей прежней жизни. А может, она

грезила об Алексе Томасе? Надо было расспрашивать, настаивать, но вряд ли она рассказала бы, что её мучает.

Из этого плавания, помимо Лоры, мне запомнилось воровство, что развернулось на борту в день прибытия. Всё, на чем значилось название или монограмма «Куин Мэри», отправлялось прямиком в сумочки или в чемоданы — почтовая бумага, столовое серебро, полотенца, мыльницы, какие-то железки — все, что не прибито гвоздями к полу. Некоторые умудрялись даже отвернуть краны, дверные ручки, снять зеркальца. Особенно отличились пассажиры первого класса, но ведь среди богатых больше всего клептоманов.

Чем объяснялось это повальное мародерство? Страстью к сувенирам. Людям нужно нечто напоминающее о них самих. Странная это вещь — охота за сувенирами: *сейчас* становится *потом,* пока оно ещё сейчас. Сам не веришь, что все это с тобой происходит, и умыкаешь доказательство — или что-нибудь, что за доказательство сойдет.

Я, например, стащила пепельницу.

Человек с головой в огне

Вчера я приняла на ночь таблетку, что пропи-

сал доктор. Заснула быстро, но сон был ничем не лучше тех, что посещали меня без медицинской помощи.

Я стояла на пристани в Авалоне; повсюду крошился и звенел колокольчиками зеленоватый лед, но я была одета по-летнему — в ситцевое платье в бабочках. На мне была шляпка из искусственных цветов таких оттенков, что зовутся «вырви глаз», — томатного, ядовито-сиреневого; цветы освещались изнутри крошечными лампочками.

А моя где? — послышался голос пятилетней Лоры. Я посмотрела на неё вниз, но мы уже не были детьми. Лора постарела, как и я; её глаза — две высохшие изюминки. Это меня так потрясло, что я проснулась.

Было три часа ночи. Подождав, пока сердце перестанет возмущаться, я ощупью сошла вниз и подогрела себе молока. Не стоило полагаться на таблетку. Забвения так дешево не купить.

Но продолжаю.

Покинув борт «Куин Мэри», наше семейство провело три дня в Нью-Йорке. У Ричарда были дела, а нам он посоветовал осмотреть достопримечательности.

Лора не захотела идти смотреть «Рокеттс»[103] или подниматься на Статую Свободы и Эмпайр-стейт-билдинг. В магазины она тоже не хотела. Сказала, что хочет просто бродить по улицам и смотреть вокруг, но Ричард заявил, что ей одной это слишком опасно, так что я бродила с нею. Лора была не очень бодра — приятное разнообразие после Уинифред, в которой энергия так и бурлила.

В Торонто мы провели несколько недель — Ричард разбирался с текущими делами. А потом мы отправились в Авалон. Поплаваем там, сказал Ричард. Его тон подразумевал, что Авалон только на то и годится, а ещё — что Ричард с радостью принесет эту жертву, чтобы удовлетворить наш каприз. Или, говоря повежливее, чтобы доставить нам удовольствие, — мне, и Лоре тоже.

Мне казалось, он стал воспринимать Лору как загадку, которую считал своим долгом решить. Иногда я замечала, как он смотрит на неё, — примерно так же он смотрел на сводку биржевых новостей — прикидывая, как лучше подойти, как подобрать к ним ключ, отвертку, отмычку. В его представлении у всего имеется ключ или

---

[103] Примечания: 103

«Рокеттс» — постоянный ансамбль кордебалета киноконцертного зала «Радио-сити».

отмычка. Или цена. Ему хотелось скрутить Лору, наступить ей на горло — хотя бы легонько. Но Ричард не на то горло напал. Каждый раз он замирал с поднятой ногой, точно охотник на картинке, у которого из-под сапога вдруг исчез убитый медведь.

Как Лора этого добилась? Не противостоянием — с этим было покончено: теперь она избегала открытых стычек. Она отступала, она отворачивалась, и он терял равновесие. Он все время устремлялся к ней, все время хватал — и все время воздух.

Чего он добивался? Её одобрения, восхищения даже. Или просто благодарности. Что-то в этом роде. Другую девочку он мог бы осыпать подарками — жемчужное ожерелье, кашемировый свитер — вещи, о которых обычно мечтают шестнадцатилетние девчонки. Но он понимал, что с Лорой этот номер не пройдет.

Напрасный труд, думала я. Он её никогда не разгадает. И купить не сможет — у него нет ничего, что ей необходимо. В любом перетягивании каната, с кем угодно, я по-прежнему ставила на Лору. Она упряма, как осел.

Я думала, она обрадуется, узнав, что мы отправляемся в Авалон, — она ведь так не хотела

оттуда уезжать, — но когда об этом заговорили, она осталась равнодушной. Не хотела отдавать должное Ричарду за что бы то ни было, или это мне так показалось.

— Хоть с Рини повидаемся, — только и сказала она.

— Сожалею, но Рини больше у нас не работает, — сказал Ричард. — Она уволена.

Когда? Недавно. Месяц назад, несколько месяцев? Ричард отвечал неопределенно. Это все, сказал он, из-за мужа Рини, тот чересчур много пил. Дом ремонтировался слишком медленно и кое-как — кому это понравится. Ричард не видел смысла платить хорошие деньги за лень и натуральное неподчинение.

— Он не хотел, чтобы она там была вместе с нами, — сказала Лора. — Он знает, что она примет нашу сторону.

Мы бродили в Авалоне по первому этажу. Дом словно уменьшился, мебель стояла в чехлах — точнее, то, что от неё осталось: самые громоздкие и мрачные вещи вынесли, — наверное, Ричард распорядился. Я так и слышала, как Уинифред говорит, что невозможно жить с буфетом, на котором такие неубедительные, толстые резные виноградные кисти. Книги в кожаных переплетах

в библиотеке остались, но что-то мне подсказывало, что они недолго продержатся. Зато убрали фотографии дедушки Бенджамина с премьер-министрами: кто-то — конечно, Ричард — заметил, наконец, что у них разрисованы лица.

Прежде Авалон дышал стабильностью, почти непреклонностью, — крупный, мощный валун, преградивший путь потоку времени, никому не поддающийся и недвижимый. Теперь же он виновато скукожился — казалось, вот-вот рухнет. Лишился мужества собственных притязаний.

Как здесь уныло, заметила Уинифред, и как пыльно; на кухне живут мыши — она сама видела мышиный помет, — и чешуйницы. Впрочем, к вечеру поездом приедут Мергатройды и ещё двое новых слуг, которых недавно взяли в штат, и тогда на борту будет порядок — хотя нет, рассмеялась она, на борту его как раз и не будет. Она имела в виду нашу яхту «Наяду». Ричард как раз осматривал её в эллинге. Её должны были отскрести и перекрасить под руководством Рини и Рона Хинкса, но и этого не сделали. Уинифред не понимала, зачем Ричард возится с этим старым корытом — если он действительно хочет плавать, следует затопить эту посудину и купить новую.

— Наверное, он понимает, что она дорога как

память, — сказала я. — Нам то есть. Мне и Лоре.

— Правда? — спросила Уинифред с этой своей удивленной улыбочкой.

— Нет, — ответила Лора. — С какой стати? Отец никогда нас на яхту не брал. Только Кэлли Фицсиммонс.

Мы сидели в столовой; хоть длинный стол никуда не делся. Интересно, что Ричард или, точнее, Уинифред решат насчет Тристана и Изольды с их стеклянной старомодной любовью.

— Кэлли Фицсиммонс приходила на похороны, — сказала Лора. Мы остались одни. Уинифред поднялась наверх, чтобы, как она сказала, освежиться. Она клала на глаза ватные тампоны, смоченные гамамелисом, а лицо мазала дорогой зеленой тиной.

— Да? Ты не говорила.

— Забыла. Рини на неё разозлилась.

— За то, что пришла на похороны?

— За то, что не приходила раньше. Рини была груба. Сказала: «Ну вот, пришла к шапочному разбору».

— Но она ведь Кэлли ненавидела! Терпеть не могла, когда Кэлли приезжала. Считала, что Кэлли потаскушка.

— Думаю, Рини хотела, чтобы Кэлли была ещё

больше потаскушкой. Кэлли сачковала, недостаточно выкладывалась.

— Как потаскушка?

— Ну, Рини считала, что Кэлли отступать не следовало. И уж конечно, быть рядом, когда отцу стало так трудно. Отвлечь его.

— Рини так и сказала?

— Не этими словами, но смысл понятен.

— А Кэлли?

— Притворилась, что не поняла. А потом делала, что обычно делают на похоронах. Плакала и плела небылицы.

— Какие небылицы? — спросила я.

— Говорила, что хотя они не всегда сходились в вопросах политики, отец был прекрасным, прекрасным человеком. Рини сказала: *Вопросы политики у тебя в штанах,* но Кэлли не слышала.

— Мне кажется, он старался им быть, — сказала я. — Прекрасным человеком.

— Однако из кожи вон не лез, — возразила Лора. — Помнишь, как он говорил? Что мы *остались у него на руках?* Будто мы — грязное пятно.

— Он старался, как мог, — сказала я.

— Помнишь, как он на Рождество вырядился Санта Клаусом? Перед маминой смертью. Мне

тогда было пять лет.

— Да. Вот я и говорю. Он старался.

— Мне было ужасно, — сказала Лора. — Я вообще терпеть не могу такие сюрпризы.

Нас попросили подождать в гардеробной. Двойные двери завесили тонкими шторами, чтобы мы не подглядывали в вестибюль с камином, старинным; там поставили елку. Мы устроились на канапе под вытянутым зеркалом. На длинной вешалке висели шубы — папина шуба, мамина шуба, а над ними шляпы: мамины с большими перьями, отцовские — с маленькими. Пахло резиновыми галошами, свежей сосновой смолой, кедром — от гирлянд на перилах парадной лестницы, и воском от нагретого паркета — все время топилась печь, а в батареях что-то шипело и бряцало. От подоконника тянуло сквозняком; безжалостно, бодряще пахло снегом,

В комнате горела одна лампочка под желтым шелковым абажуром. В стеклянных дверях я видела наши отражения — синие бархатные платья, кружевные воротнички, бледные личики, светлые волосы с прямым пробором, незагорелые руки на коленях. Белые носки, черные туфли. Нас учили сидеть, скрестив ноги, — только не нога на ногу, — так мы и сидели. Зеркало словно

надувалось из наших голов большим стеклянным пузырем. Я слышала наше дыхание, вдох — выдох, вздохи ожидания. Казалось, будто дышит кто-то другой, большой и невидимый, кто прячется в складки одежды.

Неожиданно двери распахнулись. На пороге стоял мужчина в красном — настоящий великан. Яркое пламя прорезало ночной мрак за его спиной. Его лицо застилал дым. Голова в огне. Мужчина качнулся вперед, расставив руки. Он гикал или кричал.

На мгновение я оцепенела, но потом сообразила, что это: я была уже достаточно большой. Эти звуки — вовсе не крики, а смех. Просто отец переоделся Санта Клаусом, и он вовсе не горел — просто у него за спиной сияла елка, просто он нацепил на голову горящую гирлянду. Отец надел вывернутый наизнанку красный парчовый халат и приклеил бороду из ваты.

Мама часто говорила, что отец не знает своей силы; он и правда не знал, насколько больше остальных. Понятия не имел, насколько страшным может показаться. Лору он определенно испугал.

— Ты все кричала и кричала, — сказала я. — Не поняла, что он притворяется.

— Все было гораздо хуже, — ответила Лора. — Я поняла, что он притворяется все остальное время.

— То есть?

— Тогда он был самим собой, — терпеливо объяснила Лора. — Он внутри горел. Всегда.

«Наяда»

Устав от мрачных скитаний, я утром проспала. Ноги отекли, словно я прошла большой путь по жесткой земле; голова тяжелая, как пивной котел. Разбудила меня Майра, барабанившая в дверь.

— Проснись и пой! — пропела она сама в прорезь для писем. Я из вредности не отозвалась. Пусть подумает, что я умерла, — во сне отдала Богу душу. Могу поклясться, она уже прикидывает, в каком цветастом ситце положить меня в гроб и что подавать на приеме после похорон. Будет прием, а не бдения над гробом, никакого варварства. Над гробом бодрствуют, чтобы удостовериться, не бодрствует ли покойник: лучше убедиться, что мертвец действительно мертв, а уж потом махать над ним лопатой.

Я улыбнулась, но тут вспомнила, что у Майры есть ключ. Решила было натянуть простыню на

лицо, чтобы подарить ей хоть мгновение сладостного испуга, но передумала. Я села в постели, спустила ноги и натянула халат.

— Придержи коней! — крикнула я вниз.

Но Майра уже вошла вместе с *женщиной* — уборщицей. Здоровая баба, португалка по виду, — так просто не отделаешься. Она тут же приступила к уборке, включив Майрин пылесос, — они все продумали, — а я шла за ней по пятам, точно банши[104], вопя: *Не трогайте! Оставьте, где лежит! Я сама справлюсь! Я теперь ничего не найду!* На кухню я успела первой: хватило времени запихнуть кипу исписанных страниц в духовку. Вряд ли у них дойдут до неё руки в первый день уборки. К тому же она не очень грязная — я никогда не пеку.

— Ну вот, — сказала Майра, когда женщина закончила. — Все чисто, везде порядок. Правда же, лучше на душе?

Майра принесла мне очередную безделицу из «Пряничного домика»: изумрудно-зеленый горшочек для крокусов в форме девичьей головки — застенчивая улыбка, край чуть-чуть сколот. Ростки крокусов должны пробиться сквозь дыр-

[104] Примечания: 104

Банши — в ирландском и шотландском фольклоре привидение-плакальщица; воплями предвещает смерть кого-нибудь из членов семьи.

ки в голове и явиться *цветущим нимбом*, — это Майра так сказала. Нужно только поливать, прибавила она, и все будет в лучшем виде.

Неисповедимы пути Господни, говаривала Рини. Может, Майра приставлена ко мне ангелом-хранителем? Или, напротив, знакомит меня с порядками в чистилище? И как различать?

На второй день в Авалоне мы с Лорой пошли навестить Рини. Узнать, где она живет, не составило труда: все в городе знали. Во всяком случае, знали в кафе «У Бетти»: Рини теперь работала там три дня в неделю. Мы не сказали Ричарду и Уинифред, куда идем: зачем дразнить гусей, за завтраком и без того атмосфера гнетущая. Запретить они не могли, но лёгкое презрение нам было гарантировано.

Мы прихватили игрушечного медвежонка, купленного мною в Торонто для Рининой дочурки. Не очень милый медвежонок — твердый, жесткий и туго набитый. Напоминал мелкого чиновника — точнее, чиновника тех времен. Не знаю, как они сейчас выглядят. Наверняка джинсы носят.

Рини с мужем жили в доме для фабричных: известняковом, двухэтажном, островерхом, с верандой и удобствами в садике, в углу. Я теперь живу неподалеку. Телефона у них не было, и

мы не могли предупредить Рини. Открыв дверь и увидев нас обеих на пороге, она широко заулыбалась, а потом расплакалась. Лора тут же последовала её примеру. Я стояла с медвежонком в руках, чувствуя себя лишней, поскольку не плакала.

— Слава Богу, — сказала Рини. — Заходите, гляньте на малышку.

Мы прошли по устланному линолеумом коридору на кухню. Рини выкрасила её белым и повесила желтые шторы — того же оттенка, что в Авалоне. Я заметила набор жестяных коробок, тоже белых с желтыми буквами: Мука, Сахар, Кофе, Чай. Я понимала, что все это Рини сделала своими руками. И буквы на коробках, и шторы, и все остальное. У неё были золотые руки.

Малышка — это ты, Майра, здесь ты тоже появляешься в моей истории, — лежала в ивовой бельевой корзине, глядя на нас круглыми немигающими глазенками — синее, чем обычно у младенцев. Как и все младенцы, она походила на непропеченный пудинг.

Рини заставила нас выпить чаю. Теперь мы уже юные леди, сказала она, можем пить настоящий чай, а не молоко с чуточкой заварки, как раньше. Рини поправилась; руки, прежде такие сильные

и крепкие, чуть подрагивали, а идя к печке, она чуть не переваливалась. Кисти стали пухлыми, с ямочками.

— Привыкаешь есть за двоих, а потом никак не отвыкнешь, — сказала она. — Видите обручальное кольцо? Снимается только вместе с пальцем. Придется и в могилу с ним лечь. — Это она произнесла с некоторым самодовольством.

Тут завозилась девочка. Рини взяла её, посадила на колени и почти с вызовом посмотрела на нас через стол. Этот стол (простой, узкий, покрытый клеенкой в желтых тюльпанах) был как зияющая пропасть — по одну сторону сидели мы, а по другую, бесконечно далеко, ни о чем не жалея, — Рини с младенцем.

О чем жалея? Что покинула нас. Так я это чувствовала.

Было что-то странное в поведении Рини — не с ребенком, скорее, с нами — точно мы её разоблачили. С тех пор меня не покидает мысль — прости, Майра, что я это говорю, но моя история не предназначена для твоих глаз, а много будешь знать — скоро состаришься, — так вот, меня не покидает мысль: может, отцом ребенка был вовсе не Рон Хинкс, а наш отец. Когда я уехала в свадебное путешествие, в Авалоне из прислуги осталась

только Рини, а на отца обрушивалась одна беда за другой. Разве не могла она предложить себя в качестве припарки, как предлагала чашку горячего бульона или грелку? Утешением посреди холода и мрака?

В таком случае, Майра, ты моя сестра. Единокровная. Мы никогда не узнаем точно — во всяком случае, я не узнаю. А ты можешь меня выкопать, взять кость или прядь волос и послать на анализ. Сомневаюсь, что ты решишься. Ясность может внести Сабрина — можете с ней собраться и сравнить себя по кусочкам. Но для этого она должна вернуться, а кто знает, вернется ли она. Она может быть где угодно. Может, она вообще умерла. Лежит на дне морском.

Интересно, а Лора знала про отца и Рини — если, конечно, было, что знать? Может, это из тех тайн, о которых она знала, но не рассказывала. Более чем возможно.

Дни в Авалоне тянулись медленно. Еще слишком жарко, слишком душно. Обе реки обмелели: даже пороги на Лувето ленились, а Жог неприятно пахнул.

Большую часть времени я просиживала в библиотеке, в кожаном кресле, перекинув ноги через подлокотник. На подоконниках валялись не

убранные с зимы высохшие трупики мух. Миссис Мергатройд библиотекой Fie интересовалась. На видном месте по-прежнему висел портрет бабушки Аделии.

Целыми днями я листала её альбомы с вырезками про чаепития, про заезжих фабианцев, про лекции путешественников с их волшебными фонарями и рассказами о чудных обычаях других народов. Я не понимала, почему все так удивляются, что они украшали черепа предков. Мы тоже так делаем.

Иногда я листала старую светскую хронику, вспоминая, как прежде завидовала людям, о которых в ней писали, или читала стихи на тонкой бумаге с золотым обрезом. Стихотворения, восхищавшие меня в дни учебы у мисс Вивисекции, казались теперь выспренними и слащавыми. *Увы, бремя, дева, прииди, усталый путник* — архаичный язык неразделенной любви. Этот язык раздражал меня, потому что делал несчастных влюбленных — теперь я это видела — чуть-чуть смешными, похожими на бедную унылую мисс Вивисекцию. Мягкими, вялыми, распухшими от слез — неприятными, точно утонувшая булочка. К ним не хотелось прикасаться.

Детство казалось очень далеким — другая

жизнь, поблекшая и сладостно-горькая, точно сухой цветок. Сожалела ли я об утрате, хотела ли его вернуть? Не думаю.

Лора не сидела дома. Бродила по городу, как бродили мы в прежнее время. Лора носила мое прошлогоднее полотняное желтое платье и подходящую шляпку, и когда я смотрела на Лору со спины, у меня появлялось странное чувство, будто я вижу себя.

Уинифред не скрывала, что умирает от скуки. Каждый день она ходила купаться на небольшой частный пляж у эллинга, но никогда не уплывала далеко — обычно плескалась у берега, не снимая красной шляпы внушительных размеров. Она звала меня и Лору присоединиться к ней, но мы отказывались. Мы обе плохо плавали, а кроме того, помнили, что именно местные жители раньше кидали в реку — и наверняка кидают до сих пор. Когда Уинифред не купалась и не загорала, она слонялась по дому, делая разные пометки и наброски, составляя перечень того, что необходимо переделать: наклеить новые обои в вестибюле, заменить прогнившие доски под лестницей. Или дремала у себя в комнате. Похоже, Авалон высасывал из неё энергию. Утешительно было думать, что такое возможно.

Ричард много говорил по телефону, а иногда на целый день уезжал в Торонто. Остальное время он наблюдал, как ремонтируют яхту. Заявил, что не уедет, пока её не спустят на воду.

Каждое утро ему приносили газеты.

— В Испании гражданская война, — сказал Ричард как-то за обедом. — Что ж, это можно было предвидеть.

— Неприятно! — отозвалась Уинифред.

— Не для нас, — утешил Ричард. — Если, конечно, мы не вмешаемся. Пусть коммунисты и наци убивают друг друга — скоро они столкнутся лбами.

Лора отказалась обедать. Ушла на причал с чашкой кофе. Она туда часто уходила, и я нервничала. Лора лежала на досках, свесив руку в реку, и вглядывалась в воду, будто что-то уронила и теперь высматривала на дне. Но вода слишком темна — много не увидишь. Только изредка стайки мелкой рыбешки мелькали, словно пальцы карманника.

— Все-таки лучше без этого, — упорствовала Уинифред. — Очень неприятно.

— На войне можно недурно заработать, — сказал Ричард. — Может, это нас взбодрит, и Депрессии конец. Я знаю дельцов, которые на это

рассчитывают. Кое-кто собирается положить в карман большие деньги.

Мне никогда не рассказывали о деньгах Ричарда, но по некоторым намекам и признакам я догадалась, что их меньше, чем я думала. Или стало меньше. Восстановление Авалона прекратилось — *отложилось,* — потому что Ричард не хотел больше в него вкладывать. Так считала Рини.

— А почему они получат деньги? — спросила я. Ответ я прекрасно знала, но у меня появилась привычка задавать наивные вопросы — просто посмотреть, что скажут Ричард и Уинифред. Нравственная беспринципность, которую они демонстрировали почти во всем, не переставала меня поражать.

— Потому что так устроен мир, — ответила Уинифред, не вдаваясь в подробности. — Кстати, арестован ваш друг.

— Какой друг? — слишком поспешно спросила я.

— Эта женщина — Каллиста, кажется. Последняя любовь вашего папочки. Та, что считает себя художницей.

Её тон был неприятен, но я не умела её осадить.

— Когда мы были детьми, она была к нам очень добра, — сказала я.

— Еще бы ей не быть!

— Мне она нравилась, — прибавила я.

— Не сомневаюсь. Пару месяцев назад она пристала ко мне, пытаясь всучить какую-то ужасную картину или фреску с толпой уродин в спецовках. Не для столовой картинка.

— За что её арестовали?

— Красный взвод — как-то общалась с красными. Она сюда звонила — в совершенной ярости. Хотела поговорить с тобой. Я решила, что тебя не следует впутывать; Ричард сам поехал в город и вытащил её из тюрьмы.

— Почему? — поинтересовалась я. — Ричард её едва знает.

— По доброте сердечной, — сладко улыбнулась Уинифред. — Хотя он всегда говорит, что такие люди в тюрьме опаснее, чем на свободе, правда, Ричард? Они всю прессу поставят на уши. Правосудие то, правосудие это. Да он просто оказал услугу премьер-министру.

— Кофе ещё остался? — спросил Ричард.

Это означало, что Уинифред следует закрыть тему, но она не успокаивалась:

— А может, ради твоей семьи. Она же вроде

семейной реликвии, вроде старого горшка, который из поколения в поколение передают.

— Пожалуй, пойду к Лоре на причал, — объявила я. — Сегодня чудесный день.

Пока мы с Уинифред разговаривали, Ричард читал газету, но тут поднял голову.

— Нет, — сказал он, — останься. Ты ей слишком потакаешь. Предоставь ей самой с этим справиться.

— С чем? — спросила я.

— С тем, что её грызет, — ответил Ричард. Он повернулся и посмотрел в окно на Лору; я впервые заметила, что у него поредели волосы на темени: сквозь каштановую шевелюру проглядывал розовый кружок. Скоро появится тонзура.

— На следующее лето поедем в Мускоку, — сказала Уинифред. — Не могу сказать, что этот наш эксперимент с отдыхом увенчался успехом.

Незадолго до отъезда я решила подняться на чердак. Подождав, пока Ричард сел к телефону, а Уинифред улеглась в шезлонг на нашей песчаной полоске на берегу, прикрыв лицо Мокрой салфеткой, я открыла дверь на лестницу, ведущую на чердак, и стала подниматься, ступая как можно тише.

Лора уже была там; сидела на сундуке. Окно она

распахнула — это было мудро, иначе мы бы там задохнулись. В воздухе стоял мускусный запах залежавшейся ткани и мышиного помета.

Лора неспешно повернула голову. Не вздрогнула.

— Привет, — сказала она. — Здесь живут летучие мыши.

— Ничего удивительного, — отозвалась я. Подле неё стоял большой бумажный пакет. — Что у тебя там?

Она принялась вынимать веши — разные мелочи и кусочки, всякую ерунду. Бабушкин серебряный чайник, три фарфоровые чашки с блюдцами — ручная роспись, из Дрездена. Ложки с монограммой. Щипцы для орехов в форме крокодила; одинокая перламутровая запонка; черепаховый гребень с недостающими зубьями; сломанная серебряная зажигалка; столовый прибор без графинчика.

— Зачем тебе это все? — спросила я. — Нельзя же их везти в Торонто.

— Я их спрячу. Все им не уничтожить.

— Кому — им?

— Ричарду и Уинифред. Они здесь все повыбрасывают. Я слышала, как они говорили про никчемный хлам. Когда-нибудь устроят тут ге-

неральную уборку. Я хочу кое-что сохранить для нас. Оставлю тут в сундуке. Они уцелеют, и мы будем знать, где их искать.

— А если заметят? — спросила я.

— Не заметят. Тут ничего ценного. Смотри, я нашла наши старые тетради. Лежали там же, где мы их оставили. Помнишь, как мы их сюда принесли? Ему?

Лора никогда не называла Алекса Томаса по имени — только *он, его, ему.* Одно время мне казалось, что она его забыла — точнее, перестала о нём думать, но теперь стало ясно, что я заблуждалась.

— Не верится, что мы это все проделывали, — ответила я. — Что мы его прятали, что никто не узнал.

— Мы были осторожны, — сказала Лора. На минуту задумалась, потом улыбнулась. — Ты же мне не поверила про мистера Эрскина, да?

Наверное, следовало солгать, но я предпочла компромисс.

— Мне он не нравился. Жуткий тип.

— А вот Рини поверила. Как ты думаешь, где он сейчас?

— Мистер Эрскин?

— Ты знаешь, кто. — Лора помолчала и выгля-

нула в окно. — А твоя половина фотографии у тебя осталась?

— Лора, мне кажется, тебе не стоит о нём думать. Он не вернется. Не судьба.

— Почему? Думаешь, он умер?

— С какой стати ему умирать? Вовсе нет. Просто, я думаю, он куда-нибудь уехал.

— Во всяком случае, его не поймали — иначе мы бы узнали. В газетах написали бы, — сказала она. Сложила старые тетради и сунула их в пакет.

Мы пробыли в Авалоне дольше, чем я предполагала, и уж конечно дольше, чем мне хотелось: меня словно заточили в клетку, заперли на замок, запретили двигаться.

За день до предполагаемого отъезда, когда я спустилась к завтраку, за столом сидела одна Уинифред. Она ела яйцо.

— Ты пропустила спуск на воду, — сказала она.

— Какой ещё спуск?

Она махнула рукой в окно: с одной стороны Лувето, с другой Жог. Я с удивлением увидела на борту отплывающей яхты Лору. Она сидела на носу, точно носовое украшение. К нам спиной. Ричард стоял у штурвала. В кошмарной шляпе яхтсмена.

— Хорошо хоть не затонули, — проговорила

Уинифред не без иронии.

— А ты не поплыла?

— Вообще-то нет. — Голос её прозвучал странно — я решила, она ревнует: во всех Ричардовых начинаниях она привыкла играть первую скрипку.

Мне стало легче: может, Лора смягчилась и прекратила боевые действия. Может, увидит в Ричарде человека, а не мокрицу из-под валуна. Это существенно упростит мне жизнь. И атмосферу улучшит.

Но нет. Напряжение только возросло, хотя роли поменялись: теперь уже Ричард покидал комнату, едва Лора входила. Будто он её боится.

— Что ты сказала Ричарду? — спросила я её как-то вечером уже в Торонто.

— Ты о чем?

— Ну, когда вы с ним плыли на «Наяде»?

— Ничего я ему не говорила, — ответила она. — С чего бы?

— Не знаю.

— Я ему никогда ничего не говорю, — сказала Лора, — потому что мне нечего сказать.

Каштан

Я прочитала написанное и вижу, что все не так. Я ничего не искажала — просто кое-что скрыла.

Но скрытое остается пробелами.

Ты, конечно, хочешь знать правду. Чтобы я сложила два и два. Но два плюс два не всегда равно правде. Два плюс два равняется голосу за окном. Два плюс два равняется ветру. Живая птица — не кучка пронумерованных косточек.

Прошлой ночью я внезапно проснулась, сердце отчаянно колотилось. За окном что-то звякнуло. Кто-то бросал в стекло камешки. Я выбралась из постели, ощупью добралась до окна, подняла раму и выглянула. Я была без очков, но хорошо видела. Почти полная луна, вся в прожилках и старых шрамах, а ниже разливался нежно-оранжевый свет уличных фонарей, что отражались в небе. Прямо подо мной — тротуар, покрытый пятнами теней; его загораживал каштан в саду перед домом.

Я понимала: каштана здесь быть не может, он растет в другом месте, в сотнях миль отсюда, возле дома, где я когда-то жила с Ричардом. И все же вот он, надежной, прочной сетью раскинул ветви, слабо поблескивают белые мотыльки цветов.

Снова что-то звякнуло. Внизу проступил склоненный силуэт: человек рылся в мусорных баках, искал бутылки в отчаянной надежде что-нибудь из них вытрясти. Уличный пьяница, мучимый

пустотой и жаждой. Он двигался осторожно и воровато, будто не искал, а шпионил, перетряхивал мой мусор в поисках улик против меня.

Но вот он выпрямился, вышел на свет и поднял голову. Я увидела черные брови, глазные впадины, улыбку, разрезавшую темный овал лица. На ключицах что-то белело — рубашка. Он поднял руку, отвел её в сторону. Помахал в знак приветствия или прощания.

Он уходил, а я не могла его позвать. Он знал, что я не могу позвать. Вот он скрылся.

Сердце сжалось. *Нет, нет, нет, нет* — послышался голос. Слезы струились по моему лицу.

Но я сказала это вслух — слишком громко, потому что проснулся Ричард. Он стоял у меня за спиной. Сейчас положит руку мне на шею.

И тут я действительно проснулась. С мокрым от слез лицом я лежала, разглядывая серый потолок и дожидаясь, пока успокоится сердце. Я теперь наяву редко плачу — только изредка несколько слезинок. Мои слезы меня удивили.

Когда ты молод, кажется, что все проходит. Мечешься туда-сюда, комкаешь время, тратишь напропалую. Точно гоночный автомобиль. Кажется, что можно избавиться от вещей и людей — оставить их позади. Еще не знаешь, что они

имеют привычку возвращаться.

Время во сне заморожено. Оттуда, где ты был, не убежать.

А звяканье не померещилось — стекло билось о стекло. Я вылезла из кровати — из своей настоящей односпальной кровати — и доползла до окна. Два енота рылись в соседском мусоре, переворачивая бутылки и консервные банки. Мусорщики, свои на любой свалке. Взглянули на меня — настороженные, но не испуганные; в лунном свете их воровские маски совсем черны.

Удачи вам, подумала я. Берите, что можете, пока оно плывет к вам в лапы. Кому какое дело, по праву ли оно ваше. Главное — не попадайтесь.

Я вернулась в постель и лежала в давящей темноте, прислушиваясь к дыханию, которого рядом не было.

X

Слепой убийца: Люди-ящеры с Ксенора

Неделями она как на иголках. Заходит в ближайший магазин и покупает пилку или ногтечистку, мелочь какую-нибудь — а потом идет мимо журналов, не прикасаясь к ним и стараясь, чтобы никто не заметил, как она смотрит; она цепко выхватывает с обложек заголовки, ища его имя. Одно из имен. Она их теперь знает — большинство, по крайней мере: она обналичивала его чеки.

Фантастические истории. Таинственные сказки. Потрясающе! Она пробегает глазами все.

Наконец видит нечто. Должно быть, оно: *Люди-ящеры с Ксенора. Первый захватывающий эпизод хроники Цикронских войн.* На обложке — блондинка в псевдовавилонском наряде: белое платье туго перетянуто золотой цепью под невероятного размера грудью, шея обвита лазуритом, из темени пророс серебряный полумесяц. Влажные губы, открытый рот, расширенные глаза. Она в когтях у двух трёхпалых существ с вертикальными зрачками, одетых только в красные шорты.

У существ плоские лица, кожа покрыта чешуей — оловянной, как перья чирка, маслянистой, точно жиром полита; под серо-голубым бугрятся мышцы. Безгубые пасти со множеством острых, как иголки, зубов.

Она бы их всюду узнала.

Как купить книжку? В этом магазине нельзя: её здесь знают. Не годится странными поступками давать повод для слухов. В следующий поход по магазинам она заезжает на вокзал и находит журнал в киоске. Тоненькая грошовая книжица. Она расплачивается, не снимая перчаток, поспешно скатывает журнал трубочкой и сует в сумку. Продавец странно смотрит, но с мужчинами это бывает.

В такси она прижимает журнал к груди, тайком приносит в дом и запирается в ванной. Она знает: переворачивая страницы, руки будут дрожать. Эти истории читают бродяги в товарняках или школьники — с фонариком под одеялом. Сторожа по ночам, чтобы не заснуть; коммивояжеры в гостиницах в конце неудачного дня — сняв галстук, расстегнув рубашку, закинув ноги на стол и потягивая виски из стаканчика для зубной щетки. Полицейские скучными вечерами. И никто не обнаружит послания между строк. Оно

предназначено ей одной.

Бумага тонкая, почти расползается в руках.

Здесь, в запертой ванной, у неё на коленях раскинулся Сакел-Норн, город тысячи чудес, — его боги, обычаи, удивительные ковры, измученные дети-рабы, предназначенные в жертву девы. Город семи морей, пяти лун и трёх солнц; на западе горы, где среди мрачных гробниц прячутся прекрасные покойницы и воют волки. Дворцовые заговорщики плетут интриги; король ждет подходящего момента, чтобы нанести удар, прикидывая, кто выступит против него; Верховная жрица прикарманивает взятки.

Ночь перед жертвоприношением: избранница ждет на роковом ложе. Но где же слепой убийца? Что стало с ним и с его любовью к невинной девушке? Наверное, это будет в следующей части, решает она.

Но вот, раньше, чем она ожидала, на город нападают беспощадные варвары, подстрекаемые вождем-маньяком. Едва они входят в ворота — сюрприз: к востоку от города садятся три космических корабля. По форме — точно глазунья или половинка Сатурна; прилетели с Ксенора. Из кораблей, поигрывая чешуйчатыми мышцами, выскакивают люди-ящеры в металлических

плавках и со сверхмощным оружием. У них лучевые ружья, электрические лассо, одноместные летательные аппараты. Всевозможные новомодные штучки.

Для цикронитов это неожиданное вторжение в корне меняет дело. Горожане и варвары, столпы общества и заговорщики, хозяева и рабы — все забывают о разногласиях и объединяются. Рухнули классовые барьеры, снилфарды отбросили древние титулы вместе с масками и, закатав рукава, плечом к плечу с йгнародами строят баррикады. Все обращаются друг к другу *тристок*, что означает (приблизительно): *ты, с кем я обменялся кровью,* то есть — товарищ или брат. Женщин отводят в Храм и ради их безопасности запирают там вместе с детьми. Король возглавляет сопротивление. Варваров, известных своей отвагой, принимают в городе с почетом. Король и Слуга Радости обмениваются рукопожатиями и решают командовать вместе. *Кулак больше суммы пальцев,* цитирует старую поговорку король. Все восемь ворот города успевают захлопнуть.

Поначалу за счет внезапности ксенорцы получают на открытой местности определенное преимущество. Они берут в плен нескольких женщин, и солдаты-ящеры пускают слюни, глядя

на красоток сквозь решетки. Но затем на ксенорскую армию валятся неудачи: лучевые ружья, их основное вооружение, на Цикроне работают не в полную силу из-за разности гравитации; электрические лассо эффективны только на близком расстоянии, а жители Сакел-Норна укрылись за очень толстой стеной. Для захвата города у людей-ящеров недостаточно летательных аппаратов. Пришельцев, приближающихся к стене, осажденные забрасывают факелами с горящей смолой: цикрониты выяснили, что металлические шорты ксенорцев при высокой температуре воспламеняются.

Вождь людей-ящеров впадает в ярость — в результате пятеро ученых мужей падают замертво. На Ксеноре явно не демократия. Уцелевшие решают технические проблемы. Ученые заявляют: если им дадут время и предоставят оборудование, они разрушат стены Сакел-Норна. Еще они получат газ, который обесчувствит жителей. И тогда ксенорцы спокойно сделают свое черное дело.

На этом первая часть обрывается. Но где же история любви? Куда делись слепой убийца и безъязыкая девушка? О девушке в суматохе забыли — в последний раз она пряталась под парчовым ложем, а слепой убийца и вовсе не по-

являлся. Она листает назад — может, пропустила. Но нет, оба просто исчезли.

Может, в следующей захватывающей главе все уладится. Может, она получит весточку.

Она понимает: есть нечто безумное в этом её ожидании — он не пошлет ей весточки, а если и пошлет, то не так, — и все равно она ничего не может с собой поделать. Надежда порождает фантазии, тоска вызывает к жизни миражи — надежда вопреки всему, тоска в вакууме. Возможно, мозг отказывает, она свихивается, у неё поехала крыша. *Поехала крыша* — будто рухнул дом, завалился сарай. Когда едет крыша, выходит наружу то, что следует держать при себе, и проникает внутрь то, чего лучше сторониться. Замки? Не помогут. Стража заснула. Пароль не срабатывает.

Она думает: может, он меня бросил? Бросил — затасканное слово, но точно передает её положение. Легко представить, что он её бросил. В порыве он способен ради неё умереть, но жить ради неё — совсем другое дело. Монотонность ему претит.

Несмотря на эти рассуждения, она все ждет и наблюдает, месяц за месяцем. Заходит в аптеки, ездит на вокзал, не пропускает ни одного киоска. Но вторая глава так и не появляется.

«Мэйфэйр», май 1937 года

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА ТОРОНТО ЙОРК

В этом году апрель резвится, точно ягненок, и в духе его беззаботного ликования весенний сезон полон веселой суматохи встреч и расставаний. Мистер и миссис Генри Ридель объявились в родных краях после зимы, проведенной в Мехико; мистер и миссис Джонсон Ривз вернулись из Флориды, где отдыхали в Палм-Бич; мистер и миссис Т. Перри Грейндж вернулись из круиза по солнечным островам Карибского моря; миссис Р. Уэстерфилд с дочерью Дафной отправились во Францию, а затем в Италию (с разрешения Муссолини), а мистер и миссис У. Макклелланд отбыли в сказочную Грецию. Семейство Дюмон-Флетчер, с успехом выступив в Англии, вернулись на родную сцену как раз к открытию Фестиваля драмы доминиона, в жюри которого работает мистер Флетчер.

Тем временем явление иного рода праздновалось в серебристо-сиреневом

интерьере «Аркадского дворика», где миссис Ричард Гриффен (в девичестве мисс Айрис Монфор Чейз) была замечена на приеме, устроенном её золовкой миссис Уинифред (Фредди) Гриффен Прайор. Молодая миссис Гриффен, как всегда, была обворожительна (одна из самых заметных невест прошлого сезона), в элегантном небесно-голубом шелковом костюме и желто-зеленой шляпке она принимала поздравления по случаю рождения дочери Эйми Аделии.

«Плеяды» развили бурную деятельность по случаю прибытия гастролирующей звезды мисс Фрэнсис Гомер, прославленной рассказчицы, которая в Итонском зале вновь представила свою программу «Великие женщины». Она рассказывала о вошедших в историю женщинах и о влиянии, которое те оказали на жизни таких выдающихся мужчин, как Наполеон, Фердинанд Испанский, Горацио Нельсон и Шекспир. Мисс Гомер блистала живостью и остроумием, изображая Нелл Гвин, была волнующа в роли Изабеллы Испанской; изящной виньеткой предстал

портрет Жозефины, а рассказ о леди Эмме Гамильтон — полон горечи.

В завершение вечера в честь Плеяд и их гостей благодаря щедрости миссис Уинифред Гриффен Прайор в Овальном зале подали ужин *«а ля фуршет».*

Письмо из «Белла-Виста»

Канцелярия директора частной клиники «Белла Виста»
Арнпрайор, Онтарио, 12 мая 1937 года

Мистеру Ричарду Э. Гриффену,
Президенту и председателю совета директоров «Королевского объединения Гриффен — Чейз»
Кинг-стрит, 20 Торонто, Онтарио

Дорогой Ричард!

Несмотря на прискорбные обстоятельства, приятно было повидаться с тобой в феврале и пожать тебе руку после стольких лет. Определенно, со времен «золотых деньков юности» жизнь развела нас в разные стороны.

Мне жаль тебя огорчать, но, должен

сообщить, что состояние твоей воспитанницы мисс Лоры Чейз не улучшилось; напротив, ей стало несколько хуже. Её навязчивые идеи укореняются. На наш взгляд, она по-прежнему способна навредить себе, и её следует держать под неусыпным надзором, в случае необходимости применяя успокоительные препараты. Окон она больше не била, хотя случился неприятный инцидент с ножницами. Мы приняли все меры, чтобы ничего подобного не повторялось.

Мы по-прежнему делаем все, что в наших силах. Имеются возможности опробовать ряд новых методов с благоприятным прогнозом, — в частности, электрошоковую терапию. Оборудование для неё вскоре к нам поступит. Если ты не против, мы попробуем применить эту методику наряду с инсулиновыми инъекциями. Мы твердо верим в конечное улучшение, хотя, по нашим прогнозам, мисс Чейз никогда не будет совершенно здорова.

Как это ни прискорбно, я вынужден просить тебя и твою жену воздержать-

ся от посещений мисс Чейз и некоторое время ей не писать: контакт с любым из вас плохо отразится на лечении. Как ты знаешь, именно с тобой связаны её самые стойкие навязчивые идеи.

Я буду в Торонто в среду и надеюсь конфиденциально побеседовать с тобой у тебя в конторе; что касается твоей молодой жены, то после недавних родов не стоит волновать её столь неприятными деталями. При встрече я попрошу тебя как родственника подписать документы, подтверждающие твое согласие с нашими методами лечения.

Осмеливаюсь вложить счет за прошлый месяц в надежде на скорую оплату.

Искренне твой директор клиники
Д-р Джералд П. Уизерспун

Слепой убийца: Башня

Она чувствует себя отяжелевшей и грязной, точно куль грязного белья. И одновременно выпотрошенной и плоской. Чистый лист с бесцветной едва различимой подписью — чужой. Пускай этим займется сыщик — её нельзя беспокоить. Она не будет смотреть.

Она не потеряла надежду — просто сложила и убрала: эта вещь не на каждый день. Пока же позаботимся о теле. Что толку не есть? Разум лучше сохранить, и тут питание полезно. И маленькие радости: цветы — первые тюльпаны, например. Что толку терять рассудок? Босиком бежать по улице с воплями *Пожар!* Конечно же, все заметят, что нет никакого пожара.

Лучший способ сохранить секрет — притвориться, что его нет. *Как мило с вашей стороны,* говорит она по телефону. *Но, к сожалению, не смогу. Я все ещё в постели.*

Иногда, особенно в ясные теплые дни, она ощущает себя погребенной заживо. Небо — купол голубого камня, солнце — круглая дыра, сквозь которую издевательски сочится свет настоящего мира. Те, кто похоронен вместе с ней, не знают, что произошло, — только она знает. Расскажи она им, её на всю жизнь запрут. Остается делать вид, что все хорошо, и поглядывать на синий купол, дожидаясь, когда появится большая трещина — непременно появится. И тогда он спустится к ней по веревочной лестнице. Она проберется на крышу, подпрыгнет. И лестница поплывет вверх, унося их обоих, вцепившихся в неё, друг в друга; пронесет мимо башенок, башен, шпилей, наружу

через трещину в фальшивом небе, а остальные будут стоять на лужайке, разинув рот, и смотреть вслед.

Как захватывающе, какое ребячество.

Под голубым каменным небосводом идет дождь, светит солнце, дует, проясняется. Удивительно, как достоверно воспроизведена погода.

Где-то неподалеку ребенок. Его крики прерывисты, будто приносятся на крыльях ветра. Двери открываются и закрываются, и его крошечная неистовая ярость то громче, то тише. Удивительно, как они орут. Иногда прямо заходятся криком, шершавым и мягким, точно рвется шелк.

Она лежит в кровати — то на одеяле, то под ним — зависит от времени суток. Она любит белые наволочки — белые, как халат медсестры, и слегка накрахмаленные. Опирается на несколько подушек, чашка чая — точно якорь, чтоб не унесло. Она берет чашку и приходит в себя, когда та падает на пол. Это не всегда случается — она вовсе не ленива.

Время от времени её посещают грезы.

Она представляет себе, как он представляет её. В этом её спасение.

Мысленно она идет по городу, бродит по лабиринтам, по грязным закоулкам: каждое свидание,

каждая встреча, каждая дверь, лестница и кровать. Что сказал он, что сказала она, чем они занимались, чем занимались потом. Даже те моменты, когда они спорили, ссорились, расставались, страдали, воссоединялись. Им нравилось кромсать, пить кровь друг друга. Мы разрушали себя, думает она. Но как ещё можно было тогда жить — где, кроме руин?

Иногда ей хочется вычеркнуть его из своей жизни, покончить с ним, убить бесконечную, бессмысленную тоску. Повседневность и телесная энтропия помогут — обтреплют её, поизносят, сотрут этот центр в мозгу. Но изгнание дьявола не помогает, да она и не очень прилежна. Она не хочет изгнания. Хочет вернуть это ощущение пугающего блаженства — будто случайно выпала из самолета. Хочет его изголодавшегося взгляда.

Последний раз они виделись, когда вернулись к нему из кафе, — ей казалось, они тонут: вокруг темень и рев, однако нежно, медленно и чисто.

Это и называется: быть в рабстве.

Быть может, образ её с ним, точно в медальоне, — не образ даже, скорее, схема. Карта с обозначенным кладом. Карта ему понадобится, чтобы вернуться.

Сначала тысячи миль по земле, кольцо горных

хребтов, обледеневших, складчатых и треснутых. Затем лес, непроходимые чащобы; там старые деревья гниют под мхом, и редко попадаются поляны. Потом пустоши и бескрайние степи, где гуляет ветер; сухие красные холмы, где идет война. За камнями, в засаде у пересохших каньонов затаились бойцы. Обычно снайперы.

Потом деревни: убогие лачуги, косящиеся мальчишки, женщины волокут вязанки, на дорогах в грязи валяются свиньи. Потом железная дорога, что ведет в города с вокзалами и депо, фабриками и складами, церквями и мраморными банками. А потом и города — огромные пятна света и тьмы — башня на башне. Башни облицованы адамантом. Нет: чем-то современнее, правдоподобнее. Не цинком: из цинка у бедняков умывальники.

Башни облицованы сталью. Там делают бомбы, туда бомбы и падают. Но он проходит мимо, невредимый, на пути в единственный город — тот, где среди домов и колоколен её заточили в самую центральную, самую внутреннюю башню, даже и не башню на вид. Башню замаскировали: простительно перепутать её с обычным домом. А она запряталась в постель трепетным сердцем мироздания. Надежно заперта на случай опасности. Этим тут все и заняты — оберегают её. Она

смотрит в окно — ничто до неё не доберется, она не доберется ни до чего.

Она — круглое О, ноль по существу. Пространство, обозначенное отсутствием предмета. Поэтому им её не достать, не ударить, не обвинить. Она так славно улыбается, но за улыбкой никого нет.

Ему хочется думать, что она неуязвима. Стоит у освещенного окна, дверь заперта. Он хочет быть там, под деревом, смотреть на неё. Собрав мужество, он карабкается по стене, мимо выступов и лоз, точно вор; пригнувшись, поднимает раму, влезает в комнату. Тихо бормочет радио, мелодия нарастает и стихает. Глушит шаги. Ни слова, но тела их вновь окунаются в нежные жадные касания. Приглушенные, нерешительные и смутные, точно под водой.

Ты беззаботно живешь, как-то сказал он.

Можно и так сказать, отозвалась она.

Но как ей порвать с этой жизнью без его помощи?

«Глоуб энд Мейл», 26 мая 1937 года

КРАСНАЯ ВЕНДЕТТА В БАРСЕЛОНЕ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ГЛОУБ ЭНД МЕЙЛ» ИЗ ПАРИЖА

Хотя сведения, поступающие из Бар-

селоны, подвергаются жесткой цензуре, нашему корреспонденту в Париже удалось узнать, что в Барселоне произошло столкновение двух соперничающих республиканских фракций. Пользующиеся поддержкой Сталина и вооруженные Россией коммунисты, по слухам, проводят массовые аресты членов ПОУМ[105], экстремистской троцкистской фракции, объединившейся с анархистами. Первые дни республиканского правления были полны страха и подозрительности. Коммунисты обвинили членов ПОУМ, что те являются предательской «пятой колонной». На улицах наблюдаются вооруженные столкновения; полиция поддерживает коммунистов. По слухам, многие члены ПОУМ брошены в тюрьму или бежали. По неподтвержденным данным, в ходе стычек задержаны несколько канадцев.

Мадрид остается в руках республиканцев, однако националистические силы под предводительством генерала Франко

[105] Примечания: 105

ПОУМ (Partido Obrero de Unification Marxista) — Рабочая партия марксистского объединения, испанская коммунистическая организация.

одерживают внушительные победы по всей Испании.

Слепой убийца: Городской вокзал

Она склоняет голову, утыкается лбом в край стола. Представляет себе его возвращение.

Сумерки. На вокзале зажгли фонари, в их свете у него изможденное лицо. Где-то неподалеку побережье, ультрамарин; слышны крики чаек. Он прыгает на подножку в клубах шипящего пара, в вагоне закидывает в сетку рюкзак, падает на сиденье, разворачивает мятую обертку сэндвича, разламывает. Он так устал, что с трудом ест.

Рядом с ним пожилая женщина вяжет что-то красное — ага, свитер. Она ему сказала, что это свитер, она ему расскажет все, если позволить, о детях, о внуках, у неё и фотографии есть, но её рассказов он не желает. И не может думать о детях: видел слишком много мертвых. Дети стоят у него перед глазами, не женщины, не старики. Каждый раз — словно нож в сердце: сонные глазки, восковые ручонки, безжизненные пальчики, рваные и окровавленные тряпичные куклы. Он отворачивается, вглядывается в свое отражение во тьме — впалые глаза, слипшиеся волосы, землистая кожа, — затуманенное копотью и чер-

ными силуэтами деревьев за окном.

Он пробирается мимо коленей женщины к проходу, выходит в тамбур, курит, бросает окурок, мочится в пустоту. Он чувствует, что и едет туда же — в ничто. Если выпасть из поезда, его никогда не найдут.

Болота, горизонт едва различим. Он возвращается на свое место. В поезде то сыро и промозгло, то знойно и душно; он обливается потом или дрожит, а может, и то, и другое: его бросает то в жар, то в холод, точно в любви. Грубая обивка сиденья отдает затхлостью, неудобна и натирает щеку. Наконец он засыпает — рот приоткрыт, голова свесилась, он прислонился к грязному стеклу. Во сне он слышит позвякивание спиц и стук колес, точно безжалостный метроном.

Теперь она представляет себе его сны. Представляет, что ему снится она, как он снится ей. Они летят навстречу друг другу на темных невидимых крыльях по небу цвета влажного шифера, ищут, ищут, возвращаются назад, гонимые надеждой и тоской, терзаемые страхом. Во сне они касаются друг друга, сплетаются, — больше похоже на столкновение, — и конец полету. Запутавшимися парашютистами, неловкими обугленными ангелами они падают на землю, а любовь бьется на

ветру разорванным шелком. Земля встречает их вражеским огнем.

Проходит день, потом ночь, ещё день. Он выходит на остановке, покупает яблоко, кока-колу, полпачки сигарет, газету. Надо бы «малинки»[106] — может, целую бутылку — забыться. Он смотрит в расплывчатое от дождя окно на бескрайние плоские поля, что разворачиваются ковриками, на рощицы; глаза слипаются — тянет ко сну. Вечером долгий закат отступает на запад, куда едет поезд, бледнеет от розового до сиреневого. Приходит ночь — прерывистая, с остановками, толчками, металлическим скрежетом. Он закрывает глаза, и все затопляет красным — алыми вспышками выстрелов и взрывов.

Он просыпается на рассвете; за окном водная гладь, ровная, безбрежная, серебристая, — наконец-то озеро. В другом окне — унылые домишки, во дворах на веревках сушится белье. Кирпичная труба, пустоглазая фабрика с дымоходом; вот ещё, в окнах отражается бледная голубизна.

Она представляет, как ранним утром он выходит из вагона, идет по вокзалу, по длинному сводчатому вестибюлю с колоннами, по мрамор-

---

[106] Примечания: 106
«Малинка» — спиртное, куда добавлен наркотик.

ному полу. В воздухе плывет эхо, голоса дикторов смазаны, их сообщения смутны. Пахнет дымом — сигаретным, паровозным, городским, больше похожим на пыль. Она тоже идет сквозь эту пыль или дым, она замирает, раскрывает объятья и ждет, когда он подхватит её, поднимет. Горло перехватывает радостью, что неотличима от паники. Она его не видит. Утреннее солнце проникает внутрь сквозь высокие арочные окна, дымный воздух накаляется, пол мерцает. Но вот он в фокусе, в дальнем конце, она различает каждую деталь — глаза, рот, руку, — хотя все дрожит отражением на трепещущей глади пруда.

Но её память его не удерживает, она не может вспомнить, как он выглядит. Словно подул ветер, и отражение расплылось, зарябило; он снова возникает у следующей колонны. Вокруг него — мерцание.

Мерцание — значит, его нет, но ей оно кажется светом. Обычным дневным светом, что освещает все вокруг. Утро и вечер, перчатку и туфлю, стул и тарелку.

XI

Кабинка

С тех пор события принимают дурной оборот. Впрочем, ты уже это знаешь. Поскольку знаешь, что случилось с Лорой.

Лора, конечно, ни о чем не догадывалась. У неё и в мыслях не было играть трагическую героиню. Ею она стала позже, в свете своего конца обретя мученический ореол в глазах фанатов. В обычной жизни она бывала невыносимой, как и все. Или скучной. Или веселой — веселиться она тоже могла; при определенных условиях, секрет которых знала только Лора, она могла даже приходить в восторг. Эти её вспышки радости мне особенно горько вспоминать.

И потому в памяти она осталась девушкой, в которой посторонний не увидел бы ничего необычного — светловолосая барышня, что поднимается на холм, погруженная в свои мысли. На свете много хорошеньких задумчивых девушек, тысячи, они рождаются на свет ежеминутно. И, по большей части, с ними ничего особенного не происходит. То да се — и они уже состарились.

Но Лору выделили — ты, я. На картине она бы собирала полевые цветы, хотя редко чем-то таким занималась. У неё за спиной в лесной чаще притаился леший. Только мы его видим. Только мы знаем, что он набросится.

Я просмотрела написанное и вижу, что этого недостаточно. Слишком легкомысленно — или чересчур многое можно принять за легкомыслие. Куча одежды, стилей, расцветок, уже вышедших из моды, — крылышки бабочки-однодневки. Слишком много обедов, и не всегда удачных. Завтраки, пикники, океанские вояжи, маскарады, газеты, катание на лодках. Не очень-то вяжется с трагедией. Но в жизни трагедия — не бесконечный вопль. Она ещё и то, что ей предшествует. Однообразные часы, дни, годы, а потом вдруг — удар ножа, разрыв снаряда, полет автомобиля с моста.

Сейчас апрель. Проклюнулись и отцвели подснежники; вылезли крокусы. Скоро переберусь на заднюю веранду, буду писать за старым, обшарпанным, мышастым столом — по крайней мере, когда солнечно. Тротуары очистились ото льда — значит, снова можно гулять. Зимняя бездеятельность ослабила меня, я чувствую это по ногам. Тем не менее я намерена заявить права

на прежнюю территорию — на те места, что пометила.

Сегодня, не без помощи палки, несколько раз остановившись, я добралась аж до кладбища. Оба чейзовских ангела неплохо пережили снежную зиму; имена умерших видны чуть хуже, но, возможно, дело в зрении. Я погладила эти имена, буквы; они тверды и осязаемы, но мне показалось, будто под пальцами они мягчеют, расплываются, колышутся. Время с его острыми невидимыми зубами их не пощадило.

Кто-то убрал с Лориной могилы осеннюю сырую листву. Теперь там лежал букетик белых нарциссов, уже увядших, завернутых в фольгу. Я их подобрала и выкинула в ближайший мусорный бак. Кто оценит эти подношения — что они себе думают, эти Лорины поклонники? Более того, кто, они думают, должен за ними убирать? Весь этот цветочный хлам — знаки поддельного горя, которыми они тут все замусорили.

Вот я вам покажу, тогда поплачете, говорила Рини. Будь мы её детьми, она бы нас отшлепала. А так мы никогда не узнали, что же она собиралась нам *показать*.

По дороге домой я зашла в кондитерскую. Должно быть, выглядела я не лучше, чем себя

чувствовала, потому что ко мне тут же подошла официантка. Обычно здесь не обслуживают столики, сам все покупаешь и относишь, но эта девушка — темные волосы, овальное лицо, что-то вроде черной формы, — сама спросила, что мне принести. Я заказала кофе и для разнообразия плюшку с голубикой. Увидев, как девушка беседует с продавщицей, я поняла свою ошибку: это совсем не официантка, а такая же клиентка, а её черная форма — вовсе не форма, а просто куртка и брюки. Что-то на ней сверкало — молнии, наверное. Она ушла, а я толком не успела её поблагодарить.

Это так освежает, когда встречаешь любезность и участие в столь юной девушке. Слишком часто (размышляла я, думая о Сабрине) они проявляют лишь беспечную неблагодарность. Но беспечная неблагодарность — доспехи молодежи: как без них идти по жизни? Старики хотят молодым добра, но и зла хотят тоже: хотят пожрать молодых, впитать их живость и остаться бессмертными. Без этой защиты (суровость плюс легкомыслие) детей раздавило бы прошлым — чужим прошлым, что взвалили им на плечи. Эгоизм — их спасение.

До определенных пределов, разумеется.

Официантка в синем халатике принесла кофе. И плюшку — увидев её, я сразу поняла, что погорячилась. Прямо не знала, как к ней подступиться. Теперь в ресторанах все слишком огромное и тяжелое: материальный мир являет себя огромными непропеченными комьями теста.

Выпив кофе, сколько смогла, я отправилась в туалет. Прошлогодние надписи в средней кабинке закрасили, но, к счастью, сезон уже открылся. В правом верхнем углу одни инициалы признавались в любви другим, как это у них водится. Ниже — аккуратные синие печатные буквы:

Здравый смысл приходит благодаря опыту. Опыт приходит благодаря отсутствию здравого смысла.

Под этим фиолетовой шариковой авторучкой курсив: *Если нужна девушка с опытом, звоните Аните, Умелому Ротику. Улетите под небеса* — и номер телефона.

И ещё ниже — печатными буквами, красным фломастером: *Близится Судный день. Готовься к Неизбежному — это относится к тебе, Анита.*

Иногда я думаю — нет, фантазирую: может, эти надписи в туалете оставляет Лора — на расстоянии управляет руками девушек. Глупейшая мысль, но забавная — до следующего логического

шага: значит, все эти сентенции предназначены мне — кого ещё в городе Лора знает? Но если мне, что же она имеет в виду? Не то, что говорит.

Порой мне ужасно хочется присоединиться, внести свою лепту, влить дребезжащий голос в анонимный хор увечных серенад, нацарапанных любовных посланий, скабрезных объявлений, гимнов и проклятий:

> *Начерчено пером — и невозможно*
>
> *Ни благочестию, ни мудрости тревожной*
>
> *Ни слова вычеркнуть. Слезами хоть залейся,*
>
> *Ни буквы ты не смоешь, как ни бейся.*[107]

Ха, думаю я. То-то вы взовьетесь.

Однажды, когда мне станет получше, я вернусь и действительно напишу. Это их приободрит — они же этого хотят. К чему мы все стремимся? Оставить слова, что подействуют, пусть чудовищно, отправить послание, что нельзя не прочесть.

Но такие послания бывают опасны. Подумай дважды, прежде чем загадывать желание, — осо-

---

[107] Примечания: 107
Омар Хайям. «Рубайят».

бенно, если желаешь вручить себя судьбе.

(Подумай дважды, говорила Рини. А Лора спрашивала: *Почему только дважды?)*

Котенок

Пришел сентябрь, за ним октябрь. Лора снова ходила в школу — уже в другую. Там носили юбки в серо-голубую клетку, а не в черно-бордовую — в остальном, на мой взгляд, никакой разницы.

В ноябре, как только Лоре исполнилось семнадцать, она заявила, что Ричард зря тратит деньги. Если он настаивает, она будет ходить в школу, сидеть за партой, но ничему полезному не научится. Все это она сообщила абсолютно спокойно, без малейшей злобы, и, к моему удивлению, Ричард сдался.

— По сути, в школу ей ходить незачем, — сказал он. — Зарабатывать на жизнь ей все равно не придется.

Но Лору следовало чем-то занять — как и меня в свое время. Её причислили к добровольческой организации, которую опекала Уинифред, под на-

званием «Авигеи»[108]. Престижная организация: девушки из хороших семей, будущие Уинифред, посещали больницы. В фартуках, точно доярки, с вышитыми на груди тюльпанами, ошивались в больничных палатах; предполагалось, что разговаривают с больными, может, читают, ободряют — правда, не уточнялось, каким образом.

Тут Лора оказалась на высоте. Само собой, остальные Авигеи ей не нравились, зато понравился фартук. Её предсказуемо тянуло в палаты бедняков, которых Авигеи избегали из-за вони и дикости. Там лежали изгои: слабоумные старухи, нищие ветераны, безносые мужчины с третичным сифилисом и так далее. Здесь всегда не хватало санитарок, и вскоре Лора уже занималась, строго говоря, не своим делом. Она не падала в обморок при виде судна или рвоты, а также от ругани, бреда и прочих выходок. Уинифред такого не задумывала, и однако же именно это мы в итоге получили.

Медсестры Лору считали ангелом (точнее, некоторые; другие говорили, что она путается под ногами). По словам Уинифред, которая ста-

---

[108] Примечания: 108

Авигея — умная и красивая жена богача Навала из Кармила. Заступилась перед Давидом за своего скупого мужа. Впоследствии стала женой Давида (1 Кн. Царств).

ралась быть в курсе и всюду имела доносчиков, Лора особенно заботилась о безнадежных. Она словно не видит, что они умирают, говорила Уинифред. Обращается с ними, как с обычными людьми, прямо как с нормальными; должно быть, полагала Уинифред, их это успокаивает, хотя человек в своем уме ничего подобного делать не станет. Сама Уинифред считала, что эта Лорина способность или даже талант — ещё одно доказательство крайней эксцентричности.

— У неё железные нервы, — говорила Уинифред. — Я бы так не смогла. Просто бы *не вынесла.* Только вообрази это убожество!

Тем временем планировался Лорин дебют. С Лорой об этом ещё не говорили: я дала Уинифред понять, что Лора вряд ли воспримет эти планы позитивно. В таком случае, сказала Уинифред, надо все организовать, а потом поставить её *перед fait accompli*[109]. А ещё лучше — вовсе обойтись без дебюта, если достичь главной цели (главная цель — выгодное замужество).

Мы обедали в «Аркадском дворике»; Уинифред меня пригласила, чтобы мы вдвоем изобрели, как она выразилась, уловку для Лоры.

---

[109] Примечания: 109
Свершившийся факт (фр.).

— Уловку? — переспросила я.

— Ты понимаешь, о чем я, — сказала Уинифред. — Ничего страшного. — Для Лоры лучше всего, учитывая обстоятельства, — продолжала она, — если приличный богатый человек проглотит наживку, к Лоре посватается и поведет к алтарю. А ещё лучше, если попадется приличный богатый и глупый человек, который наживку и не заметит, а потом будет слишком поздно.

— Ты о какой наживке? — спросила я.

Интересно, по этой ли схеме Уинифред захомутала неуловимого мистера Прайора. Скрывала червячка до медового месяца и тут напустила его на мужа? И мужа поэтому нигде не видно — даже на фотографиях?

— Ты должна признать, что Лора весьма и весьма странная, — сказала Уинифред. Она замолчала, улыбнулась кому-то у меня за спиной и приветственно помахала пальчиками. Звякнули серебряные браслеты — у неё их было слишком много.

— Что ты имеешь в виду? — мягко спросила я. Я завела предосудительную привычку коллекционировать её объяснения.

Уинифред поджала губы. Оранжевая помада, губы уже морщились. Сейчас мы бы сказали:

перебор солнца, но тогда к этому выводу ещё не пришли, а Уинифред нравилось быть бронзовой; нравился металлический налет.

— Лора понравится далеко не всякому. Порой она говорит очень странные вещи. Ей не хватает… не хватает предусмотрительности.

На Уинифред были зеленые туфли из крокодиловой кожи, но я больше не находила их элегантными — напротив, они казались мне безвкусными. То, что раньше чудилось таинственным и обольстительным, стало обычным — я слишком много знала. Её блеск — просто эмаль, её сияние — полировка. Я заглянула за кулисы, увидела нити и подпорки, проволочки и корсеты. У меня уже сложился свой вкус.

— Например? — спросила я. — Какие странные вещи?

— Вчера она заявила, что брак неважен, главное — любовь. И что Христос тоже так думал.

— Ну, это её подход. Она его не скрывает. Но, видишь ли, она говорила не о сексе. Не об *эросе.*

Если Уинифред чего-то не понимала, она это высмеивала или пропускала мимо ушей. Сейчас пропустила.

— Все они сознательно или бессознательно думают о сексе, — сказала она. — Такой подход

доведет девушку вроде неё до беды.

— Она это скоро перерастет, — возразила я, хотя так не думала.

— Время не ждет. Девушки, витающие в облаках, — лёгкая добыча для мужчин. Нам не хватало только грязного сопливого Ромео. Тогда конец.

— И что ты предлагаешь? — спросила я, тупо на неё глядя. За этим тупым взглядом я прятала раздражение или даже ярость, но Уинифред он только воодушевил.

— Я же говорю, выдать её замуж за приличного человека, который не разберется, что к чему. Потом, если ей захочется, может подурачиться с любовью. Если втихаря, никто не шуганет.

Я ковырялась в останках пирога с курятиной. Уинифред последнее время злоупотребляла сленгом. Наверное, считала, что это современно: она уже в том возрасте, когда быть современной важно.

Она совсем Лору не знала. Сама мысль о том, что Лора делает что-то втихаря, не укладывалась у меня в голове. На площади у всех на виду — это больше на неё похоже. Бросить нам вызов, утереть носы. Сбежать с возлюбленным или ещё что-нибудь столь же эффектное. Показать нам, какие мы лицемеры.

— В двадцать один год у Лоры будут деньги, — сказала я.

— Не так много, — отозвалась Уинифред.

— Думаю, Лоре хватит. Думаю, она просто хочет жить своей жизнью.

— Своей жизнью! — воскликнула Уинифред. — Только представь, что она с ней сделает!

Переубедить Уинифред невозможно. Как занесенный нож мясника.

— У тебя уже есть кандидатуры? — спросила я.

— Ничего определенного, но я над этим работаю, — живо откликнулась она. — Многие хотели бы породниться с Ричардом.

— Не слишком утруждайся, — пробормотала я.

— О, но если не я, — проговорила Уинифред весело, — что же будет?

— Я слышала, ты вывела Уинифред из себя, — сказала я Лоре. — Довела её до белого каления. Проповедовала свободную любовь.

— О свободной любви речи не было, — сказала Лора. — Я только сказала, что брак — отживший институт. Ничего общего с любовью не имеет, вот и все. Любовь отдает, брак покупает и продает. Нельзя заключить договор на любовь. И ещё, что на небесах браков не бывает.

— Мы ещё не на небесах, — ответила я. — Мо-

жет, ты не заметила. В общем, ты на неё нагнала страху.

— Я только сказала правду. — Она чистила ногти моей ногтечисткой. — Теперь она, наверное, будет меня знакомить. Вечно всюду лезет.

— Она боится, что ты испортишь себе жизнь. Я хочу сказать — если предпочтешь любовь.

— А твой брак не испортил тебе жизнь? Или ещё рано судить? Я оставила её тон без внимания.

— Ну и что ты думаешь?

— У тебя новые духи? Ричард подарил?

— Насчет брака.

— Да ничего. — Сидя за моим туалетным столиком, она расчесывала длинные волосы. В последнее время она больше занималась своей внешностью; одевалась довольно стильно — в свою одежду и в мою.

— Хочешь сказать, не особо об этом думаешь?

— Да я вообще об этом не думаю.

— А может, стоит, — сказала я. — Может быть, стоит выкроить минуту и подумать о будущем. Нельзя же провести жизнь вот так… — Я хотела сказать *ничего не делая,* но это была бы ошибка.

— Будущего не бывает, — отозвалась Лора. Она завела привычку говорить со мной так, будто я младшая сестра, а она старшая; будто следует мне

что-то разъяснять. И тут она сказала странную вещь: — Если бы ты была канатоходцем и шла над Ниагарским водопадом с завязанными глазами, о чем бы ты больше думала — о толпе на том берегу или о своих ногах?

— О ногах, наверное. Если можно, оставь в покое мою расческу — это негигиенично.

— Много думать о ногах — упадешь. Много о толпе — тоже упадешь.

— Так о чем же надо?

— Когда ты умрешь, расческа по-прежнему будет твоя? — спросила Лора, искоса рассматривая в зеркале свой профиль. Отражение глядело хитро — нетипично для Лоры. — Владеют ли чем-нибудь мертвые? А если нет, то почему расческа сейчас «твоя»? Из-за твоих инициалов? Или твоих микробов?

— Лора, не выпендривайся!

— Я не выпендриваюсь. — Она положила расческу. — Я думаю. Ты никогда не видишь разницы. Не понимаю, как ты можешь слушать Уинифред. Все равно, что слушать мышеловку. Без мыши, — прибавила она.

Она теперь изменилась, чаще раздражалась, стала беспечнее, по-новому безрассудна. Сопротивлялась втихую. Я подозревала, что она тайком

покуривает: раз или два от неё пахло табаком. Табаком и ещё кое-чем — очень старым, очень знакомым. Надо было задуматься над этими переменами, но у меня тогда своих забот хватало.

О беременности я сказала Ричарду только в конце октября. Объяснила, что хотела знать наверняка. Он выразил подобающую случаю радость и поцеловал меня в лоб.

— Умница, — сказал он. Я сделала то, чего от меня ждали.

В моем положении было преимущество: по ночам Ричард тщательно меня избегал. Не хочу что-нибудь поломать, объяснил он. Я сказала, что он очень заботлив.

— И отныне джин тебе выдается по талонам. Шалостей не потерплю, — он погрозил мне пальцем — по-моему, зловеще. Ричард особенно пугал, когда казался легкомысленным, — точно веселая ящерица. — Мы пригласим лучшего врача, — прибавил он. — Не важно, сколько это будет стоить. — Коммерческий оборот дела успокоил нас обоих. Едва речь зашла о деньгах, стало понятно, на каком я свете: носительница сокровища — не больше, не меньше. Уинифред, сначала взвизгнув от неподдельного испуга, принялась лицемерно суетиться. Вообще-то она

занервничала. Догадалась (верно), что, став матерью сына и наследника, или даже наследницы, я обрету большее влияние на Ричарда, чем сейчас, и гораздо большее, чем мне полагается. Я вырывалась вперед, она оставалась позади. Теперь она будет ломать голову, как понизить мои акции: я ждала, что она вот-вот явится с подробным планом обустройства детской.

— Когда ждать благословенного события? — спросила она, и я поняла, что теперь мне придется выслушивать этот её несуразный язык: *новый пришелец, подарок аиста, маленький незнакомец* — и так без конца. Уинифред изъяснялась особенно шаловливо и жеманно, когда речь шла о предметах, её нервирующих.

— Думаю, в апреле, — ответила я. — Или в марте. Я ещё не была у доктора.

— Но ты должна *знать*, — она удивленно подняла брови.

— Такое со мной впервые, — сердито ответила я. — Я специально не *ждала.* И ни за чем не следила.

Как-то вечером я пошла к Лоре в комнату — поделиться с ней новостью. Я постучалась, она не ответила, и я тихо приоткрыла дверь, решив, что она спит. Но она не спала. Стояла на коленях

у постели в голубой ночной рубашке, уронив голову, со взлохмаченными волосами, точно под недвижным ветром; раскинув руки, будто её сюда швырнули. Я подумала, она молится, но она не молилась — или я не слышала. Наконец заметив меня, она встала — спокойно, точно вытирала пыль, и села на пуфик в оборках возле туалетного столика.

Я снова поразилась сочетанию обстановки — той, что выбрала Уинифред, — изящные эстампы, искусственные розочки, органди, оборки — и Лоры. На фотографии выглядело бы гармонично. Но для меня очевидно, почти сюрреалистично несоответствие. Лора была как кремень посреди пушинок чертополоха.

Я сказала *кремень*, а не *камень*, потому что у кремня огненное сердце.

— Лора, я хотела тебе сказать, — начала я. — Я жду ребенка.

Она повернулась ко мне — лицо ровное и белое, точно фарфоровая тарелка, а выражение лица — клеймом на дне. Но не удивлена. Не поздравила меня. Только спросила:

— Помнишь котенка?

— Какого котенка? — не поняла я.

— Который у мамы родился. Который её убил.

— Лора, это был не котенок.
— Я знаю, — ответила она.

Прекрасный вид

Вернулась Рини. Недовольна мною. *Ну, юная леди, что скажешь в свое оправдание? Что ты сделала с Лорой? Сколько тебя учить?*

Ответов нет. Они так перепутаны с вопросами, так туго связаны и скручены, что их толком и нет.

Я здесь — на суде. Я знаю. Я знаю, что ты вскоре подумаешь. Я думала почти то же самое: может, следовало вести себя иначе? Ты, разумеется, думаешь — да, следовало, но был ли у меня выбор? Это сейчас он есть, но сейчас — не тогда.

Надо было научиться читать Лорины мысли? Понять, что происходит? Догадаться, что случится потом? Разве я сторож сестре своей?

Надо было — тщетные слова. О том, чего не было. Слова из параллельного мира. Из другого измерения.

Как-то в феврале, в среду, я спала днём, проснулась и спустилась вниз. Я тогда часто дремала днём: седьмой месяц беременности, ночью не спалось. Возникли проблемы с давлением, отека-

ли ноги, и мне рекомендовали как можно больше лежать, подняв их повыше. Я была точно раздутая виноградина, что вот-вот истечет сладким лиловым соком, я была уродливая и нескладная.

Помнится, в тот день снег падал большими пушистыми мокрыми хлопьями. Поднявшись, я глянула в окно: каштан стоял весь белый, точно огромный коралл.

В дымчатой гостиной сидела Уинифред. Ничего удивительного: она приходила и уходила, словно это её дом, но там сидел и Ричард. Обычно в это время он работал в конторе. Оба держали бокалы. И были мрачны.

— Что с вами? — спросила я. — Что случилось?

— Сядь, — попросил Ричард. — Вот сюда, ко мне. — Он похлопал по дивану.

— У тебя будет шок, — сказала Уинифред. — Мне жаль, что это совпало со столь деликатным периодом.

Говорила Уинифред. Ричард, уставившись в пол, держал меня за руку. Иногда качал головой, будто история казалась ему то ли невероятной, то ли слишком достоверной.

Суть в следующем.

Лора в конце концов взорвалась. Уинифред так и сказала — «взорвалась», будто Лора — бомба.

— Следовало помочь бедняжке раньше, но мы надеялись, что все уладится, — сказала Уинифред. А сегодня в больнице, где Лора проводила благотворительный обход, ситуация вышла из-под контроля. К счастью, там был доктор, и ещё позвали одного специалиста. В результате признали, что Лора представляет опасность для себя и окружающих, и Ричарду, как это ни прискорбно, пришлось согласиться на её госпитализацию.

— О чем вы говорите? Что она сделала? Уинифред смотрела на меня с сожалением.

— Она грозилась причинить себе вред. И говорила… ну, явно бредила.

— Что она говорила?

— Не уверена, что тебе нужно это знать.

— Лора — моя сестра, — сказала я. — Мне необходимо знать.

— Она обвинила Ричарда в том, что он хочет тебя убить.

— Так и сказала?

— Было ясно, что она имеет в виду, — сказала Уинифред.

— Нет, пожалуйста, повтори точно.

— Она назвала его *лживым*, вероломным работорговцем и дегенеративным чудовищем, прислужником Мамоны.

— Я знаю, что у неё бывают крайние реакции, и она склонна выражаться прямо. Но за это не сажают в психушку.

— Было ещё кое-что, — мрачно сказала Уинифред.

Ричард, пытаясь меня успокоить, заверил, что Лору поместили не в обычную викторианскую лечебницу. В очень хорошую частную клинику, одну из лучших. В клинику «Белла-Виста». О ней там хорошо позаботятся.

— Какой вид? — спросила я.

— Прости, не понял.

— «Белла-Виста». Это означает *прекрасный вид.* Вот я и спрашиваю, какой там вид? Что Лоре видно из окна?

— Надеюсь, ты не вздумала шутить, — сказала Уинифред.

— Нет. Это очень важно. Лужайка, сад, фонтан или что? Или убогий переулок?

Они оба не знали. Клиника, сказал Ричард, несомненно, в живописном месте. Она за городом. На природе.

— Ты там был?

— Я понимаю, ты взволнована, дорогая, — сказал он. — Может, тебе вздремнуть?

— Я только что дремала. Пожалуйста, скажи

мне.

— Нет, я там не был. Разумеется, не был.

— Тогда откуда ты знаешь?

— Ну право же, Айрис, — вмешалась Уинифред. — Какая разница?

— Я хочу её видеть. — Трудно поверить, что Лора так внезапно сломалась, но, с другой стороны, я привыкла к её выходкам, они не казались мне странными. Я могла легко проглядеть признаки упадка — симптомы хрупкости психики, какие уж они были.

По словам Уинифред, врачи сказали, что свидания с Лорой пока невозможны. Они это особенно подчеркивали. Она в состоянии острого помешательства и к тому же опасна. Мое состояние тоже надо принять во внимание.

Я заплакала. Ричард дал мне платок. Слегка накрахмаленный, пахнущий одеколоном.

— Ты должна узнать ещё кое-что, — сказала Уинифред. — Самое ужасное.

— Может, отложим на потом? — глухо попросил Ричард.

— Да, это больно, — с фальшивым сомнением произнесла Уинифред. И разумеется, я настояла, чтобы мне сию минуту рассказали.

— Бедняжка уверяет, что беременна, — сказала

Уинифред. — Как и ты.

Я перестала плакать.

— И? Она беременна?

— Конечно, нет, — ответила Уинифред. — Откуда бы?

— А кто отец? — Я не могла вообразить, что Лора выдумала это все на пустом месте. — Я хочу сказать, кого она им считает?

— Она не говорит, — сказал Ричард.

— Понятное дело, она в истерике, — продолжала Уинифред, — и в голове у неё все смешалось. Похоже, она думает, что ребенок, которого ты носишь, — на самом деле, её ребенок; каким образом, она объяснить не смогла. Она явно бредила.

Ричард покачал головой.

— Весьма печально, — пробормотал он тихим серьёзным голосом гробовщика; приглушенным, будто шаги по толстому бордовому ковру.

— Специалист — психиатр — говорит, что Лора патологически тебя ревнует, — сказала Уинифред. — Ревнует ко всему; хочет жить твоей жизнью, хочет быть тобой, — и болезнь вылилась вот в такое. Он считает, тебя надо оберегать. — Она отпила из бокала. — А что, ты сама ничего не подозревала?

Видишь, какая она была умница.

Эйми родилась в начале апреля. Тогда во время родов применяли эфир, и я была без сознания. Вдохнула, отключилась, пришла в себя слабой и с плоским животом. Ребенка со мной не было. Его унесли в детскую палату, к другим детям. Девочка.

— С ней все в порядке? — спросила я. Я очень беспокоилась.

— Десять пальчиков на руках, десять — на ногах, — весело ответила медсестра. — И ничего лишнего.

Девочку принесли позже, завернутую в розовое одеяло. Я мысленно уже назвала её Эйми — то есть *та, кого любят,* искренне надеясь, что она будет кем-нибудь любима. Я сомневалась, смогу ли сама её любить — во всяком случае, так сильно, как ей надо. Слишком уж я разбрасывалась: мне казалось, от меня мало что осталось.

Эйми походила на всех новорожденных: расплющенное личико, будто на большой скорости врезалась в стенку. Длинные темные волосы. Она недоверчиво на меня щурилась почти закрытыми глазками. Рождение — такой удар, думала я. Какой неприятный сюрприз — первое столкновение с грубым миром! Я жалела это крошечное создание. Я поклялась сделать для неё все, что

смогу.

Пока мы изучали друг друга, явились Уинифред и Ричард. Поначалу медсестра приняла их за моих родителей.

— Нет, это гордый папа, — сказала Уинифред, и все рассмеялись. Они тащили цветы и нарядное приданое для новорожденной, сплошная ажурная вязка и белые атласные бантики.

— Очаровательна, — сказала Уинифред. — Но, бог ты мой, мы ждали блондинку. А она совсем темненькая. Вы только взгляните!

— Прости, — сказала я Ричарду. — Я знаю, ты хотел сына.

— В следующий раз, дорогая, — успокоил меня Ричард. Он, похоже, совсем не переживал.

— Это младенческие волосы, — сказала медсестра. — У некоторых они по всей спине. Эти выпадают, и вырастают новые. Благодарите Бога, что у неё зубов нет или хвоста — и такое бывает.

— Дедушка Бенджамин был темноволосый, пока не поседел, — вставила я, — и бабушка Аделия тоже, и, конечно, отец — про его братьев не знаю. Светлые волосы у нас от матери. — Все это я произнесла обычным тоном и с облегчением заметила, что Ричард не слушает.

Радовалась ли я, что Лоры нет? Что она заперта,

и мне до неё не добраться? Что она не появится у моей постели, точно фея, не приглашенная на крестины, и не скажет — *Что ты такое несешь?*

Разумеется, она бы все поняла. Поняла бы тут же.

Ярко луна светила

Вчера вечером я видела по телевизору, как молодая женщина подожгла себя: хрупкая молодая женщина в тонкой горючей одежде. В знак протеста против какой-то несправедливости; только почему она думала, что костер, в который она себя превратила, чему-то поможет? *Не делай этого, пожалуйста, не делай,* хотелось мне сказать. *Не лишай себя жизни. Ничего на свете этого не стоит.* Но для неё, очевидно, стоило.

Что их обуревает, этих девушек с талантом приносить себя в жертву? Может, хотят показать, что и женщины мужественны, не только плачут и стенают, но умеют эффектно встретить смерть? Откуда этот порыв? Из презрения — но к чему? К свинцовому, удушающему порядку вещей, огромной колеснице на шипастых колесах, к слепым тиранам, к слепым богам? Неужели эти девушки так безрассудны или самонадеянны, что думают, будто положат всему этому конец,

возложив себя на абстрактный алтарь, или это они так свидетельствуют? Вызывает восхищение, если одержимость восхищает. Смелый поступок. Но совершенно бессмысленный.

В этой связи меня беспокоит Сабрина. Что она там делает, на другом краю земли? Попалась на удочку христиан, буддистов или у неё в голове другие тараканы? *Сделав для одного из братьев Моих меньших, вы для Меня сделали.* Это написано у неё на пропуске в пустоту? Может, она хочет искупить грехи своей позорной семейки стяжателей? Я очень надеюсь, что нет.

Даже в Эйми была эта черта — заторможенная, правда, и какая-то окольная. Эйми было восемь, когда Лора рухнула с моста, и десять, когда умер Ричард. Естественно, эти события на неё повлияли. Потом её раздирали на куски мы с Уинифред. Сейчас Уинифред не выиграла бы эту битву, но тогда победа осталась за ней. Она украла у меня Эйми; я старалась изо всех сил, но не смогла её вернуть.

Ничего удивительного, что, когда Эйми выросла и получила доступ к деньгам Ричарда, она пустилась во все тяжкие, ища утешения в химических веществах и постоянно меняя мужчин. (Кто, к примеру, отец Сабрины? Трудно сказать,

и Эйми никогда говорила. Делайте свои ставки, отвечала она.)

Я старалась не терять её из виду. Надеялась на примирение — в конце концов, она моя дочь, я чувствовала себя виноватой и хотела наверстать упущенное, загладить свою вину за тот кошмар, в который превратилось её детство. Но меня она уже ненавидела — как и Уинифред, это несколько утешало. Она не подпускала к себе ни одну из нас, и к Сабрине тоже — особенно к Сабрине. Не хотела, чтобы мы её отравили.

Она часто, бесконечно переезжала. Её дважды выбрасывали на улицу за неуплату; арестовывали за нарушение общественного порядка. Несколько раз она попадала в больницу. Думаю, можно считать её законченной алкоголичкой, но я это слово ненавижу. Ей хватало денег, чтобы не работать, да она все равно нигде бы не удержалась. А может, не все равно. И все было бы иначе, старайся она заработать на жизнь, не плыви она по течению, смакуя причиненные нами обиды. Постоянно поступающие, не заработанные деньги поддерживают жалость к себе в тех, у кого имеется к ней склонность.

Когда я последний раз навещала Эйми, она жила в каких-то трущобах Парламент-стрит в То-

ронто. Неподалеку от подъезда, в грязи, сидела на корточках маленькая девочка, и я сразу же подумала, что это Сабрина. На чумазом растрепанном оборвыше были одни шорты, без футболки. Она держала в руке старую оловянную кружку и гнутой ложкой насыпала туда песок. Проявив смекалку, попросила у меня четвертак. Дала я деньги? Скорее всего.

— Я твоя бабушка, — сказала я, и она глянула на меня, как на сумасшедшую. Ей явно никогда не говорили о существовании такой персоны.

В тот раз я много чего услышала от соседей. Похоже, они были хорошими людьми — во всяком случае, кормили Сабрину, когда Эйми забывала вернуться домой. Кажется, фамилия их была Келли. Это они вызвали полицию, когда нашли Эйми под лестницей со сломанной шеей. Упала, бросилась, столкнули — мы никогда не узнаем.

В тот день надо было мне схватить Сабрину в охапку и бежать. В Мексику. Я бы так и сделала, если б знала, что будет дальше — что Уинифред украдет Сабрину и спрячет от меня, как раньше Эйми.

С кем было бы лучше Сабрине? Каково ей жилось с богатой, мстительной и страдающей женщиной? Вместо бедной, мстительной и стра-

дающей, то есть со мной? Но я бы её любила. Сомневаюсь, чтобы её любила Уинифред. Она вцепилась в Сабрину, чтобы навредить мне, покарать, доказать, что выиграла.

Но в тот день я никого не похитила. Постучавшись в дверь и не получив ответа, открыла, вошла и поднялась по крутой темной и узкой лестнице на второй этаж. Эйми сидела на кухне за круглым столиком и разглядывала кофейную кружку; на кружке — улыбчивая рожица. Эйми поднесла кружку к лицу и крутила туда-сюда. Бледная, всклокоченная. Не могу сказать, чтобы она показалась мне очень привлекательной. Она курила. Скорее всего, была под каким-нибудь наркотиком и пьяна — я ощущала вонь, смешанную с застарелым запахом табака, немытой раковины и грязного помойного ведра.

Я пыталась с ней поговорить. Начала очень мягко, но она была не в настроении слушать. Она сказала, что устала от всего, от всех нас. И больше всего — от того, что от неё всё скрывают. В семье все шито-крыто, все врут: мы только открываем и закрываем рты, издаем звуки, но правды не дождешься.

И все же ей удалось вычислить. Её ограбили, отняли настоящее наследство, потому что я ей не

мать, а Ричард не отец. Она это поняла по Лориной книге, сказала она.

Что это она несет, спросила я. Все ясно, отвечала она, её настоящая мать Лора, а отец — тот мужчина из «Слепого убийцы». Тетя Лора его любила, но мы вмешались и как-то устранили этого неизвестного любовника. Припугнули, подкупили, отослали, что угодно; она достаточно долго жила у Уинифред и знала, как мы устраиваем свои грязные делишки. Когда же выяснилось, что Лора беременна, её укрыли в надежном месте, чтобы избежать скандала; мой ребенок умер при рождении, мы украли Лориного и выдали за своего.

Эйми была непоследовательна, но суть такова. Легко понять, какая привлекательная фантазия: кому не захочется мифического существа в качестве матери вместо бракованной настоящей? Если шанс подвернулся.

Я ответила, что она ошибается — все совсем иначе, но она не слушала. Неудивительно, что со мной и Ричардом она никогда не была счастлива, сказала Эйми. Мы вели себя не как настоящие родители, потому что ими и не были. И неудивительно, что тетя Лора бросилась с моста: мы же разбили ей сердце. Лора наверняка оставила Эйми письмо, чтобы Эйми все узнала, когда

подрастет, но мы с Ричардом, видимо, его уничтожили.

Неудивительно, что я была такой ужасной матерью, продолжала она. Я никогда её по-настоящему не любила. Иначе она была бы мне важнее всего остального. Я бы считалась с её чувствами. И не бросила бы Ричарда.

— Возможно, я была не лучшей матерью на свете, — сказала я. — Готова это признать, но я старалась, как могла, учитывая обстоятельства, о которых ты, на самом деле, знаешь очень мало. — Что ты делаешь с Сабриной? — продолжала я. Девочка бегает возле дома полуголая, грязная, как нищенка; она совершенно заброшена и может пропасть в любую минуту — дети все время пропадают. Я её бабушка, я с большой радостью возьму её к себе и…

— Никакая ты не бабушка, — отрезала Эйми. Она уже плакала. — Тетя Лора — её бабушка. То есть была бабушкой. Она умерла, и вы её убили.

— Не валяй дурака, — сказала я. Это была ошибка: чем яростнее отрицаешь такие вещи, тем больше в них верят. Но в страхе часто говоришь не то, что надо, а я испугалась.

Когда я произнесла: *не валяй дурака,* Эйми закричала. Это я дура, кричала она. Я чудовищная

дура, такая дура, что и представить невозможно. Она обзывала меня словами, которые не хочется повторять, а потом схватила кофейную кружку и швырнула в меня. И пошатываясь направилась ко мне; она рыдала, и эти рыдания разрывали душу. Она тянула ко мне руки — мне показалось, с угрозой. Я была расстроена, потрясена. Я попятилась из квартиры, цепляясь за перила, уворачиваясь от того, что летело мне вслед — ботинок, блюдце. Добравшись до выхода, я бежала.

Может, надо было протянуть к ней руки. Обнять её. Заплакать. А потом сесть рядом и рассказать вот эту историю. Но я этого не сделала. Шанс был упущен, и я горько об этом сожалею.

Всего через три недели Эйми упала с лестницы. Конечно, я оплакивала её. Она была моей дочерью. Но, признаюсь, я оплакивала маленькую Эйми. Я оплакивала Эйми, какой она могла бы стать, оплакивала её погибшие возможности. Но больше всего — свои ошибки.

После смерти Эйми Уинифред железной хваткой вцепилась в Сабрину. Владение почти равно праву владеть, а Уинифред объявилась раньше меня. Она умыкнула Сабрину в свой нарядный особнячок в Роуздейле и в мгновение ока объявила себя законной опекуншей. Я подумывала, не

начать ли схватку, но было ясно, что повторится история с Эйми: я обречена проиграть.

Когда Уинифред завладела Сабриной, мне не было шестидесяти; я ещё водила машину. Время от времени я ездила в Торонто и шпионила за внучкой, точно сыщик из старых детективов. Я слонялась возле её начальной школы, — её новой школы, её новой привилегированной школы, — хотела увидеть её и убедиться: с ней все в порядке, несмотря ни на что.

Например, я была в универмаге как-то утром, когда Уинифред повела Сабрину в «Итон» за нарядными туфельками — через несколько месяцев после того, как присвоила девочку. Не сомневаюсь, остальную одежду Уинифред покупала сама, не советуясь с Сабриной, — это на неё похоже, — но туфли нужно примерить, и почему-то Уинифред не доверила эту задачу прислуге.

Шел рождественский сезон — колонны в универмаге увиты искусственным остролистом, венками с позолоченными сосновыми шишками; на дверных косяках — колючие нимбы алого бархата, и Уинифред, к своей досаде, угодила в разгар рождественских песнопений. Я стояла в соседнем проходе. Моя одежда отличалась от прежней, — старое твидовое пальто и низко

надвинутый на лоб платок, поэтому, даже глядя мне в лицо, Уинифред меня не узнала. Должно быть, приняла за уборщицу или иммигрантку, охотницу за дешевкой.

Уинифред, как обычно, разоделась в пух и прах, но все равно выглядела довольно потрепанной. Что ж, ей вот-вот стукнет семьдесят, а в определенном возрасте такой макияж превращает в ходячую мумию. Зря она не откажется от оранжевой помады, ужасно неестественный цвет.

Я видела, как напудренная кожа гневными морщинами собралась меж бровей, напряглись нарумяненные щеки. Уинифред волокла Сабрину за руку, протискиваясь сквозь хор громоздких покупателей в зимних пальто; думаю, ей было отвратительно это неумелое, увлеченное пение.

А Сабрина хотела послушать музыку. Она тянула назад, повисая мертвым грузом, как дети умеют, — сопротивляются, не показывая сопротивления. Её рука тянулась кверху, словно у прилежной ученицы, которая хочет отвечать, но злилась она как чертенок. Ей, наверное, было больно. Выступать, заявлять. Держаться.

Пели «Доброго короля Вацлава». Сабрина знала слова: я видела, как шевелятся её губы. «Ярко луна светила в ту ночь, мороз был жесток и зол, — пела

она. — Вдруг на тропе появился бедняк — он за хворостом шел».

Это песня о голоде. Сабрина явно её понимала — ещё помнила, что такое быть голодной. Уинифред дернула её за руку и нервно огляделась. Она не видела меня, но чувствовала — так корова за прочной изгородью чует волка. Но коровы все же не дикие: привыкли, что их охраняют. Уинифред была нервозна, но не испугана. Даже если я пришла ей на ум, она, несомненно, считала, что я где-то далеко, милосердно убрана с глаз, в полном забвении, которому она меня предала.

Я еле справилась с желанием схватить Сабрину и бежать. Я представляла, как истошно завопит Уинифред, когда я начну продираться меж невозмутимых посетителей, так уютно поющих о жестоком морозе.

Я держала бы Сабрину очень крепко, не споткнулась бы, не уронила. Но далеко мне не убежать. Тут же схватят.

Тогда я вышла на улицу и все бродила, бродила, опустив голову и подняв воротник, я исходила весь центр города. С озера дул ветер, мело. Был день, но из-за низких облаков и падающего снега сумрачно; автомобили медленно катили по заснеженным мостовым, их задние фары удалялись

от меня глазами пятящихся горбатых зверей.

Я сжимала пакет — не помню, что я купила, — и была без перчаток. Наверное, обронила в магазине, в толпе. Но холода не чувствовала. Помнится, однажды я шла с голыми руками в пургу и ничего не замечала. Такое бывает, когда ты охвачена любовью, ненавистью, ужасом или просто гневом.

Я раньше часто воображала одну картину — да, в общем, и сейчас. Довольно нелепую, хотя зачастую такими видениями мы формируем наши судьбы. (Еще увидишь, с какой лёгкостью я перехожу на этот напыщенный язык, вроде *формируем наши судьбы,* когда меня заносит. Впрочем, не важно.)

В этом видении Уинифред и её подружки с венками из банкнот на головах обступили разукрашенную белую кроватку спящей Сабрины, обсуждая, что они ей подарят. Сабрине уже преподнесли гравированную серебряную чашечку от Беркса, обои для детской с шеренгой ручных медвежат, первые жемчужины для нитки жемчуга и прочие подарки из чистого золота, полностью *comme il faut*[110], что с восходом солнца обратятся

[110] Примечания: 110
Благопристойные, со вкусом (фр).

в пыль. Сейчас они уже планируют посещение ортодонта, уроки тенниса, фортепьяно и танцев, престижный летний лагерь. Неужто никакой надежды?

И тут во вспышке адского пламени, в облаке дыма, хлопая черными крыльями, появляюсь я — незваная крестная мать. *Я тоже хочу преподнести подарок,* кричу я. *Имею право.*

Уинифред и её товарки смеются и тычут в меня пальцами. *Ты? Тебя давно изгнали! Ты себя в зеркале видела? Ты опустилась, ты выглядишь на сто два года. Возвращайся в свою грязную пещеру. Что ты можешь ей подарить?*

Я дарю правду, отвечаю я. *Я последняя, кто может это сделать. И это единственный подарок, что останется в комнате к утру.*

Кафе «У Бетти»

Недели шли, а Лора не возвращалась. Я хотела ей написать, позвонить, но Ричард говорил, что это навредит. Ей не должен мешать голос из прошлого, сказал он. Ей нужно сосредоточиться на сегодняшнем дне — на лечении. Так ему сказали. Что касается лечения, он не врач и не станет притворяться, будто в этом разбирается. Лучше довериться специалистам.

Я страдала, представляя себе Лору — заключенную, сопротивляющуюся, в плену собственной болезненной фантазии, или другой, столь же болезненной, но чужой. Когда одна превращается в другую? Где граница между внутренним миром и внешним? Мы бездумно пересекаем этот порог каждый день, и паролем нам — грамматика: *я говорю, ты говоришь, он, она говорит, оно — с другой стороны — не говорит.* Мы платим за привилегию нормальности общей монетой, о достоинстве которой между собой договорились.

Но и в детстве Лора сопротивлялась. Может, в этом проблема? Она упорствовала и говорила: *нет,* когда требовалось *да.* И наоборот, и наоборот.

Лора идет на поправку, говорили мне, — ей гораздо лучше. Потом — ей хуже, у неё рецидив. Лучше — чего, рецидив — чего? Не надо вдаваться в детали, они меня волнуют, а молодой матери нужно беречь силы.

— Мы тебя быстро вернем к жизни, — пообещал Ричард, похлопав меня по руке.

— Но я вообще-то не больна, — сказала я.

— Ты знаешь, о чем я. Чтобы все как раньше. — И он нежно, плотоядно даже улыбнулся. Его глаза уменьшились, а может, щеки раздались — ли-

цо получалось хитрое. Он уже воображал, как займет свое место — сверху. Я думала, теперь он меня точно раздавит. Ричард набрал вес, часто обедая вне дома, — выступал в клубах, на важных собраниях, значительных встречах. На занудных сборищах, где встречались и занудствовали важные значительные люди, потому что все понимали: грядут большие перемены.

От речей иногда разносит. Я такое видела уже не раз. Все дело в том, какие слова говорить. От них бродит мозг. Это видно во время политических телепередач — слова выходят у говорящих изо рта, словно пузырьки газа.

Я решила прикидываться больной как можно дольше.

Я все думала и думала о Лоре. Вертела историю Уинифред так и эдак, рассматривала её с разных сторон. Поверить в неё не могла, но и не поверить не могла тоже.

У Лоры была одна невероятная способность — она разрушала, сама того не желая. И никакого уважения к чужой территории. Все мое становилось её: авторучка, одеколон, летнее платье, шляпка, расческа. Мог ли в этот список попасть и мой ещё не рожденный ребенок? Но если у неё была мания — если она все выдумывала, — поче-

му она выдумала именно это?

С другой стороны, предположим, Уинифред лжет. Предположим, Лора абсолютно здорова. Значит, Лора говорит правду. А раз она говорит правду, значит, она беременна. И если она ждет ребенка, то что же будет? И почему она не поделилась со мной, рассказала все какому-то доктору, чужому человеку? Почему не обратилась ко мне за помощью? Я долго это обдумывала. Причин могло быть много. Моя беременность — лишь одна из них.

Что до отца, вымышленного или настоящего, то речь могла идти только об одном человеке. Об Алексе Томасе.

Но это невозможно. Каким образом?

Я уже не знала, что бы Лора ответила. Я не видела её, как не видишь изнанку перчатки на руке. Всегда рядом, но взглянуть невозможно. Только ощущать форму присутствия — пустую, заполненную моими грезами.

Шли месяцы. Июнь, затем июль и август. Уинифред заметила, что я бледна и измучена. Надо чаще бывать на воздухе, сказала она. Если уж я не хочу играть в теннис или гольф, как она предлагала, — а это помогло бы избавиться от животика, с ним надо что-то делать, пока это не

хроническое, — можно хотя бы заняться садом камней. Молодой матери очень подходит.

Я была не в восторге от сада камней, который был моим только по названию, как и многое другое. (Как и «мой» ребенок, если вдуматься: разумеется, подкидыш, его оставили цыгане, а моего ребенка, того, что больше смеется и меньше плачет, не такого колючего, похитили.) Сад камней тоже мне сопротивлялся; что бы я ни делала, он был недоволен. Камни выглядели неплохо — розовый гранит и известняк, — но среди них ничего не росло.

Я довольствовалась книгами: «Многолетние растения для сада камней», «Суккуленты пустыни в северном климате» и прочими. Я их просматривала и составляла списки того, что можно посадить, или того, что уже посадила, что должно было расти, но не росло. Драцена, молочай, молодило. Названия мне нравились, но до растений не было дела.

— У меня нет садоводческого дара, — говорила я Уинифред. — Не то, что у тебя. — Привычка притворяться некомпетентной стала второй натурой, я и не задумывалась. Что до Уинифред, то ей моя беспомощность уже не казалась удобной.

— Ну, разумеется, тебе нужно *немного* поста-

раться, — отвечала она. Тогда я предъявляла список погибших растений.

— Зато камни хороши, — прибавляла я. — Может, назовем это скульптурой?

Я подумывала, не съездить ли к Лоре одной. Оставить Эйми с новой няней, которую я про себя называла мисс Мергатройд — все наши слуги были для меня Мергатройдами: все в сговоре. Нет, нельзя — няня донесет Уинифред. Можно плюнуть на всех — улизнуть утром, взять Эйми с собой; сядем на поезд. Но куда ехать? Я не знала, где Лору держат, где её прячут. Говорили, что клиника «Белла-Виста» находится на севере от Торонто, но *на севере* — это огромная территория. Я обыскала стол Ричарда в кабинете, но писем из клиники не нашла. Должно быть, он держал их в конторе.

Однажды Ричард вернулся домой рано. Вид у него был взволнованный. Лоры в клинике больше нет, сказал он.

Как это? — удивилась я.

Пришел какой-то мужчина, ответил Ричард. Назвался адвокатом Лоры, сказал, что защищает её интересы. Доверенный, он сказал — доверенный попечитель мисс Чейз. Он оспаривал

правомочность её помещения в клинику. Угрожал судом. Известно ли мне что-нибудь?

Нет, не известно. (Я сидела, сложив руки на коленях. В лице — удивление и некоторый интерес. Никакого ликования.) А потом что было? — спросила я.

Директора в клинике не было, персонал смутился. Лору отпустили под опеку этого человека. Решили, что семья захочет избежать скандала. (Адвокат говорил, что он этого так не оставит.)

Что ж, сказала я, думаю, они поступили правильно.

Да, согласился Ричард, вне всякого сомнения. Но была ли Лора в *compos mentis*[111]? Ради её блага, ради её *безопасности,* мы должны выяснить хотя бы это. Внешне она стала заметно спокойнее, но у врачей клиники имеются сомнения. Кто знает, какую опасность представляет Лора для себя и окружающих, пока разгуливает на свободе?

Не знаю ли я случайно, где она?

Я не знаю.

Она со мной не связывалась?

Не связывалась.

Если получу, поставлю его в известность тут

---

[111] Примечания: 111
В здравом рассудке (лат.).

же?

Тут же. Именно этими словами я отвечала. Подлежащего в этих фразах не было, так что технически я не лгала.

Благоразумно выждав некоторое время, я отправилась на поезде в Порт-Тикондерогу посоветоваться с Рини. Я выдумала телефонный звонок: Рини плохо себя чувствует, объяснила я Ричарду, и хочет успеть со мной повидаться. Я дала понять, что Рини лежит на смертном одре. Она хочет посмотреть фотографию Эйми, вспомнить старые времена, сказала я. Это самое малое, что я могу для неё сделать. Все-таки она практически нас воспитала. Меня воспитала, поправилась я, желая отвлечь Ричарда от мысли про Лору.

С Рини я договорилась встретиться в кафе «У Бетти». (У неё завелся телефон, она держалась молодцом.) Так будет лучше, сказала она. Рини по-прежнему работала в кафе неполный день, но мы можем увидеться после работы. У кафе новые хозяева, сказала она; прежние не одобряли, когда служащие после смены платили как клиенты, даже если платили, а новым нужны любые клиенты, способные платить.

Кафе сильно опустилось. Полосатый навес исчез, темные кабинки потрескались и истёрлись.

Пахло не свежей ванилью, а прогорклым маслом. Я поняла, что слишком вырядилась. Не надо было надевать белую лисью горжетку. Учитывая обстоятельства, красоваться нечего.

Рини мне не понравилась — пухлая, пожелтевшая, тяжело дышит. Может, и вправду больна. Я размышляла, удобно ли спросить.

— Хорошо, когда стоять не надо, — сказала она, садясь в кабинке напротив меня.

Майра — сколько тебе тогда было, Майра? три, четыре года? я уже сбилась, — Майра была с ней. Щечки горят от возбуждения, глаза круглые и чуть навыкате, словно её кто-то нежно душил.

— Я ей все про вас рассказала, — ласково заметила Рини. — Про вас обеих.

Не могу сказать, что Майра заинтересовалась мною, зато лиса её заинтриговала. Дети в этом возрасте любят пушистых зверей, даже мертвых.

— Ты Лору видела? — спросила я. — Говорила с ней?

— Слово — серебро, молчание — золото, — ответила Рини, озираясь, точно и здесь у стен были уши. По-моему, излишняя предосторожность.

— Думаю, это ты устроила адвоката? — сказала я. Рини явно была в курсе.

— Я сделала, что требовалось, — сказала она. —

К тому же, адвокат — муж троюродной сестры твоей матери, по сути, родственник. Я узнала, что происходит, а он понял, что делать.

— Как ты узнала? — Вопрос — *что ты узнала? — я* приберегла на потом.

— Она мне написала, — ответила Рини. — Рассказала, что писала и тебе, но ответа не получила. Ей вообще-то не разрешали посылать письма, но кухарка выручала. Лора ей потом заплатила и кое-что добавила.

— Я не получала писем, — сказала я.

— Она так и думала. Думала, они об этом позаботились. Я поняла, кто — *они.*

— Она, видимо, приехала сюда, — предположила я.

— А куда ещё? Бедняжка. После всего, что она вынесла.

— Что она вынесла? — я так хотела знать, но трепетала. Может, Лора все сочинила, говорила я себе. Может, у неё мания. И это следует иметь в виду.

Рини, однако, этого в виду не имела: что бы Лора ей ни рассказала, Рини поверила. Я сомневалась, что ту же самую историю. Особенно сомневалась, что в ней фигурировал ребенок.

— Об этом нельзя при детях, — сказала Ри-

ни, кивнув на Майру; та с большим аппетитом поедала какое-то ужасное розовое пирожное и таращилась так, будто готова съесть и меня. — Если я тебе все расскажу, ты спать не сможешь. Одно утешение, что ты тут ни при чем. Так она сказала.

— Так и сказала? — У меня гора с плеч свалилась. Значит, Ричард и Уинифред — чудовища, а я оправдана — из-за душевной слабости, несомненно. Но я видела, что Рини не совсем простила мне беспечность, из-за которой все это случилось. (Она простила ещё меньше, когда Лора съехала с моста. Рини считала, что я имею к этому отношение. Общалась со мной довольно сухо. Так и умерла ворча.)

— Молодую девушку нельзя помещать в такое место, — сказала Рини. — Что бы там ни было. Мужики с расстегнутыми ширинками ходят, жуть что творится. Позор!

— Она кусается? — спросила Майра, трогая лису.

— Не трогай, — остановила её Рини. — У тебя ручки липкие.

— Нет, — ответила я. — Она не настоящая. Видишь, у неё стеклянные глазки. Она кусает только свой хвост.

— Она говорила, если б ты знала, никогда не позволила бы её там держать, — сказала Рини. — А если знала? Ты какая угодно, только не бессердечная, так она сказала. — Рини поморщилась на стакан с водой. Видимо, у неё были какие-то сомнения. — Там их кормили одной картошкой. Отварной или пюре. Экономили на еде, отнимали хлеб у бедных чокнутых и психов. Сами наживались, я так думаю.

— Куда она уехала? Где она сейчас?

— Между нами говоря, она считает, тебе лучше не знать.

— Она казалась… она была… — Была ли она не в своем уме, хотела я спросить.

— Она такая, как всегда. Не хуже и не лучше. На полоумную не похожа, если ты об этом, — сказала Рини. — Похудела — мяса бы на кости нарастить. И меньше говорит о Боге. Надеюсь, на этот раз он для разнообразия её не оставит.

— Спасибо тебе, Рини, за все, что ты сделала, — сказала я.

— Не за что благодарить, — сухо отозвалась Рини. — Я сделала, что следовало.

Подразумевалось — в отличие от меня.

— Могу я ей написать? — Я нащупывала платок. Чувствовала, что сейчас расплачусь. Чувствовала

себя преступницей.

— Она сказала, лучше не надо. Но просила передать, что оставила тебе послание.

— Послание?

— Перед тем, как её туда увезли. Сказала, ты знаешь, где его найти.

— Это твой платочек? Ты что, заболела? — спросила Майра, с интересом наблюдая, как я хлюпаю носом.

— Будешь много знать — облысеешь, — сказала Рини.

— Не облысею, — уверенно произнесла Майра. Она что-то фальшиво запела и стала пинать меня пухлыми ножками под столом. Похоже, весела, самоуверенна, и запугать её нелегко — качества, из-за которых я часто раздражалась, но в итоге благодарна. (Наверное, Майра, для тебя это новость. Прими как комплимент, раз уж представился случай. Такой характер на дороге не валяется.)

— Я подумала, ты захочешь взглянуть на Эйми, — сказала я. Хоть одно достижение, способное восстановить меня в её глазах.

Рини взяла фотографию.

— Бог мой, да она темненькая, — сказала она. — Никогда не знаешь, в кого пойдет ребенок.

— Я тоже хочу, — сказала Майра и потянулась сладкими пальчиками.

— Быстрее смотри и пойдем. Опоздаем к папе.

— Нет, — заупрямилась Майра.

— Нет ничего подобного дому, пусть он скромен и мал[112], — пропела Рини, бумажной салфеткой стирая с Майриной рожицы розовый налет.

— Я хочу здесь остаться, — скулила Майра, но на неё уже надели пальто, натянули на уши вязаную шапочку и потащили из кабинки.

— Береги себя, — сказала Рини. Не поцеловала меня.

Мне хотелось обнять её и выть, выть. Чтобы меня утешили. Чтобы она меня увела с собой.

— «Нет ничего подобного дому», — сказала как-то Лора, ей было лет одиннадцать-двенадцать. — Рини так поет. По-моему, глупо.

— То есть? — спросила я.

— Вот смотри. — И Лора написала уравнение. *Нет ничего подобного = дом. Следовательно, дом = нет ничего подобного. Следовательно, дома не существует.*

Дом — там, где сердце, думала я, сидя в кафе «У

---

[112] Примечания: 112

Песня «Дом, милый дом» на стихи американского драматурга и актера Джона Говарда Пэйна (1791–1852) из оперы «Клари, миланская дева» (1823).

Бетти» и пытаясь взять себя в руки. У меня больше нет сердца, разбито; или не разбито, а просто его нет. Аккуратно вынуто, как желток из яйца вкрутую, осталась бескровная свернувшаяся пустота.

Я бессердечна, подумала я. Следовательно, бездомна.

Послание

Вчера я так устала, что весь день пролежала на диване. У меня складывается в высшей степени неряшливая привычка смотреть дневные ток-шоу — такие, где люди распускают языки. Это сейчас модно, языки распускать: люди выдают свои секреты, а заодно и чужие; выкладывают все, что есть за душой, а иногда — чего за душой и нет. Из чувства вины, в тоске, ради удовольствия, но чаще потому, что одни хотят выставить себя напоказ, а другие — видеть, как те это делают. И я не исключение: я смакую их грязные грешки, жалкие семейные ссоры, выпестованные травмы. Наслаждаюсь ожиданием, с которым открывается банка червей, точно удивительный подарок на день рождения, и затем разочарованием на лицах зрителей: вымученные слезы, скупая злорадная жалость, послушные аплодисменты по подсказке. *И это все?* — явно думают они. *Разве твоя*

душевная рана не должна быть менее заурядной, по-настоящему душераздирающей, грязнее, грандиознее? Расскажи ещё! Будь любезен, пусть нас оживит твоя боль.

Интересно, что лучше — всю жизнь прожить, раздутой от секретов, пока не взорвешься, или пускай их из тебя вытягивают — абзац за абзацем, фразу за фразой, слово за словом, и в конце концов лишиться всего, что было ценно, как тайный клад, близко, точно кожа — всего, что казалось таким важным, всего, от чего ежился и скрывался, что принадлежало только тебе, — и провести остаток дней болтающимся на ветру пустым мешком, мешком с новенькой светящейся этикеткой, чтобы все знали, какие секреты раньше хранились внутри?

Так или иначе, ответа у меня нет.

«Язык длинный — кораблю мина», писали на военных плакатах. Конечно, корабли рано или поздно все равно наткнутся на мину или как-то иначе утонут.

Потешив себя таким образом, я поковыляла на кухню и там съела половину почерневшего банана и два крекера. Пахло чем-то мясным — я подумала, может, что-то завалилось за помойное ведро — какая-нибудь еда, — но ничего не нашла.

Может, это мой собственный запах. Не могу отделаться от ощущения, будто пахну кошачьими консервами, каким застоявшимся одеколоном не брызгаюсь утром — «Тоска», «Ма Грифф» или, может, «Же Ревьенз». У меня по-прежнему валяются остатки. Добыча зеленых мешков для мусора, Майра, когда дело до них дойдет.

Ричард дарил мне духи, когда чувствовал, что меня требуется утешить. Духи, шелковые косынки, драгоценные брошки в форме домашних зверюшек, ручных птиц или золотых рыбок. На вкус Уинифред — она считала, это мой стиль.

По дороге из Порт-Тикондероги и потом ещё несколько недель я размышляла о Лорином послании — о том, что она мне оставила. Видимо, Лора понимала: за тем, что она намеревалась сообщить незнакомому врачу в больнице, нечто воспоследует. Сознавала, что рискует, и приняла меры предосторожности. Где-то оставила мне улику, ключ к разгадке, вроде оброненного платка или белых камешков в лесу.

Я представила, как она пишет это послание — как она обычно пишет. Конечно, карандашом, и конец изжеван. Лора часто грызла карандаши, в детстве у неё изо рта пахло кедром, а если она рисовала цветными карандашами, то губы сине-

ли, зеленели или краснели. Писала она медленно, детским круглым почерком, буква о закруглялась до конца, *з* и*у* пускали извилистые корни. Точки над *ё* круглые, смещены вправо, будто маленькие черные шарики на невидимых нитках; *б* с завитушкой наверху. Я мысленно села рядом с Лорой — посмотреть, что она станет делать дальше.

Она дописала послание, положила в конверт, заклеила и спрятала, как прятала в Авалоне хлам. Но куда она положила конверт? Авалон отпадает — она там давно не была, во всяком случае — не перед клиникой.

Нет, послание здесь, в этом доме, в Торонто. Там, куда не заглянут ни Ричард, ни Уинифред, ни Мергатройды. Я искала повсюду — на дне ящиков, по углам буфетов, в карманах моих шуб, в сумочках, даже в зимних варежках, — ничего.

Потом я вспомнила, как однажды застала её в дедушкином кабинете — ей было лет десять или одиннадцать. Перед ней лежала семейная Библия — огромный фолиант в кожаном переплете, и Лора маминими ножницами для рукоделия вырезала оттуда куски.

— Лора, ты что делаешь? — ужаснулась я. — Это же Библия.

— Вырезаю места, которые не люблю.

Я разгладила страницы, отправленные в корзину для бумаг: строки из Паралипоменон, целые страницы из книги Левит, отрывок из Евангелия от Матфея, где Иисус проклинает бесплодную смоковницу[113]. Помнится, Лора ещё в воскресной школе насчет смоковницы возмущалась. Была в ярости, что Иисус так жестоко со смоковницей обошелся. *У всех бывают плохие дни,* сказала тогда Рини, взбивая белки в желтой миске.

— Зря ты это делаешь, — сказала я.

— Это просто бумага, — ответила она, продолжая вырезать. — Бумага ничего не значит. Важно, что написано.

— Тебе влетит.

— Вовсе нет, — возразила она. — Никто её не раскрывает. Смотрят только первые страницы — где рождения, свадьбы и смерти.

Она и тут оказалась права. Её не уличили.

Вспомнив это, я достала альбом со свадебными фотографиями. Конечно, он не представлял интереса для Уинифред, да и Ричард вряд ли стал бы любовно перелистывать снимки. Должно быть, Лора это понимала, понимала, что это безопасное место. Но почему она решила, что я сама туда

---

[113] Примечания: 113
Мф. 21:18–20.

загляну?

Если б я искала Лору, заглянула бы. Она это знала. В альбоме много её фотографий, черными треугольниками прицепленных к бурым страницам. Почти на всех снимках она в платье подружки невесты хмурится и изучает свои туфли.

Послание я нашла, хоть и не словесное. Лора привезла на мою свадьбу тюбики с красками, похищенные из редакции Элвуда Мюррея в Порт-Тикондероге. Она их, должно быть, все время прятала. Для человека, так презиравшего материальное, она с большим трудом выбрасывала вещи.

Лора изменила только две фотографии. На групповом портрете исчезли подружки невесты и друзья жениха, закрашенные синим. Остались я, Ричард, Лора и Уинифред, замужняя подружка. Уинифред и Ричард стали ядовито-зелеными. Меня омыло цветом морской волны. А Лора была ярко-желтая — не только платье, но лицо и руки. Что означало это сияние? Именно сияние, точно Лора светилась изнутри, будто стеклянная лампа, будто девушка из фосфора. Она смотрела не в объектив, а в сторону, точно думала о чем-то не попавшем в объектив.

Второй снимок — официальный портрет жениха и невесты на фоне церкви. Лицо Ричарда Лора закрасила серым, так плотно, что черты исчезли. Руки красные, как и языки пламени, охватившие голову, как бы вырывавшиеся изнутри неё, словно пылал череп. Мое платье, перчатки, вуаль, цветы — всю эту амуницию Лора не тронула, зато поработала над лицом. Обесцветила его, и глаза, нос и рот стали точно в тумане, точно окно в сырой холодный день. Фон и даже церковные ступени целиком замазаны черным, и наши фигуры словно парили в воздухе глубочайшей, темнейшей ночью.

XII

«Глоуб энд Мейл», 7 октября 1938 года

ГРИФФЕН
ПРИВЕТСТВУЕТ
МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ГЛОУБ ЭНД МЕЙЛ»

В своем энергичном и решительном выступлении «Занимаемся своим делом», которое состоялось в среду на собрании Имперского клуба в Торонто, мистер Ричард Э. Гриффен, президент и глава «Королевского объединения Гриффен — Чейз», высоко оценил выдающиеся усилия британского премьер-министра, мистера Невилла Чемберлена[114], приведшие к заключению на прошлой неделе Мюнхенского соглашения[115]. Знамена-

[114] Примечания: 114

Невилл Чемберлен (1869–1940) — британский государственный деятель, один из лидеров Консервативной партии, с 1937 по 1940 г. — премьер-министр Великобритании.

[115] Примечания: 115

Мюнхенское соглашение (29 сентября 1938 г.) — соглашение о расчленении Чехословакии, подписанное главами Великобритании, Франции, Германии и Италии.

тельно, сказал мистер Гриффен, что все партии британского парламента приветствовали это событие. Он надеется, что партии Канады тоже одобрят соглашение, ибо оно положит конец Депрессии и откроет новый «золотой век» мира и процветания. Успех соглашения также показал важность искусного управления государством и дипломатии, а равно практического мышления и трезвого расчета. «Если каждый даст понемногу, — сказал мистер Гриффен, — в результате выиграют все».

Отвечая на вопрос о статусе Чехословакии по условиям Мюнхенского соглашения, Гриффен ответил, что, по его мнению, гражданам этой страны гарантированы достаточные меры безопасности. Сильная здоровая Германия, заявил он, нужна Западу и особенно западному бизнесу — она «удержит большевиков от воплей „бей“ и подальше от Бей-стрит». Следующим шагом должно стать двустороннее торговое соглашение, и его заверили, что оно не за горами. Теперь можно не бряцать оружием, а

заняться товарами для потребителей, создавая новые рабочие места и повышая благосостояние там, где оно нужнее всего, — у нас дома. Семь тощих лет, сказал он, сменятся семью тучными годами, и сороковые годы золотыми просторами предстанут перед нами.

По слухам, мистер Гриффен ведет переговоры с ведущими представителями консервативной партии и может со временем стать её лидером. Речь мистера Гриффена была встречена аплодисментами.

«Мэйфэйр», июнь 1939 года

КОРОЛЕВСКИЙ
СТИЛЬ НА КОРОЛЕВСКОМ ПРИЕМЕ В САДУ

ЦИНТИЯ ФЕРВИС

Пять тысяч почетных гостей Их Превосходительств, лорда и леди Твидсмюр, завороженно следили, как Их Величества любезно беседуют с присутствующими в саду губернаторского дома в Оттаве на приеме в честь дня рождения Его Величества.

В половине пятого высокие гости вышли в сад из губернаторского дома через Китайскую галерею. Король был в визитке, королева — в бежевом костюме с меховой окантовкой, с жемчужным ожерельем и в широкополой шляпе, её лицо разрумянилось, голубые глаза лучились улыбкой. Её чарующие манеры покорили всех.

За Их Величествами следовал генерал-губернатор, радушный и гостеприимный хозяин, и прекрасная и величественная леди Твидсмюр. Её белый ансамбль, дополненный мехом лисы из канадской Арктики, выгодно контрастировал с бирюзовой шляпкой. Их Величествам представили полковника Ф. Филана из Монреаля и миссис Ф. Филан, в платье из набивного шелка, на котором цвели живые цветочки, и в элегантной шляпе с широкими целлофановыми полями. Подобной же чести удостоились бригадир У Г. Л. Элкинз с супругой и мисс Джоан Элкинз, а также мистер и миссис Глэдстоун Мюррей.

Среди гостей выделялись мистер и

миссис Ричард Гриффен; её накидка из черно-бурой лисы — лучи меха на черном шифоне — эффектно смотрелась на светло-лиловом костюме. Коричневый бархатный жакет миссис Дуглас Уотте хорошо сочетался с желто-зеленым шифоном. Миссис Ф. Рид очаровательно выглядела в платье из органди и валансьенских кружев.

О чае не вспоминали до тех пор, пока король и королева не попрощались, не защелкали фотоаппараты, не засверкали вспышки, и гости дружно не пропели «Боже, храни короля». И лишь тогда внимание гостей переключилось на именинные торты… громадные белые торты, покрытые белоснежной сахарной глазурью. Торт, поданный королю в доме, украшали не только розы, трилистники и чертополох[116], но также миниатюрные сахарные голуби с белыми флажками в клювах — символы мира и надежды.

[116] Примечания: 116

Роза — символ Великобритании, трилистник — Ирландии, чертополох — Шотландии.

Слепой убийца: Гостиница «Зл им»

Туманный, влажный день, все липнет: белые нитяные перчатки уже испачкались — взялась за поручень. Душно, давит; её сердце бьется об мир, словно крушит камень. Зной выталкивает её. Ничто не движется.

Но вот подходит поезд; она ждет у входа на перрон, как договорились; и обещание выполняется — выходит он. Видит её, идет к ней, они слегка касаются друг друга, жмут руки, точно дальние родственники. Она поспешно чмокает его в щеку: вокруг люди, мало ли что. Они идут по пандусу в мраморный вокзал. Она чувствует себя с ним чужой, нервничает, едва успела его разглядеть. Явно похудел. А что ещё?

Адски трудно добираться. Денег в обрез. Всю дорогу на грузовых пароходах.

Я могла выслать деньги, говорит она.

Знаю. Но у меня не было адреса.

Вещмешок он сдает в камеру хранения, оставляет только чемоданчик. Мешок заберу позже, говорит он, сейчас не хочется лишнего. Мимо ходят люди, голоса, шаги, они стоят в нерешительности, не знают, куда податься. Надо было ей позаботиться, что-то придумать: у него же нет

жилья, пока нет. Зато она сунула в сумку фляжку с виски. Не забыла.

Идти куда-то надо, и они идут в гостиницу, он помнит одну дешевую, неподалеку. Такое впервые, они рискуют, но, увидев гостиницу, она понимает: никто не ждет, что они женаты, — разве что на ком-нибудь другом. Она в лёгком плаще двухлетней давности, на голове платок. Шелковый, но хуже у неё нет. Может, подумают, что он её «снял». Будем надеяться. Тогда на вид она совсем обычная.

На тротуаре разбитое стекло, рвота, что-то похожее на запекшуюся кровь. Не наступи, говорит он.

На первом этаже бар, называется «Золотой Рим». Вход для мужчин и дам со спутниками. Снаружи красная неоновая вывеска, вертикальные буквы, сверху вниз — красная стрелка, она, изгибаясь, указывает на дверь. Часть букв не горят, и получается: «Зл им». Маленькие лампочки, точно рождественские огоньки, вспыхивают и гаснут, сбегая по вывеске, словно муравьи по водосточной трубе.

Даже в этот час тут в ожидании открытия слоняются мужчины. Проходя мимо, он берет её за локоть, слегка торопит. За спиной кто-то по-ко-

шачьи взвывает.

В гостиницу другой вход. Черно-белая мозаика, посреди неё стоит бывший красный лев; его словно изгрызла какая-то моль-камнеед, и теперь он больше похож на изувеченного полипа. Охряной линолеум давно не мыли: грязные пятна расцвели на нём серыми цветами.

Он регистрируется, платит; она стоит, надеясь, что вид у неё скучающий, невозмутимо разглядывает часы, что висят над мрачной конторкой портье. Простые часы, самоуверенные, без всякой претензии на изящество — утилитарные, как на вокзале. *Вот оно, время,* говорят они, *только один пласт, и других не бывает.*

Он берет ключ. Второй этаж. Можно подняться в гробике лифта, но ей противна одна мысль об этом: в лифте будет пахнуть грязными носками и гнилыми зубами — невыносимо стоять там с ним, так близко, и все это вдыхать. Они поднимаются по лестнице. Ковер — когда-то темно-синий и красный. Цветочная дорожка истерлась до корней.

Прости, говорит он. Могло быть и лучше.

За что заплатили, говорит она. Зря сказала: хотела пошутить, а он подумает, это намек, что у него денег нет. Зато хорошее прикрытие, поправ-

ляется она. Он молчит. Она не в меру болтлива, она слышит себя, и ничего хорошего в её словах нет. Может, она не такая, какую он помнит, может, сильно изменилась?

В коридоре обои совершенно обесцветились. Двери из темного дерева, ободранные, выщербленные, побитые. Он находит нужный номер, поворачивает ключ. Длинный старомодный ключ — словно от древнего сейфа. Комната хуже любой меблирашки, где они раньше встречались: те хоть притворялись чистыми. Двуспальная кровать застелена скользким покрывалом, изображающим стеганый атлас, грязно-желтым, будто пятка. Лопнувшая обивка на стуле — он словно пылью набит. Пепельница — бурое стекло, отбитые края. Пахнет табаком, пролитым пивом и ещё чем-то неприятным — давно не стиранным нижним бельем. Над дверью — фрамуга, дребезжащее белое стекло.

Она стягивает перчатки, бросает их на стул вместе с плащом и косынкой, выуживает фляжку. Стаканов не видно — придется из горла.

Окно открывается? спрашивает она. Свежий воздух не помешал бы.

Он идет, поднимает раму. Плотный ветер врывается в комнату. За окном лязгает трамвай.

Он поворачивается, откидывается назад, опершись руками о подоконник. Свет позади него, и она видит только силуэт. Это может быть кто угодно.

Ну, говорит он. И вот мы снова здесь. Голос у него до смерти усталый. Ей приходит в голову, что, может, он хочет просто уснуть.

Она подходит, обнимает за талию. А я нашла рассказ.

Какой рассказ?

Люди-ящеры с Ксенора. Я его повсюду искала, ты бы видел, как я обшаривала киоски, — продавцы, небось, думали, я помешалась. Все искала и искала.

А, этот, говорит он. Ты читала эту дрянь? Я и забыл.

Она не покажет смятения. Нужды чересчур не покажет. Не скажет, что книжка доказывала его существование; абсурдное, но все же свидетельство.

Конечно, читала. Я все продолжения ждала.

Я не написал. Я был занят: в меня отовсюду стреляли. Отряд угодил в самое пекло. Я бежал от хороших ребят. Все перепуталось.

Его руки запоздало обнимают её. От него пахнет солодом. Он кладет голову ей на плечо, небритая

щека приникла к её шее. Он с ней — и в безопасности, хоть на мгновение.

Господи, мне надо выпить, говорит он.

Не засыпай. Не засыпай пока. Давай ляжем.

Он спит три часа. Солнце сместилось, свет потускнел. Она знает, что ей пора уходить, но не в силах — и не в силах его разбудить. Что она скажет дома? Она выдумывает упавшую с лестницы пожилую даму, надо было спасать старушку; выдумывает такси, поездку в больницу. Не бросать же бедняжку. На тротуаре, одну-одинешеньку. Она понимает, что следовало позвонить, но телефона под рукой не оказалось, а старушка так мучилась. Она готовится выслушать лекцию насчет не совать нос в чужие дела; они покачают головой — ну что с неё взять? И когда она перестанет делать глупости?

Внизу часы отщелкивают минуты. В коридоре голоса, торопливый стремительный ритм шагов. Бизнес входа и выхода.

Она лежит подле него, прислушиваясь к его дыханию, гадая, что ему снится. А ещё — что ему рассказать? Все, что случилось? Если он попросит уйти к нему, придется рассказать. Если нет, может, лучше не говорить. Во всяком случае, пока.

Проснувшись, он хочет ещё выпить и поку-

рить.

Лучше не надо, говорит она. Курить в постели. Устроим пожар. И сами сгорим.

Он молчит.

Как там было? — спрашивает она. Я читала газеты, но это другое.

Да, соглашается он. Другое.

Я так боялась, что тебя убьют.

Меня чуть не убили, говорит он. Там кромешный ад, но, смешно сказать, я привык, а теперь не могу привыкнуть к этой жизни. А ты поправилась.

Ой, слишком толстая?

Совсем нет. Тебе идет. Есть что обнять.

Совсем стемнело. С улицы, где бар опустошается на тротуары, доносится нестройное пение, крики, смех, потом — звон разбитого стекла. Кто-то кокнул бутылку. Слышен женский визг.

Празднуют.

Что празднуют?

Войну.

Войны нет. Она закончилась.

Они празднуют следующую. Она на пороге. Те, кто это отрицает, — чокнутые, витают в облаках, а на земле её уже чуешь. Расстреляли в ноль Испанию, потренировались, теперь начнется

заваруха посерьёзнее. Как гром в воздухе — их это будоражит. Потому и бьют бутылки. Хотят рвануть на старте.

Да нет же, говорит она. Не будет другой войны. Соглашения ведь и все такое.

Мир в наше время, презрительно фыркает он. Херня на постном масле. Все надеются, что Дядя Джо и Адольф порвут друг друга в клочья и заодно покончат с евреями, а остальные тем временем будут протирать штаны и делать деньги.

Ты, как всегда, циничен.

А ты наивна.

Не так уж, возражает она. Давай не будем спорить. Мы ничего не решаем. Но это больше на него похоже, она узнает его прежнего, и ей чуть легче.

Да, говорит он. Ты права. Мы ничего не решаем. Мы пешки.

Но ты все равно поедешь, говорит она. Если начнется снова. Пешка или нет.

Он смотрит на неё. А что мне делать?

Он не понимает, почему она плачет. Она пытается сдержаться. Лучше б тебя ранили, говорит она. Тогда бы ты остался.

И принес бы тебе много добра, говорит он. Иди ко мне.

Уходя, она почти ничего не видит. Идет пешком, чтобы успокоиться, но потом ловит такси: уже темно, а на улице много мужчин. На заднем сиденье она подкрашивает губы, пудрится. Такси тормозит, она роется в сумочке, расплачивается, поднимается по каменным ступеням, открывает толстую дубовую дверь под аркой, закрывает за собой. Мысленно репетирует: *Прости, я задержалась, но ты не поверишь, что со мной случилось. Настоящее приключение.*

Слепой убийца: Желтые шторы

Как накапливается война? Как набирает силу? Из чего сделана? Из каких тайн, лжи, предательств? Из чьей любви и ненависти? Из каких денег, каких металлов?

Надежда набрасывает дымовую завесу. Дым щиплет глаза, и никто к войне не готов, а она уже тут как тут — как разгоревшийся костер, как убийство — только умноженное. И вот она в разгаре.

Война — черно-белая. Для тех, кто в тылу. Для тех, кто воюет, она цветная, и краски насыщенные, чрезмерно яркие, чрезмерно красные и оранжевые, чрезмерно жидкие и раскаленные,

но для остальных война — точно кинохроника: зернистая, грязная пленка, а на ней — стаккато и толпы людей с серыми лицами, куда-то бегущих, бредущих или падающих, а больше и нет ничего.

Она ходит смотреть хронику в кинотеатры. Читает газеты. Понимает, что зависит от милости судьбы, и уже понимает, что судьба не знает милости.

Она решилась. Она теперь непреклонна, она пожертвует всем и всеми. Никто и ничто её не остановит.

Вот что она сделает. Она все придумала. Однажды она уйдет из дома, просто уйдет, как всегда. У неё будут деньги, какие-то деньги. С этим не очень ясно, но, конечно, что-то придумается. Что люди вообще делают? Идут в ломбард — вот так она и поступит. Будет закладывать вещи: золотые часы, серебряные ложки, шубу. Всякий хлам. Постепенно, тогда никто не заметит.

Денег будет немного, но надо, чтобы хватило. Она снимет комнату, недорогую, но не совсем дыру — новый слой краски, и комната оживет. Напишет письмо, что назад не вернется. К ней пришлют посредников, послов, потом адвокатов, ей будут угрожать, будут мстить, она будет трястись от страха, но не отступит. Сожжет все

мосты, кроме одного — к нему, пусть это и хлипкий мостик. *Я вернусь*, сказал он, но откуда он знает? Никаких гарантий.

Она станет питаться только яблоками и крекерами, чаем и молоком. Солониной и бобами. Когда получится, яичницей, и ещё тостами в кафе на углу, где завтракают разносчики газет и те, что пьяны спозаранку. И ветераны, с каждым месяцем их все больше — безруких, безногих, без глаз, без ушей. Ей захочется с ними поговорить, но она не станет: её интерес, конечно, поймут превратно. Как всегда, слову помешает её тело. Придется подслушивать.

Разговоры в кафе будут крутиться вокруг конца войны — все считают, что он близок. Это лишь вопрос времени, будут говорить они, скоро наши парни вернутся. Мужчины не знакомы друг с другом, но все равно беседуют: грядущая победа развязывает языки. В воздухе витает новое чувство — оптимизм вперемешку со страхом. Корабль приплывет со дня на день, но кто на нём вернется?

Её квартирка будет над бакалеей — с кухонькой и крохотной ванной. Она купит какое-нибудь растение — бегонию или папоротник. Не забудет поливать, и оно не погибнет. Бакалейщица,

темноволосая пышная женщина, отнесется по-матерински, будет заставлять её есть, говорить про худобу и рассказывать, как лечить бронхит. Может, гречанка; гречанка или что-то в этом роде, у неё большие руки, прямой пробор, пучок на затылке. Муж и сын за океаном, их фотографии в деревянной крашеной рамке стоят у кассы.

Обе — она и эта женщина — все время будут прислушиваться: шаги, телефонный звонок, стук в дверь. От этого плохо спится, они станут обсуждать средства от бессонницы. Время от времени женщина мимоходом сунет ей в руку яблоко или кислый зеленый леденец из стеклянной банки на прилавке. Эти дары утешат больше, чем скидка.

Как он узнает, где её найти? Теперь, когда она сожгла мосты. Он узнает. Как-нибудь узнает, потому что все путешествия заканчиваются встречей влюбленных. Должны. Обязаны.

Она сошьет шторы на окна, желтые — канареечные или цвета яичного желтка. Радостные, как солнечный свет. Не важно, что она не умеет шить, — бакалейщица поможет. Накрахмалит и повесит шторы. На коленях, с веником в руках, выметет из-под раковины дохлых мух и мышиный помет. Заново покрасит найденные у старьевщика банки и напишет по трафарету:

Чай, Кофе, Сахар, Мука. И при этом будет напевать. Купит новое полотенце, целую кипу новых полотенец. И простыни — это важно, — и наволочки. Станет подолгу причесываться.

Вот такими приятными вещами она будет заниматься, ожидая его.

Она купит радио, подержанный жестяной приемничек, в ломбарде; будет слушать новости, чтобы всегда быть в курсе. И ещё у неё будет телефон, он ей надолго понадобится, хотя никто ей не позвонит — пока не позвонит. Порой она будет поднимать трубку — послушать гудок. Или голоса на спаренной линии. В основном, женские: кулинарные рецепты, погода, покупки, дети и отсутствующие мужчины.

Но, конечно, ничего этого не происходит. Или происходит, только этого не видно. Происходит в другом измерении.

Слепой убийца: Телеграмма

Телеграмму принес, как обычно, мужчина в темной форме, с лицом, на котором ни намека на радостные вести. Их, когда берут на работу, учат такому выражению — отстраненному и скорбному, точно темный пустой колокол. Точно закрытый гроб.

Телеграмма пришла в желтом конверте с прозрачным окошечком, и говорилось в ней то же, что обычно в них говорится — словами, что доносятся издалека, словно их произносит незнакомец, незваный гость, стоящий в дальнем углу длинной пустой комнаты. Слов немного, но все отчетливы и внятны: *сообщаем, погиб, сожалеем.* Осторожные, безучастные слова, а за ними скрытый вопрос: *А вы чего ждали?*

Это что? Кто это такой? — говорит она. Ах да. Тот человек. Но почему извещение прислали мне? Я вряд ли его ближайшая родственница!

Родственница? — говорит кто-то из них. А у него есть родственники? Это сказано как шутка.

Она смеется. Я тут ни при чем. Она комкает телеграмму, не сомневаясь, что они уже тайком прочли, прежде чем отдать ей. Они читают всю почту; это само собой разумеется. Она садится, слишком резко. Простите, говорит она. Мне как-то не по себе.

Вот возьми. Это тебя взбодрит. Выпей — будет лучше.

Спасибо. Я тут ни при чем, но все равно шок. Прямо дрожь пробирает. Она ежится.

Успокойся. Ты как-то побледнела. Не принимай близко к сердцу.

Может, это ошибка. Может, перепутали адрес.

Вполне. А может, он сам это подстроил. Пошутил, так сказать. Парень со странностями, насколько я помню.

Судя по всему, это мягко сказано. Какая гнусность! Будь он жив, ты могла бы в суд на него подать.

Наверное, хотел, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Это на них похоже. Все завистливы. Собаки на сене. Пусть это тебя не тревожит.

Как ни посмотри, ничего хорошего.

Хорошего? Что тут может быть хорошего? В нём никогда не было ничего *хорошего.*

Думаю, надо написать его начальнику. Пусть объяснится.

А он-то откуда знает? Не он посылал телеграмму, а какой-то местный мелкий чин. Они берут адреса из документов. Тебе скажут, что вышла путаница, — и не первый раз, насколько я знаю.

В любом случае, не стоит суетиться. Это привлечет к тебе внимание, а ты все равно не узнаешь, зачем он это сделал.

Если мертвец призраком не явится. Их глаза горят, они тревожно смотрят на неё. Чего они боятся? Какого её поступка?

Зря вы это слово сказали, говорит она раздра-

женно.

Какое? А. Она имеет в виду *мертвец.* Ну, лопата есть лопата. Назовем вещи своими именами. Не надо…

Мне не нравятся лопаты. Не нравится, что ими делают — ямы копают в земле.

Не психуй.

Дай ей платок. Не время дразнить. Ей надо пойти наверх и отдохнуть. И все будет в порядке.

Пусть это тебя не волнует.

Не принимай близко к сердцу.

Забудь.

Слепой убийца: Конец Сакел-Норна

Ночью она внезапно просыпается, сердце отчаянно колотится. Она выскальзывает из постели, бесшумно подходит к окну, поднимает раму и выглядывает. Почти полная луна, вся в прожилках и старых шрамах; ниже разливается нежно-оранжевый свет уличных фонарей, что отражаются в небе. Внизу — тротуар, покрытый пятнами теней; его загораживает каштан в саду перед домом, надежной, прочной сетью раскинул ветви, слабо поблескивают белые мотыльки цветов.

Рядом с каштаном мужчина, смотрит вверх. Она видит черные брови, глазные впадины,

улыбку, разрезавшую темный овал лица. На ключицах что-то белеет — рубашка. Он поднимает руку, машет: он хочет, чтобы она вышла к нему — вылезла из окна, спустилась по дереву. Но она боится. Боится упасть.

Вот он на подоконнике, вот он в комнате. Цветы каштана ярко вспыхивают: при свете она видит лицо, посеревшую кожу; двумерные черты, как на фотографии, только размытые. Пахнет сгоревшим беконом. Он смотрит не на неё — не совсем на неё; она превратилась в свою тень, и он смотрит на тень. Туда, где были бы глаза, если бы тень видела.

Ей мучительно хочется прикоснуться к нему, но она не решается. Если его обнять, он расплывется, растает, распадется на куски, превратится в дым, в молекулы, в атомы. Её руки пройдут сквозь него.

Я же говорил, что вернусь.

Что с тобой случилось? Что произошло?

А ты не знаешь?

Теперь они снаружи — видимо, на крыше, смотрят вниз на город, но она этого города никогда не видела. На него точно сбросили громадную бомбу, всё в огне, всё пылает — дома, улицы, дворцы, фонтаны и храмы, они взрываются, лопаются

фейерверками. И ни звука. Город горит в тишине, как на картинке, — белым, желтым, красным и оранжевым. Ни единого крика. Здесь нет людей — должно быть, они уже погибли.

Его лицо озаряют вспышки. Ничего не останется, говорит он. Груда камней, несколько старых слов. Все кончено, стёрто с лица земли. Никто не вспомнит.

Но он был такой красивый! говорит она. Теперь ей кажется, что она знает город, и знает очень хорошо — как свои пять пальцев. В небе поднимаются три луны. Цикрон, думает она. Любимая планета, земля моего сердца. Там однажды, давным-давно, я была счастлива. Все кончено, все погибло. Она не в силах смотреть на бушующее пламя.

Для кого-то красивый, говорит он. В этом всегда проблема.

А что случилось? Кто это сделал?

Старуха.

Кто?

L'histoire,
cette vieille dame exaltée et menteuse.[62]

Он сверкает, будто жесть. Глаза — вертикаль-

---

[62] Примечания: 62
История — старая дама, восторженная и лживая (фр.).

ные щели. Она помнит его другим. Все, что делало его единственным в своем роде, сгорело. Ничего страшного, говорит он. Город построят заново. Так всегда бывает.

Теперь она его боится. Ты так изменился, говорит она.

Критическая ситуация. Пришлось с огнем бороться огнем.

Но вы победили. Я знаю, вы победили!

Никто не победил.

Значит, она ошиблась? Нет, о победе сообщали. Был парад, говорит она. Я слышала. С духовым оркестром.

Посмотри на меня, говорит он.

Но она не может. Не может сфокусироваться — он неустойчив. Он смутен, плывет, точно пламя свечи, но лишенный света. Она не видит его глаз.

Он мертв, конечно. Конечно, он мертв — она же получила телеграмму. Но ведь это вымысел. Просто другое измерение. Откуда опустошение тогда?

Он уходит, а она не может его позвать — горло пересохло. Вот он скрылся.

У неё сжимается сердце. *Нет, нет, нет, нет,* говорит что-то внутри неё. Слезы струятся по лицу.

И тут она действительно просыпается.

XIII

Рукавицы

Сегодня дождь — слабенький, скуповатый апрельский дождик. Уже зацвели голубые пролески, проклюнулись нарциссы, рвутся к свету бог весть откуда явившиеся незабудки. Ну вот опять — растительная толкотня и давка. Им не надоедает: растения ничего не помнят — вот в чем дело. Не помнят, сколько раз уже проделывали все то же самое.

Должна признаться, меня удивляет, что я по-прежнему здесь, по-прежнему говорю с тобой. Мне нравится думать, что говорю, но, конечно, нет: я ничего не произношу, ты ничего не слышишь. Между нами лишь черная строка: нить, брошенная на пустую страницу, наугад.

Лед на порогах Лувето почти сошел — даже в тенистых провалах. Вода, сначала темная, потом белая, грохочет по известняковым расселинам и валунам, лёгкая, как всегда. Шум страшный, но успокаивающий, красивый даже. Понятно, почему он так людей притягивает. К водопадам, в горы и пустыни, в глубокие озера — туда, откуда

нет возврата.

Пока выловили только один труп — накачанную наркотиками молодую женщину из Торонто. Еще одна поторопилась. Еще одна впустую потраченная жизнь. У неё здесь родственники — дядя, тетя. Теперь на них косятся, словно они виноваты; а у них сердитый вид загнанных в угол людей, знающих, что они невиновны. Не сомневаюсь, что за ними нет вины, но они живы, а все шишки получает тот, кто выжил. Такое правило. Пусть несправедливое.

Вчера утром заехал Уолтер — посмотреть, что разладилось за зиму. Как он говорит — «весенняя настройка», — он это проделывает у меня каждый год. Привез ящик с инструментами, ручную электропилу, электродрель: ему бы только пожужжать всласть.

Он сложил инструменты на задней веранде и затопал по дому. Вернулся довольный.

— Из садовой калитки вывалилась планка, — сказал он. — Сегодня поставлю новую, а выкрашу, когда высохнет.

— Да не беспокойся ты, — я это повторяю каждый год. — Все разваливается, но меня переживет.

Как обычно, Уолтер не обращает на меня вни-

мания.

— И ступеньки на крыльце, — говорит он. — Надо покрасить. Одна вот-вот обвалится — набьем поверх новую. Упустили время — просочилась вода, ступенька гниет. Или даже, раз крыльцо — морилкой, дереву полезнее. Края покрасим другой краской — люди будут видеть, куда ступают. А то можно промахнуться — и до беды недалеко. — *Мы* он говорит из вежливости, а под *людьми* подразумевает меня. — Новую ступеньку набью сегодня.

— Ты промокнешь, — говорю я. — И по телевизору обещали, будет то же самое.

— Не-а, прояснится. — На небо даже не посмотрел.

Уолтер уехал за чем-то — наверное, за планками, а я этот промежуток времени пролежала на диване туманной героиней романа, забытой на страницах книги, где ей предназначено желтеть, плесневеть и осыпаться вместе с бумагой.

Отвратительный образ, сказала бы Майра.

А что ты предлагаешь? — спросила бы я.

Дело в том, что у меня опять барахлит сердце. *Барахлит* — своеобразное слово. Так говорят, желая преуменьшить опасность. Точно бракованная деталь (сердце, желудок, печень и все

остальное) — капризный, сложный механизм, который можно образумить машинным маслом или отверткой. А все эти симптомы — толчки, боль, сердцебиение — просто выпендреж, и орган скоро перестанет резвиться и снова заработает, как надо.

Доктор недоволен. Что-то мямлит про анализы, обследования и поездки в Торонто, где прячутся лучшие специалисты, — те немногие, что ещё не отправились в мир иной. Доктор поменял мне лекарство и добавил ещё одно. Даже заговорил об операции. О чем речь, и чего мы достигнем, поинтересовалась я. Как выяснилось, усилий много, а толку мало. Он подозревает, что тут не обойтись без полной замены агрегата — это он так сказал, будто речь идет о посудомоечной машине. Мне придется встать в очередь и ждать агрегата, который больше не нужен владельцу. Проще говоря, чужого сердца, вырванного из груди какого-нибудь юнца: глупо вшивать такое же старое и изношенное, как то, что собираешься выбросить. Требуется свежее и сочное.

Но кто знает, откуда их берут? Я думаю, у беспризорных детей из Латинской Америки, во всяком случае, ходят такие параноидальные слухи. Похищенные сердца, товар черного рын-

ка, вырванные из сломанных ребер, теплые, окровавленные, принесенные в жертву фальшивому богу. Кто этот фальшивый бог? Мы. Мы и наши деньги. Так сказала бы Лора. *Не трогай эти деньги,* говорила Рини. *Ты не знаешь, где они побывали.*

Смогу ли я жить, сознавая, что во мне сердце мертвого ребенка?

А если нет, тогда что?

Только не принимай эту путаную тоску за стоицизм. Я пью лекарства, с грехом пополам гуляю, но ничего не могу поделать со своим ужасом.

После ланча — кусок черствого сыра, стакан подозрительного молока и вялая морковка (на этой неделе Майра не выполнила взятое на себя обязательство наполнять мне холодильник), — вернулся Уолтер. Он измерял, пилил, колотил молотком, а потом постучался ко мне, извинился за шум и сказал, что теперь все тип-топ.

— Я приготовила кофе, — сказала я. Это часть апрельского ритуала. Не пережгла ли я кофе в этот раз? Не важно. Он к Майриному привык.

— Не возражаете? — Он осторожно стянул резиновые сапоги и оставил их на задней веранде — Майра вымуштровала: ему не разрешается ходить в, как она выражается, *его грязи,* по, как она

выражается, *её коврам* — и на цыпочках пошел в огромных носках по кухонному полу. Благодаря героическим усилиям Майриной женщины, пол теперь стал чистый и скользкий, как каток. Раньше на полу был липкий налет — тонкий слой клея из грязи и пыли, но его больше нет. Пожалуй, надо посыпать песком, иначе поскользнусь и что-нибудь себе сломаю.

Видеть, как Уолтер идет на цыпочках, — само по себе развлечение; будто слон ступает по яйцам. Он добрался до кухонного стола и выложил рабочие рукавицы из желтой кожи; они походили на огромные лапы.

— Новые рукавицы, — уточнила я. До того новые, что прямо сияли. Ни царапинки.

— Майра купила. От нас через три улицы мужик себе кончики пальцев лобзиком отхватил, так она разволновалась, боится, что я такое же учиню. Но тот мужик дурак дураком, переехал из Торонто, ему, извиняюсь за выражение, вообще пилу нельзя в руки давать: он себе и голову отпилит — потеря, правда, невелика. Я ей сказал, чтобы сделать такое, надо быть совсем дубиной, и к тому же у меня нет лобзика. Но она все равно заставляет, куда ни пойду, таскать эти чертовы рукавицы. Только я за дверь — постой-ка, рука-

вицы забыл.

— А ты их потеряй, — посоветовала я.

— Новые купит, — мрачно ответил он.

— Тогда оставь здесь. Скажи, забыл, заберешь потом. А сам не забирай. — Я представила, как одинокими ночами держу брошенную кожаную руку Уолтера — какой-никакой компаньон. Душераздирающе. Может, завести кошку или собачку. Что-нибудь теплое, пушистое и не критикующее, — друга, помогающего ночи коротать. Млекопитающие сбиваются в стаи: одиночество вредно для глаз. Но если я заведу живность, то, скорее всего, споткнусь о неё и сломаю шею.

Рот Уолтера подергивался, показались кончики верхних зубов — это он улыбался.

— Один ум хорошо, а два лучше, — сказал он. — Может, вы как бы случайно бросите их в мусорное ведро.

— Ну ты и плут, Уолтер, — сказала я. Он заулыбался ещё шире, положил в кофе пять ложек сахара, выпил залпом, затем оперся руками о стол и поднялся — словно памятник на канатах. И я вдруг ясно представила: последнее, что он для меня сделает, — поднимет угол гроба.

Он это тоже знает. Он готов помочь. Не из неумех. Не засуетится, не уронит меня, просле-

дит, чтобы я ровно двигалась в этом последнем коротком путешествии. «Взяли», — скажет он. И меня возьмут.

Печально. Я понимаю; и ещё сентиментально. Но, пожалуйста, потерпи меня. Умирающим нужна некоторая свобода, как детям в дни рождения.

Огонь в домах

Вчера вечером я смотрела по телевизору новости. Зря: это вредно для пищеварения. Где-то опять война — мелкий, что называется, конфликт, но тем, кто внутри, он, конечно, мелким не кажется. Они все похожи, эти войны: мужчины в камуфляже с повязками на пол-лица, клубы дыма, выпотрошенные дома, сломленные, плачущие мирные жители. Бесконечные матери тащут бесконечных ослабевших детей, лица забрызганы кровью; бесконечные с толку сбитые старики. Молодых людей посылают на войну и убивают, дабы предотвратить месть, — греки в Трое так делали. Если не ошибаюсь, так же Гитлер объяснял уничтожение еврейских младенцев.

Войны разражаются и умирают, но тут же — новая вспышка. Дома трескаются яичной скорлупой, их нутро пылает, разворовывается, или мстительно топчется. Беженцев атакуют с

воздуха. В миллионах подвалов перепуганная царская семья смотрит на расстрельный отряд — зашитые в корсеты драгоценности никого не спасут. Воины Ирода обходят тысячи улиц; из соседнего дома Наполеон дает деру с краденым серебром. После нашествия — любого нашествия — в канавах валяются изнасилованные женщины. Справедливости ради добавим: и изнасилованные мужчины. Изнасилованные дети, изнасилованные собаки и кошки. — Ситуация выходит из-под контроля.

Только не здесь, не в тихой, стоячей заводи, не в Порт-Тикондероге. Парочка наркоманов в парке, иногда ограбление или утопленник в водовороте. Мы тут скрючились; вечером, попивая и жуя, пялимся на мир в телевизор, точно в замочную скважину, а когда надоест, выключаем. *Хватит с нас двадцатого века,* говорим мы, поднимаясь по лестнице. Но в отдалении слышится грохот, словно морские валы бьются о берег. Вот он, век двадцать первый, он несется над головами стальным птеродактилем, космическим кораблем с жестокими пришельцами, чьи глаза, как у ящеров. В конце концов они учуют нас, железными когтями сорвут крыши с наших хлипких, жалких домишек, и мы останемся нагими, дрожащими,

голодными, больными и отчаявшимися, как и все остальные.

Прости мне это отступление. В моем возрасте апокалиптические видения позволительны. Говоришь себе: *близится конец света* — и лжешь: *хорошо, я его неувижу.* На самом деле, ты лишь об этом и мечтаешь — только подглядывать в замочную скважину — чтобы тебя не коснулось.

Но что беспокоиться о конце света? Конец света наступает каждый день — для кого-то. Время вздымается, вздымается, и когда оно поднимается до бровей, тонешь.

Что же было дальше? Я вдруг потеряла нить, с трудом вспомнила, на чем остановилась. Война, конечно. Мы не были к ней готовы, но при этом знали, что такое было и прежде. Этот холод, Окутывающий туманом, — холод, в который я родилась. Как тогда, все опасливо трепетало — стулья, столы, улицы, фонари, небо, воздух. Внезапно исчез целый кусок реальности, какой мы её знали. Так случается, когда приходит война.

Но ты слишком молода, чтобы помнить, о какой войне речь. Для пережившего войну она — Война. Моя началась в первых числах сентября 1939 года и продолжалась… Ну, в учебниках истории это есть. Хочешь — посмотри.

Пусть огонь в домах пылает[117] — один из лозунгов прежней войны. Я каждый раз представляла толпу женщин — волосы разметались, глаза горят, — в одиночку или парами они крадутся в лунном свете и поджигают свои дома.

В последние месяцы перед войной наш брак дал трещину, хотя, можно сказать, он треснул с самого начала. У меня был один выкидыш, потом другой. У Ричарда, в свою очередь, одна любовница, потом другая, — как я подозревала; это было неизбежно (скажет потом Уинифред), учитывая хрупкость моего здоровья и желания Ричарда. У мужчин в те дни имелись желания, целая куча; они таились в щелях и закоулках мужского существа и порой, собравшись с духом, переходили в наступление, словно полчище крыс. Они так сильны и коварны, разве обычный мужчина мог им противиться? Эту теорию исповедовала Уинифред, и, если честно, многие другие тоже.

Любовницы Ричарда (я так понимала) были из числа его секретарш — всегда молодые, хорошенькие и приличные девушки. Он приглашал их на работу сразу после окончания курсов. Не-

[117] Примечания: 117

Популярная в Первую мировую войну песня Айвора Новелло и Лины Форд (1914).

которое время они нервозно мне отвечали, когда я звонила Ричарду в контору. Их отряжали покупать для меня подарки и заказывать цветы. Ричард хотел, чтобы они понимали, как обстоят дела: я — законная жена, и разводиться он не намерен. У разведенных нет шансов возглавить государство — тогда не было. Такое положение вещей давало мне определенную власть, но лишь при условии, что я ею не воспользуюсь. По сути я имела власть, лишь притворяясь, что ничего не знаю. Над ним тяготел страх разоблачения: вдруг я узнаю то, что известно всем, и устрою какую-нибудь катастрофу?

Мне было безразлично? Не совсем. Но полбуханки лучше, чем ничего, говорила я себе, а Ричард — просто буханка. Хлеб для Эйми и для меня. Будь выше этого, говорила Рини, и я старалась. Старалась быть выше — воспарить беглым воздушным шариком, и порой мне удавалось.

Я научилась себя занимать. Всерьёз углубилась в садоводство и достигла кое-каких результатов. Теперь погибало не все. Я планировала разбить тенистый сад из многолетних растений.

Ричард соблюдал приличия. Я тоже. Мы посещали коктейли и обеды, приходили, уходили; он придерживал меня за локоть. Мы непременно

выпивали бокал-другой перед обедом, а может и все три, я немного чрезмерно пристрастилась к джину, добавляя в него то одно, то другое, но не переступала грани — ноги не подгибались, и язык не заплетался. Мы скользили по поверхности, по тонкому льду хороших манер, что скрывает темную бездну — лед подтает, и утонешь.

Полужизнь лучше нежизни.

Мне не удалось убедительно нарисовать Ричарда. Он остается картонным силуэтом. Я понимаю. Я не могу его описать, сфокусировать на нём взгляд — Ричард расплывается, точно фотография в отсыревшей выброшенной газете. Он и в то время казался мне и карликом, и исполином. Все потому, что он не в меру богат и его не в меру много, — возникает соблазн ожидать от него больше, чем он способен дать, и обыкновенность его кажется пороком. Он беспощаден, но не лев — скорее, крупный грызун. Роется под землей; убивает живое, перегрызая корни.

Он располагал средствами на благородные поступки, на щедрые жесты, но никогда их не делал. Он превратился в свою статую — огромную, официальную, внушительную и пустую.

Он не был чересчур велик — напротив, слишком мал. Вот так — если в двух словах.

Когда разразилась война, Ричарду пришлось туго. Он так с немцами нежничал, так ими в своих речах восхищался. Как большинство людей его склада, Ричард закрывал глаза на грубейшее попрание демократии в Германии — демократии, которую многие наши лидеры порицали как никуда не годную, а теперь страстно защищали.

Кроме того, Ричард много потерял, лишившись возможности торговать с теми, кто вдруг стал врагом. Пришлось драться и подлизываться; Ричарду это пришлось не по вкусу, но все-таки он на это пошел. Ему удалось сохранить свой статус и вновь вырваться в фавориты: что ж, не он один запачкал руки, и другим не пристало тыкать в него своими грязными пальцами. Скоро его фабрики снова задымили, вовсю выполняя военные заказы, и не было в стране большего патриота, чем Ричард. Так что он выкрутился, когда Россия примкнула к союзникам, и Иосиф Сталин неожиданно превратился в любимого дядюшку. Да, Ричард выступал против коммунистов, но это когда было? Все в прошлом: разве враг твоего врага не твой друг?

Я же ковыляла по жизни; не как обычно (теперь все переменилось), а как могла. Сейчас я бы назвала тогдашнюю себя *«угрюмой».* Ну, или

«отупевшей». Больше не надо было готовиться к приемам в саду, шелковые чулки покупались только на черном рынке. Мясо, масло и сахар нормированы; если не хватало, если хотелось покупать больше, следовало налаживать связи. Никаких трансатлантических вояжей на роскошных лайнерах — «Куин Мэри» перевозила войска. Радио превратилось из портативной эстрады в исступленного оракула; каждый вечер я включала его, чтобы послушать новости — первое время всегда плохие.

Война все продолжалась — работающий без устали мотор. Тоскливое постоянное напряжение измучило людей. Будто слушаешь, как кто-то в предрассветной мгле скрипит зубами, а ты ночь за ночью мучаешься бессонницей.

Случались и маленькие радости. От нас ушел мистер Мергатройд — его призвали в армию. Тогда я и научилась водить машину. Пользовалась одним из наших автомобилей («Бентли», кажется), и Ричард оформил его на меня — так мы получали больше бензина. (Бензин, естественно, тоже нормировался, хотя для таких людей, как Ричард, делались поблажки.) Автомобиль дал мне больше свободы, хотя тогда она уже не была мне так нужна.

Я простудилась, простуда обострилась бронхитом — той зимой все болели. Я выздоравливала несколько месяцев. Все время лежала в постели, чувствуя себя несчастной. Кашель не отпускал. Я больше не ходила смотреть кинохронику — речи, сражения, бомбежки, разорения, победы, даже вторжения. Волнующие времена (так нам говорили), но я потеряла к ним интерес.

Конец войны был не за горами. Приближался с каждым днём. И вот наступил. Я помню тишину, когда окончилась предыдущая война, и потом звон колоколов. В ноябре; лужицы затянул лед. Сейчас была весна. Парады. Декларации. Трубы.

Но закончить войну не так просто. Война — громадный костер, пепел разносится далеко и оседает медленно.

Кафе «Диана»

Сегодня я дошла аж до Юбилейного моста, а на обратном пути свернула в кондитерскую, где съела почти треть апельсинового хвороста. Громадный ком муки и жира забил мне артерии, будто тина.

Потом я отправилась в туалет. Средняя кабинка была занята, и я стала ждать, отворачиваясь от зеркала. С возрастом кожа тончает — видны

все вены, все прожилки. А ты сама становишься толще. Трудно вспомнить, какой же ты была без этой кожуры.

Наконец дверца открылась, и из кабинки вышла девушка — смуглая, в чем-то мрачном, глаза подведены черным. Она вскрикнула, а потом рассмеялась:

— Извините, я не думала, что здесь кто-то есть. Вы подкрались. — Она говорила с акцентом, но была своя. У них одна национальность — молодость. А вот я теперь чужая.

Последняя запись — золотистым фломастером: *«Без Иисуса в рай не попадешь».* Рецензенты уже поработали: *Иисуса* вычеркнули и поменяли на *Смерть.*

Ниже — зеленым: *«Рай — в зерне песка. Блейк»*[118].

И ещё ниже — оранжевым: *«Рай — на планете Ксенор. Лора Чейз».*

Тоже неверная цитата.

Официально война — в Европе то есть — закон-

---

[118] Примечания: 118

Сильно искаженная цитата из стихотворения знаменитого американского поэта Уильяма Блейка (1757–1827) «Прорицания невинности» (впервые опубликовано в 1863 г.). В действительности у Блейка: «В одном мгновенье видеть вечность, огромный мир — в зерне песка». Пер. С. Маршака.

чилась в первых числах мая. Лору только это и занимало.

Она позвонила через неделю. Утром, через час после завтрака, рассчитав, что Ричарда дома нет. Я её не узнала, я давно устала ждать. Я сначала решила, что звонят от портнихи.

— Это я, — сказала она.

— Где ты? — осторожно спросила я. Как ты помнишь, она уже превратилась для меня в неизвестную величину — и, возможно, переменчивую.

— Здесь, — ответила она. — В городе. — Она не сказала, где остановилась, но назвала перекресток, откуда я её заберу. Тогда выпьем чаю, сказала я, решив отвести её в кафе «Диана». Безопасно, народу мало — в основном, женщины; меня там знали. Я сказала, что приеду на машине.

— О, у тебя теперь машина?

— Можно сказать. — Я описала автомобиль.

— Прямо колесница, — беспечно сказала она.

Лора стояла на углу Кинг и Спадина-авеню, где и обещала. Не самый приятный район, но Лору, похоже, это не смущало. Я посигналила, она помахала, подошла и села в машину. Я поцеловала её в щеку. И тут же почувствовала себя

предательницей.

— Не могу поверить, что ты здесь, — сказала я.

— И тем не менее.

Неожиданно я поняла, что сейчас разревусь; она же казалась беззаботной. Только щека прохладная. Прохладная и худая.

— Надеюсь, ты не сказала Ричарду. Что я здесь. Или Уинифред. Что то же самое.

— С чего бы? — ответила я. Она промолчала.

Я вела машину, и не могла на Лору посмотреть. Пришлось сначала парковать автомобиль, идти в кафе, садиться за столик напротив неё. Тут наконец я могла вдоволь наглядеться.

Та и не та Лора, какую я помнила. Старше, конечно, — как и я, — но дело не в этом. Аккуратно, даже строго одета — серо-голубое простое платье с лифом в складку и пуговичками спереди; волосы сильно стянуты на затылке. Похудела, даже усохла, поблекла, но при этом как-то просвечивала: словно острые лучики пробивали кожу изнутри, словно шипы света вырывались наружу в колючей дымке, словно чертополох тянулся к солнцу. Трудно описать. (Да и доверять моему впечатлению не стоит: у меня уже портилось зрение, мне требовались очки, но я об этом ещё не знала. Туманный свет вокруг Лоры — возможно,

просто оптический обман.)

Мы сделали заказ. Она предпочла кофе, а не чай. Кофе будет плохой, предупредила я, из-за войны в таких местах хорошего кофе не бывает.

— Я привыкла к плохому кофе, — сказала она.

Воцарилось молчание. Я не знала, с чего начать. Я не была готова спросить, что она делает в Торонто. Где она была все это время? — спросила я. Чем занималась?

— Сначала жила в Авалоне, — ответила она.

— Но он же закрыт! — Дом не открывали всю войну. Мы не были там несколько лет. — Как ты туда проникла?

— Ну, знаешь, мы всегда попадали, куда нам хотелось.

Я подумала об угольном лотке, о непрочном замке на двери погреба. Но все это давно починили.

— Разбила окно?

— Да зачем? У Рини остался ключ. Только никому не говори.

— Но там же нельзя топить. Наверное, холод собачий, — сказала я.

— Да, не жарко, — ответила Лора. — Зато много мышей. Принесли кофе. Он пахнул подгоревшими корками тостов и жареным цикорием

— неудивительно, в него все это и кладут.

— Хочешь пирожное или ещё что-нибудь? — спросила я. — Здесь неплохо пекут. — Лора была такая худая — я подумала, пирожное не повредит.

— Нет, спасибо.

— Так чем же ты занималась?

— Потом мне исполнился двадцать один, я получила немного денег — тех, папиных. И поехала в Галифакс.

— В Галифакс? Почему в Галифакс?

— Туда приходят пароходы.

Я потеряла нить. Была какая-то причина, как всегда у Лоры, но я боялась её услышать.

— Но что ты *делала?*

— Разное, — ответила она. — Старалась быть полезной. — И ничего больше не прибавила. Наверное, опять благотворительная столовая или что-нибудь в этом духе. Уборка туалетов в больнице, такого рода занятия. — Ты не получала моих писем? Из «Белла-Виста»? Рини говорила, что нет.

— Нет, — сказала я. — Ни одного.

— Думаю, они их украли. И не разрешали звонить и меня навещать?

— Они говорили, это тебе навредит. Она корот-

ко рассмеялась.

— Это навредило бы *тебе,* — сказала она. — Тебе не стоит жить в этом доме. Не стоит жить с *ним.* Он злодей.

— Я знаю, ты всегда так думала, но что мне сделать? Развода он не даст. А денег у меня нет.

— Это не оправдание.

— Возможно, для тебя. У тебя папины деньги, а у меня нет ничего. А как же Эйми?

— Ты можешь её взять с собой.

— Легко сказать. Может, она и не захочет. Она, между прочим, довольно сильно к Ричарду привязана.

— С чего это? — спросила Лора.

— Он её захваливает. Подарки дарит.

— Я тебе писала из Галифакса. — Лора сменила тему.

— Этих писем я тоже не получала.

— Думаю, Ричард читает твою почту, — сказала Лора.

— Я тоже так думаю.

Разговор принял неожиданный оборот. Я предполагала, что буду утешать Лору, сочувствовать, выслушивать печальную историю, а меня поучают. Как легко мы вернулись к прежним ролям.

— Что он про меня рассказывал? — спросила

вдруг Лора. — О том, почему меня туда отправили?

Ну вот и приехали. Вот он, камень преткновения: либо Лора сошла с ума, либо Ричард лгал. Я не верила ни тому, ни другому.

— Кое-что рассказывал, — уклончиво ответила я.

— Что именно? Не волнуйся, я не обижусь. Просто хочу знать.

— Он сказал, что у тебя… ну, психические отклонения.

— Естественно. Он так и должен был сказать. А ещё что?

— Что ты считаешь себя беременной, но это мания.

— Я *была* беременна, — сказала Лора. — В этом все дело. Потому меня и упрятали так срочно. Он и Уинифред — они до смерти испугались. Позор, скандал! А как же его большое будущее?

— Да, я себе представляю. — И я хорошо себе представляла: конфиденциальный звонок от врача, паника, торопливые переговоры, скоропалительный план, И другая версия, лживая, состряпанная лично для меня. Я была довольно покладиста, но они понимали, что всему есть предел. Не знали, что я натворю, если они за

предел выйдут.

— В общем, ребенка я не родила. Такое в «Белла-Виста» тоже проделывают.

— Тоже? — Я чувствовала себя полной дурой.

— Ну, помимо бормотания, таблеток и машин. Делают аборты, — объяснила она. — Усыпляют эфиром, как дантисты. Потом вынимают ребенка. Потом говорят, что ты все выдумала. А потом, если ты их обвиняешь, говорят, что ты опасна для себя и окружающих.

Так спокойна, так убедительна.

— Лора, — сказала я, — ты уверена? Насчет ребенка. Ты уверена, что он был?

— Конечно, уверена, — ответила она. — Зачем мне выдумывать?

Можно было сомневаться, но на этот раз я ей поверила.

— Как это случилось? — прошептала я. — Кто отец? — Такой вопрос — поневоле зашепчешь.

— Если ты ещё не знаешь, думаю, мне не следует говорить. Должно быть, Алекс Томас, решила я. Алекс — единственный мужчина, к которому Лора проявляла интерес, — не считая отца и Бога. Все во мне противилось этой мысли, но других кандидатур не было. Наверное, встречались, пока она прогуливала в первой торонтской школе,

и после, когда перестала ходить в школу; когда она в своем благонравном ханжеском фартучке якобы ободряла немощных старых бедняков. Несомненно, фартучек его особенно возбуждал, — такие эксцентричные штрихи в его вкусе. Может, она поэтому и учебу бросила — чтобы встречаться с Алексом. Сколько ей тогда было — пятнадцать, шестнадцать? Как он мог?

— Ты его любила? — спросила я.

— Любила? — не поняла Лора. — Кого его?

— Ну… ты понимаешь… — У меня язык не поворачивался.

— Ох, нет, конечно, нет. Было ужасно, но мне пришлось. Я должна была принести жертву. Принять боль и страдания. Я пообещала Богу. Я знала, что это спасет Алекса.

— Что ты несешь? — Моя уверенность в Лорином здравом рассудке вновь пошатнулась — мы вернулись назад, в царство её абсурдной метафизики. — Спасет Алекса от чего?

— От преследования. Его бы расстреляли. Кэлли Фицсиммонс знала, где он, и рассказала. Рассказала Ричарду.

— Я не верю.

— Кэлли была стукачкой, — сказала Лора. — Так Ричард говорил — что Кэлли его *информировала.*

Помнишь, её посадили в тюрьму, а Ричард её оттуда вытащил? Вот именно поэтому. Он был ей обязан.

Такое объяснение показалось мне просто захватывающим. И чудовищным, хотя имелась маленькая, крошечная вероятность, что это правда. Но, значит, Кэлли лгала. Откуда ей знать, где Алекс? Он постоянно переезжал.

Он, конечно, мог сам с ней общаться. Вполне мог. Наверное, Кэлли он доверял.

— Я выполнила свою часть сделки, — сказала Лора, — и все получилось. Бог не жульничает. Но потом Алекс ушел на войну. Уже после того, как вернулся из Испании. Так сказала Кэлли — я с ней говорила.

Я уже ничего не понимала. У меня голова шла кругом.

— Лора, — спросила я, — зачем ты сюда приехала?

— Потому что война кончилась, и Алекс скоро вернется, — терпеливо объяснила она. — Если меня тут не будет, как он меня отыщет? Он не знает о «Белла-Виста», не знает, что я ездила в Галифакс. Он меня найдет только по твоему адресу. И передаст мне весточку. — У неё была железная уверенность истинно верующего человека, и я

пришла в ярость.

Мне захотелось её встряхнуть. Я на секунду закрыла глаза. Я увидела пруд в Авалоне, каменную нимфу, окунувшую ножку в воду; увидела жаркое солнце, сверкающее на зеленых листьях, что казались резиновыми; тот день после маминых похорон. Меня затошнило — слишком много сладкого. Лора сидела рядом на парапете, удовлетворенно напевая — в полной уверенности, что все хорошо, ангелы на её стороне, потому что у неё с Богом идиотский секретный договор.

У меня от злости зачесались руки. Я знала, что сейчас будет, Я столкну её с парапета.

Сейчас я перехожу к тому, что мучит меня по сей день. Мне следовало прикусить язык, не открывать рта. Из любви солгать или придумать что-нибудь — что угодно, только не правду. *Никогда не трогай лунатика,* говорила Рини. *Шок его убьет.*

— Лора, мне тяжело это говорить, — сказала я, — но что бы ты ни делала, это не спасло Алекса. Алекс погиб. Его убили на фронте полгода назад. В Голландии.

Её сияние померкло. Она страшно побледнела. Словно у меня на глазах застывал воск.

— Откуда ты знаешь?

— Я получила телеграмму, — сказала я. — Её прислали мне. Он указал меня как ближайшую родственницу. — Я ещё могла все изменить. Могла сказать: *должно быть, это ошибка, должно быть, телеграмма предназначалась тебе.* Но я сказала не это. Я сказала вот что: — Это было очень опрометчиво с его стороны. Не стоило так делать — из-за Ричарда. Но у Алекса нет семьи, а мы с ним были любовниками, понимаешь — втайне, уже довольно давно, — кому ещё он мог сообщить?

Лора молчала. Только смотрела на меня. Сквозь меня. Бог знает, что она видела. Тонущий корабль, город в огне, вонзенный в спину нож. Но я узнала этот взгляд: она так же смотрела в тот день, когда чуть не утонула в Лувето, в её глазах, когда она уходила под воду, был ужас, холод, исступление. Сверкание стали.

Через мгновение она встала, протянула руку и взяла со стола мою сумочку, быстро и как-то бережно, словно там лежало что-то хрупкое. Потом повернулась и вышла из кафе. Я не пошевелилась, не остановила её. Она застигла меня врасплох, а когда я встала из-за стола, Лоры и след простыл.

С оплатой счета получилось неудобно — деньги

остались в сумке, которую сестра, — объяснила я, — взяла по ошибке. Я пообещала завтра же возместить. Все уладив, я чуть не бегом бросилась к машине. Она исчезла. Ключи тоже лежали в сумке. Я не знала, что Лора научилась водить машину.

Я прошла пешком несколько кварталов, изобретая истории. Правду я рассказать не могла: Ричард и Уинифред расценят случай с машиной как ещё одно свидетельство Лориной невменяемости. Скажу, что произошла авария, автомобиль отбуксировали в гараж, а мне вызвали такси. И только подъезжая к дому, я сообразила, что случайно оставила сумку в машине. Но беспокоиться не о чем, скажу я. Завтра утром я все улажу.

И я действительно вызвала такси. Миссис Мергатройд откроет дверь и расплатится.

Ричард не обедал дома. Уехал в клуб, ел скверную еду и говорил речи. Он теперь торопился — впереди маячила цель. Не только власть и богатство, как я теперь понимаю. Он хотел уважения — уважения, невзирая на то, что он из нуворишей. Он тосковал об этом, он этого жаждал; он хотел обладать уважением — не только молотом, но скипетром. Сама по себе эта цель презрения не вызывает.

В клуб, куда он сегодня отправился, допускались одни мужчины, иначе мне тоже пришлось бы идти, сидеть в заднем ряду, улыбаться, в конце речи аплодировать. А в такие дни я отпускала няню и сама укладывала Эйми спать. Купала её, читала на ночь, подтыкала одеяло. В тот вечер Эйми на редкость долго не засыпала — видимо, чувствовала, что я чем-то взволнована. Я сидела с ней, держала за руку, гладила ей лоб и смотрела в окно, пока она не задремала.

Куда Лора уехала, где она сейчас, что она сделала с моей машиной? Как мне найти её, что сказать, чтобы все исправить?

В окно бился привлеченный светом майский жук. Словно палец тыкался. Жук сердито, упрямо и беспомощно жужжал.

Эскарп

Сегодня мозг сыграл злую шутку — арктическая мгла, точно снегом заволокло. Исчезло не имя — это обычное дело, — а слово: встало вверх тормашками и выплеснуло смысл, точно перевернутый бумажный стаканчик.

Слово *эскарп.* Откуда оно взялось? *Эскарп, эскарп,* повторяла я — может, и вслух, — но образа не возникало. Это что — предмет, занятие, душев-

ное состояние, физический недостаток?

Полный ноль. Головокружение. Пошатываясь, я стояла на самом краю, хватаясь за воздух. В конце концов, полезла в словарь. *Эскарп* — вертикальное военное укрепление или крутой откос.

В начале было слово, когда-то верили мы. Знал ли Бог, как оно хрупко, как неустойчиво? Как неуловимо, как легко вычеркивается?

Может, это и случилось с Лорой — вполне буквально выбило ей почву из-под ног. Она так верила словам, строила из них свой карточный домик, считала такими надежными, а они вдруг свихнулись, открылись ей пустотой и разлетелись бумажными клочками.

Бог. Доверие. Жертва. Справедливость.

Вера. Надежда. Любовь.

Не говоря о *сестре.* Ну, да. Так всегда и бывает.

Назавтра после встречи с Лорой я все утро слонялась у телефона. Шли часы — никто не звонил. У меня был назначен обед с Уинифред и ещё двумя членами её комитета в «Аркадском дворике». С Уинифред лучше ничего не менять — иначе ей станет любопытно, — и я отправилась на обед.

Речь шла о её последнем проекте — кабаре для раненых ветеранов. Пение, пляски, девушки изобразят канкан, а нам следует дружно под-

ключаться и продавать билеты. Что, Уинифред сама станет отплясывать в кружевной юбочке и черных чулках? Я очень надеялась, что нет. Она уже была кожа да кости.

— Ты какая-то замученная, Айрис, — Уинифред склонила голову набок.

— Правда? — весело отозвалась я. В последнее время она то и дело замечала, что я не в лучшем виде. Так она давала понять, что я могла бы усерднее поддерживать Ричарда в его походе к славе.

— Да, что-то бледненькая. Ричард измучил? Неутомимый мужчина. — Она была в прекрасном настроении. Наверное, её планы — её планы насчет Ричарда — продвигались, несмотря на мою вялость.

Но я особо не могла уделить ей внимание; я слишком беспокоилась о Лоре. Что делать, если она вскоре не объявится? Едва ли можно заявить, что автомобиль украден: я вовсе не хотела, чтобы Лору арестовали. И Ричард бы не хотел. Никто в этом не заинтересован.

Вернувшись домой, я узнала от миссис Мергатройд, что Лора приходила в мое отсутствие. Даже не позвонила в дверь — миссис Мергатройд случайно наткнулась на неё в коридоре. Такое потрясение — увидеть мисс Лору после стольких лет

— все равно, что с призраком встретиться. Нет, адреса не оставила. Но кое-что сказала. *Скажите Айрис, что я потом с ней поговорю.* Кажется, так. Ключи от дома положила на поднос для писем; сказала, что взяла их по ошибке. Странно взять ключи по ошибке, добавила миссис Мергатройд, чей курносый нос почуял паленое. Она уже не верила в мою историю о гараже.

Мне стало легче: ещё не все потеряно. Лора по-прежнему в городе. Она со мной поговорит.

Так и случилось, хотя она, как и все мертвые, имеет привычку повторяться. Они говорят все, что и при жизни, редко что-то новенькое.

Я переодевалась после обеда; тут пришел полицейский и сообщил о несчастном случае. Лора свернула на оградительный щит и съехала с моста на авеню Сен-Клер прямо в глубокий овраг. Автомобиль смяло в лепешку, скорбно покачал головой полицейский. Лора была в моей машине — это они выяснили. Сначала подумали — естественно, — что найденная в обломках сгоревшая женщина — это я.

Вот была бы новость.

После ухода полицейского я тщетно пыталась унять дрожь. Надо держать себя в руках,

нельзя терять самообладание. *Коли запела — терпи музыку,* говорила Рини, но какую она себе представляла музыку? Безвкусный духовой оркестр, какой-нибудь парад, и вокруг люди тычут пальцами и улюлюкают? А в конце сгорает от нетерпения палач.

Меня ждал перекрестный допрос Ричарда. Рассказ про машину и гараж можно не менять, только прибавить, что я встречалась за чаем с Лорой, а ему не рассказала, не желая волновать по пустякам перед ответственной речью. (У него теперь все речи ответственные: Ричард примеривался схватить удачу за хвост.)

Когда автомобиль сломался, Лора была со мной, скажу я; мы вместе ездили в гараж. Я забыла сумочку, Лора, наверное, её подобрала, а уж потом — пара пустяков явиться наутро вместо меня и забрать мою машину, расплатившись поддельным чеком из моей чековой книжки. Для правдоподобия вырву чек. Спросят, где гараж, скажу — забыла. Спросят ещё что-нибудь — расплачусь. Как я могу, скажу я, в подобный момент помнить такую мелочь?

Я пошла наверх переодеться. В морг нужны перчатки и шляпка с вуалью. Там уже могут быть репортеры, фотографы. Поеду на машине, поду-

мала я, и вспомнила, что машина теперь — груда металлолома. Придется вызвать такси.

Еще нужно позвонить в контору и предупредить Ричарда. Едва поползет слух, на Ричарда тут же налетят трупные мухи. Он чересчур известен. Он, конечно, захочет подготовить заявление о том, как мы скорбим.

Я набрала номер. Трубку сняла нынешняя молодая секретарша. Я сказала, что дело срочное — нет, через неё не могу передать. Могу говорить только с Ричардом.

Какое-то время его искали.

— Что стряслось? — спросил он. Он не любил звонков на работу.

— Произошло ужасное несчастье, — сказала я. — С Лорой. Она была за рулем, и машина упала с моста.

Ричард молчал.

— Это была моя машина.

Ричард молчал.

— Боюсь, Лора погибла, — прибавила я.

— О боже. — Пауза. — Где она была все это время? Когда она вернулась? И что она делала в твоей машине?

— Я подумала, что лучше сказать тебе сразу, пока репортеры не сбежались, — сказала я.

— Да, — отозвался он. — Это мудро.

— А сейчас мне нужно ехать в морг.

— В морг? — спросил он. — В городской морг? За каким чертом?

— Её туда отвезли.

— Ну так забери её оттуда, — сказал он. — Перевези в какое-нибудь место поприличнее. Более…

— Закрытое, — сказала я. — Да, я так и сделаю. Я ещё должна сказать, что у полиции имеются подозрения — полицейский только что был здесь, — они предполагают…

— Что? Что ты им сказала? Что предполагают? — Он явно встревожился.

— Только лишь, что она сделала это нарочно.

— Чушь! Наверняка несчастный случай. Надеюсь, ты так и сказала.

— Конечно. Но были свидетели. Они видели…

— Она оставила записку? Если оставила, сожги.

— Их двое — юрист и кто-то из банка. На ней были белые перчатки. Они видели, как она вывернула руль.

— Обман зрения, — сказал он. — Или пьяные были. Я позвоню адвокату. Я все улажу.

Я положила трубку. Пошла в гардеробную — понадобится черное и носовой платок. Нужно

сказать Эйми, подумала я. Скажу, все из-за моста. Скажу, он рухнул.

Я открыла ящик с чулками, — там они и лежали, пять тетрадок, перевязанных бечевкой, дешевых школьных тетрадок времен мистера Эрскина. На обложке — Лорино имя, печатными буквами; её детский почерк. А ниже: *Математика.* Лора ненавидела математику.

Старые классные работы, подумала я. Нет, старые домашние работы. Зачем она мне их оставила?

Тут я могла бы остановиться. Предпочесть незнание. Но я поступила, как ты — как ты, если ты досюда дочитала. Я предпочла знать. Как большинство из нас. Мы хотим знать, несмотря ни на что, мы готовы к увечьям, готовы, если надо, сунуть руку в огонь. И не только из любопытства: нами движет любовь или горе, отчаяние или ненависть. Мы неустанно шпионим за мертвыми: вскрываем их письма, читаем дневники, перебираем их мусор в поисках намека, последнего слова, объяснения от тех, кто покинул нас, кто оставил нас тащить эту ношу, что подчас оказывается гораздо тяжелее, чем мы думали.

А что сказать о тех, кто оставляет путеводные нити, чтобы мы в них путались? Что ими движет?

Самовлюбленность? Жалость? Месть? Простое стремление существовать, вроде нацарапанных на стене туалета инициалов? Сочетание присутствия и анонимности — исповедь без наказания, истина без последствий, — в этом есть своя прелесть. Так или иначе, смыть с пальцев кровь…

Те, кто оставляет такие улики, едва ли вправе жаловаться, если потом придут чужаки и сунут нос во все, что когда-то их не касалось. И не только чужаки — ещё любовники, друзья, родственники. Мы все вуайеристы, абсолютно все. Почему мы уверены, будто нечто из прошлого принадлежит нам просто так, ибо мы его нашли. Все мы превращаемся в кладбищенских воров, едва вскрываем не нами запертые двери.

Но только запертые. Комнаты и все, что в них есть, не тронуто. Если бы покинувшие их желали забвения, им всегда оставался огонь.

XIV

Золотистый локон

Надо торопиться. Я уже вижу конец, что мерцает впереди огнями мотеля в темную дождливую ночь. Последний шанс, послевоенный мотель, где не задавали вопросов, где в регистрационной книге ни одного подлинного имени, а деньги вперед. В конторе висят гирлянды с прошлого Рождества; за конторой кучка мрачных лачуг, подушки влажны от плесени. В лунном свете стоит бензоколонка. Бензина, правда, нет — кончился полвека назад. И вот здесь ты остановишься.

Конец — теплая безопасная гавань. Где ты отдохнешь. Но мне ещё идти — я стара, устала, я иду пешком, хромая. Заблудилась в лесу, и не видать белых камешков, что укажут дорогу, и впереди — ненадежная почва.

Призываю вас, волки! Мертвые женщины с лазурными волосами и глазами, будто кишащие змеями бездонные колодцы, я обращаюсь к вам! Не оставьте меня и в конце! Направляйте трясущиеся артритные пальцы, липкую шариковую ручку, подержите на плаву протекающее сердце

ещё несколько дней. Будьте мне спутниками, помощниками и друзьями; *ещё один раз,* прибавляю я, ибо разве в прошлом мы не были близко знакомы?

Всему свое место, как говорила Рини, а в дрянном настроении (беседуя с миссис Хиллкоут): *цветы без дерьма не растут.* Мистер Эрскин научил меня парочке полезных трюков. Если понадобится, правильно сформулированное обращение к фуриям может оказаться полезным. Главным образом, когда дело касается мести.

Вначале я верила, что хочу лишь справедливости. Думала, что сердце мое чисто. Нам нравится думать, что наши мотивы хороши, когда мы собираемся причинить вред кому-нибудь другому. Но, как замечал тот же мистер Эрскин, Эрос со своим луком и стрелами — не единственный слепой бог. Юстиция тоже слепа. Нескладные слепые боги с острым оружием: Юстиция держит меч, и в сочетании со слепотой это дает неплохой шанс поранить себя.

Ты, конечно, хочешь знать, что было в Лориных тетрадках. Они остались, как были, по-прежнему связаны грубой бурой бечевкой, ждут тебя в пароходном кофре вместе со всем остальным. Я их не трогала. Сама увидишь. Вырванные страницы

— не моих рук дело.

Чего я ждала в тот полный ужаса майский день 1945 года? Признаний, упреков? Или дневника с рассказом о любовных свиданиях Лоры и Алекса Томаса? Конечно, конечно же. Я приготовилась к мучениям. И я их получила — пусть не те, что себе представляла.

Я разрезала бечевку, разложила веером тетради. Их было пять: *Математика, География, Французский язык, История и Латынь.* Книги знаний.

Она пишет, как ангел, говорится о Лоре на задней обложке одного издания «Слепого убийцы». Американского издания, если не ошибаюсь, с золотым орнаментом на обложке; на ангелов они особенно упирали. Но ведь ангелы много не пишут. Ведут подсчет грехам, записывают проклятых и спасенных, или одинокая рука начертает предостережение на стене. А то послания — главным образом, неважные новости: *Бог с тобою* — не вполне благословение.

Имея все это в виду, можно сказать: да, Лора писала, как ангел. Другими словами, мало. Зато по сути дела.

Первой я открыла тетрадь по латыни. Большинство страниц чистые, кое-где — неровные

края; наверное, Лора выдирала старые домашние задания. Оставила одно — свой перевод, сделанный с моей помощью и с помощью библиотеки в Авалоне, — заключительные строки Книги IV «Энеиды» Вергилия. Дидона закалывает себя на погребальном костре или алтаре, что сложила из вещей, как-то связанных с её пропавшим возлюбленным Энеем, который уплыл на войну, дабы исполнить свое предназначение. Дидона умирает не сразу, хотя истекает кровью, как заколотая свинья. Она ужасно корчится. Помнится, мистер Эрскин особенно любил это место.

Я помню тот день, когда Лора это писала. Вечернее солнце окрашивало мою спальню. Лора лежала на животе на полу, болтая ногой в носочке, и терпеливо переписывала к себе в тетрадь наше совместное творение. От неё пахло мылом «Айвори» и карандашной стружкой.

Тогда могущественный Юпитер пожалел её за эти долгие муки и трудный путь и послал с Олимпа Айрис, чтобы та вынула из тела страдающую душу, которая все ещё там пребывала. Это было необходимо, потому что Дидона умирала не естественной смертью и не от руки другого человека, а убив себя в порыве отчаяния. И Прозерпина не срезала ещё золотистый локон с её головы и не

отправила в подземный мир.

И вот, в туманной дымке, с крыльями желтыми, точно крокус, оставляя за собой тысячи радужных цветов, сверкающих на солнце, Айрис слетела на землю и, склонившись над Дидоной, сказала:

Как мне приказано, я забираю то священное, что принадлежит Богу Смерти, и выпускаю тебя из тела. И тут же тепло ушло, и жизнь её растворилась в воздухе.

— А почему она должна была срезать локон? — спросила Лора. — Эта Айрис?

Я понятия не имела.

— Просто должна была — и все. Вроде жертвоприношения. Мне было приятно, что у меня имя одной из героинь. Значит, меня назвали не только в честь цветка, как я всегда думала. Ботанический мотив в именах девочек в семье матери был очень популярен.

— Это помогло Дидоне покинуть тело, — сказала Лора. — Она больше не хотела жить. И её страдания закончились, — значит, все правильно. Да?

— Ну, наверное. — Меня не очень интересовали этические тонкости. Странные вещи творятся в поэмах. Разбираться в них бессмысленно. Но мне было интересно, неужели Дидона блондинка; во

всей этой истории она казалась мне брюнеткой.

— А кто такой Бог Смерти? Почему ему нужны волосы?

— Хватит уже про волосы, — сказала я. — Латынь мы сделали. Давай французский закончим. Мистер Эрскин много задал, как всегда. Итак: Il ne faut pas toucher aux idoles: la dorure en reset aux mains[64].

— Может, так: не имейте дела с ложными богами, перепачкаете руки золотой краской.

— Здесь не говорится о краске.

— Но имеется в виду.

— Ты знаешь мистера Эрскина. Ему плевать, что имеется в виду.

— Я его ненавижу. Я хочу, чтобы вернулась мисс Вивисекция.

— И я. Я хочу, чтобы мама вернулась.

— И я.

Мистер Эрскин невысоко оценил Лорин перевод. Весь исчеркал красным карандашом.

Как описать ту бездну горя, куда я теперь погружалась? Я не могу, потому и не пытаюсь.

Я пролистала остальные тетради. В *Истории* не было ничего, кроме вклеенного снимка: Лора

---

[64] Примечания: 64

Не прикасайтесь к идолам, их позолота останется на пальцах (фр.).

и Алекс Томас на пикнике пуговичной фабрики; оба светло-желтые, а моя отрезанная голубая рука ползет к ним по лужайке. В *Географии* — только краткое описание Порт-Тикондероги, которое нам задал мистер Эрскин. «Этот небольшой город расположен у места слияния двух рек — Лувето и Жога, и знаменит ценными породами камней и многим другим» — первое Лорино предложение. Из *Французского* Лора вырвала все домашние работы и вставила забытый Алексом Томасом лист с непонятными словами, который она, как я теперь выяснила, так и не сожгла. *Анхорин, берел, каршинил, диамит, эбонорт…* Иностранный язык, это правда, но я научилась понимать его лучше, чем французский.

В *Математике* — длинный столбец цифр, напротив некоторых — слова. Я изучала их несколько минут. Потом поняла: это были даты. Первая совпадала с моим возвращением из Европы, последняя — где-то за три месяца до Лориного отъезда в «Белла-Виста». А слова были такие:

Авалон, нет. Нет. Нет. «Саннисайд». Нет. Ксанаду, нет.

«Куин Мэри», нет, нет. Нью-Йорк, нет. Авалон. Сначала нет.

«Наяда», Х. «Одурманен».
Опять Торонто. Х.
Х. Х. Х. Х.
О.

Вот и вся история. Теперь все выяснилось. Все происходило прямо у меня под носом. Как я могла не увидеть?

Значит, не Алекс Томас. Никакой не Алекс. Для Лоры Алекс оставался в другом измерении.

Победа приходит и уходит

Проглядев Лорины тетрадки, я положила их в ящик с чулками. Все выяснилось, но ничего не докажешь. Уж это я понимала.

Но, как говорила Рини, есть много способов ободрать кошку. Не выходит напролом — иди в обход.

Я подождала кремации, потом — ещё неделю. Не хотелось делать резких движений. Рини ещё говорила: *лучше осторожничать, чем жалеть*. Сомнительное утверждение: часто одно не исключает другое.

У Ричарда случилась поездка в Оттаву — ответственная поездка в Оттаву. Он намекнул, что влиятельные люди заговорят о важном не в этот

раз, так скоро. Я сказала ему, а заодно и Уинифред, что по такому случаю отвезу в Порт-Тикондерогу Лорин прах в серебряной шкатулке. Надо его развеять, сказала я, и договориться об ещё одной надписи на фамильной плите. Чтобы все как полагается.

— Не вини себя, — сказала Уинифред, надеясь, что этим я и занята: если я виню себя, значит, не стану искать других виноватых. — Некоторые мысли надо гнать. — А как их прогонишь? Ничего с ними не поделаешь.

Проводив Ричарда, я отпустила прислугу. Сказала, что буду сама держать оборону. Я часто так поступала, мне нравилось оставаться дома одной, когда Эйми спит, — и даже миссис Мергатройд ничего не заподозрила. Когда горизонт очистился, я действовала быстро. Я уже упаковала тайком кое-какие вещи — коробку с драгоценностями, фотографии, «Многолетние растения для сада камней», — а теперь собрала остальное. Мою одежду — конечно, далеко не всю, вещи Эйми — тоже далеко не все. Запихнула, что смогла, в пароходный кофр, где когда-то хранилось мое приданое, а остальное — в подходящий чемодан. Договорилась, с вокзала прислали за багажом людей. И на следующее утро мы с Эйми без труда

сели в такси и уехали на Центральный вокзал, взяв лишь смену одежды на один день.

Я оставила Ричарду письмо. Я написала: учитывая, что он сделал, — то, что, как я теперь знаю, он сделал, — я никогда больше не хочу его видеть. Принимая во внимание его политические амбиции, я не стану требовать развода, хотя у меня имеются неопровержимые доказательства его непристойного поведения — Лорины дневники, которые — тут я слукавила — надежно спрятаны в сейфе. Если Ричарду придет в голову своими грязными лапами притронуться к Эйми, прибавила я, пусть он немедленно откажется от этой мысли, потому что я тогда устрою грандиозный скандал, каковой последует и в том случае, если он не удовлетворит мои финансовые требования. Они были скромны: я только хотела денег на покупку домика в Порт-Тикондероге и содержания для Эйми. Собственные потребности я обеспечу сама.

Подписалась я — *искренне Ваша* и, заклеивая конверт, задумалась, правильно ли написала слово *непристойного.*

За несколько дней до отъезда из Торонто я разыскала Каллисту Фицсиммонс. Она бросила скульптуру и занималась стенной росписью. Я обнаружила её в страховой компании — в цен-

тральной конторе, — где Каллиста трудилась над заказом. Тема панно — вклад женщин в победу — уже устарела, поскольку победа свершилась (и, хотя мы тогда этого не знали, панно вскоре закрасили обнадеживающей темно-серой краской).

Каллисте выделили одну стену. Три фабричные работницы в спецовках с задорными улыбками делали бомбы; девушка за рулем машины скорой помощи; две крестьянки с тяпками и корзиной помидоров; женщина в военной форме перед пишущей машинкой; внизу, в углу, мать в фартуке, достает из печи хлеб, а двое ребятишек одобрительно за ней наблюдают.

Увидев меня, Кэлли удивилась. Я её не предупредила: не хотела, чтобы она сбежала. Подвязав платком волосы и сунув руки в карманы, она командовала художниками, расхаживая в брюках цвета хаки и теннисных туфлях, с сигаретой, прилипшей к нижней губе.

О Лориной смерти она узнала из газет — такая милая девушка, такая необычная в детстве, какое горе. После этого вступления я передала ей Лорин рассказ и спросила, правда ли это.

Кэлли возмутилась. *Херня* говорилось через слово. Ричард действительно помог, когда её сцапали за агитацию, но она-то решила, что это

просто ради прошлого и семьи. Она отрицала, что рассказывала Ричарду об Алексе, или о других красных и сочувствующих. Какая херня! Это же её друзья! Что касается Алекса — да, она его по первости выручала, когда он попал в переделку, но потом он исчез, кстати, ей задолжав, а потом она слышала, что он воюет в Испании. Как она могла на него стучать, если сама ничего о нём не знала?

Я так ничего и не добилась. Может, Ричард Лоре соврал — он и мне часто врал. С другой стороны, может, врала Кэлли. Но тогда на что я рассчитывала?

Эйми в Порт-Тикондероге не понравилось. Она хотела к папе. Хотела привычной обстановки — как все дети. Хотела в свою комнатку. Ой, да как все мы.

Я объяснила, что пока нам придется пожить здесь. *Объяснила* — неправильное слово, потому что я ничего не объясняла. Что я могла сказать толкового восьмилетнему ребенку?

Порт-Тикондерога изменился: туда вторглась война. Несколько фабрик во время войны открывались — женщины делали взрыватели, — но теперь закрылись опять. Может, их переоборудуют под мирную продукцию, когда поймут, что

нужно вернувшимся с фронта мужчинам, что они будут покупать домой, семьям, которые, без сомнения, теперь у них появятся. Пока же многие остались без работы, жили и ждали.

Но были и вакансии! Элвуд Мюррей больше не возглавлял газету: его новенькое сверкающее имя скоро появится на плите Военного Мемориала: Мюррей служил во флоте и убился, когда взорвался корабль. Любопытно: об одних говорили, что их убили, а о других — что они убились, — словно по неловкости или даже чуть-чуть нарочно — вроде как постриглись. Про таких в городе говорили *затарился галетами.* Наша местная идиома, и употребляли её, как правило, мужчины. Каждый раз задумываешься, о каком булочнике речь.

Муж Рини Рон Хинкс был не из тех, кто легкомысленно закупался смертью. О нём торжественно говорили, что он погиб на Сицилии вместе с другими ребятами из Порт-Тикондероги, которые записались в Королевский Канадский полк. Рини получала пенсию, правда, маленькую; сдавала комнату в своем домике и по-прежнему работала в кафе «У Бетти», хотя твердила, что спина её погубит.

Но, как я вскоре выяснила, погубила её не спина, а почки. Они завершили свое черное дело

спустя полгода после моего возвращения. Если ты это читаешь, Майра, я хочу, чтобы ты знала: эта смерть была для меня тяжким потрясением. Я надеялась, что Рини будет рядом, — она же всегда была, — и вдруг её не стало.

А потом она постепенно стала проявляться снова — иначе кого же я слышу, когда мне по ходу дела нужно пояснение?

Конечно, я навестила Авалон. Трудное свидание. Все запущено, сад зарос, оранжерея — руины с выбитыми стеклами и высохшими растениями, по-прежнему в горшках. Что ж, некоторые высохли ещё при нас. На стражах — сфинксах — надписи из серии *Джон любит Мэри;* один опрокинут. Пруд с нимфой задыхался от мертвой травы и водорослей. Нимфа была на месте, только несколько пальцев отбили. И улыбка у неё прежняя — беззаботная, загадочная, отстраненная.

В дом вламываться не пришлось: ещё была жива Рини, она и дала мне потайной ключ. Дом выглядел печально: повсюду пыль и мышиный помет, на тусклом паркете — пятна от протечек. Тристан и Изольда по-прежнему взирали на пустую столовую, хотя у Изольды пострадала арфа, а против среднего витража ласточки свили пару гнезд. Но никакого в доме варварства: едва-едва,

но дух Чейзов ещё витал, и я улавливала слабеющий аромат власти и денег.

Я обошла весь дом. Повсюду пахло плесенью. Заглянула в библиотеку: над камином из головы Медузы все ползли змеи. Бабушка Аделия тоже была на месте, хоть и покосилась: смотрела теперь с затаенным, но веселым лукавством. Спорим, ты все-таки погуливала, бабушка, подумала я, глядя на неё. Была у тебя своя тайная жизнь. Она и давала тебе силы.

Я порылась в книгах, выдвинула ящики стола и в одном из них обнаружила коробку с образцами пуговиц времен дедушки Бенджамина: костяные кружки, что в его руках превращались в золото, а теперь вновь стали простыми костяшками.

На чердаке я нашла гнездышко, что свила здесь Лора после «Белла-Виста»: она достала одеяла из сундуков, притащила простыни из своей спальни — бесспорная улика, если б её тут искали. Сухие апельсиновые корки, яблочный огрызок. Как обычно, убрать за собой она не подумала. В дубовом буфете — пакет осколков, припрятанных в лето «Наяды»: серебряный чайник, фарфоровые чашки и блюдца, ложки с монограммами. Щипцы для орехов в форме крокодила, одинокая перламутровая запонка, неработающая зажигал-

ка, столовый прибор без графинчика.

Я ещё вернусь и заберу остальное, сказала я себе.

Ричард сам не приехал — это стало (для меня) доказательством его вины. Но прислал Уинифред.

— Ты что, рехнулась? — были её первые слова. (В кабинке кафе «У Бетти»: я не хотела видеть её в снятом домике, не хотела, чтоб она приближалась к Эйми.)

— Вовсе нет, — ответила я. — И Лора тоже. Во всяком случае, не до такой степени, как вы изображали. Я знаю, что делал Ричард.

— Не понимаю, о чем ты, — сказала Уинифред. Она сидела в накидке из блестящих норочьих хвостов и стягивала перчатки.

— Какая удачная сделка, эта его женитьба: две по цене одной. За понюшку табаку нас купил.

— Не говори глупостей, — сказала Уинифред, но напора у неё явно поубавилось. — Что бы там Лора ни болтала, Ричард совершенно чист. Просто первый снежок. Ты серьёзно заблуждаешься. Он передал, что готов это заблуждение простить. Вернись к нему — и он все простит и забудет.

— Но я не забуду, — ответила я. — Он не снежок. Совершенно другая субстанция.

— Тише ты, — зашипела Уинифред. — Люди оглядываются.

— Они все равно будут смотреть, — сказала я. — Потому что ты вырядилась, как лошадь леди Астор. Учти, этот зеленый тебе совсем не идет — особенно в таком возрасте. Вообще-то никогда не шел. У тебя как будто желчь разлилась.

Стрела попала в цель. Уинифред потеряла дар речи: ещё не привыкла к моему новому амплуа гадюки.

— Скажи, чего *именно* ты хочешь? — спросила она. — Разумеется, Ричард абсолютно ни в чем не виноват, но скандал ему ни к чему.

— Я уже сказала, чего *именно*. Очень ясно. А теперь мне нужен чек.

— Он хочет видеться с Эйми.

— Ни за какие коврижки в мире, — сказала я. — У него слабость к малолеткам. Ты знала это, всегда знала. Даже в восемнадцать я уже была старовата. А Лора под боком — слишком большой соблазн, я теперь понимаю. Он не мог её пропустить. Но до Эйми он своими грязными ручонками не дотянется.

— Не говори гадости. — Уинифред уже разозлилась, её лицо под макияжем пошло красными пятнами. — Эйми — его родная дочь.

Я чуть не сказала: «А вот и нет», но поняла, что это будет тактической ошибкой. По закону она его дочь; я не могла доказать обратное: тогда ещё все эти гены не придумали. Знай Ричард правду, он только упорнее старался бы отнять у меня Эйми. Возьмет её в заложницы, а я утрачу все завоеванные преимущества. Какие-то кошмарные шахматы.

— Его ничто не остановит, — сказала я. — Даже кровное родство. А потом отправит её куда-нибудь за город делать аборт, как Лору.

— Не вижу смысла продолжать эту дискуссию, — заявила Уинифред, хватая норку, перчатки и сумочку из рептилии.

После войны все изменилось. Мы стали иначе выглядеть. Со временем исчезли шероховатая серость и полутона, их место заняли яркие полуденные краски — кричащие, отрицающие тень, простые. Ярко-розовые, резко-синие, красные и белые — словно мячи на пляже, ядовито-зеленый пластик, солнце слепит, точно прожектор.

На окраинах маленьких и больших городов без устали рычали бульдозеры и валились деревья; в земле открывались огромные воронки котлованов. Улицы — сплошь гравий и грязь. В кляксы черной земли высаживали тоненькие деревца, —

особенной популярностью пользовались березы. Стало гораздо больше неба.

Мясо, громадные ломти, куски и глыбы мерцали в витринах мясников. Апельсины и лимоны, яркие, точно восход, горы сахара и желтого масла. Все только и делали, что ели. Запихивали в себя яркое мясо и остальную яркую еду, будто завтра уже не наступит.

Но завтра как раз было, просто сплошное завтра. Исчезло вчера.

Теперь у меня появилось достаточно денег — от Ричарда и кое-что из Лориного наследства. Я купила домик. Эйми все дулась, что я вырвала её из прежней жизни, гораздо богаче, но понемногу привыкала, хотя временами я ловила её холодный взгляд: она уже тогда считала меня неудачной матерью. Ричард же пользовался преимуществами далекого родителя, и теперь, когда его не было рядом, представлялся ей просто блестящим. Но поток подарков сократился до ручейка — и что ей оставалось? Боюсь, я ожидала от неё чрезмерного стоицизма.

Тем временем Ричард готовился примерить мантию власти — по свидетельству газет, ему оставался только шаг. Конечно, я была некоторой помехой, но все разговоры о нашем расставании

подавлялись в зародыше. Считалось, что я «за городом» — в некоторой степени это и к лучшему, пока я собираюсь там и оставаться.

Я не знала, что ходили и другие слухи — о моей неустойчивой психике: дескать, Ричард поддерживает меня деньгами, хотя я чокнутая, и вообще Ричард святой. Карту с полоумной женой можно разыграть без вреда для себя: супруги власть имущих несчастному обычно симпатизируют.

В Порт-Тикондероге я жила довольно тихо. Куда бы я ни шла, меня сопровождал уважительный шепот; при моем приближении голоса затихали и возобновлялись, когда я проходила мимо. По общему мнению, что бы там ни было с Ричардом, пострадала наверняка я. Меня обманули, но поскольку не бывает ни справедливости, ни милосердия, ничем тут не поможешь. Так дела обстояли, естественно, до появления книги.

Время шло. Я занималась садом, читала и так далее. Я даже стала — скромно, начав с продажи нескольких Ричардовых драгоценных зверюшек, — торговать в художественных салонах. Как выяснилось, это помогло мне устойчиво продержаться ещё десятилетия. Жизнь начала притворяться нормальной.

Но невыплаканные слезы могут отравить. И

воспоминания тоже. И молчание. Пошли плохие ночи. Я не могла спать.

Лорино дело формально закрыли. Еще несколько лет — и о ней никто не вспомнит. Не стоило клясться, что буду молчать, говорила я себе. Чего я хотела? Ничего особенного. Какого-то мемориала. Но что такое мемориал, в конце концов, если не поминовение перенесенных ран. Перенесенных и не прощенных. Без памяти — не было бы мести.

Да не забудем. Помни меня. Вам — из слабеющих рук. Крики страждущих призраков.

Я поняла, что нет ничего сложнее, чем понять мертвых, и ничего опаснее, чем ими пренебрегать.

Груда камней

Я отослала книгу. Через некоторое время получила письмо. Ответила. И все пошло своим чередом.

Перед выходом книги прислали авторские экземпляры. Внутри на суперобложке — трогательная справка об авторе:

Когда Лора Чейз написала «Слепого убийцу», ей ещё не исполнилось двадцати пяти лет. Это был

её первый роман и, как ни печально, последний: в 1945 году она трагически погибла в автокатастрофе. Для нас большая честь представить публике этот первый цвет молодой и одаренной писательницы.

А сверху фотография Лоры, неважная копия, точно засиженная мухами. Ну, все-таки кое-что.

Сначала о книге не писали ни слова. В конечном счете, это маленькая книжка, едва ли бестселлер; её хорошо приняли критики Нью-Йорка и Лондона, но у нас особо никто не заметил — поначалу, во всяком случае. Потом в неё вцепились моралисты, проповедники принялись стучать кулаками по кафедрам, подключились местные склочники, — и поднялся шум. Осознав, что Лора Чейз — свояченица Ричарда Гриффена, трупные мухи вдумчиво зашелестели страницами. К тому времени у Ричарда хватало политических врагов. Поползли намеки.

Опять всплыла удачно замятая в свое время версия Лориного самоубийства. Пошли разговоры, и не только в Порт-Тикондероге — во влиятельных кругах тоже. Если она и впрямь покончила с собой, то почему? Кто-то анонимно позвонил — кто бы это мог быть? — и открылась

история с «Белла-Виста». Показания бывшего служащего (поговаривали, что одна газета ему щедро заплатила) привели к расследованию сомнительной деятельности клиники; в результате в «Белла-Виста» перекопали задний двор, а саму клинику закрыли. Я с интересом разглядывала фотографии: прежде это был особняк одного мебельного магната, в столовой неплохие витражи, хотя в Авалоне лучше.

Переписка Ричарда с директором клиники навредила особенно.

Иногда Ричард мне является — в мыслях или во сне. Серый, но в радужных переливах — точно бензин в луже. Смотрит подозрительно. Очередное укоризненное привидение.

Незадолго до того, как в газетах объявили, что Ричард отходит от политики, он мне позвонил — впервые после моего отъезда. Он был взбешен и безумен. Ему сказали, что по причине скандала партия не может выставить его кандидатуру на выборах, и с ним перестали знаться влиятельные люди. При встречах его обдавали холодом. Еле здоровались. Я это все нарочно сделала, сказал он, чтобы его уничтожить.

— Что сделала? — спросила я. — Ты не уничтожен. Ты по-прежнему очень богат.

— Книгу! Это диверсия! Сколько ты заплатила, чтобы её напечатали? Не могу поверить, что Лора написала этот грязный… этот кусок дерьма!

— Ты не можешь поверить, — отвечала я, — потому что был ею одурманен. Не можешь смириться с тем, что пока ты по ней ползал, её в постели не было — она была с другим, не с тобой, а с тем, кого любила. Книга же об этом, я правильно понимаю?

— Это тот красный? Тот ублюдок хренов — на пикнике? — Ричард, похоже, был вне себя — обычно он редко ругался.

— Откуда мне знать? — сказала я. — Я за ней не шпионила. Но я согласна — без пикника не обошлось. — Я не стала ему говорить, что было два пикника с Алексом: один с Лорой, а второй, спустя год, уже без неё — когда я встретила Алекса на Куин-стрит. Тот — с яйцами вкрутую.

— Она с ним встречалась назло, — сказал Ричард. — Мстила мне.

— Меня это не удивляет, — отозвалась я. — Она тебя, наверное, ненавидела. Иначе было бы странно. Ты вообще-то её изнасиловал.

— Это неправда! Я без её согласия ничего не делал!

— Согласия? Ты так это называешь? Я бы на-

звала шантажом. Он швырнул трубку. Семейная черта. До него звонила Уинифред — поорала на меня, а потом сделала то же самое.

Потом Ричард пропал, а потом нашелся на яхте «Наяда» — ну, это все ты знаешь. Видимо, прокрался в город, в Авалон, на яхту, которая, кстати, стояла в эллинге, а не у причала, как писали в газетах. Снова уловка: труп в яхте на воде — в общем, обычное дело, а в эллинге, — довольно странно. Уинифред не хотела, чтобы все решили, будто Ричард тронулся рассудком.

Что на самом деле произошло? Точно не знаю. Как только его нашли, Уинифред взяла все под контроль и представила события в самом выгодном свете. *Инсульт* — такая у неё была версия. Но рядом с ним нашли книгу. Я это знаю от Уинифред — она в истерике позвонила мне и рассказала.

— Зачем ты так с ним поступила? — кричала она. — Ты уничтожила его политическую карьеру, а потом уничтожила память о Лоре. Он любил её! Он её обожал! Он еле пережил её смерть!

— Рада слышать, что он раскаивался, — холодно ответила я. — Я бы не сказала, что тогда это было заметно.

Конечно, Уинифред винила меня. Началась война в открытую. Она сделала со мной худшее,

что могла. Она отобрала Эйми.

Полагаю, тебя наставляли по кодексу Уинифред. По её словам, я пьяница, бродяга, шлюха, дрянная мать. Со временем я стала неопрятной ведьмой, чокнутой старой каргой, торговкой грязным хламом. Правда, сомневаюсь, что она тебе говорила, будто я убила Ричарда. Иначе ей пришлось бы сказать, откуда у неё такая мысль.

Хлам — это неточно. Да, я покупаю дешево, а продаю дорого — а кто в антикварном промысле поступает иначе? — но у меня хороший вкус, и я никому не выкручивала руки. Одно время я много пила, я это признаю, но лишь когда у меня отобрали Эйми. Что касается мужчин — да, было несколько. Не любовь, нет, — скорее, эпизодическое зализывание ран. Я была от всего оторвана — не протянешь руку, не коснешься, — и при этом с меня будто содрали кожу. Я нуждалась в тепле другого тела.

Мужчин из прежнего окружения я избегала, хотя некоторые слетелись, как мухи на мед, пронюхав о моем одиночестве и, быть может, испорченности. Их могла подослать Уинифред; не сомневаюсь, так и было. Я предпочитала незнакомцев, встреченных в рейдах по соседним городам и городишкам в поисках *товаров для*

коллекционеров, как их теперь зовут. Настоящего имени я никогда не называла. Но в итоге Уинифред меня переупрямила. Ей требовался один мужчина — его она и получила. Фотографии дверей номера в мотеле, мы входим, выходим, поддельные имена при регистрации, показания хозяина, который любил наличные. *Вы можете бороться в суде,* сказал мой адвокат, *но я бы вам не советовал. Попробуем добиться посещений — это все, на что можно рассчитывать. Вы дали им козыри в руки, и они пойдут с козырей.* Даже он смотрел скептически — не потому что я порочна, а потому что неуклюжа.

В завещании Ричард назначил Уинифред опекуншей, а также доверенной попечительницей весьма значительного имущества Эйми. Так что Уинифред и тут выиграла.

Что касается книги, Лора не написала в ней ни единого слова. Думаю, ты это уже поняла. Это я писала её долгими вечерами, пока ждала, когда Алекс вернется с войны, и после, когда знала, что он не вернется. Я не задумывалась, чем это я занимаюсь, — просто писала. Что-то помнила, что-то выдумывала, но это тоже правда. Я считала, это я записываю. Бестелесная рука, царапающая на стене.

Я хотела мемориала. Так все и началось. Алексу, но и себе тоже.

Ну а потом проще простого оказалось выдать Лору за автора. Ты, наверное, решила, что это из трусости или робости — я же не любила оказываться на публике. Или из благоразумия: мое авторство гарантировало, что я потеряю Эйми, которую я все равно потеряла. Но задним числом я считаю, что всего лишь восстановила справедливость: я бы не сказала, что Лора не написала ни единого слова. Технически — да, но в другом смысле — Лора сказала бы — в духовном смысле, — мы, можно сказать, соавторы. Ни одна из нас не есть подлинный автор: кулак больше суммы пальцев.

Я помню, как однажды Лора сидела в дедушкином кабинете в Авалоне, — ей тогда было лет десять-одиннадцать. Перед ней лежал лист бумаги, на нём она рассаживала всех в Раю.

— Иисус сидит по правую руку от Бога, — говорила она, — а кто сидит по левую?

— Может, у Бога нет левой руки, — поддразнила я. — Левая рука хуже правой, так что, может, у него только одна. Или он её на войне потерял.

— Мы созданы по образу и подобию Божьему, — возразила Лора, — а у нас левые руки есть.

Значит, у Бога тоже должна быть. — Она пожевала кончик карандаша, изучая свой чертеж. — Я поняла! — закричала она. — Стол должен быть круглый! Тогда все сидят по правую руку от всех.

— И наоборот, — прибавила я.

Лора была моей левой рукой, а я — её. Мы написали книгу вместе. Это левая книга. Поэтому, как ни посмотри, одна из нас все время прячется.

Начав описывать Лорину жизнь — свою жизнь, — я не знала, зачем все это пишу, и кто будет читать, когда я закончу. Но теперь мне ясно. Я писала для тебя, дорогая моя Сабрина, потому что одной тебе — единственно тебе — это нужно.

Лора не та, кем ты её считала, и ты тоже не та, кем считала себя. Быть может, это потрясение, но и облегчение тоже. К примеру, ты не имеешь никакого отношения ни к Уинифред, ни к Ричарду. В тебе нет ни капли крови Гриффенов, с этой точки зрения ты чиста. Твой настоящий дед — Алекс Томас, а вот кем был его отец… версий — как звезд в небе. Богач, бедняк, нищий, святой, выходец из неизвестной страны, десяток несуществующих карт, сотни разоренных деревень — выбирай! Он оставил тебе в наследство царство безграничных домыслов. Ты можешь придумать себя какой угодно.

XV

Слепой убийца. Эпилог: Другая рука

У неё есть только одна его фотография, черно-белый снимок. Она его бережет: кроме этого снимка, у неё мало что осталось. Фотография запечатлела их на пикнике — её и этого мужчину. На оборотной стороне так и написано карандашом: *пикник*, ни её имени, ни его — просто *пикник*. Имена ей и так известны — зачем писать?

Они сидят под деревом — под яблоней, что ли. На ней широкая юбка, подоткнутая под колени. Было жарко. Держа руку над фотографией, она и теперь чувствует от неё жар.

На мужчине светлая шляпа, надвинута на лоб, лицо в тени. Женщина улыбается вполоборота к нему — так она никому с тех пор не улыбалась. На фото она очень молода. Мужчина тоже улыбается, но поднял руку, словно защищается от камеры. Словно защищается от неё, которая из будущего на них смотрит. Или защищает её. В руке догорает сигарета.

Оставшись одна, она достает фотографию, кладет на стол и пристально всматривается. Она

разглядывает каждую деталь: его потемневшие от табака пальцы, выцветшие складки одежды, зеленые яблоки на ветках, жухлую траву на первом плане. Свое улыбающееся лицо.

Фотографию разрезали; не хватает трети. В нижнем левом углу — рука на траве, отхваченная по запястье. Рука другого человека, того, что всегда на фотографии, видно его или нет. Рука, что все расставит по местам.

Как могла я быть такой невежественной? — думает она. Такой глупой, такой невидящей, такой опрометчивой? Но как жить без этой глупости, этой опрометчивости? Если знать, что тебя ждет впереди, что с тобой случится, к чему приведут твои поступки, — ты обречена. Опустеешь, как Бог. Окаменеешь. Не будешь есть, пить, смеяться, вставать по утрам. Никого не полюбишь — никогда. Не осмелишься.

Теперь утонуло все — дерево, небо, ветер, облака. Ей остался один снимок. И его история.

На снимке счастье, в истории — нет. Счастье — застекленный сад, откуда нет выхода. В Раю не бывает историй, ибо не бывает странствий. Что движет историю вперед по извилистому пути? Утраты, сожаления, горе и тоска.

«Порт-Тикондерога Геральд энд Бэннер», 29 мая

1999 года

НЕЗАБВЕННАЯ АЙРИС ЧЕЙЗ ГРИФФЕН
МАЙРА СТЕРДЖЕСС

В прошлую среду у себя дома в возрасте 83 лет скоропостижно скончалась миссис Айрис Чейз Гриффен. «Она ушла от нас тихо, когда сидела в саду за домом, — сказала миссис Майра Стерджесс, давний друг семьи. — Эта смерть не стала неожиданностью, поскольку у миссис Гриффен было больное сердце. Она была яркой личностью, исторической фигурой и поразительным для своего возраста человеком. Нам всем будет её не хватать, и мы никогда её не забудем».

Миссис Гриффен — сестра известной писательницы Лоры Чейз, дочь капитана Норвала Чейза, которого всегда будут помнить жители нашего города, и внучка Бенджамина Чейза, основателя «Чейз индастриз», который построил Пуговичную фабрику и многое другое. Миссис Гриффен была женой покойного Ричарда Э. Гриффена, известного промышленника и политика, и золовкой скончавшейся

в прошлом году благотворительницы Уинифред Гриффен Прайор из Торонто, завешавшей щедрое пожертвование нашей школе. У миссис Гриффен осталась внучка Сабрина Гриффен, которая только что вернулась из-за границы и, вероятно, вскоре посетит наш город, чтобы разобраться с делами бабушки. Не сомневаюсь, что она найдет здесь теплый прием и получит любую необходимую помощь.

Согласно желанию миссис Гриффен, похороны состоятся скромные, прах будет погребен на кладбище «Маунт-Хоуп» в фамильной могиле Чейзов. Тем не менее в память о многих благих деяниях семьи Чейз в следующий вторник в 3 часа дня в похоронном зале «Джордан» будет отслужена панихида, а затем в доме Майры и Уолтера Стерджесс будут поданы закуски. Приглашаются все желающие.

Порог

Сегодня дождь, теплый весенний дождь. Воздух опаловый. Шумят речные потоки, летят к обрыву, с обрыва — летят, будто ветер, только недвиж-

ный, как следы прибоя на песке.

Я сижу за деревянным столом на веранде, под навесом, и смотрю в глубь хаотичного сада. Почти стемнело. Расцвел дикий флокс — по-моему, это он; не могу разглядеть. Что-то голубое, оно мерцает в глубине — точно снег в тени. На клумбах пробиваются ростки — будто карандаши: алые, бирюзовые, красные. Меня обволакивает запах сырой земли и свежей поросли, влажный, неуловимый с кисловатой примесью аромата коры. Так пахнет юность; так пахнет печаль.

Я кутаюсь в шаль: для весны вечер теплый, но я не чувствую тепла — только отсутствие холода. Здесь мне хорошо виден мир; *здесь* — это картина, что мелькает, когда смотришь с гребня волны, пока не накрыла следующая: такое голубое небо, такое зеленое море, такой совершенный пейзаж.

На столе — стопка бумаги, что я трудолюбиво наращиваю месяц за месяцем. Когда я закончу — когда допишу последнюю страницу, — поднимусь со стула, доковыляю до кухни, поищу эластичный бинт, кусок бечевки или старую ленту. Свяжу эти бумаги, подниму крышку пароходного кофра и суну их поверх всего остального. Там они тебя дождутся, если ты когда-нибудь вернешься. Ключ с распоряжениями я отдала

адвокату.

Должна признаться, у меня есть про тебя одна мечта.

Однажды вечером в дверь постучат, и это будешь ты. Ты будешь в черном и с таким рюкзачком, которые теперь все носят вместо сумок. Будет дождь, как и сегодня, но ты будешь без зонтика, ты презираешь зонтики; молодым нравится, когда стихии овевают голову, молодых это бодрит. Ты будешь стоять на крыльце в дымке влажного света; блестящие темные волосы и одежда намокли, капли дождя блестками сверкают на лице и ткани.

Ты постучишь. Я услышу тебя, прошаркаю по коридору, распахну дверь. Сердце екнет и затрепещет. Я вгляжусь в тебя, потом узнаю тебя: мое заветное, мое последнее желание. Я подумаю, что не видела никого красивее, но вслух не скажу: не хочу, чтобы ты решила, будто я свихнулась. Я поздороваюсь, протяну к тебе руки, поцелую в щеку, коротко — неприлично забываться. Немного всплакну, но только немного, потому что глаза стариков — высохшие колодцы.

Я приглашу тебя войти. Ты войдешь. Я бы не советовала юной девушке переступать порог такого дома, да ещё с таким жильцом — старая

женщина, пожилая женщина, что одиноко живет в ископаемом коттедже, с волосами, точно выгоревшая паутина, и садом, где сорняки и ещё Бог весть что. От таких созданий попахивает серой — может, ты даже слегка испугаешься. Но ты чуточку безрассудна, как и все женщины в нашем роду, и потому все равно войдешь. *Бабушка,* скажешь ты, и, услышав это слово, я пойму, что от меня больше не отрекаются.

Я усажу тебя за стол с деревянными ложками, плетеными венками и свечой, что никогда не горит. Тебя будет знобить, я дам полотенце, укутаю тебя в одеяло, приготовлю какао.

А потом я расскажу тебе историю. Вот эту самую историю: историю о том, как случилось, что ты оказалась здесь, сидишь у меня в кухне и слушаешь мою историю. Если бы каким-то чудом это произошло, не было бы нужды в этом бумажном кургане.

Что мне от тебя нужно? Не любви — я не осмелюсь просить так много. Не прощенья — ты не в силах его даровать. Значит, мне нужен слушатель; тот, кто поймет меня. Только, что бы ты ни делала, не вздумай меня сглаживать: я совершенно не желаю становиться разукрашенным черепом.

Но оставляю себя в твоих руках. А что мне делать? К тому времени, когда ты прочтешь эту последнюю страницу, если я где-то и буду, то разве что в ней.

Благодарности

Я хотела бы поблагодарить: мою бесценную помощницу Сару Купер; ещё двух исследователей Э. С. Холла и Сару Уэбстер; профессора Тима Стэнли; Шэрон Мэксуэлл, архивариуса «Кьюнард-Лайн лимитед», библиотека Сент-Джеймса, Лондон; Дороти Дункан, исполнительного директора Исторического общества Онтарио; Архивы Гудзонова залива/Симпсонс, Виннипег; Фиону Лукас, Спадина-хаус, «Наследие Торонто»; Фреда Кернера; Терренса Кокса; Кэтрин Эшенбург; Джонатана Ф. Вэнса; Мэри Симе; Джоан Гэйл; Дона Хатчинсона; Рона Берн-стайна; Лорну Тулис и её сотрудников Мерриловского собрания научной фантастики, выдумок и фэнтези публичной библиотеки Торонто; Джэнет Инксеттер из «Эннекс-букс». Еще моих первых читателей: Элеанор Кук, Рэмсэя Кука, Ксандру Бингли, Джесса Э. Гибсона и Розали Эбелла. Моих агентов: Фиби Лармор, Вивьен Шустер и Диану Мэкей; и редакторов Эллен Селийман, Хизер Сэнгстер, Нэн

Э. Тализ и Лиз Калдер. А также Артура Гелгута, Майкла Брэдли, Боба Кларка, Джин Голдберг и Роуз Торнато. И Грэма Гибсона и моих родных — как всегда.

Выражаю признательность за разрешение использовать ранее опубликованные материалы:

Эпиграфы:

Ryszard Kapuscinski. Shah of Shahs © 1982 Ryszard Kapuscinski.

Надпись на карфагенской урне приписывают Заштар, мелкой аристократке (210–185 гг. до н. э.); цитируется по: Emil F. Swardsward. Carthaginian Shard Epitaphs. Cryptic: The Journal of Ancient Inscriptions, том VII, № 9, 1963 г.

Sheila Watson. Deep Hollow Creek © 1992, Sheila Watson.

Цитируемые песни:

«Дым все летит и летит в трубу» (The Smoke Goes Up the Chimney Just the Same). Народная.

«Дымчатая луна» (Smokey Moon). G. Damorda, Crad Shelley. Copyright © 1934 Sticks Inc./Skylark Music; © 1968 Chaggas Music Corporation.

«Ненастье» (Stormy Weather). Ted Koeler, Harold Arlen. Copyright © 1933 Mills Music Inc./S. A. Music Co./Ted Koeler Music/EMI Mills Music Inc./Redwood Music; © 1961 Arko Music Corp.

Рассказ о первом плавании «Куин Мэри» позаимствован из:

«В поисках эпитета» (In Search of Adjective). J. Herbert Hodgins. Mayfair, July 1936.